

Ж О В Ы И
М И Р

4

Ж О В Ы И
М И Р

1981

4

1981



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 4

Апрель, 1981 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЯРОСЛАВ ГОЛОВАНОВ — Незабываемый апрель	3
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ—Минуты полночи немые..., стихотворение. ЭМ. АЛЕК- САНДРОВА — Старый горел, стихотворение	13
И. МЕТТЕР — Мой друг Антон, рассказ	14
НИКОЛАЙ ДЕНИСОВ — В Сургуте мороз, стихи	29
ВЛАДИМИР КРУПИН — Колокольчик, рассказ	30
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — Диспут, рассказ	36
ВИКТОР ШИРОКОВ — Мастерская, стихи	65
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР — Бригадир Кязым, рассказ	67
ЭЛЬМИРА БЛИНОВА — Из цикла «Надежда», стихи	99
ЮРИЙ НАГИБИН — О ты, последняя любовь!.. Рассказ	100
ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА — Ничего особенного, рассказ	113
РИММА ЧЕРНАВИНА — Движение, стихи	134
ИННА ГОФФ — Переполненная чаша	136
ЗОЯ ВЕЛИХОВА — Часы Замоскворечья, стихи. АНАТОЛИЙ КАПИТО- НОВ — Лыжня, стихи	168
ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ — Место под солнцем, рассказ	170
ПУБЛИЦИСТИКА	
АНДРЕЙ НИКИТИН — Хрущкая связь времен	181
В МИРЕ НАУКИ	
КОНСТАНТИН ФЕОКТИСТОВ, ИГОРЬ БУБНОВ — Первый пилотируемый...	199
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ГЕОРГИЙ МАРКОВ: ДОЛГ ЛИТЕРАТУРЫ — БЫТЬ ДОСТОЙНОЙ СОВРЕ- МЕННОСТИ. Г. Марков — В. Литвинов. Диалог	220
М. ЭПШТЕЙН, Е. ЮКИНА — Мир и человек. К вопросу о художественных возможностях современной литературы	236

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»

Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

- Литература и искусство* 249
- И. Питляр.** Труд как основа жизни.— **Владимир Бондаренко.** «Так дано мне жить...».— **Вл. Новиков.** Слово и слава.
- Политика и наука* 260
- Владимир Буданин.** Вступил в бой комиссаром.— **Ю. Халфин.** Творческая педагогика.
- КОРОТКО О КНИГАХ: **Л. Коган.**— **В. В. Горбунов.** Развитие В. И. Лениным марксистской теории культуры (Дооктябрьский период). ♦ **П. Черкасов.**— **В. Е. Иллерицкий,** Сергей Михайлович Соловьев. ♦ **М. Курячая.**— На суше и на море. ♦ **Н. Макарова.**— Анатолий Черноусов. Чалдоны. Повесть. ♦ **И. Борисова.**— **Э. Русаков.** Конец сезона. Рассказы. ♦ **А. Свободин.**— **Э. Полоцкая.** **А. П. Чехов.** Движение художественной мысли. Эмма Полоцкая. По следам ранних сюжетов. ♦ **Е. Полякова.**— **Андрей Михайлович Лобанов.** Документы, статьи, воспоминания. ♦ **С. Александрова.**— **М. Жванецкий.** Встречи на улицах 266
- КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 272
-

ЯРОСЛАВ ГОЛОВАНОВ

★

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ АПРЕЛЬ

Листки календаря в праздничный красный цвет перекрашивают дела человеческие. Рождение ребенка — праздник маленький, семейный; таким и был он в апреле 1870 года, когда в семье инспектора народных училищ Ильи Николаевича Ульянова родился младший сын. И потребовалась целая великая жизнь, вместившая грандиозные события человеческой истории, жизнь, определившая ход этих событий, открывшая новую эру и повлиявшая на судьбы миллиардов людей, чтобы мы считали 22 апреля, день рождения Владимира Ильича Ленина, красным днем нашего календаря.

И много лет спустя именно апрель — самый радостный месяц, месяц обновления, — подарил нам новый праздник. День 12 апреля 1961 года подвел итог огромной работе, самоотверженному труду десятков тысяч людей и утвердил в бессмертии простого смоленского паренька, которому выпало великое счастье первому из далей космоса увидеть нашу планету — голубой, а небо — черным.

Два события этих, два этих апрельских дня, разнесенных почти столетием, находятся в непростой, но живой и прочной связи, ибо дело, свершенное Гагариным, есть продолжение, новая грань великого дела, начатого Лениным.

Очень хорошо помню: из приемной, где у пульта и горки с телефонами перед дверью с табличкой «Главный конструктор» сидел секретарь, меня проводили через просторную комнату с длинным столом для заседаний и маленьким столиком с двумя телефонными аппаратами в углу. По одной стене шел ряд окон, а напротив — панели для демонстрации чертежей, задернутые занавесочками. Проходя по комнате, я успел заметить еще маленькую, меньше школьной, доску со следами мела и большой, наверное более метра в диаметре, глобус. В стене, противоположной входу, была еще одна дверь, я вошел туда и оказался в маленьком уютном кабинете. Сбоку от единственного окна стоял письменный стол, из-за которого навстречу мне поднялся, быстро снимая очки в тонкой золотой оправе, плотный невысокий человек лет пятидесяти. Круглая с затылка голова, опущенная вниз, короткий нос, быстрый, очень зоркий взгляд несколько исподлобья — в рисунке всей фигуры было что-то от стойки боксера или борца, готового к схватке. Он был одет, я бы сказал, вызывающе просто для своего положения. Цветная шелковая рубашка на «молнии», с короткими рукавами была заправлена в легкие светлые бумажные брюки ныне забытой китайской фирмы «Дружба», дешевле которых, кажется, не бывает. На ногах сандалии с дырочками. Так мог быть одет бухгалтер скромной

конторы, дежурный на лодочной станции или шофер такси. Протянув руку, он представился:

— Королев.

Так в августе 1961 года познакомился я с великим конструктором XX века. С этого времени мы встречались не часто, но регулярно, раза два в год. Чаще всего встречи эти были связаны с публикациями на космические темы в «Комсомольской правде» — в то время я был спецкором отдела науки, — но во время бесед Сергей Павлович охотно переключался на другие темы и получалось, что в итоге мы говорили не столько об этих конкретных публикациях, сколько о литературе, новых книгах, кинофильмах. В 1962 году я написал повесть о создателях космических кораблей. Называлась она «Кузнецы грома». Королев прочел ее в рукописи, похвалил и помог опубликовать. Повестью заинтересовалась киностудия «Мосфильм», я написал сценарий, и вновь Королев оказывает поддержку, назначает одного из своих заместителей, Михаила Клавдиевича Тихонравова, научным консультантом будущего фильма.

Когда мы разговаривали с Сергеем Павловичем, я чувствовал, что беседовать со мной ему интересно. Интерес этот я отношу вовсе не к достоинствам своей персоны: вряд ли интересен был Королеву молоденький инженер, ставший начинающим журналистом. Просто я был для него представителем какого-то другого мира, неизвестного ему, а он был человек удивительно любознательный. Кроме того, я не был связан с ним никаким делом, я был совершенно независим от него — он редко общался с такими людьми, и это тоже, наверное, делало наши беседы интересными для него.

Однако люди, безразличные к его делу, для Королева просто не существовали, и скоро, узнав о том, что по образованию я инженер, он постарался и меня превратить в своего единомышленника. Однажды, доказывая мне необходимость написать продолжение «Кузнецов грома», он сказал как бы между прочим:

— А вообще вам надо самому слетать в космос...

Кончился этот разговор тем, что я написал Королеву заявление с просьбой включить меня в отряд космонавтов, а затем в течение двух недель меня исследовали врачи специальной клиники и, в общем, как ни странно, признали годным. Космонавт-журналист — это не каприз Сергея Павловича. Оказывается, он всерьез думал об этом. Ему хотелось услышать рассказ о космическом полете человека не только думающего, но и чувствующего. Очевидно, его в чем-то не совсем удовлетворяли бодрые рапорты первых космонавтов. Сергею Борзенко, корреспонденту «Правды» на космодроме, он признался в минуту откровенности: «Если бы я мог послать в космос Лермонтова!» Увы, Лермонтова не было, и правительство, которое редко отказывало Королеву в его просьбах, было бессильно помочь ему здесь.

В клинике я обнаружил своего давнего знакомого Юрия Летунова — замечательного радиожурналиста, работавшего на космодроме и ставшего впоследствии руководителем тележурнала «Время», за который он был удостоен Государственной премии, ныне обозревателя телевидения. Мы так и не узнали, кто у кого был дублером, я у Летунова или Летунов у меня...

Во время встреч с Королевым я хорошо представлял себе масштабы этого человека и то место, которое он занимал в советской и мировой науке. Я понимал, что передо мной человек исторический в буквальном смысле этого слова, и не скрывал своего интереса к нему. Несколько раз заводил я разговор о его прошлом, о юношеских годах, но он не поддерживал этой темы и всегда старался свернуть с нее куда-нибудь в сторону. Один раз я прямо сказал, что хочу написать о нем большой очерк.

— Как-нибудь в другой раз, — лениво отмахнулся Сергей Павлович. — Мне сейчас некогда этим заниматься... Еще будет время для мемуаров...

— Но ведь когда-нибудь вы отдыхаете, — настаивал я. — По-едемте за грибами. Будем грибы собирать и беседовать...

Королев грустно улыбнулся:

— Какие грибы... Уж и не помню, когда я был в лесу...

Мог ли я предположить тогда, что этому замечательному человеку, такому энергичному, такому крепкому с виду, осталось меньше года жизни...

До смерти Сергея Павловича я не написал о нем ни строчки, если не считать того, что было скрыто за псевдонимом Главного конструктора в «Кузнецях грома». И узнал я о нем больше после его смерти, чем при жизни. Добавить к тому, что уже написано о Сергее Павловиче, трудно: в несколько страниц такой характер не уложишь.

Говорят: Королев устраивал разносы, выгонял из кабинетов, дерзил большому начальству. Рассказывают: был мягок, деликатен, ласков. Снимал напряжение анекдотами, цитировал поэтов, мечтал. Все так, все точно. Эти состояния, которые, кажется, несовместимы, держались всегда на одном прочнейшем каркасе: на увлеченности своей работой. Это было самое главное. Это было сильнее сердечных привязанностей, сильнее физической усталости, сильнее его самого. Он был радостный раб своего труда. Он не мог освободиться от него ни на минуту. Помните, наверное: Микеланджело неделями не спускался со строительных лесов, когда расписывал потолок Сикстинской капеллы, спал там прямо на досках, капли краски превратили его одежду в заскорузлый панцирь, который потом с него срезали ножом. Я вспомнил Королева. Другое время, другой труд, но дух тот же!

Вся жизнь была в работе. Никаких хобби — ни охоты, ни рыбалки, ни преферанса. На дорогой дареной двустволке «Зауэр — три кольца» затвердела смазка. О грибах он говорил мне правду: отдыхать не умел, не был приспособлен для этого дела. По воскресеньям много лежал, спал. Просыпался, читал, снова засыпал. В это с трудом верят те, кто работал с ним: ведь там весь он был — неумная энергия. Был равнодушен к одежде, к прихотям моды, неохотно менял костюмы, любил «неофициальные» цветные мягкие рубашки, которые носят без галстука. Галстуки очень не любил и надевал только в случае крайней необходимости. Несмотря на протесты жены Нины Ивановны, он продолжал летать на космодром в старом, немодном и уже изрядно потертом драповом пальто, считал его счастливым и вообще удобным. Деньги тратил, покупал подчас ненужные вещи, давал в долг, просто так давал, если видел, что человеку очень нужно.

Королев — фигура слишком крупная, чтобы он нуждался в идеализации, подкрашивании, в «приторном елее», по точному выражению Маяковского. Да, он был суров, но смел. Он был хитер, но не юлил. Он был резок, но понимал, когда и зачем он должен, обязан быть резким. Некоторые считают, что он был тщеславен и властолюбив. Был. Но каким бы он ни был, он жил великой идеей — он хотел во что бы то ни стало увидеть человека в космосе!

Люди, знавшие Королева в течение многих лет, рассказывают, что после полета Юрия Гагарина, в годы наибольшего космического триумфа, Сергей Павлович очень изменился, и если можно назвать эти изменения одним словом — подобрел. Он просто успокоился, насколько, впрочем, самое понятие «покой» применимо к Королеву.

Мысль о высотном ракетном полете человека действительно пре-

следовала его десятилетия. В апреле 1935 года, за двадцать шесть лет до полета Гагарина, Королев писал Я. И. Перельману: «Я лично работаю главным образом над полетом человека...» Да, долгие годы он работал для того, чтобы доказать необходимость и показать осуществимость такого полета. Первым он занимался до Великой Отечественной войны, вторым — в послевоенные годы.

Создание в 1957 году большой ракеты, ее последующая отработка, модернизация и убежденность в ее полной надежности ставили вопрос о полете человека на повестку дня. В начале 1959 года происходит расширенное заседание специалистов под председательством академика М. В. Келдыша, на котором обсуждается вопрос о подготовке к полету человека в космос. Королев в своем выступлении говорил о том, что, по его мнению, целесообразно подготовить к такому полету летчика-профессионала.

К весне того же года группа конструкторов КБ Королева, которую возглавлял Константин Петрович Феоктистов, заканчивает первый, пристрелочный вариант «Востока», еще не предназначенный для полета человека, но очень нужный для проверки заложенных в корабль идей «детского сада Феоктистова». Начал обозначаться примерный вес конструкции — около 4,5 тонны. Размеры будущего корабля диктовали конструкторы ракеты-носителя: вот вам, товарищи проектанты, возможности по полезному грузу и размерам, вот вам головной обтекатель, а теперь хоть в спираль закручивайте ваш корабль, а за наши границы ни-ни... О форме будущего «Востока» спорили довольно долго. Предлагались конусы, полусферы, цилиндры и, наконец, сфера, шар. Королеву шар сразу понравился своей законченной простотой. В шаре инстинктивно ощущается совершенство формы. Впрочем, Королев не доверял инстинктам. Он знал, что для шара легко рассчитываются аэродинамические характеристики, что полет его при смещенном центре тяжести (ванька-встанька) обладает приемлемой устойчивостью на всех предполагаемых скоростях, что суммарные тепловые потоки во время входа в атмосферу на шаре будут меньше, чем на конусах и цилиндрах.

Все лето 1959 года ушло на разработку технической документации на беспилотные экспериментальные корабли. В сентябре закончили сборку наземных испытательных стендов для отработки отдельных механизмов, агрегатов, систем ориентации, тепловой защиты — им нет конца. Как вы понимаете, поскольку уникальным был сам космический корабль, стенды для его испытаний не могли быть типовыми. Их тоже надо было проектировать, строить, испытывать и переделывать.

Тогда же осенью ВВС, которым было поручено отобрать кандидатов для космического полета, отозвали в Москву первую группу летчиков-истребителей. 3 октября 1959 года в госпитале впервые встретились и познакомились Юрий Гагарин, Павел Попович, Герман Титов, Владимир Комаров, Павел Беляев, Алексей Леонов, Андриян Николаев, Валерий Быковский и другие пилоты. Было принято решение о формировании отряда космонавтов. С этого дня начинается история ЦПК — Центра подготовки космонавтов, — которому ныне присвоено имя Ю. А. Гагарина. Но в ту зиму Центра как такового еще не было. Первое занятие будущих космонавтов состоялось 14 марта в Москве недалеко от стадиона «Динамо». До старта Гагарина оставалось всего тринадцать месяцев — совсем немного.

Той же зимой на пустынных берегах озера Балхаш начались испытания парашютной системы «Востока», созданной в коллективе, которым руководил будущий лауреат Ленинской премии Николай Александрович Лобанов. Лобанов разработал свой первый парашют еще в 1933 году. Он обеспечивал возвращение аппаратуры и живых объектов во всех докосмических научно-исследовательских ракетных пусках.

— Если быть точным, мы рассматривали парашют не как спасательное средство, а как посадочное, — рассказывал Лобанов. — Мы научились возвращать контейнеры с научной аппаратурой, потом — с собаками. Задача наша стала потруднее... Значит, нужно использовать природой данное: торможение атмосферой. Оказалось, что контейнер, падающий с четырехсот километров, на двенадцатикилометровой высоте имел скорость сто сорок метров в секунду, а на шестикилометровой — всего восемьдесят. Тогда и можно спокойно открывать парашют. Словом, к тому времени, когда в конструкторском бюро Сергея Павловича Королева был разработан корабль-спутник — прототип гагаринского «Востока», мы уже располагали необходимым опытом, позволявшим твердо верить в успех небывалого космического мероприятия...

После продувок в аэродинамических трубах и сбросов с самолетов на Балхаше состоялись испытания макета «Востока». Сложность этих испытаний заключалась еще и в том, что в момент сброса макета корабля с транспортного самолета «АН-12» (кстати, тут помог Королеву давний товарищ-планерист: Генеральный конструктор О. К. Антонов), находящегося с пятитонным грузом на предельной высоте около десяти километров, резко менялась центровка самолета и управлять им было очень трудно.

В конструкторских бюро и научно-исследовательских институтах шла отработка всей «начинки» космического корабля, начиная с тормозной двигательной установки, кончая питательными тубами с вишневым вареньем. Одновременно продолжалась доводка ракеты-носителя. Представить себе полный объем всей этой работы невозможно, как нельзя представить миллион. Трудно вообразить даже истинные масштабы работы какого-нибудь одного коллектива. Например, прибористов, которыми руководил давний, еще с 1945 года, и верный соратник Королева, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, Главный конструктор систем управления, будущий академик Николай Алексеевич Пилюгин. Ведь ракета, на которой стояла их система управления, должна была поднять в космос человека, значит, к ней предъявлялись особые требования по надежности.

Не менее сложные задачи стояли перед лабораторией, которой руководил академик Георгий Иванович Петров, будущий Герой Социалистического Труда. Здесь решали вопросы борьбы с колоссальными тепловыми потоками, которые обрушивались на спускаемый аппарат в момент его входа в плотные слои атмосферы.

Я назвал Н. А. Пилюгина и Г. И. Петрова, но если говорить о создателях космического корабля «Восток», надо было бы назвать десятки главных конструкторов, сотни ведущих, тысячи старших и десятки тысяч рядовых инженеров, техников и рабочих. Очень много людей в нашей стране имеют полное право сказать: я делал корабль Гагарина!

С самого начала работ Сергей Павлович никогда не рассчитывал на то, что с «Востоком» все пойдет гладко, без сучка и задоринки. И главный смысл в испытательной работе Королев видел в ясном понимании причин отказов и в обнаружении неких порочных закономерностей, которые могли привести к будущим отказам. Знать — понимать — предвидеть: движение по такому курсу должно было привести к успеху. Поэтому когда первый корабль-спутник уже с системой ориентации и тормозной двигательной установкой в мае 1960 года не захотел сходить с орбиты, Королев прежде всего стремился узнать, почему это произошло. Разобрались очень скоро: не сработала инфракрасная вертикаль, тормозная установка превратилась в разгонную, корабль ушел на более высокую орбиту. Об этом

потом вспоминал один из заместителей Королева, Герой Социалистического Труда, член-корреспондент АН СССР К. Д. Бушуев:

— Мы возвращались однажды с работы вместе с Королевым на машине. Не доезжая квартала до его дома, Сергей Павлович предложил пройти пешком. Было раннее московское утро. Он возбужденно, с каким-то восторженным удивлением вспоминал подробности ночной работы. Признаюсь, с недоумением и некоторым раздражением слушал я его, так как воспринял итоги работы как явно неудачные! Ведь мы не достигли того, к чему стремились, не смогли вернуть на Землю наш корабль. А Сергей Павлович без всяких признаков огорчения увлеченно рассуждал о том, что это первый опыт маневрирования в космосе, перехода с одной орбиты на другую, что это важный эксперимент и в дальнейшем необходимо овладеть техникой маневрирования космических кораблей и какое это большое значение имеет для будущего. Заметив мой удрученный вид, он со свойственным ему оптимизмом уверенно заявил: «А спускаться на Землю корабли, когда надо, у нас будут! Как миленькие будут. В следующий раз посадим обязательно».

Королев слово сдержал: 19 августа 1960 года второй корабль-спутник с собачками Белкой и Стрелкой на борту, с двумя крысами, 28 мышами и целым выводком мух-дрозофил вышел на орбиту, а на следующий день приземлился с точностью вполне удовлетворительной. Возбужденный, радостный Королев специально летел в Орск, чтобы встретить космических путешественников: ведь это были первые живые существа, вернувшиеся на Землю из космоса.

Успех требовал закрепления. В конструкторском бюро всю осень шла работа, которую инженеры называют доводкой. Старт третьего корабля-спутника был назначен на 1 декабря. Спускаемый аппарат с Пчелкой и Мушкой во время спуска сорвался на нерасчетную траекторию и погиб. Новый год Сергей Павлович встречал в Москве, потому опять улетел на космодром. «Готовимся и очень верим в наше дело», — писал он жене Нине Ивановне 27 января. Он готовился к новым испытательным стартам и очень верил, что полет человека в космос близок. Готовился и верил.

В творческом почерке академика С. П. Королева есть одна особенность, кажущаяся поначалу противоречием. Многие специалисты, работавшие с ним, отмечают, что Сергей Павлович не любил эту самую доводку конструкций, предоставляя эту работу другим, а сам старался поскорее заняться чем-то новым, более сложным. С другой стороны, желание двигаться вперед, горячее нетерпение решить эту новую, более сложную задачу не могли заставить Королева поступиться надежностью конструкций, никогда спешка, а подчас и чужие требования быть впереди не могли заставить его изменить выбранным научно-техническим принципам, а говоря точнее — жизненным, человеческим принципам. И той зимой в начале 1961 года не было для него ничего важнее двух этих беспилотных кораблей, что стояли в просторном, гулком, как железная труба, монтажно-испытательном корпусе, к воротам которого пронзительные ветры, прозванные сборщиками пескоструями, намели высокие сугробы.

В пилотском кресле четвертого корабля-спутника сидел Иван Иванович. За прозрачным забралом скафандра застывшее, восковой желтизны лицо его выглядело жутковато, и чтобы не пугать людей, которые могли обнаружить Ивана Ивановича после катапультирования и приземления, за окошком шлема прикрепили плакатик с крупными буквами: «Манекен». Это был так называемый антропометрический манекен — усредненное по росту и весу человеческое чучело. Вместе с ним летели собака Чернушка и другая живая мелочь, проходившая в документации под гордым именем биообъекты. Корабль взлетел 9 марта 1961 года и, облетев вокруг Земли, благополучно приземлился.

В этот день Юрию Гагарину исполнилось двадцать семь лет. Знал ли он, что через месяц с небольшим полетит в космос? Сроков не знал, не уверен был, что именно ему доверят этот полет, но вообще-то догадывался. По пристальному вниманию к себе, по придирчивости наставников на экзаменах и зачетах, по отношению друзей, уже решивших между собой, что первым будет или он, или Герман Титов.

Не только Гагарин не знал даты своего старта. Королев тоже не смог бы тогда назвать ее. Он назначил еще один экзамен — новый беспилотный пуск, который должен был дать однозначные ответы на все вопросы, дать полное спокойствие и уверенность людям. Этот старт был нужен ему самому. Не перестраховки ради, не для того, чтобы, случись какая беда, лишняя бумажка с протоколом оправдывала его. Нет, ответственности он не боялся, брать на себя тяжкий ее груз привык давно. Сам себе и тому улыбчивому старшему лейтенанту должен был он сказать: «Все сделано правильно, и я во всем уверен». Ответственность не перед каким-то конкретным начальником — перед сотнями и тысячами людей, отдавших себя этой работе, перед страной, перед человечеством. Королев понимал, что значит первый полет человека в космос. Нужна была только победа, и он хотел быть уверенным в этой победе. 25 марта пятый корабль-спутник с новым Иваном Ивановичем, с веселой Звездочкой дал ему эту уверенность. Член-корреспондент АН СССР Борис Викторович Раушенбах вспоминает:

— После того как был удачно завершен последний, чистовой отработанный полет точной копии будущего «Востока» и было принято решение, разрешавшее старт человека, сюда (на космодром.— Я. Г.) прибыли многочисленные группы различных специалистов. Хотя эти группы действительно были многочисленными, среди прибывших полностью отсутствовали лишние. Руководители подготовки к полету и прежде всего возглавлявший техническое руководство Сергей Павлович строго, не считаясь с возможными обидами, следили за тем, чтобы здесь собрались только работники, которые входили в категорию «очень нужные». Просто «нужные» и тем более всего лишь «полезные» должны были оставаться на своих повседневных рабочих местах и лишь в случае самой крайней необходимости могли быть вызваны на космодром.

Это облегчало создание обстановки обычных четко распланированных рабочих будней. Надо сказать, что подобная будничность чрезвычайно нужна при столь ответственных начинаниях, она позволяет работать быстро и спокойно, сохраняя уже сложившиеся при отработочных пусках космических аппаратов связи и взаимоотношения. Строго поддерживаемая деловая обстановка исключала проявление каких-либо неуместных эмоций, как проистекающих из самонадеянности (мы все можем!), а следовательно, ведущих к поверхностности в работе, так и связанных с робостью, страхом перед неизведанным (как бы чего не вышло). Эта деловая будничность была одной из главных особенностей тех памятных дней.

Размеренный рабочий ритм отчасти был нарушен 5 апреля, когда на аэродроме один за другим приземлились три самолета «ИЛ-14». Прилетели инженеры, врачи, кинооператоры. Прилетели генерал Н. П. Каманин и 6 космонавтов. Королев встретил их у трапа. Он шутил, говорил весело и больше чем обычно. За этой оживленностью люди, давно его знавшие, угадывали натянутый до предела нерв. Он коротко сказал о графике работ: 8 апреля, вероятно, можно будет вывезти ракету на старт, а 10—12-го лететь. Космонавтов поселили в добротном двухэтажном каменном коттедже — это было самое лучшее здание на космодроме в то время.

Королев поручил Е. А. Карпову, старшему среди медиков, составить поминутный график занятости командира и дублера в предстартовые дни. Он считал, что космонавты должны все время быть чем-то заняты, ведь безделье расслабляет, расхолаживает, отвлекает.

На следующий день в 11.30 Главный конструктор открыл техническое совещание с участием главных конструкторов двигателей, системы управления, наземного оборудования и других систем. Присутствовали представители всех предприятий и служб: двигателисты, прибористы, связисты, управленцы, стартловики, медики... Королев требовал отладки системы регенерации воздуха на несколько суток полета, хотя по программе она должна была работать менее двух часов. Он вновь и вновь задавал вопросы о результатах испытаний и проверки скафандра, катапультируемого кресла, блока автоматики, в котором была заложена программа приземления. Он искал все возможные недоделки, недодумки, не находил, но не успокаивался. Этот дух сомнения, эту страсть поиска он хотел передать всем сидящим напротив него людям, потому что понимал: будь он и семи пядей во лбу, один он всего сделать не сможет. Неимоверная сложность и небывалый размах этой работы требовали коллективных усилий, и экзамен предстояло держать не только его, Королева, научно-техническим решениям, но и его способностям организатора и воспитателя всех этих людей.

Полетное задание на первый космический полет подписали председатель Государственной комиссии, Сергей Павлович Королев, Мстислав Всеволодович Келдыш, Николай Петрович Каманин и другие члены Государственной комиссии.

Вопрос, кто полетит, оставался пока открытым. Вернее, выбор уже был сделан, но формально командир «Востока» еще не был утвержден. Во всяком случае, вечером того же дня космонавты, подчиняясь плотному графику Карпова, примеряли скафандры и подгоняли подвесную систему парашютов. Гагарин сохранял свою неизменную спокойную приветливость, держался ровно и просто, словно вопрос, кто же займет кресло в первом космическом корабле, мало его интересовал. Между тем до 10 апреля Гагарин не мог знать точно, что это предстоит сделать ему.

Пружина нервного напряжения медленно взводилась, несмотря на подчеркнутую будничность всего хода работ, о которой говорил Раушенбах. И если бы этого не было, это было бы ужасно, это означало бы, что полет человека готовят не люди, а роботы с транзисторами вместо сердец. Нет, они волновались, волновались, как Колумбова команда, ведшая «Санта-Марию» к неизведанному берегу 12 октября 1492 года. Святое волнение, и высшее счастье для человека пережить его хоть раз в жизни!

На последнем заседании Государственной комиссии 10 апреля командиром был утвержден Юрий Гагарин. Королев чувствовал: момент исторический. Он говорил о первом спутнике, о последних годах напряженной работы и их итоге — первом полете человека в космическое пространство. Он говорил о полетах будущих. Они не за горами.

— Даже в этом году, — сказал Сергей Павлович, взглянув на сидящего рядом с Гагариным Титова.

Он говорил серьезно и весело одновременно. Он излучал бодрость, уверенность:

— Скоро мы будем иметь двух-трехместный корабль. Я думаю, присутствующие здесь космонавты, если мы их попросим, не откажутся вывезти и нас на космические орбиты...

Да, он излучал на этом заседании бодрость и уверенность, невозможно было представить даже, как он устал. Даже не физически. Скорее от мыслей. Впрочем, и физически тоже.

11 апреля в 5 часов утра он уже был в монтажно-испытательном корпусе. Вывоз ракеты был назначен на 7, но у телеметристов случилась какая-то заминка. Королев понял это сразу, когда увидел у хвоста ракеты не убранные до сих пор площадки обслуживания. Он молча пожал руку Анатолию Семеновичу Кириллову и по тому, что руководитель стартовиков не доложил ему о телеметристах, вообще никак не прокомментировал сам факт присутствия этих людей, ковыряющихся в хвосте носителя, понял, что Кириллов надеется войти в график. Однако Сергей Павлович счел полезным демонстративно посмотреть на часы, а несколько минут спустя Кириллов столь же демонстративно скомандовал:

— Тепловоз к установщику! Приготовиться к вывозу! — И, обернувшись к Королеву, сказал уже не командирским, а этаким светским, изысканно вежливым голосом: — Прошу к выходу. До вывоза около минуты. — И сам теперь демонстративно посмотрел на часы.

Королев засмеялся, обнял испытателя и пошел вдоль ракеты, мимо тихо гудевшего электровоза, навстречу свету в широко распахнутых воротах МИКА.

По ритуалу, давно заведенному, ракету проводили до того места, где рельсы сворачивали к стартовой площадке. Там стояла машина. Королев сел сзади вместе со своим заместителем по испытаниям Леонидом Александровичем Воскресенским. Кириллов впереди с шофером. Ехали молча. Молчание было естественным, даже необходимым в эти минуты, и то, что Королев вдруг заговорил, было неожиданно для них. Впрочем, он говорил не им — себе:

— Меня все время тревожит одно: нет ли такой штуки в ракете или корабле, которую нельзя обнаружить никакими проверками, но которая может преподнести сюрприз в самое неподходящее время? Не торопимся ли мы с пилотируемым пуском? Достаточен ли объем предстартовых испытаний? Может, имеет смысл его расширить?

Он просил успокоить его. Но эти люди, которые знали и любили его много лет, не поняли этого — настолько это было не похоже на Главного конструктора. Они молчали.

— Что будет, если мы не сумеем выявить скрытый дефект в какой-либо жизненно важной системе ракеты или корабля? Мы не имеем права не обнаружить или пропустить такой скрытый дефект! Сомнения могут быть всегда. Даже тогда, когда все проверено и перепроверено. Без риска не может быть движения вперед, без риска нельзя быть первым. Но риск нужно обосновать и свести к минимуму...

Его спутники молчали.

Ракету поставили без замечаний. По готовности «двадцать четыре часа» тоже все шло нормально. В 13.00 Гагарин приехал на старт для встречи с теми, кто готовил для него космический комплекс. Встречу эту придумал Королев. Ему хотелось с этого самого первого старта заложить определенные традиции, установить некую форму космических проводов.

После митинга на стартовой Королев, наскоро пообедав, вызвал к себе Раушенбаха и Феоктистова и попросил их еще раз переговорить с Гагариным и Титовым, мягко, без всяких экзаменационных строгостей выяснить, насколько точно усвоили они свое полетное задание. Раушенбах и Феоктистов понимали, что работа эта зряшная, что если космонавты и не знают чего-то, то учить их поздно, но перечить Главному не стали.

В домик к космонавтам сам он пришел уже вечером. Ни о чем их не расспрашивал, ни о каких делах не говорил, шутил, потом быстро ушел. Ни Карпов, ни космонавты не поняли, зачем он, собственно, приходил. А приходил он, чтобы вновь удостовериться: живы, здоровы, спокойны, все идет по плану.

В 22.00 Карпов уложил космонавтов в постель. Королев пошел домой. Домик его стоял рядом с домиком космонавтов, их разделял только небольшой палисадник. Сергей Павлович взял старый журнал, принялся читать, тут же отложил и вызвал по телефону машину. Пока она шла из гаража, он опять пришел к Карпову узнать, что делают космонавты. Разговаривали шепотом: Гагарин и Титов уже спали.

Расспрашивая очень многих людей, я так и не мог выяснить, спал ли Королев в ночь с 11 на 12 апреля. Складывается впечатление, что не спал и даже не ложился. Он присутствовал и на проверке связи с наземно-измерительными пунктами, и на заправке ракеты, и в момент загрузки в корабль туб с космической пищей. Космонавты уже встали. После зарядки, завтрака и короткого медосмотра их начали облачать в скафандры. Королев позвонил Карпову, когда Гагарин и Титов уже были одеты. Доклад медиков прокомментировал коротко:

— Хорошо...

Стояло зябкое апрельское утро. Королев был в своем старом драповом пальто, в черной велюровой шляпе. Гагарина расцеловал, стараясь не удариться о кромку забрала гермошлема. Стоя у лестницы, ведущей к лифту, долго махал рукой...

После посадки космонавта в корабль два предстартовых часа на связи с ним находился Павел Романович Попович. Иногда в переговоры вступал Николай Петрович Каманин. Королев говорил с ним только перед самым стартом. Известны кинокадры, когда Сергей Павлович желает Гагарину счастливого пути. Все было подчеркнуто буднично. Королев сидел молча у своего «персонального» перископа, изредка прикладывая лицо к мягкой черной резине, окружавшей окуляры подобно маске ныряльщика. Все команды и отсчет времени давали Анатолий Семенович Кириллов и Леонид Александрович Воскресенский. Кнопку «пуск» нажал Кириллов.

После команды «Земля — борт!», когда от ракеты отходят кабель-мачта и, кроме четырех стартовых опор, ничего не связывает ее с Землей, Королев уже не отрывался от перископа.

— Зажигание! — торжественно прозвучало в динамике громкой связи, и Королев увидел, как невидимый еще за конструкциями стартового комплекса огонь высветил снизу ракету. — Предварительная! Главная!

Грохот пришел под землю, в бункер. Королев чувствовал его всем телом. Из стремительно растущего облака дыма и рыжей пыли медленно поплыл вверх конус обтекателя, под которым был укрыт корабль Гагарина. В страшном трескучем грохоте беззвучно распахнулись, мягко повалились навзничь стартовые фермы.

— Поехали! — крикнул Юра.

Он улетал в космос, а Королев оставался на Земле.



РАВИЛЬ БУХАРАЕВ

★

МИНУТЫ ПОЛНОЧИ НЕМЫЕ...

Закат опаздывал на запад,
скользя по облаку, когда
черемуховый стался запах
вблизи примолкшего пруда.
Застыть под наледью готовясь,
темнела зыбкая вода,
цветенье к заморозкам, то есть
грядут на почву холода.
Цвести, пуская цвет на ветер,
не ново, скажет вам любой
студент российский, или Вертер,
или ни тот и ни другой.
Весна в России просто ересь —
готов заведомый ответ,
но за крестом окна, колеблясь,
горит над Чернышевским свет.
Ум проясняется впервые,
еще способен он пока
ночь разложить на составные,
на свет свечи и цвирк сверчка.
Замолкнет враз дружок
запечный —
и в черном шелесте тогда
возникнет вновь вопрос извечный:
что делать дальше, господа?
Замысловато длились годы
шестидесятые, увы,
наивным призраком свободы

смутив незрелые умы.
Фарс либеральный,
чистоплюйский,
слова! Ни слова о делах!
До сей поры мороз вилюйский
мертвит посевы на полях.
До сей поры, без красных чисел —
он выбирал себе судьбу? —
Антон Петров идет под выстрел,
икону приложив ко лбу!
Пророки крепостной России!
Над вашим воинством босым
крылами звездными косыми
бьет шестикрылый серафим.
Он время выжидает, медля.
Пред ним равны — вне дел
и слов —
и Стенька Разин, и Емеля,
и безденский Антон Петров.

Что делать? Жить на грани фарса?
Еще далеко брезжит суть.
От Чернышевского до Маркса
по Бездне пролегает путь.
Минуты полночи немые
сверчок считает, стрекоча.
Мерзлы озимые в России.
В пространстве теплится свеча.

ЭМ. АЛЕКСАНДРОВА

★

СТАРЫЙ ГОРЕЦ

Старый горец, взгляд орлиный...
Не устану вспоминать
Эти снежные седины,
Эту царственную стать.

В странной близости курорта
Неожиданно возник
Древним джином из реторты
Этот сказочный старик.

На каурке, в черной бурке,
Из-под бурки газыри...

Ошарашенной девчурке
Он предстал в лучах зари.

Четко врезал в медь заката
Свой чеканный силуэт,
Профиль гордый и горбатый
В память вбил на много лет.

Не исчез — остался в детстве
Величавым духом гор.
Оглянуться, оглядеться:
Там ли, там ли до сих пор?

И. МЕТТЕР



МОЙ ДРУГ АНТОН

Рассказ

I

Познакомился я с Антоном Ивановичем лет двадцать назад, в те времена, когда он еще служил егерем в заказном охотхозяйстве. Егерей здесь было человек пять, но сблизился я лишь с Антоном.

Жил он на кордоне у самой реки, яростно впадавшей в залив. Просторный щитовой дом был рассчитан на двоих: в одной половине жил Антон, в другой — вечно вполпьяна егерь Сергей. У обоих были семьи.

Жену Антона, Настю, постигло горе. В субботний вечер после бани — муж с сыновьями еще парились на полке — Настя взобралась в доме на табурет сменить под потолком отжившую лампочку. Табурет сыграл под ее ногами, кувырнулся, она грохнулась левой половиной тела об пол. Сколько людей падают так, и ничего с ними не случается, а у Насти к утру отнялись нога и рука — обе правые. А было ей в ту пору всего сорок лет.

Быть может, живи она в городе, в областном центре или даже в районе, нашлись бы на эту болезнь умелые врачи. Однако кордон на берегу реки стоял от ближайшего поселка в двадцати километрах — шесть были завалены непроезжим снегом.

Ковыляя по квартире, Настя все думала, что рука и нога отойдут, начнут действовать, но рука повисла в окончательной ненужности, а мертвую ногу пришлось волочить за собой, как полено.

Хозяйство у Антона хоть и было невелико — штук пять овец, поросенок, куры, — а и оно требовало о себе заботы. Конечно, и он подключился к домашнему делу, и сыновья, но главная обуза лежала на Насте. Казалось бы, что наработаешь одной половиной тела, да еще левой, а Настя справлялась. Плакала, убивалась над своей беспомощностью — и справлялась.

Не знаю, как было раньше в их доме, до Настиного горя, — при мне же и двор, и огород, и квартира содержались в такой ухоженности, что не всякая здоровущая баба достигла бы подобной исправности.

Сперва, в первый год нашего знакомства, Настя стеснялась своего калечества, и когда я появлялся, она тотчас присаживалась на табурет или на крыльцо, скрадывая свою кособокость, — сидит себе, как все люди сидят. И только глаза ее были угнетены болью.

В семье не причитали над ней, не ахали — глупому человеку могло даже показаться, что ее не жалеют. Никто не кидался ей на подмогу, когда она, согнувшись сколько могла, принималась одной

рукой намывать полы или стирать белье. В доме она оставалась хозяйкой, а именно так ей и было легче на душе.

Антону я удивлялся. Ему ведь, бедняге, тоже было не просто: с сорока пяти его крепких лет он оказался супругом малопривлекательной к семейной жизни жены. Однако я никогда не слышал ни одного слова ропота от него. Даже сильно выпив, он не унижался до жалоб на свою злую долю. И лишь перед самой смертью Насти, когда она месяца полтора лежала в постели уже совсем недвижимая, беспаятная, а он метался, ухаживая за ней, как за малым ребенком, — лишь в эту горькую пору он выходил ко мне в соседнюю комнату, открывал печную вьюшку, чтобы уносило дым от курева, и, часто сморкаясь, говорил:

— Вот, мать его так... Ну надо же, как получилось...

Трех сыновей родила ему Настя, и все они вымахали в рост и в ширину кости не в отца и не в мать — сильные мужики. Двое после восьми классов не приохотились к дальнейшему ученью и ушли на шоферские курсы. А третий, Мишка, отломился от них, стал ходить в девятый класс.

До поселка, где было полное обучение, набегало в одну сторону километров двадцать в любое ненастье.

Мишка, самый молчаливый в этой и вообще малословной семье, рос непохоже на своих братьев. Все, чем сманивала окрестная местность — охота, рыболовство, грибы, — не занимало пацана.

Когда бы я ни появлялся на кордоне, он возился в сарае с какими-то железяками, проволочками, досточками, вникая в нечто для меня неведомое. Расспрашивать его было бесполезно.

— Ты что мастерить?

А он наклонит свою большелобую не по возрасту голову — в глаза он редко смотрел, смущался — и хмуро ответит:

— Одну вещь.

— Она что, летать будет?

— Зачем летать, — отвечал он суровым голосом ученого, в лабораторию которого вломился кретин.

Для преодоления долгого пути от дома до школы Мишка построил себе самоходный аппарат: к двум широким коротким лыжам приладил велосипедное колесо, старенький движок, седло и на этом аппарате мчался по снежной целине.

Мне нравилась в семье Антона невидимость нитей, скрепляющих ее. Понять, кто главный здесь, было не так-то просто. Тут все разговаривали друг с другом ровным, достойным тоном. Не знаю уж, как в раннем детстве сыновей — этому я не был свидетель, — но вот нынче, если кто-то из них совершал поступок, который мог огорчить или возмутить отца, он замирал лицом, но своего осуждения не выказывал.

Старшие сыновья жили своими домами в соседних районах. На праздники и по выходным приезжали на кордон. Семейная жизнь их устроилась не сразу складно, однако подробности своих нескладниц они не навешивали на родителей.

Сперва переженился старший сын — Владимир.

Отцу с матерью ничего доложено не было. Приезжал Володька в гости со своей женой, года два ездил, и худого за ними не замечалось. Потом он пропал на время, а объявился уже один и с месяц так и наезжал один.

Настя спросила его:

— Ты чего это один? Может, у вас что получилось с Любой? Володька увязывал снасти, собирался на рыбалку. Ответил:

— Ничего у нас с Любой не получилось.

Настя попросила:

— Мог бы и рассказать матери.

Володя был самый пригожий сын, рослый, белокурый, степенный в движениях. Он медленно улыбнулся в ответ:

— А ты, мама, не бери это в голову. У тебя вон сколько забот...— И пошел на реку к лодке.

Необидно он сказал, не в том смысле, что, мол, не твое это дело, мать. Сказал жалеючи, ему казалось, так будет здоровее, лучше.

А Настя попыталась было уговорить мужа узнать все-таки у Володьки, какое его семейное положение и в чем причина его одиночества.

Антон ответил кратко:

— Ему жить. Как постелет, так и поспит.

С осени старший сын стал привозить новую жену. Вероятно, она ожидала, что к ней отнесутся враждебно или, по крайности, настороженно, однако Антон и виду не показал, что в жизни сына произошла перемена.

Сидели за столом всей семьей, ели, пили, а разговор шел о том, что пора картошку копать — сажал Антон пятнадцать соток. Одной Насте хотелось бы иной беседы, но муж и сыновья были калеными мужиками, их было не сбить в сторону.

Вскрости после Володи переженился и второй сын — Петр. Этот был помягче брата, да и дело с ним было яснее: первая жена не пришлась ко двору на кордоне. Уж очень унижала Петьку на глазах у родителей и братьев. Выпендривалась: вроде она исключительно городская и ей невмоготу жить в районе. Петя, на удивление братьям, сносил все это, ну а раз ему до фонаря, то и они помалкивали.

Пришел, однако, день, когда и он появился на кордоне один, без жены, да еще с фингалом под глазом.

— Кто это тебя так? — спросила Настя.

— Машину заводил — ручкой.

Антон колот дрова, услышал ответ сына и только буркнул незло:

— Ври покладней.

В первый свой одинокий приезд Петя так ничего и не рассказал родителям, а недели через две заявился к ним с чемоданом, приехал на своем «Запорожце», на заднем сиденье лежал рюкзак.

Было это в пятницу, прожил он субботу, а в воскресенье к вечеру сообщил:

— Хотел я тут у вас дней десять провести, мне за прошлый год отпуск дали. Я на сеновале посплю, в сарае. Не возражаешь, отец?

— Хоть где, — сказал Антон.

Ночью зашумела река, полоснул ливень, гроза накрыла кордон, гром бил по нему, сотрясая оконные рамы в доме.

Антон спал крепко, храпел, а Настя не спала.

Она села на постели — лежала с краю, — нащупала свое платье на стуле и, прихватив его, проковыляла на кухню. Здесь она кое-как оделась, накинула мужнин плащ, хотела натянуть и резиновые сапоги, но не смогла — до мертвой ноги было не дотянуться живой рукой.

Покуда шлепала по воде от крыльца до сарая, криво согнувшись на ветру, сильно вымокла.

Сарай был не заперт на щеколду, Настя шатнулась в него и прикрыла за собой дверь. Здесь было темно, но Петя окликнул ее сверху, с сеновала:

— Мама!

— Иди в дом, — сказала Настя.

Он спустился вниз по лесенке, засветил ручной фонарик.

— Ты не переживай, мама.

Увидев, что она вся мокрая, он снял с нее плащ, накрыл своим ватником, вытер сеном ее ноги, скинул с себя сапоги и обул ее.

— Я грозы не боюсь, — сказал Петя слишком веселым голосом. — Мне тут хорошо, лежу на сене, рассуждаю сам с собой...

Сквозь щели метнулся неживой свет молнии, зарычал, приближаясь, гром и лопнул над самой крышей.

Настя заплакала.

— Пока росли маленькие, все были мои, а сейчас чем старше, тем от меня дальше... Иди в дом, заколеешь здесь.

— Не пойду, — сказал Петя. — Мне отца совестно.

— А меня не совестно?

— Так ты ж мама.

— Ну и где теперь жить будешь? — спросила Настя.

— Есть один человек, — сказал Петя. — У нас с ней давно было, еще когда я неженатый ходил.

— Что ж ты на ней-то не женился?

— Дурак был. Не понимал себя... А тут Ирка после армии подвернулась. Я в нее вроде влюбился, а она меня за человека не держала. И подали мы сейчас на развод.

— Обое подали? — спросила Настя.

— Ясное дело, обое, — соврал Петя для собственной бодрости и чтоб не огорчать мать. — Все по-хорошему, ты не думай. Дом — Ирка. «Запорожец» — мне. По оценке выходит так на так.

Торопливо рассказывая матери, желая утешить ее, он и сам убеждал себя, как все просто и складно у него получилось — никто не в обиде, — хотя на самом деле, лежа сейчас на сене без сна, он клял свой характер за унижение, робел, не выкинет ли какую штуку Ирка на суде, да и вся его будущая жизнь представлялась ему полосатой.

А Насте была неясна жизнь сыновей, они сохранились в ее прямой материнской памяти мальчиками, и никак было не увязать этих мальчиков с теми взрослыми мужчинами, которые продолжали быть ее сыновьями, но их слова и поступки были чужими для нее. Они уже не нуждались в ее заботе, а сердце Насти все еще источало эту лишнюю заботу, словно в ее груди копилось молоко, но кормить им было уже некого.

Гроза выдалась быстрой — буйно погостив над кордоном, она переползла на залив, оттуда доносился ее разбойничий прощальный свист.

Петя проводил мать до крыльца, хотел даже перенести ее на руках через лужи, но она не далась.

Окно кухни светилось. За столом сидел в исподнем Антон, смотрел старую газету.

Настя вошла, скинула ватник.

— На свиданье бегала? — спросил Антон.

— А с кем ему поговорить как не с нами? — сказала Настя.

— Я к ихним делам не касаюсь, — сказал Антон. — И ты не встрывай.

Он снял с нее сапоги, погасил свет. Настя легла, а Антон еще подымил в открытую печную дверцу.

Он все прикидывал, в кого они пошли, его сыновья. Вроде и есть схожесть с ним и с Настей, и там, где он наблюдал это сходство, оно его радовало. А перед различием он застывал в молчаливом недоумении. И вникать в это различие не желал... Нынешним летом Антон возил одного профессора на рыбалку. Ездили они по заливу, ловили на дорожку. Щука не брала совсем, профессору было скучно елозить по одному и тому же маршруту вдоль каменной гряды, и он стал рассказывать Антону про наследственность. Выходило по этому профессору, что дети, случается, похожи не на своих родителей, а на дедов или прадедов. И теперь, курая в печь, Антон подумал, что, может, у него в крови затаился какой неизвестный дед, на Антона он действия не оказал, а в Петьку с Володькой маленько выбрызнулся.

Когда он улегся рядом с Настей, она, словно угадав, о чем он думал, спросила:

— В кого ж они уродились?

— А ни в кого, — сказал Антон. — Время нынче такое: наведут полный дом невесток, а мы разбирайся с ними... Спи.

2

Живя у самой реки, Антон служил в заказном охотхозяйстве рыбацким егерем. Служба эта колготная до невозможности.

Рабочего дня у Антона не существовало — были рабочие сутки круглую неделю. Ранним ли предрассветным утром, поздней ли ночью стучались в окошко его квартиры гости — так положено было называть тех людей, что имели билеты — разрешение на ловлю. Гостям следовало выдать лодку, а с теми, кто посановитей, Антон выезжал на катере.

С мая месяца по октябрь, полгода кряду, он спал клочковато, как попало. Он и не раздевался на ночь, только стаскивал сапоги, чтоб не затекали ноги. В постель с Настей не ложился, а придремывал в другой комнате на оттоманке, подсунув под голову твердый валик — на нем не разоспишься. Лишь в сильное ненастье, когда река и залив разгуливались, выпадала Антону тихая ночь.

Лодки и три катера стояли на воде под окнами его дома, прикованные цепями к кольцам цементного мола. Весла с якорями были замкнуты в сарае. Поднятый гостем на ноги, Антон шел, не разлепляя глаз, к сараю, выбирал там нумерованные весла, когтистый якорь с веревкой и груженный спускался к реке. Здесь он отмыкал ключом из огромной связки ту лодку, номер которой соответствовал веслам.

А воротившись с рыбалки, гость снова будил егеря, и тот проделывал всю прежнюю операцию уже наоборот: замыкал лодку и тащил весла с якорем в сарай.

Время суток — утро, день, вечер, ночь — мутно склеивалось в голове Антона. А тут еще и гости попадались всякие. Вырвавшись из города, с работы, от семьи, от нудных, опостылевших забот на волю, иной человек полоумел. Он шалел от безнадзорной свободы, для него наступал праздник плоти и духа, а справлял он его согласно своей натуре.

Охотхозяйство располагало крупными угодьями: тысяча десять гектаров хвойного леса со всякой птицей и зверьем и километров пять порожистой широкой реки, такой неистойвой, что в ветреную погоду по ней кудрявились седые волны. Ее лукавое, капризное течение то набирало скорость, то внезапно замедлялось на поворотах до ласковой неподвижности, а затем, словно обезумев, вырывалось напрямую. Один берег был высок и лесист, а другой высок, но гол.

Река впадала в залив. На самом деле она не впадала — отчаянно неслась, гонимая наслаждением от предстоящей встречи.

Сотни раз, сидя на стрелке в заякоренной лодке, я даже в тишь видел, слышал и ощущал всем телом нетерпение воды, окружающей меня. Впереди и по сторонам сколько видно было глазу упруго натянутая поверхность реки радостно мчалась вдаль; позади же меня, задержанная лодкой, вода нервно билась о борт, хлопья пены, как на губах припадочного, скапливались у якорных веревок. Туго спружиненные, они трусливо, мелко вздрагивали. Лодка робела, ее тоже была дрожь.

Но я не знаю большего счастья, чем сидеть вот так на этой веселой живой реке, отключенным от действительности, когда все миллионы датчиков твоего занузданного существа воспринимают только безобидное бескрайнее небо и стремительную воду.

Это ощущение особенно явственно на рассвете, даже до рассвета, когда день еще не занялся и ночь еще не отступила. Это уже не крошечная темень, хотя крошечно темно, однако ты не по-людски, а как зверь чувствуешь, что сейчас медленно начнет редеть мрак. И от

этого предчувствия — всего лишь от предчувствия! — ты обретаешь зоркость.

Я складываю на ощупь рыбацкие снасти в лодку. И так же на ощупь вставляю весла в уключины. Их пока надо держать по борту, не опуская в воду, — рядом вплотную колышутся соседние лодки, словно вздыхая, что я выбрал не их.

Отталкиваясь от них руками, я выползаю на свободную поверхность, и тотчас меня подхватывает течением. Река работает подо мной, она, забавляясь, вертит мою лодку, норовя вынести ее на середину. Противоположный берег не виден, да и тот, от которого я только что отплыл, уже вымаран тьмой.

Я пытаюсь уловить мгновение рассвета, ту крохотную щель секунды, когда можно воскликнуть: «Светает!»

Но мне еще никогда не удавалось сделать этого.

Глаза постепенно вчитываются в темноту, я уже разбираю по складам черную стену леса на другом берегу — это и есть рассвет, но он так деликатен, так скромн, словно ему совестно расставаться с породившей его ночью.

Весла уже в воде, но я не гребу, а только подправляю ими ход лодки. Расстояние до берегов не угадать, и лишь по напористости течения я знаю — приближается самое заветное место.

Выбросив за борт два якоря, с кормы и с носа, и стравив как можно длиннее веревки, чтобы лодку не сорвало, я жду, пока она застопорится, а затем подтягиваю ее за тугие веревки и ставлю точно поперек реки.

Светает все больше, но еще не понять, каким будет день.

Ветер прижевал, он сдувает темноту, как дым.

Пора приниматься за рыбалку, но я медлю. Медлю не потому, что люблю природу, — я и сам сейчас как бы часть того огромного, что меня окружает, оно медлит, и я нетороплив.

И только река подо мной спешит. Вода, уплотненная своей скоростью, густа и мускулиста — метров через тридцать она низвергается в залив.

Я сижу в устье, река здесь на самом своем излете, силы ее копятся в далеких снежных горах, на бесчисленных порогах, и прежде чем впасть и обезличиться, она ярится. .

Я разбираю свои снасти, раскладываю их перед собой, каждая мелочь на рыбалке должна знать свое место.

Ничто не беспокоит меня сейчас. Обиды, сомнения, бессмысленная суета, даже ожидание неминуемой смерти — все то, что омрачает душу, поредело на этом ветру и смылось рекой. Во мне тоже рассвело.

3

Антон ездит на рыбалку с самыми главными начальниками.

Над чем они начальники, кому они начальники — не слишком интересно Антона. Его дело — вывезти гостя на катере в залив и елозить по нему на малой скорости взад-вперед по тем путям, где ходит рыба. А ходит она в разное время суток и в разную погоду по-разному: когда поглубже, у самого дна, когда вполводы, то сытая, а то у нее жор.

Начальство ловит нехитрым способом — на дорожку. Особого ума для этой ловли не надо.

Антон сидит, сторбившись, на корме подле движка. В руках у него облезлая камышовая палка, обломок старого спиннинга. Катушка тоже повидавшая виды, дребезжащая, трехрублевая. Жилка отечественная, непрочная. Блесны самоделковые.

Выехав в залив, Антон сует свою камышовую палку комлем в голенище сапога, палка влезает в него глубоко и стоит стоймя, опи-

раясь о плечо. Над головой торчит лишь невысокий тупой кончик. Так и ловит.

А гость сидит в напряженной позе на носу лодки, вцепившись руками в свою пижонскую снасть. Спиннинг у него шикарный, облитый трехцветным лаком, жилка голубая, французская, катушка американская, блесна шведская.

Движок даже на малых оборотах тарыхтит, с кормы до носа надо перекириваться, иначе не услышишь.

Антону положено учить гостя. Мороки с этим хватает. Как ни проста ловля на дорожку, а соображать надо. Никто тебе под водой насаживать рыбу на крючок не станет, будь ты хоть кто. Ей-то до феньки, начальник ты или просто так. Она гуляет тут, ищет для себя корм. Приглянулась ей твоя блесна — кинется на нее, дура, подумает, что малек. А раз кинулась — значит, у тебя поклевка. Вот тогда и не зевай, делай подсечку. Подсек — погляди на кончик удилица: если дрожит, гнется, значит, она взяла, села. Теперь веди ее на себя, слабины ей не давай, а то сойдет. Плавно веди ее, не рви... Подвел к самой лодке — подсачивай. С головы, с головы надо подсачивать, а то она выпрыгнет!.. Упустил, мать твою так!..

Вот и вся Антонова наука, но гость попадаетея тупой до невозможности. Блесна у него цепляется под водой за камни, за траву, обрывается. На поворотах лодки жилка уходит под днище, наматывается на винт движка — опять не слава богу. Обломком палки Антон налавливал больше, чем все эти начальники своими франтовскими снастями.

Наружно он не злился, но и не подлаживался к ним, даже если директор охотхозяйства предупреждал, что сегодняшний гость прибыл из Москвы, в высоком звании. Иной прибывал со свитой. На свиту Антон и вовсе не обращал внимания. Выдаст им лодку, весла, якоря, а уж как там они управятся — их дело.

Рядом со всеми этими людьми, одетыми в хорошо пригнанную рыбацкую одежду с «молениями», рядом с их нагулянными телами и сытыми лицами Антон выглядел неважнецки. В засаленном, старом ватнике, в мягкой кепчонке или, смотря по погоде, в рваном треухе, в невысоких разношенных сапогах, щупловатый, с медным лицом, изгрызенном морщинами, он не вызывал к себе первоначально уважения.

Однако была в его повадке одна черта, совершенно непривычная для начальства, — независимость. Она была у Антона спокойная, беззлобная, не рвущая глаза — независимость человека, искренно полагающего, что участь его зависит лишь от него самого. Он и не изменялся в их присутствии, ему ничего от них не надо было.

Еще на берегу, погрузив в катер все, что требуется, Антон не подавал руку гостю, чтоб тому было способнее переступить с мола в лодку, а только велел:

— Проходите на нос. Я на корме буду.

И, запустив двигатель, Антон с ревом вел катер вниз по течению.

Приблизившись к устью, он утишал обороты и спрашивал:

— Ловили когда на дорожку?

Ответ выслушивал вполуха.

— Здесь другая ловля. Жилку особо длинно не распускайте. И чтоб внатяг была. Груз не цепляйте, глубина будет небольшая. Мы на щуку поедем, окунь тоже может взять. Если получится зацеп, сразу давай знать, тут камня много...

С этой минуты, с выезда на залив, Антон говорил гостю вперемишку то «вы», то изредка «ты». А уж когда шла ловля, тыкал подряд. В особо острых случаях мог и матюгнуть. Не для того, конечно, чтобы обидеть человека, а просто рыбалка иной раз оборачивалась так, что никакие другие слова не смогли бы точнее выразить азартную горечь неудачи.

Гость не обижался, быть может, полагая егеря на это время своим начальником. А может, ощущая удовлетворение оттого, что умеет не отрываться от простого народа, несмотря на свой высокий пост.

Казалось бы, хоть и колготная эта егерская работа, да, в общем, непыльная. Реку Антон любил, дышать на ней было привольно. Без реки он и не понимал своей жизни.

Но была в этой работе одна проклятущая особенность, его лично не обременявшая, а Настю все более тяготившая.

Гости часто привозили с собой водку. Возможно, в городе на своей работе за ними этого не водилось, а здесь вроде полагалось пить. Без водки ни охота, ни рыбалка не складывались.

Сосед Антона, Сергей, надирался вдрободан. И жена его, Верка, тоже стала прикладываться, чтобы мужу досталось поменьше. Жили они за стеной Антоновой квартиры, шум достигал сюда свободно.

Было как-то, уже на ночь глядя, Верка сильно закричала. Сперва она кричала на своей жилплощади, а погода стала колотиться в дверь со двора, с крыльца Антона.

Он двери не отпер. Настя просила его — отопри, а он не захотел.

Дня через два встретились они на лугу, Сергей с Антоном, — оба косили траву.

Сергей спросил:

— Ты почему мою Верку в дом не пустил?

Антон ответил миролюбиво:

— Да спали мы уже.

— Брешешь. Она ногами стучалась — покойник проснется. Сво- лочь ты, не пожалел женщину, я ж ее убить мог.

— Сами разбирайтесь, — сказал Антон.

— Почему это «сами»? Не в Америке проживаешь. Должен быть друг и брат. Вот напишу на тебя заявление...

— Пиши, — сказал Антон, принимаясь косить.

Сергей и так-то, в трезвом виде, был мусорным мужиком, а сей- час он с утра чересчур опохмелился.

— И напишу. Женщину на его глазах уродуют, а ему начхать...

Антон рассмеялся.

— Так ты ж и уродовал!

— Я — другое дело. Я муж, личность заинтересованная, могу ошибиться, а ты должен подсказать, поправить. Вот я, например, дословно тебе подсказываю: твоя Настька — колдунья!

— Пошел ты знаешь куда! — обозлился Антон.

Он потому обозлился, что насчет колдовства Насти сосед уже не впервые вязался.

А началось вот с чего. У соседки Веры было с десяток кур. И при них свой петух, лениво топтавший их. Жила эта домашняя птица вольно на кордоне, клевала что ни попадя. Настя тоже держала кур с петухом, но свою птицу она подкармливала пшеном. Настин петух, рослый, осанистый, поднакопил в себе столько сил, что стал топтать семью соседского петуха, а его самого долбил клювом и рвал шпорами. И до того довел его, что тот вообще робел громоздиться на своих кур, жил при них вроде скопца. Да они и сами уже брезговали им, стараясь попасться на глаза чужому красавцу стилиаге, уже очень он был хорош и ярко раскрашен.

С такого оборота дела соседка и кинулась на Настю:

— Ты зачем нашего петуха сгубила?

— Чем? — спросила Настя.

— Навела на него порчу. Сама калека, никому не нужная, вот тебе и завидно сделалось, что мой петька был жадный до курей.

Узнав об этом, Антон особо не расстроился.

— Наплюнь, — сказал он. — Дура и есть дура. Принявши, наверно, была.

Однако дальше пошло больше. Заболел соседский кабан. Поте-

рял интерес к жизни, перестал хлебать пойло. Пришлось Сергею закодоть его раньше времени.

Заколов, Сергей вынул из его trebuхи желудок, завернул в целлофановый мешок и повез в район, в ветеринарную лабораторию. Что ему там наговорили, неизвестно, но, вернувшись пьяным на кордон, он стал орать, что Настя и на кабана навела порчу. При этом Сергей размахивал и совал под нос Антону какую-то справку.

— Наука доказала на твою Настьку! — орал он. — Под суд пойдет. На нее статья есть.

— Какая статья? — спросил Антон.

— Вредительство жизни.

И не выпуская из своих рук справку, он развернул ее перед глазами Антона. Прочитав, Антон спокойно сказал:

— Ну и с чего орать-то? Тут же ясно написано: в желудке никакой отравы не обнаружено.

— Об том и речь! — обрадовался Сергей. — Кабы отрава, поди докажи, кто ее подкинул. А раз желудок здоровый, а кабан загибался, значит — порча, колдовство!..

— Глупость какая, — сказал Антон. — Скупайся в реке, попей квасу. — И пошел от Сергея прочь.

Но Сергей не отстал от него, забежал вперед, не давая ему дороги и грозясь по-всякому.

Антон терпел покуда, стоял молча, курил, отводил руки Сергея от себя.

— Морду тебе бить неохота, — один только раз всего и сказал.

Но тут вышли на крыльцо двое его сыновей, Володька с Петром. Они послушали, как костерят их отца, однако, зная его характер, не вступали. А Сергей их не видел, был к ним спиной.

Отец сказал им:

— Не трожьте его, ребята. Он охреневши.

Но они не послушались, сгребли Сергея под мышки, отволокли к реке и сунули в воду головой. Два раза окунули. Ненадолго.

С того дня Сергей стал писать заявления в партком и в дирекцию. Он жаловался не на Антона с сыновьями, а на Настю — за колдовство.

Я узнал об этой междоусобице, когда она уже затихла. Дикая нелепость этой вражды изумила меня. От кордона до областного центра было всего километров восемьдесят. Над егерским домом проносились сверхзвуковые самолеты и спутники, в квартирах обоих егерей светились телевизоры, погуживали холодильники и стиральные машины — на дворе, говорят, стоял век НТР, — а причина вражды словно бы бродила еще в лаптях.

4

Охота в этом заказнике была добычливая. Звери здесь гуляли непуганые.

Пятнистые олени, невысокие, поджарые, на длинных доверчивых ногах, медленно выступали из леса, останавливались на мгновение, как солисты балета на краю сцены, и затем приближались тройками, пятерками к егерскому дому. Святая, добрая глупость лампадно теплилась в их глазах.

Настя сидела на крыльце, протягивала им ладонь с накрошенным хлебом.

Олени шли к ней, не удлинняя своего легкого, невесомого шага, не обгоняя друг друга, в том порядке, который завещан был их роду с первого дня творения. На их коротких головах небольшие рога выросли театральными прическами дам. Бережно, чтобы не испугать Настю, они снимали с ее ладони хлеб, прихватывали его нижней губой, почти не открывая зубов, и лишь отойдя в сторону, принимались неторопливо жевать его с благоспоптанностью гостей на званом обеде...

Охотой я не занимался, хотя меня не раз приглашали на зимний отстрел лося или дикого кабана. В моем возрасте едят мясо зверя, стараясь не задумываться над тем, каким способом его добывают. Да и вряд ли в этом хозяйстве охоту на зверя можно было с полным правом называть охотой. Недаром слово «отстрел» так похоже на «расстрел».

Правила здесь соблюдались. И то, что принято называть экологией, не нарушалось. Был план, его утверждали в Москве. Гости приезжали с билетами. Все было законно.

Оголодавшие за зиму звери выходили по глубокому снегу к кормушкам. В кормушке лежало сено, зерно, соль. Зверь ел свою пищу, лизал солонец.

Гость, затаившись, сидел на вышке, загодя поставленной шагах в сорока от кормушки.

Стрелять с вышки по лосю или кабану было удобно, как в тире с неподвижными мишенями. Сановитый охотник, уложивший зверя, получал «трофейное удостоверение» — роскошный документ в пухлых корочках из настоящего сафьяна. Листки меловой бумаги сохраняли обстоятельства охоты: с какого расстояния, какой дробью, картечью или пулей был убит зверь, сколько он весил и в какую точку его тела угодил заряд. Картина героической охоты была как на ладони.

Практиковались, конечно, и иные методы, более сложные — облавы с загонщиками, псовая охота на зайца, на лисицу, на глухаря с бесшумным подходом, — но все это для гостя невысокого разбора, он мог и походить часами по лесу и попотеть, сбрасывая вес.

Что же касается гостей позначительнее, то они были грузноваты, преклонны возрастом и непреклонны в своем страстном желании добыть трофей, не слишком утомляясь при этом. Удачная легкая охота была для них терапией, снимающей стрессы повседневной ответственности.

Извещенный загодя о предстоящем приезде гостя, директор охотхозяйства вызывал егеря и наказывал ему:

— В субботу будешь сопровождать. — Директор даже не всегда говорил, кого именно предстоит сопровождать, но егерь и так понимал, что дело нешуточное. — Имей в виду, гость должен взять секача. Есть у тебя на примете секачи?

— Есть, Федор Корнеич, специально подкармливаю.

— И чтоб недалеко ходить. Возьмешь в гараже «козла», довезешь до места. Подъезд не тряской?

— Не тряской, Федор Корнеич. Прошлый год мы там в лесу асфальт настелили до самых берлог.

И напоследок директор отдавал наиболее важное распоряжение:

— Если промажет или подранит, ты подстрахуй. Только тактично, раньше времени не стреляй.

Все это егерь отлично знали и без предупреждения.

Постоянно сопровождая начальство и руководя его добычливой охотой, иной егерь постепенно бурел. В заказнике это прозвали «звездной болезнью» — близость к высокой звезде вызывала определенные симптомы, некую эманацию значительности своей роли. Егерь проникался чувством огромного самоуважения и безнаказанности, да еще в холуйском варианте.

Для Сергея это закончилось трагически.

Он был хорошим егерем, несмотря на свою запьянцовскую душу. А может, и благодаря ей.

Находясь в постоянном подпитии, он точнее соответствовал тому легкому праздничному настроению, в котором пребывал на охоте гость: с Сергеем было весело и беззаботно. Он забавно врал, знал много грубых солдатских анекдотов, да и довольство жизнью нравилось начальникам — это позволяло им делать широкие обобщения. Притом Сергей метко стрелял, умело делая вид, что промазал. Охо-

тятся с ним, гость никогда не возвращался без зверя, сваленного будто бы лично им.

Слава егеря вышла далеко за пределы района. Даже Федор Корнеич несколько остерегался его: мало ли какую телегу мог покатить этот сукин сын, сопровождая высокого гостя.

Рука провидения настигла Сергея, но, не рассчитав,хватила через край.

В будний день он вышел в лес. Вышел без всякого определенного дела, как всегда обтачивая в мозгу острую, настырную надежду, что где-то в пути встречается человек, который может поставить.

Прошлявшись по лесу часа два и накалясь от разочарования, он услышал короткий собачий лай. Пройдя на звук, Сергей увидел пса — русскую гончую. Пес медленно кружил по поляне, вывалив язык. На пне отдышал парень с ружьем на коленях.

Егерь был простоволос, без форменной фуражки, неподпоясанный, в тапках.

— Документ! — потребовал он, снимая из-за плеча ружье.

— Какой тебе документ? — ответил парень.

— Билет на право охоты в заказнике.

— Да я и не охочусь, гуляю по лесу.

— С ружьем гуляешь, с собакой?! Браконьер, падла, сволочь!

— Эй, дядя, — сказал парень, подымаясь. — А ты кто такой, почему обзываешься?

— Я тебе сейчас покажу, кто я такой! — Егерь вскинул ружье и из двух стволов уложил пса.

И тотчас, не доведя своего ружья до плеча, парень выстрелил.

Свою изорванную дробью собаку он унес на себе, закопал голыми руками в лесном кювете и забросал листьями.

Тело егеря нашли в тот же день к вечеру.

Милиция отыскала преступника в городе через месяц. Судили его в поселковом Доме культуры. Народу набился полный зал.

Я был на этом суде, и меня поразила реакция поселковых жителей, да, по правде сказать, временами и моя собственная реакция.

В зале в первом ряду сидела вдова Сергея, Вера, теперь трезвая и жалкая, а через несколько стульев от нее — жена подсудимого, молодая женщина с заплаканным от горя лицом. Обе пришли с детьми: у одной двое и у другой двое.

Убийца, застреливший егеря, оказался заводским электриком. Ра нее не судимым. В браконьерах не числился.

Среди многих свидетелей его защиты — товарищей по работе, соседей по дому — выступил перед судом никому не известный, посторонний городской старик. Кажется, какой-то профессор, точно не помню, да и не имеет это значения.

Он рассказал, что нынешней весной в воскресный день гулял с мальчишкой-внуком по набережной. На реке шел ледоход. Старик остановился прикурить сигарету, а когда оглянулся, внук бегал по каюющей тонкой льдине — она уже отошла от берега метров на двадцать и уплывала все дальше. Какой-то парень в хорошем костюме, с фотоаппаратом на шее бросился в воду, доплыл до льдины, снял мальчишку и вплавь же доставил его к деду.

— Вот и все, — сказал старик, собрался было отойти от судейского стола, но задержался. — Дело в том, что с нами тогда был и мой сын, отец Мити, он плохо плавает, не посмел... А вот этот юноша — спас. И у меня не укладывается, не мог же он выстрелить в живого человека. Тут какое-то недоразумение. Он на себя наговаривает, я читал в газетах — это бывает... Очень вас прошу, вы разберитесь...

Суд разобрался и огласил приговор. Десять лет строгого режима.

Ни у кого из присутствующих в зале не возникло сомнений: суд не нарушил статей закона. За убийство дают и больше — и пятнадцать лет, и высшую меру.

Мы выходили из узких дверей зала медленной толпой. Почти всех я знал, они были моими земляками по поселку.

Рядом со мной шел Антон, он сидел и на суде рядом, ерзал на стуле, кряхтел.

А сейчас сказал:

— Осиротили детей, четыре души...

Шофер рейсового автобуса, шедший позади нас, внезапно взъярился:

— А кто, по-твоему, осиротил?.. У вас егеря — гады! Зачем было пса стрéлить? Тронули б моего легаша...

— Неужели б человека убил? — спросила почтальонша.

— Не знаю. Не пробовал... Убить, может, и не убил, а изувечил бы обязательно. По инвалидности он бы у меня получал...

По дороге к моему дому со мной поравнялся пенсионер — учитель истории. Мы жили на одной улице. Шли некоторое время молча, улица была не освещена, он жужжал фонариком, указывая дорогу мне и себе.

— Хотелось бы услышать ваше мнение.

Я еще подбирал мысли и слова для ответа, и он по учительской привычке попытался помочь мне:

— Задача суда — оберегать общество от социально опасных личностей. Не правда ли?

Я кивнул, в темноте он не разглядел, посветил в мое лицо фонариком, я еще раз кивнул.

— Теперь возьмем данный случай. Представим себе невероятное: суд оправдывает этого подсудимого. Вы уверены, что он когда-либо в жизни совершит еще какое-нибудь преступление?

— Не убежден.

— Следовательно, речь идет не об исправлении, а лишь о каре, о наказании за то, что он уже совершил. В сущности, это даже месть, а не кара...

Увлечшись, он направил свет куда-то вбок, и мы оба заплюхали по луже.

— Черт, когда же они наконец замостят нашу улицу!.. Продолжим. Вероятно, я не прав. Даже наверное не прав. И скажу сейчас ересь. Вы знали покойного Сергея? И я его знал — он учился у меня в пятом классе. Тупой, трусливый, жестокий мальчик... И вот он — егеря в привилегированном заказнике. Если уж употреблять это юридическое понятие — социально опасный, то именно он и был социально опасен.

Я спросил только для того, чтобы спросить:

— Значит, вы думаете, что суд был несправедлив?

— Да нет. Суд-то справедлив. Судьба несправедлива. Корень у этих двух слов один и тот же, а смысл разный: судьба глуха и подследовата. Она не должна была сводить в лесу этого похмельного, зарвавшегося егеря и этого доброго, хорошего парня...

У самой моей калитки я сказал:

— Есть одна профессия в мире, полностью мне противопоказанная.

— Какая? — спросил учитель.

— Я не мог бы быть судьей. И не хотел бы.

5

Незадолго до своей смерти Настя умолила Антона уйти из егерей.

Эта работа отвращала ее не только потому, что отнимала у него крутые сутки жизни. Главное, он стал крепко попивать. Выпив, не скандалил, даже тишал, опасаясь себя обнаружить, но обмануть Настю ему не удавалось. Ноги продолжали носить его правильно, а язык чужел, переставал слушаться.

Пил он не на свои, а, как и положено егерям, ему ставили. Ставили гости, да еще отучили от закуски. Сами они приезжали сытые под завязку, пахнувшие коньяком, и тут же на берегу перед тем, как отчалить, вынимали из своих фирменных сумок водку. Может, им казалось, что если они поднесут егерю, то он свезет их на такое рыбное место, куда никого еще не возил. А может, и без умысла подносили, просто так, для компании.

Антон особо не благодарил их — уговорит маленькую, утрется рукавом и выведет лодку на стремнину.

Я иногда любопытствовал; зная, что он давеча возил известного деятеля, спрашивал:

— Ну как, Антон, какой он, по-твоему, человек?

— А кто его разберет... Кругом — вода, залив, на кнопку не нажмет, на ковер не вызовет... Слушай. — Антон всегда начинал с этого слова, когда у него возникала редкая охота выговориться. — Слушай, я тебе так скажу: кто производит начальников?

И увидев, что я не понимаю его вопроса, торжествуя, пояснил:

— Начальника производят подчиненные. Есть они при нем — он начальник. А нету их рядом — он, как в бане, голый, никто.

— Так ведь ты-то сидишь рядом.

— Хрен я ему подчиняюсь. Он рыбалить не умеет, а я умею. Заглохнет движок или волна подымет — будет сидеть как лопка... Слушай, я тебе опять скажу: ему надо сильнее бояться. Ему если вниз посмотреть, куда падать, сердце зайдет. А я сел на задницу — вот и все мое падение...

В Антоне меня подкупали беззлобность и бескорыстие. Другие егеря, водилось за ними, выскулят у гостя хоть какую выгоду для себя. Антон этим брезговал.

Со мной у него были отношения простые, дружеские, но даже и меня он ни о чем не просил. Разве только скажет:

— Поедешь на рыбалку, прихвати буханки три хлеба — у вас в поселке вкуснее. И пива бочкового бидон.

А привезу — лезет в карман за деньгами. Еле отучил.

Когда младший сын, Мишка, подал заявление в институт, я, зная, что конкурс серьезный, сказал Антону:

— У меня друзья в этом институте, попробую поговорить с ними, может, чем-то помогут.

Антон обрадовался. Но на другой день позвонил мне в город:

— Слушай, как получилось. Мишка рассердился. Велел передать, если ты что сделаешь, он заберет документы.

Я не стал ничего делать. Его приняли в институт по конкурсу.

После смерти Насти Антону стало совсем худо: ни жены, ни работы, ни хозяйства. Еще при ее болезни он зарезал овец, кур, заколол поросенка.

Она умирала месяца полтора, он не отходил от нее ни днем, ни ночью.

Сыновья с невестками наезжали по выходным. Антон, по своему обыкновению, не корил их за малую помощь, а мне пожаловался в самые последние Настины дни:

— Ее мыть надо, она под себя оправляется, я стирать не успеваю, топлю тряпки в реке. Голову ей расчесать надо, кормить с ложки, все делаю сам, ноги уже не держат... А они понаедут в субботу, пожалеют мать два дня из другой комнаты. Я ихним женам сказал: вы сколько получаете на своей работе? Они по восемьдесят рублей получают. Я говорю: буду платить вам по сто, ходите за Настей...

Хоронили ее на кладбище соседнего колхоза, в шести километрах от кордона. Охотхозяйство прислало грузовую машину, борта в ней откинули, кузов устлали еловым лапником.

Во двор перед крыльцом вынесли два табурета, поставили на них открытый гроб с маленькой, чисто прибранной Настей. Тело ее было

намного меньше гроба. С полчаса она полежала так, ногами из дома, незрячим лицом к высокому просторному небу. День стоял ветреный, душе ее было улетать легко.

Мы шли до кладбища пешком вслед за медленной машиной. В кузове у гроба сидел Антон, придерживая руками высокий белооструганный крест.

Подле свежеврытой могилы всем нам насыпали в ладони кутьи — риса с изюмом.

В изголовье могильного холма, под самый крест, поставили на землю стопку с водкой — для прохожего, чтоб мог помянуть Настю.

Налили и нам по стопке.

Холм посыпали пшеном.

Секретарь парткома охотхозяйства отозвал меня тихонько на шаг и шепнул:

— Директор поручил мне произнести несколько слов. Но я ведь совсем не знал ее. Может, вы произнесете?

С кладбища мы вернулись на кордон.

В доме были составлены столы для поминок. Хозяйничали невестки. Антон был трезв, впервые я видел его в хорошем городском костюме, в белой рубашке, с галстуком, в ненадеванных модельных туфлях. Он ходил вдоль столов, потчевал гостей, сам только пригубливал. Лицо у него, как и всегда, было неподвижное, но сейчас опавшее, облетевшее, и глаза голые, не покрытые никаким выражением.

Сыновья сидели среди гостей вразнобой, далеко друг от друга. Мать, с которой они особо не считались при ее жизни, объединяла их вокруг себя своей докучливой заботой — они этого не понимали тогда, — и сейчас, когда она умерла, она тотчас начала расти в их виноватой памяти, но уже у каждого в отдельности...

Оставшись один, Антон зажил совсем плохо. Готовить на себя не стал, открывал ножом консервы, да и те до дна не ел. Курил бесперебойно, удушливо кашляя. Дом убирал чисто, мыл полы, ходил босой из комнаты в комнату, смотрел в окна на реку — она осталась как была и лес на том берегу как был.

Пенсию ему дали уже давно, полную, хорошую, он ездил за ней на мотоцикле в поселок, в сберкассу. Потом забирал в магазине хлеба на неделю, водку, грузил в коляску. Пил в одиночку, когда по-черному, ничем не заедая, а когда растягивая бутылку на целый день, как лекарство.

Сыновья приезжали теперь пореже, и Антон, зная, что они хоть и молчат, но осуждают его нынешнюю жизнь, старательно дожидаясь, что кто-то из них проговорится, укажет ему, а он скажет: ты мне не указывай!

Никакого зла на них у него не копилось, да и не с чего было копиться. Но вспоминалась вдруг ненадолго всякая давняя чепуха, на которую он раньше несколько не сердился, а сейчас она выборматывалась в башке, помогая ему вооружиться на всякий случай.

В эту пору мы виделись с ним, пожалуй, чаще, нежели раньше. Он не был занят ничем, одинок, и то мне удавалось выманить его на совместную рыбалку, то он и сам вдруг появлялся у меня в поселке.

Поздней осенью задул с залива над кордоном ветер, он набирал силу, хотя казалось, что уж сильнее некуда, волны на реке пошли вспять, а выло дремуче, словно земля еще не создана и жизни на ней нет.

В такой день возник у меня в доме Антон. Я не представлял, как он смог пробиться сквозь такую погоду на мотоцикле.

Он снял с головы мокрый шлем, утерся шарфом, сел.

— Как же ты доехал?

— А ничего... У тебя есть выпить?

— Если останешься ночевать, дам.

Он выпил стакан водки, поклевал через силу закуску.

— Слушай, я пропаду... Не могу один. При людях совестно, а сам с собой плачу.

Чем его можно было утешить? Ничем.

Под утро он укатил, не дождавшись, куда я проснулся...

Прожив зиму в городе, ранней весной — снег еще не сошел на дорогах — я поехал на кордон проведать Антона, по правде сказать, беспokoясь, в каком виде застану его. Что он жив и здоров, мне было известно от Миши, уже работавшего в городе инженером. Я звонил ему на службу, он отвечал мне с привычной односложностью, но в голосе его появились еще и суровые нотки, когда речь заходила об отце.

Встреча с Антоном обрадовала меня. Он был невероятно тощ, курил так же запойно, но лицо его было чисто выбрито, а в глазах посверкивало хоть и нечто неясное мне, однако живое.

Сперва мы поговорили о корюшке — она должна была вскорости пойти из залива в реку, и этот день, начало ее хода, ни в коем случае нельзя было прозевать. Антон показал мне два новых глубоких сачка на трехметровых палках, черпать ими корюшку будет удобно. Показал и новые блесны шведского образца — рыбки-переломки.

Потом мы выпили пива. И стало заметно мне, что Антону как-то не по себе: встанет — сядет, встанет — снова усядется.

— Ты чего такой? — спросил я.

— Видишь, как получилось. Тут в Жуковском проживает одна женщина. Незамужняя. Тоже вдовая, как и я. Я б с ней поговорил, может, она и переехала б ко мне. Вообще-то у нее квартира в поселке есть. Она не из-за площади...

— Так ты и поговори с ней, — порадовался я.

— Да уж говорил. Она согласная.. Сомневаемся, как мои сыновья. Володька-то с Петькой — ничего. А вот Мишка...

— Ну, хочешь, я его подготовлю?

— Попытай, — сказал Антон.

В городе я позвонил Мише и попросил его зайти ко мне.

Приступить сразу к этому разговору оказалось сложнее, чем мне представлялось. Хоть я и виделся с ним каждый год, и не по одному разу, он как-то стремительно повзрослел — ничего мальчишеского не наскребалось в нем, кроме природной стеснительности, но и она посуровела, вроде бы он смущался не из-за себя, а из-за меня.

Я долго кружил вокруг его отца, вокруг опустелой жизни Антона.

Миша сидел, наклонив лицо к нетронутому стакану чая. Я сказал, что лютой зимой, когда кордон заносит глубоким снегом...

— Знаю. Жил я там зимой.

— Ты жил в семье. А отец — один.

— Пить надо поменьше.

Странная вещь: этот парень, годившийся мне во внуки, подавлял меня своим невысказанным сопротивлением. И получалось действительно так, что не он меня стеснялся, а я — его. Я никак не мог выговорить: твоему отцу надо жениться, иначе он пропадет.

В сидящем передо мной Мишке проступило вдруг такое внезапное сходство с Настей, не наружное, не с плотью ее, а с витающей ее душой, что я почувствовал себя еретиком, совращающим юношу на кощунство. И все-таки произнес:

— По-моему, твоему отцу надо бы найти человека...

— Слышал уже, — сказал Миша. — Его дело. Ему жить. Как постелет, так и поспит.

Осенью Антон съехался с новой женой. Пить он перестал. Его новую жену я увижу только будущей весной.

НИКОЛАЙ ДЕНИСОВ

★

В СУРГУТЕ МОРОЗ

В Сургуте мороз. И в гостинице тесно.
У солнца о нас не болит голова.
Я тоже застрял, и пока неизвестно,
Когда отогреют к полету «АН-2».

Ну как тут не вспомнишь крестьянские сани,
Возницу в тулупе, себя на возу,
Как прямо с мороза — в натопленной бане
Сияет распаренный веник в тазу.

Ну как не заметишь, что город в запарке,
И в орсовской лавке не продан товар,
И густо над крышей вон той кочегарки
Клубится совсем не избыточный пар.

В такую бы пору за чаем семейным
Посиживать мирно, не зная хлопот,
Но требует: «Шайбу!» — на поле хоккейном
Охочий до зрелищ сургутский народ.

В глубины уходят долота и буры,
Вот только железо — серьезный вопрос —
Нет-нет да не выдержит температуры.
И снова руками разводишь: моро-оз!

Солончаки

Солончаки, солончаки.
От зноя спекшиеся травы.
И ни колодца, ни реки,
Один лишь суслик у канавы

Да чудом держится пырей,
Не просит дождика из тучки.
А дальше — снова сухойей
Качает красные колючки.

Но что поделаю, кулик
И здесь нахваливает кочку!
Я тоже барин невелик,
Иду-бреду себе пешочком.

Вновь перелески да поля,
«ИЖи», наделавшие грому.
Да это ж родина моя!
Иду и радуюсь живому.

ВЛАДИМИР КРУПИН



КОЛОКОЛЬЧИК

Рассказ

БЫЛО это на праздновании шестисотлетия города Кирова-Вятки-Хлынова. Но вот тоже сразу вопрос: почему шестисот, а не восьмисот? И Карамзин, и хлыновский летописец, и многие другие называют дату первого упоминания о вятской земле — год 1174. Сунулся я со своим вопросом к историкам, но мне дали понять, что открылись другие факты, что достовернее другое, и вообще намекнули, что это их, историков, дело — устанавливать даты, а мое дело писательское — разбираться в душах, хоть в чужих, хоть в своей собственной. Тут, может, сработала политичная мысль, что вроде не по чину областному городу быть ровней со столицей, хотя в те-то годы, во времена Боголюбского, чем была Москва?.. Сошлись мы с историками только на том, что Москва поставлена на земле вятичей, но это не наши вятичи, а наши — это новгородцы, вольный народ, вытеснивший своими застройками язычников угро-финнов. То есть на месте Хлынова что-то стояло и до упоминания в летописях, а уж сколько этому чему-то было лет, никто не знает и не празднует. Но уж ладно, шестьсот так шестьсот, что для нас два века!

И вот в лето 1974 от рождества Христова в Киров съехались гости. Потомки вятичей были отовсюду. На пресс-конференции перечислялось столько знаменитостей, что уж никто бы не повторил слов Костомарова о Вятке, что «в русской истории нет ничего темнее Вятки и истории ее». В числе приглашенных были и члены Союза писателей, а в числе последних был и я.

В библиотеке имени Герцена под ее знаменитыми пальмами состоялась литературная встреча. Вдоль стен просторного зала стояли стенды с книгами участников вечера, вырезки из периодики с положительными отзывами о книгах. На одном из стендов книги немного потеснились, впустив и мой первый томик.

Без перерыва мы отсидели больше трех часов. Собратья по перу говорили о своей любви к городу Кирову, читали отрывки или стихи, ему посвященные. Подошло время и мне выходить на трибуну. До этого я думал, о чем говорить. «Расскажи о себе, — посоветовал собрат, — тебя еще не знают». Подразумевалось, что остальных знают. Тут он похвалил мою первую книгу, она и в самом деле как-то быстро разошлась. На нее были помещены кое-где рецензии, издательство получило несколько писем от читателей; материнские рассказы, открывавшие книгу, передавались по радио.

Начал я с того, что вятская земля не знала крепостного права, но почувствовал, что это известно, перекинулся на благодарность вятским женщинам, вообще на материнское начало вятской земли. В президиуме скрипели стулья. Зал был вежливее и терпел.

— Моя мама, — заявил я, — родила меня дважды. (В зале засмеялись.) Да, именно дважды. Один раз как всех, другой раз как

писателя. — Даже не заметив, что этими словами я выделил себя изо всех, я продолжал: — Как было — шел с мамой на реку полоскать белье, это она шла, конечно, ну и меня взяла, и вот шли мимо больницы, мама говорит: «Ты здесь родился». Я ничего не ответил, а когда возвращались, заявил: «Я здесь родился и еще буду родиться!» Мне об этом мама рассказала, когда я студентом приезжал на каникулы. Вот этот рассказ был первым из записанных материнских рассказов... К тому времени я кончал болеть детской болезнью прозаика — стихами, — добавил я, не подумав, что среди собратьев много всю жизнь пишущих стихи.

Надо или не надо, но я рассказал собравшимся, как была первая публикация, как мне велели и я пытался «высветлить» рассказы, но хорошо, что не получилось; как мама решила, что я публично ее опозорил, побежала на почту узнавать, кто еще получает такой журнал. Оказалось, никто. «Я же тебе только одному рассказывала, ты зачем записал?» Закончил я вводную часть выступления спорной фразой: «Но что есть писательство как не публичный донос одного о чем-то или о ком-то для многих?»

Далее я говорил о книгах детства, как тяжело они доставались. Чтобы записаться в библиотеку, нужно было сдать десять рублей, и вот мы собирали кости по оврагам, сдавали кости проезжим старьевщикам; тогда не было открытого доступа к фондам, а всегда казалось, что за прилавком книги самые интересные; как я все свои первые влюбленности отдал девушкам-библиотекаршам — на фоне книг они казались неземными. В этом месте, так как в зале было много работников библиотек, я сорвал аплодисменты. Словом, говорил я сбивчиво, путано, но, как написали на следующий день в областной газете, «взволнованно и с большой любовью к вятской земле». Для чего-то сказал, что когда был маленьким, то меня, чтобы не уполз, клали спать в хомут. Тут, видно, я хотел подчеркнуть свое ямщицкое по дедушкам происхождение, то, что мы жили на конном дворе лесхоза и я много времени провел в конюховской. Первые анекдоты, услышанные мною, были на тему: ямщик и барыня. А то, что ребенок лежал в хомуте, я видел сам как раз в этой конюховской. Там жила большая семья конюха Федора Ивановича. Жена его положила сына в хомут, а я, кажется пятилетний, пришел с мороза погреться и вытереть сопли, увидел такое дело и, считая нормой русского языка все матерные слова, восхищенно сказал: «Ну, Анна, в такую мать, ты и придумала!»

После вечера ко мне подошел редактор радиовещания и пригласил записаться для передачи. Сговорились на завтра с утра, так как в обед мы, разбитые на бригады, уезжали по районам.

Наутро я шел на радио, смутно припоминая вчерашний ужин, который после официального вечера местные собратья давали приезжим. Говорили на нем почему-то о том, отчего наше сельское хозяйство отстает по урожайности от частных хозяйств Запада, а так как специалистов по сельскому хозяйству среди нас не было, поэтому отставание мы списали на характер русского землероба. Также досталось отсутствию дорог и селению деревень — кто был за него, кто против, — спорили азартно, будто кто спрашивал у нас совета — уничтожить деревни или сохранять. Но все время разговор возвращался к характеру землероба. Кто признавался, что не знает его, кто заявлял, что там и знать нечего, ссылки на авторитетные мнения летали над богатым столом во всех направлениях; побывавшие за границей пробовали провести параллели, но зря трудились: там, где ожидалась логика, было пренебрежение и загадочный русский характер, расчет заменяла догадка, там, где в руки этому характеру плыла явная выгода и надо было только шевельнуть пальцем, шевелить пальцем он не хотел, отвечая на все упреки и доводы бессмертной формулой: да ну и хрен с ним! Как понять его,

сокрушались инженеры душ, как? Но все же мы решили, что пойдем и отобразим, нас много и становится все больше,— и вот, вспоминая вчерашнее и постепенно оживая, я доплелся до студии, где редактор запер меня наедине с микрофонами в звуконепропускаемой комнате. Редактора я видел через стекло. Договорились, что я по своему выбору прочту два небольших рассказа.

Прочел. Редактор пришел в комнату, полистал книгу и ткнул пальцем в две так называемые лирические миниатюры.

— Это плохо, — сказал я, — проба пера, они вставлены, когда выбросили другие, посерьезнее. Нагонял объем.

— Прочти, прочти, — велел редактор и снова запер дверь.

Я попил воды и прочел. Меня отпустили.

К обеду погода испортилась, пошел дождь. Сели в машину и поехали. В машине вначале поговорили о проблеме дорог, вспомнили вчерашние теории, особенно одну из них, что дорог не нужно, что это предотвратит проникновение в село теневых сторон цивилизации, но сейчас, на практике, трясясь на плохом асфальте, буксуя на глинистых обочинах, было решено, что дороги все же нужны, причем если их делать к каждой деревне, то и деревни не надо сносить. Правда, мы не знали, что дальновиднее — свозить деревни в поселки или тянуть к деревням дороги, но морально было лучше сохранить уклад и обычай крестьянства.

Вскоре разговор, как все писательские разговоры, съехал на материальный вопрос, на тиражи одинарные и массовые, на то, в каком издательстве главный бухгалтер — собака, а в каком можно договориться, привычно ругали художников, выражающих в оформлении книг только себя и не помогающих доносить до читателей мысли...

Писательский шофер, видно, таких разговоров слышал-переслышал, часто зевал и, щурясь, вел машину, помогая нам проникать к читателям. Торопливо выскакивало солнце, озаряло темные ели и вновь скрывалось. Асфальт дымился, казалось, горит. Так и ехали под дождем и солнцем по тракту часа два, потом свернули и потряслись по проселку. Неубранные хлеба высились по сторонам, были хороши, самое время было их убирать.

Колхозная улица вся была изъезжена тракторами. Шофер, взглянув на наши ноги, подрулил прямо к крыльцу правления. Нас ждали, провели в кабинет председателя. В красном углу на специальной подставке стояло много знамен. Все простенки занимали красные вымпелы и почетные застенные грамоты. Председатель для начала рассказал, какие знамена и вымпелы переходящие, а какие навсегда. Но и переходящие, сказал он, «прописаны в колхозе постоянно». Селекторная связь на его столе не умолкала, и он перевел ее на секретаршу, сказав ей при этом: «Собирайте».

Посидели, поругали погоду, похвалили поля. Председатель, как и шофер, взглянул на нашу легкую обувь, пожалел, что не может показать нам строящиеся объекты: коровник, свинарник, птицеферму. Строил колхоз много, и строителей приходилось привлекать со стороны, даже переплачивать вдвое-втрое, чтоб сманить от других.

— Конечно, это общая беда. Также будем строить школу, магазин, музыкальную школу, Дворец культуры. Пока у нас не Дворец, вы увидите, но проходит по смете как Дворец: тут хитрость, чтобы заву и кружковцам платить побольше. Но это опять-таки общая хитрость, — засмеялся председатель.

Еще с полчаса мы потянули время, потом решили отправляться в клуб. Но дождь все шел, грязь увеличивалась, поэтому мы не могли пройти в своей обуви даже двести метров, залезли в машину и в ней достигли крыльца клуба.

Внутри копился народ. Продавали книги. Радостным сюрпризом было то, что Книготорг доставил сюда и наши книги, случай редчайший, возможный только у наших земляков, решили мы, принимаясь

сочинять дарственные надписи. Подошли с моей книгой и ко мне. Милая краснеющая девушка. Я спросил имя и написал: «Очаровательной Татьяне»; следующей читательнице я написал: «Очаровательной Наташе...» — дело пошло. В конце я размашисто расписывался.

— Дядь, — сказал мне какой-то мальчишка в громадных сапогах, — я не верю, что ты писатель.

Я не сразу понял всю глубину его слов и подумал, что он решил так оттого, что книга моя была без фотографии, а у собратьев — с ними.

Позвали за кулисы. В гримерной познакомились с представителем из района, договорились, кто за кем выступает.

— Начнем в восемнадцать двадцать, бригадирам приказано, — говорил председатель.

Меня как ударило: в восемнадцать тридцать по радио должны были передавать мое выступление. К удовольствию собратьев, я попросился выступать последним, потихоньку спросил завклубом, можно ли послушать радио, и объяснил, почему нужно. Она ответила, что приемник есть, но внутри клуба радио будет обслуживать выступающих, но что дело поправимое, она включит радио на улице, там над крыльцом висит громкоговоритель, называется колокольчик.

— Восхитительно! — поблагодарил я. — Колокольчик! — Мне сразу вспомнилась поговорка, которую мама употребляла, останавливая поток моего неразборчивого красноречия: «Болтаешь, как из колокольчика напоенный». Я решил это сравнение где-нибудь к месту употребить и заодно подумал, что у меня ассоциативное мышление.

В гримерную входили бригадиры, докладывали о прибытии людей со своих участков. Председатель разрешил не присутствовать дояркам и трактористам: начиналась вечерняя дойка, а трактористы жили на полевом стане.

Пошли на сцену. В зале захлопали. Председатель представил нас. Вначале стал говорить представитель из района. Я постарался незаметно уйти. Завклубом помнила о моей просьбе и кивнула:

— Идите на крыльцо.

В фойе свергивали книжную торговлю. Я подписал книгу очаровательной продавщице. Снаружи в клуб рвались двое выпивших мужиков, но их не пускали, а за мной сразу закрыли. Этих двух мужиков уговаривал уйти третий.

— Че вы там не видали? — спрашивал он.

— Баба у меня там, — отвечал один, — у ней деньги, да и сам я, че ли, буду ребятам ужин делать?

— А мне интересно, — говорил другой.

Внезапно громко заговорил репродуктор, названный колокольчиком. Мужики замолчали, прислушались. По радио как раз объявляли о писательском выступлении.

— Наряд читают? — спросил один мужик.

— Да вроде рано. — Другой еще послушал. — Нет, не наряд.

И мужики продолжали говорить свое.

На улице показалось стадо. Коровы старались идти ближе к заборам, но и там было грязно, копыта скользили. Трактор «Беларусь», буксуя, тянул тележку с травой.

Вдруг мой голос раздался над всем этим так громко и такой гадкий, что я содрогнулся. Да и все бы ничего и это можно было стерпеть, но я услышал, что я читаю не те рассказы, которые хотел, а те самые лирические миниатюры, которые меня заставили прочесть.

Стадо брело по улице, трактор буксовал, шел дождь, мужики спорили на крыльце. Перестав ломиться в клубные двери, они стоворились идти в магазин и пошли, а мой безобразный голос орал над этой распутицей, над этими мужиками, над застрывшим трактором, над коровами, над пастушьим кнутом, над всей нечерноземной округой, орал о том, чего не бывает в жизни, а если и бывает,

то только для зажравшихся. Редко мне бывало стыдно, как тогда на крыльце. «Слушай, — говорил я себе, — слушай, выходец из народа, слушай, дважды рожденный, крестись второй раз на своей родине».

Я стал под дождь и заставлял себя слушать, но все равно не смог дослушать до конца, да и никто, кроме коров, не слушал меня. Но и перед ними было стыдно. Я вспомнил, как в первый год после войны нашу корову загнали в ограду сельсовета за то, что она ушла на поле озимых, и надо было платить штраф. Платить было нечем, тогда нам сбавили жирность молока на одну десятую, это означало, что увеличится налог на корову, а мы и так сидели без молока; вспомнил я бесконечные осени моей земли, длинные ленты желтых кустиков картошки, худых лошадей, измученных женщин, черное картонное радио на стене... Да мало ли еще что вспомнил. А колокольчик все орал, все орал...:

Когда я вернулся, выступал председатель. Говорил он коротко, жестко, слушали его гораздо внимательней, чем вслед ему выступавших поэтов. По какой-то непонятной потребности каждый поэт вначале долго усыплял слушателей пересказом содержания стихов, которые читал после пересказа. Потом, боясь, что смысл не дошел до умов, растолковывал и смысл. Когда зал порядком заездили, объявили меня. Слова «земляк», «молодой», «сельская тематика» разбудили некоторых. Для начала я пошутил, но очень топорно:

— Вас усыпили ритмы стихов, понадобилась проза. — Тут же я спохватился и поправился: — Проза, так сказать, жизни. Тут, перед вечером, не знаю, чей сын...

Стали просыпаться женщины.

— ...но это хороший сын, успокойтесь, он сказал мне: «Дядь, я не верю, что ты писатель».

В зале засмеялись.

— Он прав, никакой я не писатель. Какие мы писатели?

Это опять было бестактно: нельзя говорить за всех, можно только за себя. Я торопливо кинулся объяснять:

— Он прав, потому что язык, на котором я пишу, русский, а не цыганский...

В зале зашевелились, представитель из района кашлянул. Снова я стал карабкаться из самой же вырытой ямы:

— Ничего плохого, кроме хорошего, я не хочу сказать ни одной национальности, но русский язык — это самое главное, что есть у нас, смотрите, наш Пушкин, он родной и неграм и всем.

— И французам, — подсказали из президиума.

Я даже не посмел обидеться за подсказку: косноязычие владело мною. Мешал, ох мешал мне мой собственный голос, который только что перед этим оглушил меня. Зачем я стал называть святые имена, но раз уж начал, раз уж начал, тащил ношу дальше:

— На русском писали Достоевский и Толстой, и какая ж должна быть высокая душа и мера любви к отечеству, чтобы отважиться писать на русском языке...

Вряд ли были нужны мои слова людям в зале, а сзади довольно громко заметили:

— Чего ж тогда сам-то полез писать?

Нет, не мог я говорить, но должен был, и, поймавшись, как в детстве, за мамину руку, я поймался за материнские рассказы и прочел несколько. Прочел и те два, которые не были переданы по радио, на том и закончил свое выступление.

Нас благодарили, приглашали еще приезжать. Сфотографировали с группой читателей.

Вечер кончился, и мы вышли. Вверху висел безгласный колокольчик.

Сели в машину, но поехали не обратно, а к рыбакам. И совершенно случайно оказалось, что над рыбацким столом натянута брез-

зентовый навес, что случайно в этот день в сети попал осетр, что стол случайно застелен скатертью и пили в этот день рыбаки не из стаканов, а из рюмок. Случайно вскоре и рыбаков не оказалось за нашим столом, а только мы да председатель с председателем, да хозяйничала женщина, вся закутанная от комаров. Я запил горечь и пошел просвежиться. И как раз набрел на рыбаков. Они разложили маленький огонь от комаров, вывалили на газету разваренную рыбу. По кругу гулял родимый граненый. Говорили они, употребляя в десятках вариантов одно и то же слово. Меня они застеснялись, но я употребил еще один вариант этого же слова и стал как бы свой. И все же это было не то, о чем мечталось. Я вернулся под брезент, взял с белой скатерти бутылку, объяснив зачем.

— Сегодня им можно, — разрешил председатель.

Обо мне же один из собратьев ехидно заметил, что я пошел в народ. Впрочем, братьям без меня было лучше. Как, впрочем, и рыбакам, которые на разговор со мной не рассчитывали.

Но все равно посидели хорошо. Успели выяснить, что матерные слова русскому языку навязаны, их корни в монголо-татарском нашествии, а до этого мы не ругались, не из-за чего было. И вообще что это такое, говорили мы, до нашествия не ругались, вроде за ругань не виноваты, до Петра Первого не курили, не пили, тоже вроде не наша вина, но сами-то мы чего, чего мы сами-то думаем своей головой? Этак завтра что-нибудь с нами вытворят, и опять будем не виноваты? Что ж это такое за жизнь, мать-перемать, говорили мы, не давая отдыха стакану и прикуривая от костра, это, значит, на нас черти отыгрались, а мы тершим, нет, ребята, это не ремесло, предел кончен, этак жить — только врагам на радость, только и есть что выпьешь да забудешься.

Пойду купаться, решил я. Рыбаки говорили снова о своем, я спустился к воде. Вятка текла, светло-серая под дождем. Комары жрали непрерывно, пили кровь. А так как алкоголь уже достиг крови, то комары пьянели и стерженели. Я разделся, еще нарочно подержал себя в виде подарка комарам и нырнул.

Отсюда показалось светлее, чем на берегу. Течение реки ощутилось — мощное, ровное. Да, если мои предки жили у такой реки столетиями, они невольно стали походить на реку — спокойную со стороны, но напряженную, сильную, неостановимую. Я вспомнил, что Вятка, пожалуй, единственная река, до сих пор не перегороженная плотиной электростанции, ушел глубже ко дну, достал его — обломки резного дерева попались под руку; зрение памяти показало мне деревню у реки, девушку по колено в воде, деревянных и глиняных божков всех времен года, всех обычаев и ожиданий. Голого ребенка старшие тащили купаться, с промысла шла к деревне долбленая лодка, и я, выныривая, боялся удариться о ее дно...

На берегу меня ждали. Рыбаки уже ушли, ушла и женщина с ними. Но мы еще побывали, взбудрили забытый рыбаками костерок, старшие поехидничали надо мной, что я оторвался от интеллигенции, стали учить, что не надо приседать перед читателем, надо вести его за собой. Попробовали и запеть, но на общую песню не набрали, решили уезжать. Загасили костер.

Шофер спал. Бедному, ему и выпить было нельзя. Был ли он на вечере в клубе, спросил я его. Нет, конечно, не был, он этих вечеров перевидал страшное количество.

Проехали напоследок по деревне. У правления простились с хозяевами. Шофер залил в радиатор воды. Было еще не совсем темно. Со столба, стоящего у крыльца, слышался громкий голос. Здесь тоже висел колокольчик — громкоговоритель. Читали наряд на завтра.

СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

★

ДИСПУТ

Рассказ

1

Вдверей в царскую опочивальню шепотом пререкались отроки. — Ни в жисть первым не пойду. Больше всего достается, — ожесточенно зашепелявил первый.

— Как схватит за волоса! Ты, говорит, чей? Из Бурцевых, отвечаю. Он глаза призажмурил и тихо эдак вымоловил: «Еще, кажись, ни в чем не замечены», — подхватил другой.

— Лишь возьмет за волоса — запоешь на голоса, полетишь на небеса, — по-скоморошьи зачастил третий.

Внезапно и требовательно зазвенело за дверьми серебряное било. Ребята только что лбами не стукнулись у порога, споров словно и не бывало.

Двери приняли того, кто из Бурцевых. Как ни силились оставшиеся мальчишки услышать хоть полслова, ни звука не донеслось до них из-за дубовых створов. «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его», — завздыхали они.

Вдруг двери раскрылись от резкого пинка ногой, и Петька Бурцев на вытянутых руках вынес ночную посудину.

— Ишь напрудил! — почтительно произнес один.

— Ца-арь! — восхищенно протянул другой.

Оба бросились вприпрыжку за Петькой:

— Ну что? Ну как?

— Чудеса! — отвечивал тот. — Истинно говорю, чудеса!..

Чудеса начались с того, что юнец бухнулся на колени возле царева ложа и воззрился, трепеща, на государя. Этого мгновения мальчик боялся до умопомрачения. Да и кто не страшился того лика?

Царь Иван Васильевич лежал, вперив очи в синие с золотыми звездами своды. На устах его светлела улыбка. Не грозилась, не змеилась, не язвилась, но вправду светлела. Широкий покаянный нос завершал ее благодушным всхолмием. На желтом, со вдавленными висками лбу расправились морщины. «Господи, — подумал мальчик с ужасом, — уж не преставляется ли царь-государь?» Но царь-государь и не думал кончаться. Жив-живехонек оказался Иван Васильевич. В утверждение сего выпростал из-под жаркого, гагачьего пуха одеяла тощие длинные ноги и спустил на медвежий мех, посланный возле ложа.

— Какой сон я видел, Вася!

«Хоть чертом зови, да жалуй», — мгновенно вспомнил повеселев-

Рассказ написан в приближении к фактической стороне событий, как они изложены в трудах классиков исторической науки. Все отклонения не выходят за пределы, отличающие литературу от истории. (Авт.)

ший Петька дворцовую поговорку. Возражать он, помилуй боже, не стал.

А снились царю и великому князю вещи преудивительные. Будто сидит он посреди властителей земных и ведет с ними философическую беседу. Одесную от него римский кесарь, ошую аглицкий король-вьюноша, напротив султан турецкий, наискось не то польский, не то шведский, но тоже король. Иван Васильевич добр, ласков, благостен. Пусть могучие владыки собрались, а перед ним они дети малые, неразумные. Говорит им царь московский: «Все у вас хорошо, и люди вы честные, и царствами править умеете, одно только худо...» «Что такое, что такое?» — всполошились собеседники. «Одно, говорю, худо: вера у вас поганая». Расстроились все четверо, закручинились, запечалились. Возражать стали, особенно султан. «Не такая уж она, — говорит, — и поганая». «Чего лучше, — укоризненно вздыхает Иван Васильевич, — хоть вина не пьете, зато женским блудом занимаетесь. Сколько вон у тебя жен? Небось тысяча?» Застеснялся султан, не знает, что ответить. Тут аглицкий король-вьюноша голос подает: «Мы сызмальства к своей вере приучены». «Ты помолчи-ка, младшенький, — вразумляет его царь-государь. — Слушай, что старшие скажут». Тут римский кесарь вмешался: «А как же нам быть-то теперь?» Возвеселился Иван Васильевич, услышав такие речи, возрадовался во прощению. «Да перемените вы веру поганую на истинную, и вся недолга». Возликовали все четверо, как просто дело-то оборачивается, улыбаются, смеются. У короля-вьюноши не голос, а серебряный колокольчик. Звенит он им в радости, остановиться не может. Султан толстым своим носом поводит, кряхтит огорчительно, бабенок, наверно, жалеет. «Ты не кручинься, — шепчет ему Иван Васильевич, — не согрешишь, не покаешься, а у меня такой исповедник есть...»

Сон хороший прервался, но на душе по-прежнему было светло и тихо. «Эх, кабы наяву жизнь таким напрямик пошла», — с пронзительной тоской подумал было царь, но защитно удержал себя на той зыбкой грани, где сон не перешел еще в трезвое бодрствование.

Не так прост был Иван Васильевич, чтобы принять милое видение даже за отдаленное подобие истины. Однако султан с толстым носом и Едвард — серебряный колокольчик до того сжились с ним за ночные часы, что расставаться с ними он времени.

Сон тоже не возник на пустом месте. Пытливым книгочием был царь всея Руси, и последнее время испытующий взор его все чаще останавливался на древних пергаментах, на коих были записаны дела первых вселенских соборов. Неожиданным толчком, оживившим любознательность государя, оказался приезд на Москву аглицкого посла-путешественника Ричарда Ченслера. Ушлый британец через бури и непогоды пробился в Белое море, бросил якорь в двинском устье, правдами-неправдами достиг Вологды, а потом и стольного града. Иван Васильевич обласкал смельчака, подробно расспросил его о нравах и порядках дальней державы, пожаловал многими привилегиями. Из сообщений Ченслера запомнился ему рассказ об аглицких университетах — Оксфорде и Кембридже. Остановил царское внимание ученый спор, называемый диспутом. «Диспут приводит к установлению справедливости, — пояснил посол. — Велики занимательно происходит сие прояснение истины». «Кто же ту справедливость устанавливает, ту истину проясняет?» — поглядел в корень Иван Васильевич. «Совет докторов». «Ну а ежели король восхощет на место того совета стать, аки римские кесари на вселенских соборах?» «Таких примеров до сих пор не бывало, — улыбнулся англичанин, — но полагаю, что препятствий бы не возникло». Ченслер сказал это из придворной вежливости, ничего не помня об университетских уставах и статутах. Иван Васильевич спрятал до времени Ченслерово сообщение в своей прихотливой памяти.

Память великого государя была воистину прихотлива. Она легко

выстроила в один ряд соборные словопрения и университетские диспуты, объединив Эфес и Оксфорд, Никею и Кембридж. На греческой образованности государь был воспитан и, естественно, несколько византизировал аглицкие порядки. Тысячелетние дистанции никак не смущали царственного философа.

Советники Избранной рады — хранитель печати скорых и тайных дел Адашев и протопоп Благовещенского собора Сильвестр затревожились. По неуловимым признакам они определили, что подвижный разум Ивана Васильевича уготовился к неожиданным поступкам. Такого брожения всегда следовало опасаться.

— А не пожелал бы ты, Гриша, поехать на Бычий брод, сиречь Оксфорд, понабраться уму-разуму у аглицких докторов? А может, и поспорить с ними? А может, и одолеть их, приумножив тем славу Руси великой? На диспутах! — Иван Васильевич поднял голос. — На диспу-тах, — раздельно повторил он полюбившееся слово.

Отрок никак не выразил своего отношения к заманчивому предложению. Глазыньки его остановились на предмете, ради коего он явился пред царские очи. Самодержец всея Руси с неудовольствием проследил направление его взгляда.

— Ничегошеньки не понимаешь ты, Коля. Бери-ка свою глупую ношу и ступай.

Отрок Коля, он же Гриша, он же Вася, он же Петька Бурцев, не стал дожидаться второго приказа. Вдогонку ему прозвучал протяжный вздох Ивана Васильевича.

Спустя полтора часа краснощекие синеглазые рынды в снежно-белых кафтанах и таких же снеговых шапках откинули на караул серебряные алебарды, пропуская из дубовых, окованных медными полосами дверей В Троице славимого государя, царя и великого князя всея Руси Ивана Васильевича. Титулование его включало десятки наименований, и за каждым из них стояли разные земли и страны, грады и веся. Самым недавним и желанным был титул царя казанского. Много чести прибавил он московскому самодержцу. Золотая Орда, некогда могучая и крепкая, отдала свою память и наследие властелину всея Руси. Астраханское царство вскоре должно было последовать за Казанским, и тогда вся Волга от истока до Хвалынского моря вновь становилась русской рекой. В серебряном сиянье государева караула каждый удар посоха в руке Ивана Васильевича подтверждал оные действия и намерения.

2

Прослушано было много дел. Приустали даже наторелые и опытные Челяднин, Курбский, Сильвестр, Адашев. Царь внимал с нескрываемым благодушием, кивками подбадривал советников, кроткими словесами выражал согласие. Адашев и Сильвестр обменялись взглядами: уж больно все гладко идет.

Наконец государь соизволил зевнуть, что указывало близость полдника. Четко перекрестив редкозубый рот, Иван Васильевич с лязгом сомкнул его и с некоторым удивлением воззрился на Избранную раду. Ну будто в первый раз увидел.

— Так, слуги верные мои, — неспешно вымолвил В Троице славимый, — слуги верные мои, а может и хозяева, ась?

Опершись на широкие, обитые парчой подлокотники малого трона, оглядел притихших советников. Помолчав, продолжал:

— Яз человек добрый. Сам дивлюсь, откуда во мне такая доброта. Зря люди наговаривают, будто я злой. Намеднись у меня под носом кот сливки сожрал, так я его токмо слепка за ухо оттрепал. Пушай мои ненавистники скажут, почто они меня недобрим зовут. Лихо мне, бедному. — Иван Васильевич пригорюнился. — И, будучи челове-

ком добрым, желаю показать всю щедрость свою людишкам моим в Московском государстве.

Во всем этом было нечто новое — и ни шум и ни гул, избави боже кому звук проронить, а некий неслышный призрак того шума и того гула прошел над собравшимися.

— Почто бы на Руси по примеру еллинов и римлян, а такжеде теперешних народов не учинить прю словесную, сиречь диспут, а яз на том диспуте стал бы высшим судьей?

Долгое-предолгое молчание встретило умную речь царя. Иван Васильевич насладился молчанием. Насладившись, спросил с тихим жестом:

— Ну что же, слуги мои верные?

Вызвался Курбский:

— О чем, великий государь, речь на том диспуте держать, кого судить будем?

— Небось, княже, в любезном тебе Кракове или на Бычьем броде, сиречь Оксфорде, тако не вопрошают, — ответствовал, усмехаячись, Иван Васильевич. — Мне по-латыни и на других языках, не как тебе, иуды Шуйские учиться не давали, невежу хотели на московском престоле вырастить. Одначе и яз, малоученый, известен, что спорят на диспутах знающие мужи хотя бы о строении Земли, кто прав — Птоломеус альбо Косма Индикоплов, а то и о мировом порядке, правда ли Москва есть третий Рим и бысть ли четвертому. Да мало ли о чем мудрый разговор завести можно. Моей малоучености тоже хватит, дабы и тебе, ученому, ответ дать и кого другого усостыжить. Так-то.

Не успел великий государь повеселеть, поставив на место Курбского, как поп Сильвестр вскинул бороду:

— Церковные альбо державные нужды рядить станем?

Иван Васильевич чуть принахмурился. Толстоносый Сильвестр неприятным образом напомнил ему султана, примстившегося в сневидении. Да и вся Избранная рада странно повторила лики земных владык, явленные ему в ночном мареве. Адашев сильно смахивал на пухлощекого и по-барсучьи рыжего кесаря Каролуса V. Курбский со своей прыгающей походкой и закинутой назад головой — на шведского короля Густава Вазу, скорого на похвальбу и быстрого на решения. Челядник — живые мощи — на Жигимонта Польского, известного своей худобой. Не было только Едварда — серебряного колокольчика, и государь неловко заерзал на просторном троне. Ан и он объявился! Младший дьяк Федя Писемский, обученный многим языкам, подручный в посольском приказе, весь в темном тонком сукне, белолицый и волокуй, выглядел как сущий король-выюноша. На нем лишь и глаз отдохнуть может, все остальные — примелькавшиеся злыдни.

Принахмурился государь не зря. Почувствовал он в вопросе Сильвестра злонамеренное желание отнять у государя неотъемлемую честь его высшего судейства. Ведь коли церковные дела выйдут наперед, начальное и завершительное слово могут получить иереи. Всегда знает, куда и где укусить, злоехидный змий!

Не дал разыгаться гневу самодержец всея Руси.

— Здесь уж вы, милостивцы мои, должны умом раскинуть, великое ли, малое, церковное ли, державное дело на стол класть пред государевы очи. Порядок, одначе, как вести прю словесную, сиречь диспут, установлю сам.

Здесь государь покосился на Сильвестра, но толстоносый супротивник глазом не повел, будто не он чинил препоны царской воле.

Пришло время полдника. Иван Васильевич, благословив раду, ушел из покоев, но советники не торопились расходиться.

— Государь все был тих, а нынче будто обнаруживать себя начал, — испытующе заметил Андрей Михайлович Курбский. Был он щекаст и глазаст, завитые русые кудри расчесаны ото лба надвое, бородка в колечках подстрижена на немецкий манер. Пряничной своей

красоты знаменитый воевода несколько стеснялся, но холить себя не переставал, сие было выше его мочи.

— Он еще припомнит нам прошлогоднюю присягу, — проскрипел Челяднин, — особливо тебе, отче, понеже самым близким человеком к государю был, — поворотился он к Сильвестру.

— О себе, боярин, лучше вспомни, как ты к князю Владимиру с заднего крыльца бегал, — взъярился Сильвестр. — А то все в мою голову!

— Полно препираться! — пресек начавшуюся ссору Адашев. — Диспут, поглядишь, не хуже, чем в Кракове либо Болонье, у нас возгореться может. Пойти, что ли, порадовать государя: все, мол, готово для словесной при — и спорщики налицо и о чем спорить знают.

— Жестоко шутишь, — сказал побледневший Челяднин.

— Тогда лучше обдумаем, как подойти к сему трудному делу, — не выпускал Адашев нити из пальцев.

— Есть у меня один человек на примете, — раздумчиво произнес успокоившийся Сильвестр. — Надо только побольше выведасть о нем.

— А кто такой? — спросил Курбский.

— Некий Матвейка Башкин, сын боярский. Умствует, слышно, над Писанием, людшек своих на волю отпустил, кабалы их изодрал, — уточнил протопоп.

— А спорить-то он горазд? — посомневался Адашев.

— Яз и говорю, узнать о нем следует.

На том до времени и порешили.

Царь и великий князь всея Руси находился в сей час на женской половине дворца. Государыня царица Анастасия Романовна все не могла успокоиться после нежданной-негаданной смерти первенца, царевича Димитрия. При посещении Кирилло-Белозерского монастыря — надо быть такому греху! — мамка поскользнулась на сходнях с причалившей ладьи и уронила младенца в воду. Откатать несчастное дитяtko не удалось, царицыно горе выглядело сокрушительным.

Происшествие было очевидным, розыску не вели, мамку выдрали батогами и прогнали со двора. Пора лютых казней еще не приспела, осьмиглазая подозрительность открыла пока лишь одно око, молодой царь едва пробовал свою силу. Да и не решался он после недавней суматохи вокруг присяги трогать кого-никого из противной стороны. Она оказалась гораздо сильнее, чем предполагал государь. А тут обезумевшая от горя царица прямо винила мать Владимира Старицкого, открытого соискателя царского престола, в злейшем умысле. И теперь она, распустив прекрасные свои волосы, с искаженным, но даже в отчаянье дивным красотой лицом бросала-кидала гневные упреки притихшему Ивану.

— То Офросинья-ведьма наколдовала бедному Митеньке гибель скорую-нежданную! — охрипшим от рыданий голосом говорила-кричала государыня. — Не зря старец Максим упреждал меня не возить младенца с собой, да и самой не ехать. Поехала-повезла, баба глупая, неразумная. А Офросинья, колдунья злая! Ворожила она — донесли мне — над восковым подобьем сынишки моего, Митюши ненаглядного. Над чашей с водой ворожила, кикимора! Воск-от всплывет, а ведьма его топит да приговаривает: «Водой залью, в воде утоплю». Господи! — вскинулась Анастасия Романовна. — Да неужто помилуешь ты жабу проклятую, подколдуную?! Сжечь ее, да не в срубе, а на высоком костре, чтоб всем было слышно, как она орет-визжит. Сжечь ее, чтоб всем было видно, как огонь-пламя пожирает тела окаянные. И пепел по ветру развеять. Что ж ты молчишь? — напустилась несчастная женщина на мужа. — Родную плоть его погубили, сына единственного, Димитрия-царевича, нас-лед-ни-ка, а он молчит! У последнего твоего смерда робенка отыми, так он с дрекольем на обид-

чика пойдет, а ты, царь венчанный, снесешь-проглотишь такое злодейство?!

— Полно, Настя,— устало вымолвил Иван.— Сама ведаешь, ключей к Старицким теперь нет, будет время, припомню им твои слезыньки.

— Ох, Иванушка, сил моих нет, все кудерышки его вспоминаю, ручки-ножки целую у миленького...

Царица залилась горячими...

— Поплачь, поплачь, легче станет,— перебирая легкие ее волосы, утешно зашептал царь.— А что я тебе сейчас расскажу, какой мне сон снился, что на раде ономясь порешили.

И государь, прибаюкивая свою Настеньку, поделился с ней сном и явью. С возникшей мыслью Иван Васильевич носился, как ребенок с понравившейся игрушкой.

— Последний же приговор остается за мной!— И государь повелительно поднял указательный палец.— Все я поясню и разьясню, науку дам. Ну не хорошо ли?

Царица впала в вабытье. Окатистые ее плечи перестали вздрагивать, она уткнулась мужу в грудь и лишь изредка всхлипывала жалостным тонким голосом.

Варут она очнулась и, еще лежа в государевых объятьях, обратилась к мужу с протрезвевшей речью:

— Для твоей при словесной есть у меня человек на примете.

— Кто таков?

— Сын боярский Матюша Башкин. Добрый и умный, а спорщик хоть куда. На рабов своих кабалы изодрал, всех холопей на волю отпустил. Мозги чуть набекрень, Библией зачитался. Он к нам в терем захаживает, девиц тешит, да и меня вместе с ними.

— Ну, яз тоже добр, меня сим не удивишь,— отвечивал Иван Васильевич.— А вот почто он рабов своих отпустил да что из Библии вычитал, то уже на заметку. Будет на памяти сын боярский.

Так в этот день второй раз было упомянуто имя Матвея Башкина.

3

Присяга, которая поминалась в повествовании, стояла у всех на памяти. Судьба уравнивает свои даяния. Низвергает она человека из неслыханного торжества к невиданному уничтожению. Вскоре после взятия Казани, принесшего Ивану Васильевичу громкую славу и бесчисленные выгоды, случилась с ним жестокая болезнь. Напавшая на него горячка мутила разум, отнимала язык, теснила грудь, запырала дыхание. Гормя горел Иван Васильевич, метался на жаркой постели, сбрасывал душевные перины. В редкие просветы, когда он приходил в себя, видел над собой склоненные бороды, испытующие глаза, протягивенные руки. Бороды русые, черные, рыжие, седые оскаливались мокрыми и сухими ртищами. Ртища выблевывали недобрые слова: «Помирает... отходит... преставляется...» А одна борода кланом с тонкогубым змеистым ртом тихо вздохнула: «Подыхает». Может, и помстилось: неужто так разохальничались бояре, как о псе смердящем говорят?

Глаза то бегали, то впивались, то шарили, то буравили, и не было в них ни добра, ни жалости. Руки с длинными и короткими перстами, крючковатыми и стриженными когтями-ногтями тянулись к нему то ли одеть поправить, то ли придушить.

Совсем тяжко стало Ивану Васильевичу. И чем плоше ему становилось, тем бесчиннее держали себя бояре. У самого ложа подняли они брань злую, великий шум и крик. Дело шло не о малом, судьба Руси решалась в царской опочивальне. Государь кончается, кому теперь передавать царство?

Иван Васильевич и сам решил, что пришел его последний час.

Собрав оставшиеся силы, приподнялся на подушках: «Яз с вами говорить много не могу, ступайте в соседнюю палату, целуйте крест сыну моему царевичу Димитрию.—Голос его прервался, и, лишь передохнув, он добавил:—Изнемог велми, сам бы присягу принял, да истомно мне, болезному».

И вот тут-то возгорелся боярский мятеж. В мятеже были скинуты машкеры и личины, кои держали на себе до поры государевы противники. Бояре не зря баламутили вокруг царского ложа, крестное целование порешили они дать не прямому наследнику, а Владимиру Андреевичу Старицкому, двоюродному брату государя. Пуще всего поразила царя измена Избранной рады во главе с протопопом Сильвестром. Первый человек государства, владевший обеими властями яко повелитель и святитель, он самонадеянной поступью на виду у всех перешел ото дня нынешнего ко дню завтрашнему, от заката к восходу.

Мнилось оскорбленному государю, что волчья свора окружила царское ложе. И свора та оказалась неожиданно сильна и ловка. Подле ее всех вели себя наиболее близкие советники, тут один другого стоял. Избранная рада! Ведь так нарек ее сам царь, поелику им она и была избрана среди многих разумных и преданных людей, дабы вершить дела всей русской земли. Каждый человек в ней был наособину, самый тесный круг, коему он должен был верить. Со злой усмешкой проговаривал Иван Васильевич по складам ее название: «Избранная!» Нашел кого избрать!

Измена обозначилась не токмо самому государю, а всему царскому корню. Старшая линия Рюриковичей должна была уступить место младшей. Зубами скрежетал царь много лет спустя, думая, что, умри он тогда, Анастасию с сыном ждал бы монастырский затвор, а там и тайная казнь.

Причину такого перемета, кроме неприязни к нему самому, высказал Федор Адашев, за спиной которого стоял его сын Алексей. Не стесняясь полупокройника, глава адашевского рода прямо у его ложа дерзостно объяснил: «Димитрий твой еще в пеленицах, а владеть нами Захарьиным». Захарьины, те же Романовы, родня самодержца по царице Анастасии, оказались тоже хороши. Устрашились силы боярской, зайцы трясучие! Иван Васильевич, превозмогая лютую хворь, попрекал их гневно: «А вы, Захарьины, чего испужались? Али чайте, бояре вас пощадят? Вы от бояр первые мертвецы будете! И вы бы за сына да за мать его умерли, а жены моей с наследником на поругание боярам не дали».

Князь Владимир Старицкий со своей матерью Офросиньей никак не хотел целовать крест царевичу Димитрию. Когда взяли верх сторонники государя, пришлось их под руки тащить к кресту.

Государь чудом тогда поднялся со смертного одра. Поднялся он не для того, чтобы забывать жестокую обиду. То был во многом совсем иной человек, чем до болезни. Жестокая хворь не только иссушила румянец на его щеках, она высосала остатки доверчивости и покладистости, кои еще жили в недоверчивом и своенравном государе. Натура богатая, но искверканная безотцовщиной, грубым и неряшливым воспитанием, сбита с толку пресмыкательством и лестью, она рано приучилась лицемерить, юродствовать и скоморошничать. Исподволь привыкла она к безмерности своей власти, а обходя редкие запреты, искала выхода в темных и тяжелых страстях. Ко всему еще одолевал царя вязкий порок подозрительности.

Теперь же все эти дурные качества приобрели неиссякаемую пищу в жгучей злопамятности уязвленного властелина, отца и мужа. Долго спустя в письмах Курбскому будет вспоминать он все обиды действительные и вымышленные, которые наносили ему злые люди с самого детства. И не найдется у него доброго слова, чтобы вспомнить соратников по Избранной раде. А ведь с ней у самодержца вся

Руси связано было немало славных и знаменитых дел: взятие Казани и Астрахани, земские преобразования, разверстание поместий, новый судебник. Как это часто бывает с людьми, прошлое получило окраску настоящего и все свершения, в коих участвовали Сильвестр, Адашев, Челяднин, Курбский, крест-накрест перечеркнула злосчастная история с присягой. Долгих семь лет будет ждать Иван Васильевич той поры, когда сможет рассчитаться со своими ненадежными советниками. Лишь почувствовав себя достаточно сильным, в разгаре ливонских побед, он отделается от них. Монастырский затвор и усекновение головы станут не самыми тяжкими наказаниями. А до тех пор царь будет глядеть на них ненавидящими глазами и копить новые обиды. Такие обиды готовы были умножить в благолепных палатах князей Старицких.

То был великий день не только в княжеских покоях, но и во всей державе Московской. Именно тогда перешагнул порог одного из немногих каменных домов на Москве худощавый человек с тщательно подстриженной бородкой, острыми зелеными глазами, слегка прихрамывающий на левую ногу. Одет он был во фряжское платье, на голове его красовалась шапчонка блином, украшенная петушиным пером. Принадлежал он к неизвестной нации: в Италии выдавал себя за француза, во Франции за немца, в Германии за поляка, в Польше за русского, а на Руси опять-таки за итальянца. Ключница Старицких так та прямо объявила его нечистой силой и, судя по последствиям, кои вызвало посещение незнакомца, оказалась недалеко от истины. Прозвище его потом никак не могли припомнить: то ли Черчелли, то ли Чертелло, даже по звучанию оно напоминало выходца из преисподней. В посольском приказе оба его имени соединили в одно — Чертилло Черчелли, и так согласно официальному указанию мы и будем его называть. Означенный Черчелли так же неожиданно возник, как после сгинул. Его видели, говорят, спустя время, в Запорожской сечи, где он обучал длинноусых дядек своему злодейскому искусству.

Незнакомец держал под мышкой небольшой сундучок, завернутый в черную с красными разводами шаль. Домашние князя Владимира Андреевича и на это обстоятельство обратили после досужее внимание: шаль повторяла цвета адского пламени. Не иначе как отведа глаза слугам, Чертилло Черчелли прямо прошел к хозяину дома и, нагло скаля выступающие вперед зубы, предложил научить его невиданной забаве. Владимир Андреевич, ровесник царя Ивана, мало чем походил на своего родича и сверстника. Тонкий в кости, быстрый и ловкий, он был умелым всадником и охотником. Государственные дела его занимали, поскольку на них толкала его властолюбивая мать, души не чаявшая в своем первенце. Страшно скучавший в своей золоченой клетке, князь был рад любому развлечению. А оно превзошло все ожидания. Соискатель московского престола смеялся, как дитя малое, поражаясь удивительным сочетаниям, рождавшимся под пальцами хитроумного итальянца.

— Как же называется сия забава?— спросил очарованный князь.

— По-вашему ее можно было бы назвать листиками,— ответил фряжский гость,— но лучше взять чужеземное название. Die Karte— говорят немцы, а по-русски карты.

— Карты, карты!— захопал в ладоши Рюрикович младшей линии.— Карты! Боже, как хорошо..

— Ну, бог-то здесь, положим, ни при чем,— ухмыльнулся итальянец.

В тот день Черчелли выучил князя и его домашних двум карточным играм— в пьяницу и дурака. Три более сложные— подкидной дурак, очко и свои козыри— он лишь показал, обещав князю в следующий раз достичь с ним необходимого совершенства.

Владимир Андреевич слыл человеком общительным и не умел радоваться один. Заплатив немалую толику денег, он купил сразу

двадцать карточных колод и, оделив ими домашних и дворню, с широкой улыбкой на узком лице поглядывал на новокрещеных игроков. Даже сама Офросинья Андреевна, матушка князя, взяла из любопытства карты в руки. Осталась пьяницей, обиделась, но виду не подавала: все же забава, а князьенька скучать стал.

Ловкий итальянец без умолку болтал во все время обучения. Невесть когда, но он успел исходить всю Москву.

— Зашел я к вашему печатнику, что на Никольской сруб ставит.

— Треклятое дело, — отозвалась Офросинья Андреевна, — кому его книги нужны, жили без них.

— Предложил я ему, — продолжал Черчелли, — печатать мои карты, штука для него нехитрая, а деньги б я заплатил хорошие.

— Ну и что же? — спросил Владимир Андреевич.

— Наотрез отказал. Мол, у него это занятие высокое, а у меня низкое. — И тут же, сощурившись, спросил: — Может, станет вашей милости, чтоб Иван Федоров дал согласие на печатание карт?

— Нет, — отозвалась за сына княгиня-матушка. — Тем злохудожеством царь Иван Васильевич заниматься изволит, не будем ему мешать.

Итальянец понял, что здесь у него с домогательствами ничего не выйдет, и отстал.

Игру на деньги ловкий проходимец отложил на другой день. «Во всем нужна постепенность, — деловито решил он. — И завтра не поздно будет».

К обеду пришел боярин Челяднин с рассказом о сидении Избранной рады. Его выслушали еще до вкушения яств, заперев двери во внутренние покои. Карты были на время оставлены.

— Стало быть, когти-то выпущать начал? — со злорадством спросила Офросинья Андреевна.

— Года еще не миновало с промашки нашей, — отозвался Челяднин.

— Какая такая промашка? — вскинула брови боярыня. — Только силком поганцу Митьке крест целовать стали. Слава богу, прибрал господь его к себе в добрый час.

Челяднин промолчал. У него было лицо испостившегося изувера, где щека щеку задевала и лихорадочно блестели ввалившиеся глаза. Вопреки такой внешности был он человеком, знающим толк в хороших винах и редких яствах, ценителем женской красоты.

Когда зашла речь о новой прихоти государя, само собой сронились с уст Владимира Андреевича имя Матвея Башкина. То было третье упоминание о нем в тот день.

— Да и я его знаю, — дополнила старая княгиня. — Пустой человечшко, но со скуки послушать можно. Все Библию толкует, а без Апостола и не ходит никуда. Коли б его наvertеть, чтоб он царю Ивану разных подлостей наговорил альбо загадок ему головоломных наставил...

— Матюша — душа чистая, — вмешался князь Владимир. — На хитрость он не пойдет.

— Какие там хитрости? Надо лишь настрополить его, чтоб изо всех привычных ему слов говорил пригодные нам, — объяснила боярыня. — Мне вот известно, что он своих рабов на волю отпустил, а уж это близко к заволжским старцам, что нестяжательство проповедают. Царь же Иван их на дух не принимает. Вот и направить Матюшу на тот разговор.

«Умно боярыня мыслит», — усмехнулся про себя Челяднин, а вслух сказал:

— Ну да мы узнаем-разведем, с какой кашей его едят. Токмо сегодня его имя и всплыло.

Трижды вспоминалось на Москве в этот день про Матвея Башкина. В теремные светлицы солнечным лучом сквозь цветную слоду высоко забранных окошек проникали каждое живое слово, любая живая мысль. Да редкими гостями здесь они были! Томительная скука нависала над пядями, смешивалась с жужжаньем веретен, прорывалась в девичьих вздохах.

Матюша Башкин, пригибая голову, запросто проходил в низкие двери курных изб, где жили иные его знакомцы, но был он и желанным гостем на женских половинах боярских хором и царских дворцов. Легкое его сердце равно было открыто злейшим супротивникам — царице Анастасии и боярыне Офросинье. Никогда он не таскал сору из одной избы в другую, а потому всегда уживался в обеих.

Теремная скука не касалась таких высоких особ, как царица и боярыня. То были жены-воительницы. Офросинья, из древнего рода князей Хованских, была смутьянкой чуть не с колыбели. Небось еще в люльке тщилась переорать всех младенцев на Руси великой. Гордыне ее не было конца. А с тех пор как ее выдали за последнего удельного князя Андрея Старицкого, младшего сына Ивана III и родного брата государя московского Василия Ивановича, голова у нее вовсе закружилась. Науськанный ею князь Андрей в малолетство нынешнего самодержца поднял открытый мятеж против законного государя, но был схвачен и посажен за приставы вместе с Офросиньей и княжичем Владимиром. В тюрьме он и умер.

Боярыню с сыном выпустили, и с той поры быстро взрослевший великий князь, а потом и царь Иван Васильевич все время видел рядом с собой словно в кривом венецейском зеркале своего сверстника. Владимир Андреевич, коли б государство русское переживало ровные годы, мог бы спокойно править своим удельным княжеством, а при удаче вроде преждевременной кончины государя и воцариться на престоле, но в бурные и крутые времена оказался решительно неспособным к навязанной ему роли. Пустым орехом прокатился он по дворцовым палатам, пока не был расколот беспощадной рукой противника. Впрочем, четырнадцать лет отделяло его от того злого мгновения.

Офросинья Андреевна была человеком страстным и пристрастным. Мордатая, ширококоротая, полногрудая, она могла перекричать кого угодно и была скоро на руку в домашних ссорах. Однако свою постоянную утеху — вышивальные мастерские — она лелеяла умно и ласково. Способных мастериц выделяла и поощряла, делала им богатые подарки, придумывала трудные, но увлекательные заказы. Воображение у нее было щедрое, и его хватало и на добрую и на дурную сторону. Больше на дурную! Не было такой скверной и дрянной сплетни, которую не придумала бы и не пустила со двора Офросинья Андреевна. Разумеется, все сплетни вились вокруг ненавистного «цареньша», а потом «царюги» и его худородной женки. Захарьины-Юрьевы, Романовы то ж, чей род насчитывал едва ли двести лет существования, никак не могли соперничать с Рюриковичами, чья долгая лестница шагнула к семистам годам.

Болезнь Ивана Васильевича поманила редкой возможностью. Еще, казалось бы, день-другой — и воссядет на престол государем всея Руси Владимир Андреевич. Как ни хулила боярыня самозванный царский титул, а когда дошло до воцарения своего дитяти, решила ни за что не выпускать из рук засиявшее рядом величие: «Пусть не только Ивашка, а и мой Володенька царем побывает». Но все тогда рухнуло в тартарары с выздоровлением государя. Теперь надо было выжидать, авось еще что-нибудь приключится или содеется.

Подбросив злоехидную мыслишку Челяднину, Офросинья Андреевна повеселела и крикнула мастериц, чтобы они показали златотканый покров на раку Сергия Радонежского. Его только что кончили работой. Челяднин, перекрестясь, похвалил прекрасное шитье, где

были изображены все святые подвиги преподобного. Боярыня, словно красная девица, зарделась от удовольствия.

Наступило время обедать. Челяднин поблагодарил, но от приглашения отказался, сославшись на неотложные дела. Его не удерживали, обед не был званым, и обиды здесь не усмотрели. Зато Чертилло Черчелли оказался тут как тут и, ничтоже сумняшеся, занял место на нижнем конце княжьего стола, благо Владимир Андреевич глазами указал ему на скамью.

Оставалось два дня до начала великого поста, и просторный стол, накрытый красной камчатной скатертью, был полон яствами и винами. Слуги вносили перемену за переменной, но средоточием стола оказался ветвисторогий олень, собственноручно убитый князем в подмосковной роще. Крохотный шут в колаке с бубенцами вскарабкался на стол и длинным блестящим ножом вполтину своего роста взрезал оленю брюхо, из него с шумом вылетели белые и сизые голуби. Восхищению присутствующих не было конца, а ловкий Черчелли — пострел везде поспел! — вскочил с места и, подняв кубок с густым кипрским вином, произнес и тут же перевел сладкозвучный стих в честь господина оленя, самой смертью своей рождающего жизнь в виде быстрокрылых птиц. Итальянец вовремя напомнил о себе. Все снова заговорили о превосходной, умной и благородной забаве, которой он поделился со сметливыми москвитянами. Когда обед завершился и миновал послеобеденный отдых, все присные князя, начиная от него самого и кончая последним поваренком, схватив все двадцать колод, сызнова занялись сим прекрасным и достойным делом. Офросинья Андреевна не выдержала и еще раз схватила карты, но усмотрев в короле виной сходство с ненавистным царем Иваном, сплонула и на сей раз окончательно зареклась касаться карт рукой. На игре это, впрочем, никак не отразилось, все продолжали сдавать и метать что есть мочи.

Кстати, об Иване Васильевиче. Когда через два-три дня молва о новой утехе дошла до царских палат, синьор Черчелли неожиданно попал в затруднительное положение. Вызванный пред государевы очи, он неосторожно заявил, что проигравший будет именоваться пьяницей или дураком.

— Што-о? — захрипел царь и великий князь всея Руси. — Это я-то стану у тебя пьяницей и дураком? Ах ты тварь иноземная...

И тут бы конец пришел проходимцу, если бы не его изобретательность:

— Помилуй, великий государь, да никогда сии позорные прозвища к тебе не пристанут. Такой человек, как самодержец всея Руси, попросту не может проиграть столь низкому существу, как я.

И, быстро перетасовав колоду, так раскинул карты, что, сама оставаясь в дураках и пьяницах, ни разу не дал проиграть государю. Иван Васильевич усмехнулся и произнес:

— У тебя-то я и вправду в пьяницах и дураках не останусь, голову побережешь, а вот с другими-то неизвестно как станется. — И запретил карты в царских покоях.

Кроме государевых палат, к счастью для прдщелыги и к несчастью для горожан, в распоряжении Чертилло Черчелли оказалась вся Москва. Стольный град всея Руси охватила карточная горячка. В тридцать или сорок игор, среди коих главенствующее место все-таки занимали первые пять, сражались, бились, дулись князья и пирожники, монахи и купцы, бояре и нищие, мясники и пономари, дворяне и холопы, дети и старцы, невесты и вдовицы, кумы и кумовья, воеводы и дьяки, писцы и рынды, попы и жильцы — все возрасты, сословия, занятия, чины и степени.

Черчелли был верен слову и обучил играть на деньги и вещи по-датливую и доверчивую столицу. Сапожник проигрывал последнюю драгву, боярин спускал имения, поп нес в заклад Библию, купец не

дорожился лавкой. Монета имела и обратную сторону: нищий превращался в богача, пирожник надевал цветное платье, плотник заламывал на ухо бобровую шапку. Переписчики забросили богослужбные книги, день и ночь мастерили и разрисовывали игральные колоды. Чадный угар невиданной страсти плыл над Москвой, и среди разгоряченных лиц, судорожных жестов и хриплых голосов не спеша прогуливался Чертилло Черчелли словно дух того состояния, которое в будущих веках назовут азартом.

4

Карточное поветрие охватило и дом Матвея Башкина. «Каким ни будь христолобцем и молеельщиком, а и ты не избежешь страстей человеческих»,— сокрушенно говорил потом Матюша. Отпущенные им на волю холопы никак не располагали уходить от тароватого хозяина. Ему бы прогнать взащей дармоедов, но вчерашние кабальники оказались настолько привержены к Священному писанию, что не могли и часу прожить без оногo. Ну и читали бы на воле вольной евангельские книги, но как обойтись без помочи Матвея Алексеевича, да и Новый завет не укупишь, в копеечку станет. К слову сказать, копейка как разменная монета только что была введена в обращение, получив имя по всаднику с копьём на тыльной своей стороне.

Угарная затея Черчелли оказалась подлинным даром для разболтанной башкинской челяди. Сам Матюша тоже попробовал взять карту, но бесхитростная душа его никак не восприняла игорных премудростей. Он пугал черви с бубнами, вини с крестями. Не вылезал, бедный, из пьяниц и дураков. Растерянно улыбаясь, встал он из-за стола и раз навсегда махнул рукой на всех тузов и королей, хлапов и краль. Как ни распущенна была Матюшина дворян, но, не встречая поддержки хозяина, переместила игру из горницы на кухню и перестала мозолить глаза посетителям башкинского дома.

Не один из доброжелателей Матюши указывал ему на незавидные последствия его доброты, но не так легко было сбить с толку храброго сына боярского. Он, пожалуй, и впрямь был самым храбрым из всех детей боярских на святой Руси. Так назывались поначалу младшие сыновья высшей знати, выделившиеся потом в отдельный сословный ряд. Он стоял несколько выше основной части дворянства. Ни отец, ни дед Башкина боярами не были, но тонкие голубые пальцы и гладкие розовые ладони, да и сами руки, худые и легкие, выдавали в нем человека, не меньше чем в трех коленах рода своего не знавшего ни сохи, ни заступа. Такое впечатление усиливалось правильными ушами с каплевидными просвечивающими мочками, редкой белокожестью, завершенным овалом лица, синими очами под темными бровями— не зря Матюша был баловнем теремных красавиц.

На все укоры, упреки, подсмеивания Матвей Башкин отвечал ясно и вразумительно: «Будь холопы мои вдесятеро хуже, ленивей, бездельнее, сама совесть не позволит мне владеть ими словно вещами. В Евангелии сказано: «Возлюби ближнего, как самого себя». Хороша любовь, коли он у меня в рабах ходит!»

Башкин принадлежал к взыскующим града, кои никогда не исчезали с лица земли русской. В тот день он ждал к себе своего духовника отца Семена. Шла уже третья неделя великого поста. В начале его Матвей Башкин пришел к священнику Благовещенского собора в Кремле и попросил себя поновить, то есть исповедать. Исповеди он сделал предварение, что является православным христианином, верит в отца, и сына, и святого духа, поклоняется пречестным образам и всем святым, на иконах написанным. Заявив о своем православии, странный прихожанин повел себя дальше совсем не по-православно-

му. Он как бы поменялся местами с отцом Семеном, несшим тогда службу в соборе.

— Ничего нет лучше, чем положить душу за други своя, — изрек молодой человек. — Вы, иереи, на то и поставлены, чтобы показать нам пример и научить нас, как жить в мире. Первое же научение — претворить евангельское слово в дело. Вот я отпустил на волю рабов своих, а дальше что мне делать?

Отец Семен растерялся. От него требовали такого путеводительства, к коему он был совершенно не подготовлен. Взятый по родству со всемогущим Сильвестром в кремлевский храм, он оставил сельский приход под Димитровом вовсе не для того, чтобы опять возвращаться туда. Хмуρο и недоуменно выслушивал он жаркую исповедь Башкина. Тот же все больше расходился. Сам задавал вопросы и сам отвечал на них. Да и вопросы-то какие были! Касались они и единственности Троицы, и причастия, и литургии. Нет, все суждения Башкина ни по букве, ни по смыслу не содержали в себе ничего крамольного и богохульного, но одно то, что исходили они из уст мирянина и допускали разнотолкувания необсуждаемых истин, делали их подозрительными.

Благовещенский пастырь еле развязался с новоявленным правдоискателем и на другой день сказался больным, чтобы отдохнуть от утомительных речений. Какова же была его досада, когда в окно его избы, срубленной на спуске к Боровицким воротам, постучался незванный гость. То был неутомонный Башкин. Впрямь поверив болезни отца Семена, он пришел его навестить. Священник был тронут такой заботой и приказал попадье накрыть стол к обеду. Матвей, однако, отказался от угощения, сказав, что по средам и пятницам, а сей день был среда, кроме хлеба и воды, ничего не вкушает. Благовещенский поп снова почувствовал неловкость: чада духовные показывали пример пастырю.

Башкин опять стал пытаться отца Семена неразрешимыми загадками, встававшими чуть ли не за каждой евангельской строкой. Пастырь, сославшись на нездоровье, отмолчался. Успокаивал отца Семена незлобивый нрав Матюши. Он показал ему Апостол, измеченный восковой свечкой по таким местам, кои вызывали на размышление. Наиболее залистанной выглядела страница, где воск отметил слова: «Яко кроток есмь и смирен сердцем, иго бо мое благо и время мое легко есть». Матвей, безоруживающе улыбаясь, пояснил:

— Что же нужнее человеку, как быть смиренным, кротким, тихим?

За первым посещением последовали другие. Отец Семен слабо оборонялся от умствований Башкина. Толкование Евангелия в расширительном и потаенном смысле было недоступно застоявшемуся разуму благовещенского попа. Неумный прихожанин, одначе, стал сильно занимать отца Семена: ни на кого он не походил, никому не соответствовал. Уступая приглашениям Матвея, священник согласился побывать у него на дому.

Навещая прихожанина, отец Семен выполнял свой пастырский долг. Все же шел он к сыну боярскому и ради того надел рясу доброго коричневого сукна, а поверх на цепи из крупных звеньев тяжелей серебряный крест. Дом Башкина стоял тут же в Кремле на покато́м приречном склоне, откуда виднелись маковки замоскворецких церквей. Просторный и удобный, он был выстроен еще дедом Матвея, служившим в посольском приказе и ведавшим нуждами иноземцев на Москве. За постройкой дома по дружбе следил, говорят, сам Аристотель Фиоравенти, и палаты, переходы, окна и двери сохранили меты и знаки заморских хитростей. В палатах было больше света и воздуха, переходы между ними просторнее, окна и двери выше и шире, чем в других московских домах. Слюдяные окна разных расцветок были разграничены изогнутыми свинцовыми решет-

ками. Синий, красный, желтый, зеленый цвета составляли радугу, игравшую на половицах. По расписным стенам палат сирины и алконосты свивали живые узоры. Изразцовые печи рассказывали в голубых рисунках на белом поле историю Петра Золотые Ключи. Спустя два поколения все красоты и искусства изрядно обветшали, задымались и закоптились, но прежняя стать дома, в коем возрос Матюша, была еще видна.

Чувствовалось все же в доме некое неустройство, которое тут же учуял опытный нюх благовещенского иерея. Оно ощущалось в приподздалых поклонах и небрежных ответах челяди, в паузине за иконами и соре у печей. Челядь, кстати говоря, сразу себя проявила: не стесняясь приходом гостя, заспорила между собой в горнице. Башкин попытался уговорить ругателей:

— Если вы себя грызете и терзаете, смотрите, чтоб совсем не растерзать друг друга.— И, обратясь к отцу Семену, пояснил: — Вот мы христовых рабов держим своими рабами. Христос же нарицает всех братией. Я все кабалы изодрал, держу людей у себя добровольно. Хорошо ему — у меня живет, а не нравится — пусть идет куда хочет.— Дальше он опять сел на своего конька и возвратился к сетованиям о пастырском долге, изрядно надоевшим отцу Семену.

Матвей добавил на сей раз лишь то, что иереи должны, мол, показывать пример, как им в доме людей своих держать. «Смех и грех! — подумал благовещенский поп. — Сам кабалы изодрал, распустил дворню так, что она едва в драку при нем не лезет, а теперь спрашивает, как ему тех бездельников обротать».

— Ты скажи, — продолжал настаивать Башкин, — как мне евангельское слово в сем доме с малыми сими претворить в дело?

— Да не знаю я, господи! — взмолился незадачливый пастырь. — Я простой поп, и по мне бы выдрать на конюшне всю твою шатию, враз бы поуменьли.

— Ты, отче, ври, да не завирайся, — прорезался вдруг голос у веснушчатого белесого смерда с зелеными разбойничьими глазами. — Нашелся один такой на конюшню слать. Смотри как бы самого не выпороли.

— Не серчай, Яша, ради Христа, — увещательно обратился к нему Башкин. — На отце Семене духовный сан, да к тому же он гость наш.

— Разве что гость, — покривился Яша. — А так много ли твой поп знает, чтобы с ним здесь хороводиться. Бражники, скоромники да неучи — весь их поповский разносол.

— Тише, тише, — угованивал Башкин расхолодившегося смерда. — Беси тебя во гнев вводят, Яша, одни беси. Сотвори лучше молитву, чадо мое непутевое.

Но Яша молитву творить не стал, а, махнув рукой, с шумом вышел из горницы.

Отец Семен слишком сторопел, чтобы так вот с ходу отвечать веснушчатому разбойнику. Да и не стоил того охальник языкатый. Кроме всего, благовещенский иерей берег себя. Невысокого роста, приземистый и полный, он наверняка таскал на себе пуда полтора с лишним веса и страх боялся остаться без речи и движения, как его родитель. Тот через полгода оклемался, но скривил рот и вместо «господь» стал говорить «каспуть», и церковную службу ему пришлось оставить. Нет, не хотел для себя подобной участи отец Семен, а потому не ввязывался в злые ссоры, всегда чреватые дурными последствиями. И он лишь головой покрутил в знак решительного неодобрения холопшей выходки.

Тем временем пришли другие посетители. Из тех, что попроще, — печник Фома и бондарь Игнат, из тех, что познатнее, — братья Волко-

вы Иван и Григорий, сразу видно по одеже и повадке, что дворяне. Башкин назвал их даже по отчеству — Тимофеевичами, что означало большую степень почета в те времена.

Завязался разговор, в коем речь уже пошла о вещах божественных. Однако среди евангельских речений вскоре начали с неуследимой быстротой мелькать странные имена и названия. «А ты помнишь, о чем стригомники говорили?» — напоминал густой бас Григория Волкова. «Жидовствующие пошли много далее», — продолжал Иван, старший брат его. Особенно поразили отца Семена печник и бондарь. «Ну, те-то дворяне, грамоте сведомы, а эти откуда набрались?» — подумал благовещенский иерей. Фома с Игнатом мало того что Новый завет знали от доски до доски — все время ссылались на ветхозаветные книги, особенно часто поминая речения пророков. За столом носились и перекрещивались ведомые и неведомые имена ересиархов Схарии, Курицына, Косого и самого Лютера. Лжеучения их никто не защищал, но они как бы переворачивались с изнаночной стороны на лицевую, просвечивались насквозь и откладывались до следующего спора.

На протяжении беседы появлялись новые лица, в том числе два иноземца, литвин и мадьяр, судя по крестному знамению, коим они себя осенили, прямые латинники. Они больше слушали, чем говорили, наверное, по дурному знанию языка.

Сам Матвей Башкин выглядел среди собравшихся не вожаком и предводителем, а скорее первым среди равных. Он направлял беседу, вставлял замечания, гасил ссоры. Его слушались.

Смерд с разбойничьими глазами возвратился с кухни и в разговор не вмешивался, только один раз, недобро усмехаясь, выронил: «А как же Христос сказал: «Не мир я вам принес, но меч»?» И, не дожидаясь ответа, опять ушел прочь.

Как ни пытался отец Семен увидеть хотя бы след тайности в речах и замашках спорщиков, он его не находил. Говорили люди в открытую, без оглядки, как о делах, кровно их затронувших, но заговором, чего опасался благовещенский поп, здесь и не пахло. Спорить спорили нещадно, все выступали вразной, даже братья Волковы то и дело бранились между собой.

Наконец Матвей Алексеевич, как именовали здесь хозяина дома, вспомнил об отце Семене и спросил его мнение о разбираемых предметах, то есть Троице, евхаристии, божественности Христа. Встрепенувшийся священник благоразумно отвечал, что верит так, как предписывает православная вера, а сверх того он, поп Семен, ничего не знает.

— Ну, раз не знаешь, — со вздохом сказал Башкин, — то не спросишь ли о том протопопа Сильвестра? Самому тебе некогда об этом мыслить, в суете мирской ни день ни ночь не ведаешь покоя.

Такие слова были, естественно, в обличение отцу Семену, но он уже привык к мимоходным укоризнам своего духовного сына.

Согласился на том, что Сильвестр будет оповещен о недоумениях Матвея Башкина, а там уж его дело, как к тому отнестись. После сего, прочитав краткую молитву, благовещенский иерей покинул беседу взыскующих града.

Едва он скрылся за углом, как в дверь постучали. На пороге стоял статный человек в легкой овчинной шубейке, перетянутой синим атласным кушаком. Из-под куньей шапки выбивались кудрявые волосы, русая бородка заиндевела от мороза, синие глаза глядели весело и бесстрашно. Показывая на юношу, вошедшего вместе с ним, он сказал:

— Привел к тебе, Матвей Алексеевич, нового своего товарища Петра Мстиславца. Приехал вчера из Литвы помогать в устройстве печатных дел.

Толстоносый Сильвестр не зря привиделся Ивану Васильевичу во сне в виде султана. Властолюбием он не уступал Селиму I, тогдашнему турецкому повелителю. Кто раз прикоснется к чаше власти, тот не оторвется от нее, пока не отнимут силой, — это давнее правило, как никому больше подходило Сильвестру. Уже семь лет пил он из той чаши и все не мог остановиться.

В свое время его вызвал из Новгорода митрополит Макарий как человека благочестивого, книжного и решительного. Последнее его качество вскоре понадобилось. Лета 1547 от воплощения Слова, после праздника Троицы начались на Москве пожары. По сообщению летописца, 21 июня бысть буря велика и потече огонь, якоже молнья и пожар силен прмче во един час две части города Занеглинье и Чертолье. Потом буря обратилась на Кремль, где загорелись церкви, Оружейная и Постельная палаты, а затем и царский двор. Сторели в пламени «Деисус» Андрея Рублева и многочисленные иконы греческого письма. Страшно-ужасно было смотреть на ту геенну огненную, словно перенесенную из преисподней на московские улицы и площади. Всякие сады выгореша до черного угля, сокрушался летописец, и в огородах всякий овощ и трава. Семнадцать тысяч мужеска пола и женска и младенец погибли в огне. Митрополит Макарий сам чуть не разделил такую участь. Только ночью престало огненное пламя. Несчетное число людей, разоренных до подошвы, озлобленных и негодующих, остались без крова и без имущества.

Всем москвичам от вихрастого мальчонки до седого старика, от глупой бабы до ученого монаха стало ясно, что дело здесь непростое. Москва сгорела не иначе как волшебством. Находилось много свидетелей, видевших, как чародеи вынимали сердца человеческие, мочили их в воде, а той водой кропили по улицам — оттого пожар и поднялся! Пирожник Сенька Дранный узрел над огнем сороку, а в той сороке узнал княгиню Анну Глинскую, она то и была злодейкой — виновницей неслыханного дела. В клюве держала горящую ветку и зажигала ею крыши, старая негодница. В той же вине уличили ее брата Михаила. На Москве Глинских не любили. Черные люди охотно возводили на них вину, потому что те были у государя в приближении и жаловании, от их людей пошло насильство и грабеж, а хозяева своих слуг не унимали.

Такое страшное дело простить не позволялось. Надо было побить Глинских, а заодно всех дворян и детей боярских, выходцев из северской земли, пришедших на Москву вслед за знатными покровителями. Анна Глинская, иначе, являлась родной бабкой государя, и люду московскому нельзя было давать потачку к бунту против царской крови. Иван Васильевич, вышедший на паперть Успенского собора, не в силах был уговорить бунтовщиков. Бояре, сводившие счеты с временщиками Глинскими, подстрекали мятежников к расправе с ними. Одного из них толпа растерзала, а другие ожидали той же участи. Мятеж грозился перекинуться, как всегда бывает, вообще на знатных и богатых, а тогда бы недобровать всему державному устроению.

Вот здесь-то и проявил себя Сильвестр. Яко новый пророк встал он с поднятым угрожающим перстом и жаркой обличительной речью. Речь была обращена равно к люду московскому и к его державному повелителю.

Долгие годы потом вспоминал Сильвестр начало своего восхождения к вершинам власти. Как бы вторым зрением видел он себя посреди мятежной толпы высокого и черного, мечущего жалающие стрелы против неслушников. Много страху нагнал тогда благовещенский протопоп на свою многоголовую паству. Не сразу, но исподволь усмирил он ее, мастерски используя «страшила» Ветхого и по-

учения Нового заветов, ссылаясь на грозные знаменья и чудеса. И чудо свершилось, свершилось чудо!

Пожар изгорел, бунт утих, Сильвестр поднялся над пожаром и бунтом как доверенный человек государя. Вместе с Алексеем Адашевым возглавил он Избранную раду, а затем потеснил и Адашева. Влияние его на молодого царя явилось значительным и весомым, поскольку вообще было возможным влиять на столь своенравного и самолюбивого повелителя, как Иван Васильевич. Все это сохранялось до злополучной истории с присягой, но Сильвестр пока еще не поступился ни одним из знаков и преимуществ своей власти.

Как ни был занят Сильвестр, он вскоре допустил к себе отца Семена, в чьем приходе находился, как ему было известно, Матвей Башкин. Быстрым колобком вкатился тот в строгий покой Сильвестра, делавшего пометки на Четьи-Минеях, но отложившего гусиное перо в сторону с приходом попа. Сочинитель «Домостроя» с неудовольствием оглядел тучного пастыря и желчно выговорил:

— Не по великому посту жизнелюбивая плоть твоя играет и веселится. Ишь пузо-то нарастил какое! Кажись, рано я тебя из-под Димитрова с племянницей вызвал. Что за пример прихожанам подаешь!

— Таким господь меня уродил, — смиренно потупив глазыньки, отвечивал отец Семен. — На строгом посту сижу, а брюхо все не убавляется.

— Врешь, поди!.. Ну да ладно, говори, с чем пришел.

Отец Семен подробно рассказал обо всем, что было связано с Матвеем Башкиным, не забыв присовокупить, что обращается к протопопу по собственной Матюшиной просьбе за разрешением недоуменных вопросов.

«На ловца и зверь бежит, — подумал Сильвестр. — Вот тебе и диспут, вот тебе и спор, вот тебе и суть спора. Почище, чем на Бычьем броде, выйдет. Одного страшусь: не слишком ли близко лежит здесь дело к ереси? Вон даже стригольников вспомнили, Схарию и Косого называли, треклятый Лютер у них на слуху».

— Все это слова для церкви нужные и важные, — вздохнув, заметил протопоп. — А посему надо запечатлеть их на бумаге. Иди-тко ты, Семен, домой и, ничего не прибавляя и не убавляя, пиши донос.

Поп-колобок согласно кивнул. По бесхитростному обычаю того времени бумаги подобного рода так и назывались доносами. Лучше или хуже от этого они не становились.

— Да, чтоб не забыть, — спохватился Сильвестр. — Когда встретишься с Башкиным, возьми у него Апостол с измененными местами. Скажи — Сильвестр велел.

И тут колобок выказал повиновение, а потом выкатился из дверей.

«Грехи наши тяжкие», — удовлетворенно проговорил про себя Сильвестр.

Рано успокаивался честолюбивый протопоп! Если ты с кем-нибудь прожил сорок дней и не узнал подлинного его характера, то не узнаешь и через сорок лет. Целое семигодие Сильвестр был близок к государю, а натуры его так и не понял. Самодержец всея Руси до сих пор оставался для него перепуганным юнцом с пятнами сажки и копоты на бледном лице, с трясущимися руками, устрашавшимся яростных пророчеств протопопа едва ли не больше, чем самого пожара.

Между тем Иван Васильевич давно уже стал тяготиться опекой Избранной рады. Крестное целование у его постели усилило и обострило начавшуюся неприязнь. Тогда Сильвестр проявил такую недальновидность, которая сказалась много лет спустя жестокой опалой. Увидев, как перепугались Захарьины, он тут же должен был

сообразить, что подобных соперников ему легко будет в бараний рог скрутить, прежде чем они овладеют властью. Ему бы принять облик благочестивого иерея, преданного государю до последнего его и своего дыхания, а там видно будет! Подымется царь со смертного одра — он его верный слуга, не поднимется — Захарьиных всегда можно подмять либо отодвинуть в сторону. Наконец, у него всегда были добрые отношения с родом Старицких. Поторопился тогда протопоп, поторопился!

Государь проявил завидное самообладание в месяцы после своей болезни. Внезапная смерть царевича Димитрия тоже не отразилась на нем в той степени, в какой можно было ожидать. Все свое внимание царь сосредоточил на одной длительной задаче. Мало-помалу он решил освободиться от неверных советников. Пока что они обладали большей силой, чем он полагал. Надо было до поры вобрать когти, притушить голос, унять подступающий гнев. Властный протопоп, исхищенный в дворцовых переменах, недооценил злопамятности государя. Крупным человеком был Иван Васильевич даже в самих своих пороках.

Великой землей была и богоданная Русь. Случайная блажь царя-государя жадным зерном упала в подготовленную почву. Казалось, все только и ждут часа, чтобы ринуться в жаркую словесную брань, в нескончаемый диспут. Самое дивное, что вовсе неприметные люди оказались готовыми к умственным состязаниям. Чем не Демосфен печник Фома, чем не Цицерон бондарь Игнат, чем хуже Иоанна Златоуста сын боярский Матюша Башкин?

Опытный Сильвестр, услышав от попа-колобка подробное сообщение о скрытных делах, окончательно стал утверждаться в мысли, что зане университетов на Москве никогда не бывало, самым удобным местом для при словесной, сиречь диспута, о високих материях станет собор. Он заметил, что Ивану Васильевичу не понравилось даже предположение о нем, но отступаться не захотел. Новые сведения, полагал он, убедят государя в правильности решения.

Следующим днем Сильвестр на заутрене в Благовещенском соборе, напомнив государю об известном ему деле, подтолкнул вперед попа-колобка, чтобы тот передал царю свое доношение. Государь беголо просмотрел его и сказал отцу Семену:

— Вели Матюше изметить те слова в Апостоле, что вызывают у него сомнения, и подать мне.

Поп-колобок ответил, что Матвей Башкин сейчас во храме, Апостол у него с собой и, буде такое царское желание, сын боярский собственноручно передаст его государю. Башкина поставили пред царские очи.

— Вот каков ты, Матюша, — сказал Иван Васильевич, взяв Апостол, при сем он пытливо поглядел ему в глаза.

Ласковость царя обнадежила Башкина, и он насмелился сказать:

— Правды ишу, великий государь.

Еще пытливее посмотрел на него В Троице славимый: «Вместе поищем, Матюша» — и отпустил взыскующего града.

Царь после сего в сопровождении Сильвестра и Адашева уехал вершить суд в Коломну. Чем больше и дальше думал государь о деле Башкина, тем сильнее выходила наперед противодержавность поступков сына боярского. «Ежели все примутся людей на волю отпускать, заколеблется само царство русское, — размышлял государь. — Сходно было и с ересями. Тут только потачку дай. Вон, по доносу, даже Лютера поминают». Так или иначе, царь Иван Васильевич возвратился из Коломны переменившимся к бедному Матюше.

Библиофика царская насчитывала много сотен книг. Тяжелые тома отцов церкви соседствовали с летописными сводами, латинские и греческие сочинения — с болгарскими и сербскими. Печатные издания с друкарскими знаками Иоганна Гутенберга, Швайполя Фиоля, Альда Мануция стояли особо, напоминая о новшестве, кое государь порешил ввести на Руси. Совсем отдельно стояли «Домострой», Четьи-Минеи, «История о казанском царстве». Они вышли последними из рук переплетчиков и, блестя неугасимыми застежками, а раскрой страницы — золотом и серебром, киноварью и чернью заглавных букв, многоцветными изображениями святоучеников и страстотерпцев, радовали взгляд такого книжника, каким являлся Иван Васильевич.

Он в сие время, раскрыв сочинения Максима Грека, писал старцу наинужнейшую эпистола. В ней государь просил инока с великим бережением приехать на собор и сказать вразумляющее слово. Иван Васильевич уже составил мнение о Матвее Башкине и, ничтоже сумняшеся, облакал его в подобие приговора. Злосчастный Матюша, к коему так ласков был на первых порах государь московский, именовался здесь богопротивным и лукавым еретиком, отступником православной веры, нарушителем божеских и человеческих законов. Ему вменялась хула на господа бога и спаса нашего Иисуса Христа, изобличался он также в отрицании причастия, святых икон, исповеди и покаяния.

Иван Васильевич не утруждал себя розыском провинностей сына боярского. Поразмыв, он целиком стал придерживаться доношений и докладов духовных отцов. Из доноса отца Семена он взял все недоумения Башкина и переименовал их в отрицания. Правда, диспут стал выглядеть несколько односторонним. Не совсем было ясно, что оставалось делать Башкину. Видимо, он должен был благодарить за науку и каяться.

Самому государю все казалось простым и очевидным. Именно так виделись ему вины Матюши. Томление духа, зыбкие сомнения, взыскание вышнего града — все это были нетовые цветы по пустому полю, как выражались в те времена, обозначая зыбкие мечтания. А Иван Васильевич хотел пожать осязаемые злаки человеческих заблуждений. Кроме всего, царь имел поводы к подозрениям, как обладал бы ими любой логически мыслящий ум. Разум же самодержца всея Руси, несмотря на всю свою прихотливость, умел выводить следствие из причины. Аристотеля государь читал.

Ведь Матвей Башкин на основании евангельских слов сделал точный жизненный вывод: изодрать кабалы и отпустить рабов на волю. Что же помешает ему и в других случаях перейти от слов к делу? Сегодня он подумает, что почитание образов недалеко ушло от идолопоклонства, а завтра возьмет да порубит иконы топором или сожжет в печке? Нынче ему токмо мститися, что святое причастие — лишь кусочек пресного хлебца и глоток сладкого вина, а завтра, глядишь, он у всех на глазах с глумлением выплюнет его в божьем храме. Нет, надо упредить подобное непотребство, где мысль и деяние равнозначны!

— Поскачешь к святой Троице и передашь из рук в руки иноку Максиму. Дождешься ответа и в сей же миг обратно, — сказал царь, протягивая готовую эпистола Федору Писемскому, юноше заметно в посольском приказе: Федя знал по-гречески и по-латыни, говорил на польском и шведском, знаком был с немецким и французским языками.

Запечатав сургучом царское послание, гонец стремглав спустился по дворцовой лестнице и, вскочив на коня, помчался к Троицкому монастырю.

По пути Федя размышлял о новоявленной ереси, о Матюше Башкине, о Максиме Греке и своем властелине. Большое чтение далеко не всегда рождает вольномыслие, но широкомыслие его обязательное следствие. И молодой Писемский, читавший очень много, имел возможность сравнивать, выводить и заключать. В отличие от Матвея Башкина он никак не подвигался на поступки, шедшие вразрез общепринятым нравам и обычаям. Да и то сказать, такие, как Башкин, рождались не часто. Федор Писемский ограничивался более безопасными занятиями. Он спокойно проигрывал в уме затейливые шахматные партии, в которых участвовали знакомые ему персоны. Он был одним из немногих на Москве, кто читал еретические сочинения самого Лютера. Тому помогало его знание немецкого языка и знакомство с заезжими ганзейскими купцами — никакого влияния на его правочерность сие чтение не оказывало. Все мысли, возникавшие по сему поводу, Федя держал при себе, да и просто не давал им разыграться.

«До чего, господи, страшатся у нас на Москве любой новизны, — раздумывал молодой соглашатель. — Не верю я в Матюшину вину. Двадцать раз с ним беседовал, православный не хуже самого митрополита Макария. Какой он еретик! Отпустил по доброте души своих холопов на волю, а потом пришел для оправдания Евангелю. Он-то, впрочем, говорит, что все было наоборот: сперва Евангелю, а потом холопы. Да ведь добро, как и зло, вслепую свои пути ищет. Но это и не суть важно... А умствования его ведь одна болтовня. Если бы да кабы... Толкуют божье слово вкривь и вкось, а у стен уши!» Тут Федя, сдвинув шапку на лоб, чтоб не соскочила от встречного ветра, тихо выругался. «Но и то ведь, войти в их положение, — продолжил он свою мысль. — Книжная наука для них закрыта, а разум пищи требует. Матюша в руках книгу держит, разогнет и прочтет и каждому даст прочесть. Прямо нигде не говорится о запрете Библию читать, а попробуй без спросу — сразу на подозрении, а то, пожалуй, из рук вырвут. Мне великое счастье выпало все книги на всех языках иметь перед глазами, и я свою судьбу не упущу. А ведь на что люди не идут. Вон Гришка Матвеев, так тот притворяется, что вовсе языков не знает, а сам чешет не хуже меня. Токмо чтобы в чем не заподозрили. Держать надо замок на устах. Авось когда разомкнется. А не разомкнется, все равно услада уму и сердцу».

В таких мыслях, меняя лошадей на государственных подставах, доскакал Федя Писемский до Троицы. Начиналась оттепель. Влажный февральский ветер первый раз напомнил юному гонцу о весне и заставил вздохнуть его счастливой полной грудью. Откуда счастье в таком неустройстве, вестником коего прибыл сюда молодой дьяк? Но ведь Федя немногим перешагнул двадцать лет своей беспечальной, хоть и тревожной жизни. Однако ж какая юность без тревоги? Любит она их, сама ищет и находит... А так был Федя пригожим лицом, статен и ловок, ему улыбались боярышни, а одна пуще остальных, своенравный повелитель благосклонно смотрел на него, как на ласкового кутенка, возящегося у державных ног. Это только начало его пути. Жизнь Федора Писемского потечет настолько спокойно, насколько это возможно в жестокие времена опал, ссылки и казней. Самым значительным испытанием станет в его зрелости шведский плен, из коего он, впрочем, благополучно выберется. Возглавит он посольство в Англию к королеве Елизавете. Старость принесет ему большие чины, награды, поместья. Все это на виду у подозрительного, вспылчивого, гневного государя!

Федор Писемский не впервые посещал по царским делам Максима Грека и без труда нашел путь к многоумудрому иноку. Просторная келья скорее напоминала владычные покои и носила все следы умственных занятий своего насельника, к исходу дней своих старец снова был взыскан царской лаской. Книги в поставцах и ла-

рях, книги на столах и стульях, табуретах и подоконниках. Книги в закладках, настешь раскрытые и захлопнутые на медные застезки. Посланец государя застал инока в беседе с известным ему человеком, коего не раз встречал в кремлевских палатах, но близко с ним незнакомился. То был Иван Федоров.

Писемский с великим почтением, сообщив старцу о цели своего приезда, вручил ему цареву эпистола. Инок перенес внимание со своего собеседника на юношу:

— Вот ты и прочтешь, Федя, что государь пишет, а то я на старости лет глазами ослабел.

Старец, как и говорили про него, был телом ветх, а душою юн. Невеликого роста, он казался еще меньше от привычной согбенности над книжными листами, смуглый от рождения, он выглядел вовсе темноликим из-за въевшейся в него многолетней копоти лампы и свечей. Выгоревшими бледными дланями в крупной коричневой гречке он передал обратное государеву послание и ожидающе воззрившись на Писемского. Тот прочел знакомое нам письмо.

— Вот оно что! — после долгого молчания отвечал старец. — Значит, понадобился бедный монах на Москве. А отпустить на Афон небось не захотел. Уж как ни молил я его царское величество. Хоть раз бы поглядеть на синее море, на родимые небеса, а там и помереть можно. Как ни молил! Нет, не захотел отпустить, жестокий человек. Ты на меня, Федя, сразу можешь навет сделать, а ты, Иване, свою руку к нему приложить. Все уже испытано, все давно пережито, все теперь отмучено, ничего больше не страшно. Душа острупела, а все хорошее позади. Нет, милый, не поеду я на Москву, слаб стал, ветх стал, не выдержу переезду из-за хворей своих. Позови-ка Порфишу, я наговорю ему свой ответ.

— Молод я и глуп, чтоб тебе, многомудрый отче, советы давать, но повремени решением, — вмешался Писемский. — Не дай бог возневается государь. Сызнова пошлют из доброй твоей кельи в тесный затвор, все книги, кроме Евангеля, отымут, посадят на хлеб-воду да лучину вместо свечки.

— Все знаю, Федя, но на Москву не поеду, — каменно ответил Максим Грек.

Наступила пора сказать о нем несколько слов. Был он одним из значительных людей не только своих дней, но и предбудущих времен. Родился в Греции, учился в Италии, куда после взятия Константинополя турками переместились ученость, образованность и художество. Учился у виднейших книжников, слушал во Флоренции проповеди Савонаролы, видел его сожжение на костре. Возвратился в Грецию, на Афоне принял постриг, прожил там десять лет, пополняя образование. Уже зрелым человеком в правление великого князя Василия Ивановича был приглашен на Москву для перевода с греческого на русский толковой Псалтыри. С помощью двух толмачей осуществил свой труд, но его оставили на Москве для дальнейших работ. Им были исправлены многие богослужебные книги от вкравшихся описок и погрешностей. Неосторожно вмешавшись в церковные споры, подвергся осуждению на соборе, обвинен в ереси и сослан в Волоколамский монастырь. Спустя шесть лет его снова судили вместе с Вассианом Патрикеевым и сослали на сей раз в Тверской монастырь. Освобожденный из затвора только при Иване Васильевиче, он доживал свой век в Троице-Сергиевой лавре. Ко времени нашего повествования старцу стало за восемьдесят лет.

Споры, в которые вмешался Максим Грек, затрагивали коренные вопросы русской жизни. Стяжатели стояли за нерушимость монастырского землевладения, церковь являлась крупнейшей крепостницей Руси. Нестяжатели твердо отказывались от монастырских земель и холопов, но требовали за это непомерно дорогую цену:

власти над государством, первенства духовного начала над мирским. Было бы куда как хорошо, коли бы монастырь отказался от своих владений, а церковь не требовала бы власти, но такие сны были несбыточными.

Максим Грек взял сторону нестяжателей. Их стремление поставить митрополита над государством показалось Василию Ивановичу, а затем и его сыну значительно опаснее намерений стяжателей, державшихся за земли и холопов. Строптивый инок изведал всю силу государева гнева. Его теперь не оправдали, а помиловали. Между сими двумя глаголами лежит если не пропасть, то промоина.

Иван Федоров почти ничего не слышал из беседы, имевшей прямое отношение к участи хозяина дома у кремлевской стены, к коему он счастливо припоздал во время посещения отца Семена. Не то бы и ему, глядишь, попасть в розыск. Перед приездом московского гонца старец рассказывал будущему друкарю о печатном деле во фряжской земле. Перед глазами молодого мастера засквозили виденья дальней неизвестной жизни. Медленно двигались по широким каналам причудливые ладьи. Веселые лодочники, правя кормовым веслом, пели звонкие песни. Прямо к спокойной воде спускались мраморные лестницы голубых и розовых дворцов. По ним, смеясь и хохоча, шли женщины с обнаженными плечами, в масках на лицах. Вокруг нарастал шум весеннего праздника. Рассыпались в синем вечернем небе золотые и серебряные звезды, разноцветный дождь опускался на пеструю шумную толпу.

Венеция, Падуя, Феррара, Милан, Флоренция — переливались в ушах странные названия далеких городов. Сам воздух, по словам старца, был иным в тех краях. Нагретый за день, он быстро свежел вечером, и легкий ветер переносил из монастырских садов запах дамасских роз, лавров и тамарисков.

Вольный крылатый ветер Возрождения!

Без малого десять лет отделяют Ивана Федорова от первого взлета его искусства. Только тогда решится он поставить свое имя на титульном листе Апостола и обозначить год его выпуска в свет. Пока же, теребя курчавую бородку, он смотрит в слюдяное окошко кельи, будто пытаюсь проникнуть через него взглядом и узреть в неведомых даях неведомое будущее.

Деятельной тенью возник Порфиша, и Максим Грек наговорил ему свой отказ в поездке на собор. Затем он вручил царскому гонцу ответное послание, напутственно перекрестил его и прикрыл натруженные очи. Неслышно склонились перед ним Писемский и Федоров. Неслышно ушли из кельи. Вслед за ними, погасив свечу и оставив гореть одни лампы у образов, исчез послушник.

Старец не спал, ему лишь хотелось избавиться от неопытной и поспешной молодости. Перед ним снова проходила бурная его жизнь — земли, люди, книги. И в самом начале ее он видел маленькую фигурку горбоносого доминиканца. Он видел его благословляющим костры, куда летели золото и серебро, драгоценности и пряности, парча и бархат, а заодно картины и статуи знаменитых живописцев и ваятелей. И словно на смену тому костру воздвигался другой, на который вступил неистовый монах. Вот к чему привело нестяжательство на фряжской земле! Коли бы восторжествовала правда, все стало бы наоборот. То-то завопил бы нечестивый пастырь Иосиф Волоцкий, едва первый язык пламени коснулся б его шелковой рясы. Главе бы стяжателей гореть на костре, а не бедному Савонароле, чья душа возлетела ко вседержителю, очищенная страданием и мукой. Еще причислят страстотерпца к лику святых!

Засыпает старец, и светят над ним прозрачные небеса то ли Флоренции, то ли Афона, куда он так и не смог найти обратную дорогу.

Федор Писемский и Иван Федоров вместе вышли от инока и, потрапезовав, решили вместе возвращаться домой. Как часто бывает с молодыми людьми, они безотчетно потянулись друг к другу, и вскоре казалось — гонец и печатник давно знакомы между собой. Сейчас, сидя в трапезной и ожидая лошадей, они продолжали начатый разговор.

— Он же самого Альда Мануция знал, — говорил Федоров, — а тот всему свету известен. Вот книжица со знаком его друкарским — якорем с рыбой-дельфином, мне старец ее подарил. — И он протянул Писемскому небольшой томик Омировой «Одиссеи», напечатанный на греческом языке. — Какое чудо чудное, господи светлый! Ведь каждая буква видна, каждая с тобой разговаривает, свой смысл объясняет. Переplet-то сколь хорош! Какие умелые друкари над ним трудились, может, сам Альд Мануций его касался, а книжицу раскрывали те художники, о коих мне старец говорил. — И будущий создатель Апостола бережно провел тонкими пальцами по коричневому пергаменту, на котором были вытиснены герои древнего сочинителя — Калипсо и Пенелопа, циклоп и сирены, лотофаги и феаки.

— Государь большое участие в твоей затее принимает, — заметил Писемский, — хотел сам с тобой еще раз поговорить, да занят теперь собором, на коем с Матюшей Башкиным диспут, сиречь, про словесную, будет держать.

— А о чем они спорить станут? — спросил печатник.

— О святой Троице, евхаристии, святых иконах да и о том, можно ли человеку человека в рабстве держать согласно Евангелию, — разъяснил хорошо осведомленный молодой дьяк.

— Ох, не сносить Матюше головы, — тяжело вздохнул Иван Федоров.

7

Вопреки опасениям Федора Писемского, царь не возгневался на строптивного старца:

— Ин будет по его воле. Болен так болен. Своим разумом обойдемся.

Втайне отказ Максима Грека отвечал намерениям государя. Едва тот послал гонца в Троицу, как уже пожалел о том. Переменчивая натура Ивана Васильевича вполне удовлетворилась созданным положением. Никак не хотелось ему делить с многоопытным старцем давры вдохновителя собора. Тем более такого, где увещание еретика должно произойти на дис-пу-те.

Вина Матюши, никем и ничем не доказанная, являлась несомненной для государя. Толкование Евангелия предполагало сомнение в нем, а сомнение рождало отрицание. Предшествующие ступени отбрасывались, и отрицание выступало в своей мерзостной наготе. Самодержец всея Руси был многомилостив, представляя состязателем в столь очевидном споре.

Царь велел Избранной раде собраться в Крестовой палате, дабы обсудить направление собора. Как на грех, все его советники находились в тот день по разным причинам в самом скверном настроении. Сам Иван Васильевич был, напротив, оживлен телом, приподнят духом. Ему скоро, впрочем, передавались чужие токи, и он, глядя на пасмурные лица советников, тоже помрачнел и насупился.

Андрей Михайлович Курбский плохо спал ночь, с бессонницы был брюзглив и раздражен. Не спал же он ночь с того, что накануне пришел к нему молодой князь Семен Щетинин и спрашивал с пристрастием, не станут ли на предстоящем соборе отменять Юрьев день. Было ему отвечено, что переход мужиков от одного барина к другому раз в году подтвержден всего три лета назад. «С той поры много воды утекло, — расшумелся князь Семен, — тебе с твоими вотчинами

легко. Холопы из одного имения в другое уходят: там, мол, управитель милостивее. А мне что поделать? Только и слыву князем, а так служивая мелкота. Теперь же последние мужики разбегутся. У тебя их небось тыщ пять, а у меня и ста душ нет. Вестимо, жму на них сильнее, чтоб хоть какой-никакой доходишко получать. В твоих вотчинах им, конечно, вольготнее. Нет, коли не отменят Юрьев день, совсем пропадать нашему брату. В пору самому за соху вставать». И молодой князь ожесточенно мотнул головой.

Был Щетинин с Андреем Михайловичем в близком родстве, чем объяснялась подобная короткость. Тем не менее, чтобы окоротить нищего родича, пришлось накричать на него: «Шкуру с мужиков дерете, вот и бегут холопы от вас!»— но строптивец увещанию не поддался, а только нагрубил в ответ. Кончилась беседа стыдобной попойкой, когда оба князя попеременно ругали и обнимали друг друга; романея, мушкатель, рейнское полнили кубки и в их тусклом звоне посылались искусительные слова: бубни, черви, крести, вини. Опасная затея Черчелли протникла в чертоги князя Андрея. Злокозненное очко доставило много неприятностей покорителю Казани. В ущерб вошли ларец с червонцами, редкая свора борзых, поместья на Ярославщине. «Совсем разум потерял,— с досадливым вздохом подумал Курбский, вспомнив зеленые рощи над Волгой.— Ну надо же так продуться...» Сие крылатое выражение ведет начало именно с того случая.

Как мы видим, причин плохому настроению князя Андрея Михайловича оказалось вполне достаточно, и весь собор с каким-то нелешым диспутом, где состязателем выступит худородный сын боярский, вызывал у Курбского брезгливую усмешку. «Взбредет же такая блажь в голову,— думал князь,— тоже мне Оксфорд, сиречь Бычий брод! Все, как у людей, хотим...»

У Алексея Адашева были другие причины для раздражения, и так же, как у Курбского, они носили государственную и личную окраску. Только накануне он получил от скрытого соглядатая в Кирилловом монастыре подробное изложение беседы государя с Вассианом Топорковым. Теперь монах, а в прошлом любимец государева отца, он зоркими и ненавидящими глазами вглядывался в столпов нового правления. Не читая послания, можно с уверенностью было сказать, что оценки давнего коломенского владыки будут злы и беспощадны. Топорков и впрямь никому не дал спуска. О нем, Адашеве, было сказано так: «Сей наглый рыжий барсук устроит землю русскую, аки свою вонючую нору». И далее: «Все новшества адашевские суть тот же барсучий помет, ненужный и гадкий». И еще далее: «Алешке Адашеву давно по шее надо дать, а ты его боярской шапкой жалуешь». Все это бессмысленная брань, ни одного дельного слова, а все же обидно. И почему вдруг барсук? Нешто похож? Окромья рыжины, нимало не похож! Но как ни обидна та брань, ни во что она не идет рядом с топорковскими советами. По тому наущению должен государь, не торопясь и не поспешая, отобрать мало-помалу власть у Избранной рады, советников заменить слугами, а слуг менять чаще, чем чарки на пиру. Выпил и выкинул. Ну не выкинул, так отодвинул. Утверждал бесстыдный Вассиан, что царевич Димитрий утонул не божьим попусшением, а человеческой злоумышленностью. Много других мерзостей возводил он на советников Избранной рады, и ведь царь его слушал, не возражал, а согласно кивал, по сообщению доносителя. Вот тебе и награда за бессонную службу!

Расстроило Адашева и вчерашнее посещение отца. Отставной служака, правивший когда-то посольство в Турцию, оч до сих пор рвался к власти. В последние годы стал не в меру болтлив, и от его стариковской языкатости шел один грех. Ведь именно он во время крестного целования разнес на всю Ивановскую ходячее речение:

«Сын твой, государь, еще в пеленицах, а владети нам Захарьиным». Такие слова запомнились, и хотя сам Алексей Адашев присягнул царевичу Димитрию, шаткость адашевского рода стала Ивану Васильевичу очевидна и наглядна.

Федор Григорьевич пришел полухмельной, хвастал прошлыми заслугами, заносился, а потом потребовал ни много ни мало, чтобы старший сын поручил ему посольство в Крым. «Я к салтану турецкому в послах ходил, а салтан старше хана, значит, мне эта служба ничем». Господи, да когда оно было, твое посольство! Ну а прежде всего более неудачной поры для такой просьбы придумано было нельзя. Государь супится, после болезни и присяги никому верить не хочет, надо погодить, пока все успокоится, а не лезть на рожон. Но поди доказывай настырному старцу! Отец ушел разбитый, с упреками в сыновней непочтительности, неблагодарности, зазнайстве.

Алексей Адашев, не по годам тучный, погладил рыжеватый бобрлик на голове («Сей рыжий барсук», — не ко времени вспомнил он) и, уняв одышку, проследовал в Крестовую палату, где должно было состояться сидение Избранной рады.

Свои неурядицы были у боярина Ивана Петровича Челяднина. Взрослая его дочь Дарья Ивановна проявила неожиданную строптивость. Никак не ожидал суровый отец от своей боярышни такого противления родительской воле. Когда еще протопоп Сильвестр составлял свой «Домострой», Челяднин присоветовал ему усилить изложение картинами строгих наказаний для молодых строптивцев. Но на собственную дочь у главы рода рука не поднималась. В Дашеньке, по правде говоря, он души не чаял, и ему ли, закрутив косу на руку, как советовал тот же «Домострой», было учить дочку уму-разуму. Куда там!

Дело обстояло просто и сложно. Не так уж круты оказались теремные порядки, коли боярышня могла углядеть в раскрытое окошко темные глаза и румяные щеки Федя Писемского. Сама она ходила, утопив оченьки, и когда уж успела поднять взгляд на красавца дьяка, уму непостижимо. Ан подняла, ан углядела! Непонятно было властному боярину, как вчера еще посторонний юнец стал вдруг человеком самонужнейшим в девичьей светлице. Непонятно никому, как безвестный Федя нашел ходы-выходы в недоступный терем. Искищренному в дворцовых сплетнях Челяднину было невдомек, что женская воля, изгибчивая и хитроглазая, проникнет хоть в замочную скважину. Как раз в замочную скважину она и проникла, припрятанные ключи в терем открыли заповедные двери.

Нечего было говорить, что Иван Петрович был против такого брака. Боярин мог бы махнуть рукой на нарушение дедовских обычаев, не позволявших девице видеть жениха до дня свадьбы. Новые времена, новые нравы! Однако отдать единственную дочку замуж за худородного дьяка было ему не к лицу. Писемский, конечно, из дворян, но самого незаметного достоинства, и сие надо было помнить. Правда, состоял он в приближении у государя и был взыскан царской лаской. При теперешних трудных обстоятельствах это могло стать на руку Челяднину. «Глядишь, и от мальчишки помощь может прийти».

Человек твердый и жесткий, Челяднин на этот раз не знал, на что решиться. Федя был малый ласковый и почтительный, но не такими мерками меряют будущего зятя. А его требовала объявить женихом вся женская половина челяднинских хором. За спиной Ивана Петровича остался растревоженный курятник. Квохтанье и кудахтанье слышны были небось за версту. У Челяднина с утра разламывалась голова.

Один только Сильвестр полон был заботами собора. В диспуте

он тоже видел царскую блажь, но так как пренебречь государевым повелением никто не мог, он решил ввести ее в привычное русло. Для собора дел, вопросов и разбирательств оказалось слишком много. Даже больше чем нужно. За Матвеем Башкиным, еретиком сомнительным, вставал Феодосий Косой, ересиарх уже несомненный. В подозрении оказались бывший троицкий игумен Артемий, путаный дьяк Иван Висковатый, вздумавший поправлять иконописцев, архимандрит суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Феодорит и шушера поменьше. Собором надлежало воспользоваться, чтобы дать острастку вольнодумцам и богопротивникам. При чем за поступки не только совершенные, но замысленные, не имевшие быть, а имеющие быть. Сильвестр никак не хотел вступать в ссору с царем и надеялся избежать ее тем, что предоставил Матвея Башкина в полное распоряжение Ивана Васильевича. «Пусть устраивает с ним прю словесную, а мы потом займемся своими делами», — подумал протопоп. Нет, Сильвестру никак не желалось быть свергнутому во львиный ров. Однако человек предполагает, а бог располагает, и царь Иван Васильевич ожидал своих советников в Крестовой палате.

Первым попал под удар Андрей Михайлович Курбский. Князь оторопел, услышав вопрос о вчерашнем пиршестве. Совладев с неожиданностью, он попробовал возмутиться:

— С каких пор, государь, стал ты держать шишей в моем дому?

— Шишей? — подивился своею очередью царь. — Нужны ли шиши, когда твоя дворня в кабаке на Балчуге всю трезвонит о том, что их господин всю ночь распивал романею с бездельным князем Щетининым? Да не токмо распивал, а играл в Черчеллеву игру с сим трутнем. Играл и проиграл. Что, неправду говорю?

— Истинную правду, — подтвердил заскучавший Андрей Михайлович.

— Потеря ярославского имения твоего не любезна ни господу богу, ни мне, царю и великому князю московскому и всея Руси, — недовольным голосом продолжал государь, для весомости произнес свой титул. — Больно легко отцовскими и дедовскими землями разбрасываться стали. Велю отобрать незаконное приобретение у Сеньки Щетинина и возвратить тебе.

Князь Андрей Михайлович Курбский, наиболее благороднейший из вельмож московских, приосанился, вздернул прямой нос, слегка раздул ноздри и, заискрив серыми глазами, произнес сентенцию, котсрая вызовет в веках тысячи разорений и самоубийств:

— Оставить все как было. Карточный долг, государь, долг чести.

Иван Васильевич насмешливо фыркнул.

Сильвестр принял второй удар.

— Как вести собор будем? Что присоветуешь? — спросил царь.

— Будем вести, как допрежь вели. Порядок известен по другим соборам.

— Известен, да не совсем. Хочу пожаловать Матюшу Башкина, вступив с ним в диспут, сиречь прю словесную, и с божьей милостью одолеть его в сем диспуте.

При сих словах Иван Васильевич ослабил рот в царственной улыбке. При этом показались здоровенные желтые клыки, посреди коих темнели широко расставленные резцы.

— Вместно ли тебе, великий государь, — спросил Сильвестр не без намерения подольститься, — с подлым рабом своим о высших делах рассуждать?

— Как не вместно, — неожиданно обозлился царь. — Коли мя, горемычного невежу, слуги мои верные ежедень вразумляют, страшилами детскими приграживают. Поневоле с худородным Матюшей заговоришь.

— Те страшила суть речения пророков, да притом ветхозаветные, негоже их хулить,— мрачно возразил протопоп.

— Прости мя, неумываку глупого,— зауродствовал вдруг царь-государь,— сам не ведаю, что несу. Разве мне вдомек, что те словеса из Святого писания, полагал, что ты побасенками пужаешь.

— В ту пору словеса из Писания наставили тебя к добру, великий государь,— с тихой строптивостью отвечал Сильвестр.

— Как же, как же, наставниче самовластный,— зачастил Иван Васильевич.— Токмо твоим умом и живем.

— Не моим умом, а духом Писания богоданного,— оборонялся новый Даниил.

Царь нагнулся и сделал вид, что хочет поцеловать подол протопоповой рясы. Сильвестр в испуге попятился.

Юродство и скоморошничанье входили неотъемлемой частью в поток русской жизни тех времен. В смещении скособоченных плоскостей обнажались такие пласты бытия, кои без того никогда бы не были явлены глазу. Много спустя в скачках-перескоках Александровской слободы, в шутовском поклонении царю Симеону Бекбулатовичу ставились вверх дном священные установления церкви и государства.

Самодержец всея Руси неожиданно выпрямился и сказал по-строжавшим голосом:

— Собор начать через семь дней. Митрополит Макарий да молвит первое слово. Всем, кому надобно быть, соберутся после заутрени в Грановитой палате.

«Хоть до нас не добрался»,— не стовариваясь подумали Адашев и Челяднин. «Легко отделался»,— решил Курбский. «Опять показал когти»,— обижено приуныл Сильвестр.

8

Золото и серебро парчовых риз высшего духовенства, атлас, бархат и шелк государевой свиты не заслонили голубого льня одежды Матвея Башкина. Не заслонили они и темного сукна строго царского одеяния. Иван Васильевич восседал на троне, левая рука его лежала на Евангелии, в правой он держал жезл. Башкин стоял в нескольких шагах от государя, с ним был раскрытый Апостол. Матюша сильно робел, но храбрился.

Открыл собор митрополит всея Руси Макарий. Самая сильная опора самодержца, был он человеком широкого ума, вобравшим в себя многие знания и сведения.

Большого роста, с мощной грудью, ставшей вместилищем просторной песенной силы, Макарий мог бы быть украшением любого церковного хора. Его тягучий, как густой мед, голос был воистину прекрасен. Свою митрополичью службу нес он уже двенадцать лет, пышная русая борода его успела поседеть за те годы, а острый взгляд подернуться усталостью. Был он, впрочем, еще деятелен и подвижен разумом. Тому свидетельством стали Большие Четьи-Миней, составление коих он кончил за год перед тем.

Жизнерадостный, деятельный, ученый, Макарий вызывал уважение в людях противоположных убеждений. Царь Иван Васильевич писал Гурию Казанскому: «О, боже, коль бы счастлива русская земля была, коль бы владыки старцы были, яко преосвященный Макарий». После бегства за рубеж озлобленный Курбский, не щадивший своих противников, с твердой похвалой отзывался о митрополите.

Макарий прочел молитву и призвал на собор благословение святой единосущной Троицы. Затем он обратился к государю, дабы тот соизволил вершить соборные дела. Царь ответил крестным знаменем, коим трижды осенил собравшихся.

Митрополит поименно назвал святителей русских, приглашенных на собор. То были преосвященные архиепископы и епископы, честные архимандриты, преподобные игумены, боголюбивые протопопы. То перечисление согласно соборному порядку шло размеренно и долго.

Спокойно отверг Матвей Башкин все предъявленные ему обвинения, и его державному противнику, согласись он с ним, не о чем было бы спорить, исключая изодрания кабал и отпуска людей на волю. А так неравенство Христа с отцом и святым духом, почитание причастия простым хлебом и вином, низвержение церкви и ее святых, сомнение в истинности евангельских преданий — все эти жестокие ереси сын боярский отвергал начисто.

Кривил ли душой Матвей Башкин? Судя по всему, нет, не кривил. Слишком для того был он ясен душой и открыт нравом. Безбоязненно искал он встречи с Сильвестром, а затем и с царем. Да и сам Иван Васильевич, ознакомившись с доносом попа-колобка, просмотрев измененный воском Апостол и переговорив с Матюшей, не счит нужным взять его под стражу после службы в Благовещенском соборе. А сие неминуемо бы произошло, заподозри в нем государь еретические мысли. Башкин виделся ему в то время своеобразным собеседником, противостоятелем в умном споре, пред коим он, Иван Васильевич, покажет свое неоспоримое превосходство. Лишь после, одолеваемый духовными отцами, убедившись в росте ересей на Руси, донельзя подозрительный, стал государь разубверяться в незадачливом сыне боярском, но и тут не оставил мысль о дис-пу-те.

— Были у меня глаголения суетные и слова пустые, но ереси в них не находилось, — чистым голосом произнес Башкин.

— А пошто ты, раб лукавый, сии слова по ветру пуцал? — неожиданно вмешался Иван Васильевич. — Празднословием, суетным, болтовней тешился, негодник?! А того не ведаешь, что все мудрствования твои к Лютеру восходят? Лютер же есть Лютор, и не зря он такое имя носит. Лют, ибо лютый волк, лютый еретик. Так-то.

Подобное словопроизводство было целиком в духе того времени, когда даже Москву выводили из библейского имени Мосха.

— Ничего я не читал из Лютера поганого, — стуча зубами, еле выговорил Матвей, почувствовав царский гнев. — Только имя слышал.

— А-а, имя слышал? — возопил царь, подскочив на жестком троне, с размаху ударившись о дерево и тут же озлясь на сию мелкую задачу. — Стало быть, так злокозненно, столь ядовито проклятое имя, что уже чрез него дух твой отравлен. Да и без Лютора лютого ты в стольких грехах повинен, что и не счесть. Вздумал на волю людишек пускать — значит, законы наши рушишь, здание многомощное шатаешь и колышешь. Кабалы драть, а?

Иван Васильевич встал с трона и, не сводя глаз с Башкина, прямо направился к нему. Взмахи жезла мерили шаги. Дальнейшие события, прежде чем рухнуть в бездну, шли со все большим убыстриением.

— Не-не-не вижу греха в том, — заикаясь, вымолвил Матвей.

Но государь даже не расслышал его сбивающегося голоса, он был переполнен нарастающим гневом.

— Сборища на дому устраивать вздумал, проповеди говорить, Иоанн Златоуст доморощенный? Нет, не Иваном Златоустом, а Матюшкой Кривоустым назовут тебя, ересиарх безбожный! Упорствовать станешь? Я те поупорствую! Так поупорствую, что глаза на лоб полезут. Вмиг забудешь свои ереси промерзостные. Так вот каков у нас дис-пут получился, почище, чем на Бычьем броде.

Иван Васильевич в распалившемся гневe не заботился о связно-

сти обвинений, им владела одна безудержная ярость, зане он был к ней убо подвижен. Голос царя, разгремевшись, неожиданно упал до шепота. В шепоте том, однако, был слышен каждый звук.

— Я тебя, злой еретик Матюша Башкин, здесь в геенну ввергну, здесь твои муки узрю.

Великий государь стоял вплотную к предерзостному сыну боярскому, пронзающе глядя ему в глаза. Матвей Башкин прямо-таки ощутил, как пожирают его свирепые царские очи. В огненном шуме до него доносились шипящие и свистящие звуки, безобразные и зловещие слова, будто змей-горыныч раскрыл перед ним многозубую пасть: з-злой... з-здесь... уз-зрю... ш-шкин-ба. Шкин-ба — так навыворотно прозвучало его прозвище.

В ясновидческом озарении, которое, говорят, приходит иным людям перед неотвратимой гибелью, он вдруг увидел, что вся царская свита оказалась без голов, сам государь, держа в одной руке песью морду, а в другой помело, выплюнул, ощерясь, неведомое слово «опричина», глад и хлад, мор и разор прошли по бескрайней Руси, с охальной злобой рассмеялось над ней самозванство, окутала темным облаком непроглядная смута. Все это сгущалось, темнело, свинцовело и требовало душевного выхода. Но выход был замкнут неотступными царскими очами. И тут злосчастный еретик узрел яркое белое пространство. В его сиянье люди вещали на неведомых языках, понятных одним ангелам. Говорить на них было блаженством неизъяснимым. «Не рай ли это?» — безгрешно подумал Матюша. Ему захотелось сподобиться той райской речи.

— Был, был, был, — с неожиданной силой прорвало Матвея Башкина. — Был, был, был.

— Кто был, где был? — гневно воззрился на него царь.

— Бл-бл-бл... Бл-бл-бл... — участил скороговорку Матюша и приблизил смеющееся лицо к царскому лику.

— Изумился он, великий государь, — наклонился к державному уху Алексей Адашев.

А тот, бедный безумец, язык извеса, как говорится в соборной записи, продолжал свое восторженное бормотанье, кое было понятно разве под райскими кущами.

Царь и великий князь московский и всея Руси отступил на шаг и пристально посмотрел на юрода. Нечто похожее на сочувствие шевельнулось в страшной душе Ивана. Он качнулся в поясном поклоне и отрывисто сказал:

— Исполать тебе, брат во Христе!

Круто повернулся и вышел из покоев.

В борении страстей, попрании малых сих, торжестве сильных, юродстве и скоморошничанье, неслыханном возвышении одного человека над многими и вместе с тем в брожении неумной мысли, свечении сердца и разума, ранних восходах образованности, далеких отзвуках свободы и пьянящих веяниях вольности странным и необычным образом окончился первый диспут в грозной истории российской.

ВИКТОР ШИРОКОВ

★

МАСТЕРСКАЯ

Архитектор берет карандаш.
Вот уже он с работой слился.
Примелькавшийся взору пейзаж
на его чертеже оживился.
Вот он эркер резинкою стер,
строгий циркуль отправил по кругу...
И открылся заветный простор,
словно настезь открыли фрамугу.
Отодвинулись ввысь небеса.
Обнажилось земли постоянство.
Новостроек больших корпуса
шаг за шагом врезались в пространство.
И бурьяном заросший пустырь
на каком-то далеком разъезде
вдруг обрел небывалую ширь
в новом блеске рабочих созвездий.

ПЕРМСКИЕ БОГИ

В кафедральном соборе открыта сейчас галерея,
чтобы мог посетитель узнать о великой Перми
и по залам прошествовать, высокомерно глаза
на собрание редкостей, скрытых тугими дверьми.
Чтобы мог он потом, помянув в холостом разговоре
про иконопись Савина и лицевое шитье,
с тем же пафосом долго расхваливать Черное море,
и песок побережья, и дачное летом житье.
Из-за этих стихов на меня обозлятся эстеты:
как я смел тонковедов уподобить невеждам таким?!
Только мода въедается глубже, чем ржа осыпает монеты,
в отношения наши, в привычки, в то, как говорим.
Я молчать не могу, когда вижу холеную маску
человека, цедящего истину знающим ртом.
Он Платонова любит, он к Лорке относится с лаской,
он вам даст почитать Вознесенского новенький том.
Он коснется кино — Куросавы и Антониони,
он и в спорте силен, и в политике знает он толк...
Почему-то всеядность такая пугает невольню:
говорит-говорит, а не лучше бы взял да умолк...
Потому что порой, навидавшись «интеллектуалов»,
я домой прихожу и в смятенье не знаю — как быть?!
Просто сердце устало от выдуманных ритуалов,
слишком мало натуры и сложен искусственный быт.
Я копаюсь в себе: а быть может, я тоже такой же,

может, жадность до жизни придумана-сыграна мной?
И озноб продирает металлической сеткой по коже,
со всеядностью зряшной в себе продолжается бой.
А приезжие люди тем временем ходят в соборе,
подымаются в зал деревянных пермских скульптур,
и встречаются здесь, словно сходятся в давешнем споре,
представители разных веков и различных культур.
Что откроют живые в резьбе, в изваяниях мертвых?
Что в них вызовут эти «Страдающие Христы»?
Что с собою вы, люди, из этого храма возьмете?
Унесите хотя бы частицу священной земной красоты!
Я когда-то хотел написать так стихотворенье,
чтоб в конце, отвергая привычно религии хлам,
зачеркнуть мастеров гениальных безвестных творенья,
упростив их искусство, поверить небрежным словам.
Я хотел написать: настоящие пермские боги
не в хранилище собраны, это совсем не они,
настоящими были лесорубы, охотники и углежогги,
чрез ваянья вошедшие в наши бессонные дни.
А сейчас понимаю: создав своего «Саваофа»,
Дмитрий Домнин оставил не соседа грядущим векам.
Нет! Он бога творил, он чеканил из дерева строфы
литургии, осанны... и это высокий вокал!
Навсегда уважаю великое мастера право
освещать целый мир светом выстраданных идей.
Да святится вовеки высокая вера и правда
этих честных людей, этих чистосердечных людей,
что открыли мне век восемнадцатый, век непонятный,
век страстей позабытых, креста, бердыша и ножа...
И когда, испугавшись чего-то, пойду на попятный,
пусть мне вспомнится добросердечный Никола Можай!
После праведных лиц, после искренних ликов Усоля
будет легче заметить холеную маску лица.
Это пермские боги меня научили, и словно
я их знаю всегда, навсегда, до конца!

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

★

БРИГАДИР КЯЗЫМ

Рассказ

В течение войны и двух послевоенных лет в Чегеме трижды исчезала из колхозного сейфа большая сумма денег. Ключ от сейфа был только у бухгалтера, он никак не мог объяснить, куда делись деньги, поэтому вина падала на него.

Так был взят под стражу третий бухгалтер, когда обнаружилось, что из сейфа исчезло сто тысяч рублей. Его отправили в кенгурийскую тюрьму, а председатель колхоза Аслан Айба пошел просить помощи у Кязыма.

Кязым по праву считался одним из самых умных людей Чегема. К тому же всем было известно, что он раскрыл несколько преступлений, которые не могла раскрыть даже кенгурийская милиция.

В простой крестьянской жизни всякий дар у человека, если смысл его ясен и нагляден, признается окружающими спокойно и безоговорочно. Тогда как в интеллектуальной среде, где наглядность той или иной одаренности как бы менее очевидна, она чаще всего выражается в словах и подтверждается или опровергается словами же, оценки людей гораздо более запутаны и авторитеты гораздо чаще ложны.

Например, крестьянин, который хозяйствует хуже своего соседа, если бы стал утверждать, что на самом деле он хозяйствует лучше, выглядел бы вдвойне глупо.

А между тем в интеллектуальной среде дурная мысль может по многим причинам временно затмить здравую и может собрать большой урожай признания. Поэтому там соблазн лицемерия сильнее.

Вот почему молодой председатель колхоза Аслан Айба, не испытывая никакого стеснения, приехал сегодня просить помощи у неграмотного бригадира Кязыма.

Сейчас они сидели на скамье у кухонного очага и разговаривали об этом деле. Кязым, положив нога на ногу и обхватив руками колено, глядя на огонь, слушал председателя.

— Ну, этих двоих взяли до меня,— говорил председатель, пошлепывая камчой по полу,— и я поверил, что они проворовались... Но я никак не могу поверить, что мой бухгалтер, бедняга Чичико, забрал из кассы такие деньги. И на что он мог надеяться? Может, дал кому-нибудь из своих городских родственников, есть у него там торгаш один, а тот не успел вернуть? Голова лопается, а понять не могу.

— Все три воровства сделаны одной рукой,— сказал Кязым, продолжая глядеть в огонь.— А так как третий раз украли деньги, когда двое бухгалтеров уже сидели, правильно будет думать, что эта рука принадлежит совсем другому человеку.

— Но кому же?— пожал плечами председатель и хлопнул камчой по полу.— Ключ всегда был только у бухгалтера. Умоляю, подумай об этом как следует.

— Я подумаю,— сказал Кязым, скручивая сигарку. Скрутив ее, он наклонился к огню, озарившему его красивую, коротко остриженную голову с впалыми щеками и с маленькими, глубоко посаженными глазами. Приподнял головешку и, щурясь от дыма, прикурил и бросил обратно в очаг брызнувшее искрами полено.

Через несколько минут они вышли из кухни, Кязым отвязал председательского каракового жеребца, привязанного к перилам кухонной веранды, и помог председателю сесть на него.

Был жаркий летний день, но небо покрывали разорванные, куда-то плывущие облака, и солнце то появлялось, то исчезало. И если с чегемских высот глядеть на окружающие холмы и долины, они кажутся в тенистых и солнечных пятнах, как шкура неведомого животного.

Кязым провожал председателя к верхним воротам двора, мягко ступая по зеленой траве чувяками из сыромятной кожи. Он шел легкой, как бы ленивой походкой, однако свободно поспевающей за пританцовывающим жеребцом.

Сейчас они говорили о новом табачном сарае, который Кязым вместе с помогавшим ему Кунтой покрывал дранью. Он обещал председателю через неделю закончить работу.

Кязым распахнул ворота, и жеребец, выйдя на верхнечегемскую дорогу, нетерпеливо защелкал по камням копытами.

— Прошу как брата, подумай как следует!— перекрикивая щелканье копыт своего коня, бросил назад председатель и огрел камчой внезапно вспыхнувшего и залоснившегося червонными подпалинами жеребца — солнце глянуло из-за облаков.

— Ладно,— сказал Кязым, невольно любуясь сильным, норовистым жеребцом.

Щелканье это, грустной сладостью отдавшееся в душе Кязыма, наконец смолкло, и он перевел взгляд на улы, стоявшие от него налево вдоль плетня. Руки его с большими разработанными кистями были по привычке засунуты за оттянутый ремешок тонкого кавказского пояса, что невольно подчеркивало особенность его фигуры с необычайно впалым животом и выпуклой грудью.

Со двора раздавался почти не смолкавший смех и визг детей. Это его младшая дочка Зиночка со своей ровесницей рослой Катусшой, дочкой брата, катали на овечьей шкуре его четырехлетнего сына.

На неровностях зеленого двора девочки пытались выдернуть из-под малыша шкуру, на которой он восседал, вцепившись крепкими ручонками за клочья свалявшейся шерсти. Большая черная дворняга тоже принимала участие в игре и, полаявая, трусила за шкурой. Когда малыш шлепался со шкуры, девочки продолжали бежать, деля вид, что не заметили потери. Но тут их догоняла собака и, вцепившись в шкуру, шутиливо рыча, пыталась остановить их, чтобы они подобрали малыша.

— Упал! — раздраженным голосом кричал им вслед маленький Гулик, будто речь шла не о нем, а о каком-то постороннем предмете.

Эта интонация и поза малыша смешили девочек, и они, заливаясь хохотом, как бы спохватывались, что шкура опустела. А малыш издали, почему-то не меняя позы, в которой он очутился, слетев со шкуры, сердито смотрел им вслед, как бы говоря: вот дуры-то, никак не научатся катать меня!

Кязым, не вынимая сигарки изо рта, стоял возле улыев, вслушиваясь не то в дружный гул пчел, влетающих и вылетающих из летков или ползающих вокруг них, не то в далекую песню женщины, ни-

жущих табак в табачном сарае, не то в брызжущие радостью голоса детей, волочащих по двору овечью шкуру.

На самом деле он слышал все это и одновременно думал о том, что случилось с колхозным сейфом. Он чувствовал, что мотор уже включился и все, что он слышит и видит вокруг, уже ему не мешает, а, наоборот, помогает спокойно думать.

Продолжая думать о своем, он подошел к крайнему улью, выплюнул окурок, нагнулся, обхватил обеими руками колоду и осторожно, чтобы не раздражать пчел, приподнял ее. По тяжести колоды он почувствовал, что в ней накопилось достаточно меда. Обычно он так определял, пора качать мед или нет. После долгой дождливой погоды он так же определял, есть ли мед в улье, делая скидку на отяжелевшую от дождя колоду.

Сейчас он решил вскрыть ульи. Возвращаясь на кухню, он мимоходом залюбовался озаренными солнцем, радостно оскаленными лицами босоногих девочек, волочащих шкуру, и своим малышом, важно восседающим на ней. Увидев, что Кязым на мгновение остановился, и смотрит на них, собака, бежавшая за шкурой, тоже остановилась, словно спрашивая у хозяина: не выглядит ли это постыдным, что взрослая умная собака забавляется с детьми?

Но тут Кязым перевел взгляд на свою рыжую корову, стоявшую у противоположной стороны двора, уныло опустив голову со струйкой слюны, стекающей изо рта. Рыжуха уже целую неделю не паслась, она только пила мучной отвар, который готовила ей жена Кязыма. Она не подпускала к себе теленка, потому что у нее у вымени образовалась огромная опухоль, и, чтобы насильно выдоить корову, кому-нибудь приходилось придерживать ее за рога.

Пока он глядел на нее, солнце зашло за облака, и сразу потускнел зеленый двор, и брызжущие весельем голоса детей как бы отделились. Кязым вспомнил, что сегодня к вечеру он просил подойти четверых соседских парней, чтобы вместе свалить корову и вскрыть опухоль.

На том конце двора хлопнула калитка. Это жена его Нуца поднялась от родника с медным кувшином на плече. Чуть наклоненная вперед, тонкая, высокая, она мерными и сильными шагами пересекла двор. Он вошел в кухню следом и, когда она, охнув, опустила кувшин с плеча и поставила его возле дверей, взял со стола кружку и, наклонив мокрый ледяной кувшин, налил себе воды и медленно выпил.

— Когда ж ты возьмешься за Рыжуху? — сказала жена, тяжело переводя дыхание. — Жалко животное, да и я с ней замучилась.

— Вечером, — ответил он и прошел в кладовку. Снял висевший на стене таз, положил в него несколько горстей сухого конского помета, лежавшего в деревянном корыте, вошел на кухню, достал из очага пылающую жаром головешку и сунул в таз. Помет сразу же задымил едким пахучим дымом. Кязым достал с очажного карниза кривой обоюдоострый нож для срезания сотов, жена подала ему большое ведро, и он, взяв его в одну руку, а другой придерживая свой дымарь, вышел из кухни.

— Ох, и закусают тебя когда-нибудь пчелы, — сказала ему вслед жена, он ничего не ответил: он всегда вскрывал ульи без сетки и рукавиц.

— Пепе мед будет доставать! — закричала Зиночка и вместе с двоюродной сестричкой, бросив шкуру, побежала за ним. Так почему-то называли его дети. Малыш Гулик тоже, стараясь не отстать и не выпуская шкуру, ковылял за ними. И только собака осталась на месте и теперь сидела, слегка склонив большую голову, по опыту зная, что хозяин не любит, чтобы подходили к нему, когда он возится с ульями.

Кязым обернулся и строго посмотрел на детей, показывая, чтобы они не шли за ним. Дети остановились.

Кязым снова стал подниматься к ульям и снова услышал за спиной шорох волоочащейся шкуры. Он обернулся и снова молча и строго посмотрел на детей сквозь клубы дыма, поднимающегося из таза. Малыш, все еще сжимавший в руке край шкуры, теперь был впереди. Он меньше других чувствовал силу отцовской строгости и потому теперь оказался впереди. Но на этот раз девочки прониклись сознанием власти обычаев, не разрешающих ни подходить, ни разговаривать вблизи человека, вскрывающего ульи. Зиночка взяла за руку малыша и, шепотом уговаривая его, повернула назад.

Тихими, плавными шагами Кязым подошел к крайнему улью. Осторожно, чтобы не звякать, поставил ведро, опустил таз и положил рядом нож. Таз все гуще и гуще дымил. Кязым любил этот запах, как и все, что связано с лошадьё. Да, как все, что связано с лошадьё, но об этом лучше было не думать.

Он наклонился над ульем, крепко ухватился обеими руками за середину верхней части раздвоенной колоды, приподнял ее и, перевернув, поставил на землю. Из колоды сильно пахло свежим медом. Пчелы загудели вокруг него. Он так переставил таз, чтобы дым подальше оттеснил пчел.

Перевернутая половина колоды была почти заполнена ровными рядами золотящихся и темно-коричневых сотов. Он взял нож и стал медленными, плавными движениями срезать сочащиеся соты и, приятно чувствуя ладонями их легкую тяжесть, перекладывать в ведро. Одна пчела исхитрилась укусить его в кисть руки и застряла на ней не в силах вытащить жало. Он спокойно отщелкнул ее пальцем другой руки и продолжил работу. Примерно половину сотов он вытащил из колоды, а остальное оставил на прокорм пчелам. Так, медленно переходя от одного улья к другому, он откачал все десять. Ведро с верхом было наполнено сочащимися янтарными и темно-коричневыми сотами. В некоторых ячейках шевелились полузадохшиеся пчелы.

Солнце снова выглянуло из-за облака и засверкало в слитках сотов, дробясь в темно-коричневых и опрозрачивая янтарные. Кязым воткнул нож в соты, взял в одну руку ведро, в другую все еще дымящийся таз и, подойдя к изгороди, вывалил в крапиву остатки дымящегося помета.

Бол в искусанных ладонях напомнила ему о корове, он глянул туда, где она стояла. К ней подошел теленок и несколько раз ткнул в вымя, но она каждый раз отодвигалась от него, а потом даже отогнала его рогами. Теленок уныло постоял, отошел к другим телатам и стал щипать траву.

— Пепе мед достал! Пепе мед достал! — кричали одновременно Зиночка и маленький Гулик, пока он переходил двор. Катуща, стоя рядом с ними, застенчиво рдела, стыдясь из-за своей чрезмерной рослости так откровенно радоваться предстоящему лакомству.

Они вслед за ним вошли в кухню. Малыш все еще волочил за собой шкуру. Дети уселись на скамью возле кухонного очага, Нуца раздала им железные миски и, отрезая большие куски сотов, шмякала каждому из них в миску.

— Мащ-аллах (благодать)! — сказала она и прямо с кончика ножа отправила себе в рот большой кусок сотов.

— Смотри нож не проглоти, — сказал Кязым, взглянув на жену.

— Может, попробуешь? — спросила она, смачно обсасывая вощину.

Кязым сморщился: он не любил сладкого.

— Полей мне, — сказал он и вышел на веранду.

Жена вынесла кувшинчик с водой, и он вымыл свои липкие от меда, искусанные пчелами ладони. Потом он покурил, сидя у огня,

с удовольствием прислушиваясь к чмоканию детей, к их радостным восклицаниям, к их пугливым выкрикам, когда они отмахивались от пчел, вслед за медом влетевших в кухню. Кязым насмешливо потеплевшими глазами косился на малыша, который наконец бросил свою шкуру и обеими руками запихивал в рот куски сочащихся сотов.

— Я буду у себя в комнате, — сказал он жене, вставая. — Кто бы ни спрашивал, говори, что меня нет.

— Хорошо, — сказала Нуца и, приподняв ведро с медом и взяв в другую руку таз, пошла в кладовку, где повесила таз на место, а мед переложила в кадку.

Почти до самого вечера Кязым лежал у себя на кушетке и думал, изредка выходя на кухню, чтобы прикурить от очажного огня. Корова все еще стояла у штакетника и, если к ней подходил теленок, отодвигалась, он, уныло постояв возле нее, снова отходил к двум другим телятам.

— Подымайся, ребята пришли, — сказала жена, входя в комнату, где лежал Кязым.

— Ага, — сказал он, но еще несколько мгновений, очнувшись от своих мыслей, сидел как бы спросонья. Потом встал и пошел на кухню.

Четверо парней сидели на кухонной скамье и весело болтали, ложками доставая соты из железных мисок и сплевывая выжеванную вощину в огонь. Увидев его, ребята встали, смущенно замолкая и как бы по инерции дожевывая то, что у них оставалось во рту. Он посадил их движением руки, показывая, что они могут продолжать баловаться угощением. Налив из кувшина в кружку воды, вышел на веранду и уселся на скамью возле точильного камня. Плеснув воды на камень, вынул из футляра, висевшего у него на поясе, нож и заточил его.

— Вынеси-ка первача! — крикнул он жене, плеснув остатки воды на лезвие ножа.

Жена принесла из кладовки пол-литровую бутылку розовой чачи. Он открыл бутылку, заткнутую оструганным куском кукурузной кочерыжки, и, не скупясь, облил с обеих сторон лезвие ножа пахучей виноградной водкой. Продолжая держать нож в руке, он закурил бутылку и крикнул на кухню:

— Вставайте, сладкоежки!

Ребята, посмеиваясь и дожевывая вощину, вышли из кухни. Держа в одной руке нож, а в другой бутылку с чачей, Кязым вместе с ребятами вышел во двор.

Собака, увидев в его руке нож, потянулась за ними, наверное, думая, что он собирается резать корову и ей, как это бывает в таких случаях, кое-что перепадет.

— Прочь! — прикрикнул на нее Кязым, и она, остановившись посреди двора, стала издали следить за ними.

Кязым первым подошел к корове. Опустив голову, она даже не пыталась отгонять мух, кружащихся возле нее и ползающих вокруг ее печальных глаз. Кязым поставил бутылку, прислонив ее к штакетнику, и вонзил нож в одну из планок. Потом разогнулся и встал перед головой коровы, содрав ладонью мух, лепившихся возле ее глаз, и, придерживая ее одной рукой за рога, другой стал почесывать холку.

— Вы будете придерживать ее с той стороны, — сказал он двоим парням, — чтобы она не грохнулась на землю, а вы по моему знаку сдерните ее с ног.

Он выбрал глазами двоих что покрепче и поставил их возле коровы, чтобы они обеими руками одновременно дернули ее заднюю и переднюю ноги. Двое других, поставленных с другой стороны, должны были в это время подхватить корову, чтобы она мягко легла на землю.

По знаку Кязыма двое парней, те, что присели на корточки, взявшись обеими руками за дальние от себя переднюю и заднюю ноги коровы, дернули изо всех сил, но корова устояла. Несколько раз он им подавал знак, но то ли сил у них не хватало, то ли они не успевали это сделать одновременно, но корова только вздрагивала, переступала с ноги на ногу, но не падала.

— А ну-ка отойдите, — сказал Кязым, и оба парня, сидевшие на корточках, красные не столько от напряжения, сколько от стыда, распрямились. Он поставил одного из них держать корову за рога, а другого к тем, что должны были ее подхватить.

Кязым присел на корточки и, приговаривая ласковые слова, стал поглаживать переднюю и заднюю ноги коровы, чтобы она расслабилась.

— Приготовьтесь, — сказал он парням, не меняя ласковой интонации, обхватив большими ладонями ноги коровы у самых бабок — йех! — мощным и резким движением вырвал их из-под коровы, она чуть не опрокинулась, но ее подхватили стоявшие с другой стороны ребята и не дали рухнуть.

— Ну и силища, — сказал один из тех, что приседал на корточки, — заживо нас похоронил...

— Так мы ж дети войны, — отшутился второй, — а Кязым на мясе вырос...

Да, Кязым знал, что все еще силен, но сердце у него ни к черту не годилось. После особо тяжелой работы или крепкой выпивки оно давало о себе знать. Да и сейчас он несколько минут сидел на корточках, стараясь отдышаться. Отдышавшись, наклонился и стал рассматривать большую опухоль, вздувшуюся у самого вымени.

— Держите ее, — сказал Кязым и стал, осторожно нажимая на сосцы, выдаивать корову. Она вздрагивала при каждом нажиме и тихо стонала. Молоко было розовым от крови. Отдоив его, он потянулся за ножом, вытасил его, перенес в правую руку и стал поглаживать место опухоли, стараясь понять, куда брызнет гной. Он поднес к опухоли нож.

— Сейчас изо всех сил держите! Особенно задние! — приказал он ребятам.

Двое парней придерживали корову за задние ноги, один за передние, а один за рога, чтобы она не ушиблась, ударившись головой о землю.

Кязым полоснул острым, как бритва, ножом вдоль опухоли. Корову сдавленно мыкнула и дернулась изо всех сил. Фонтан гноя выхлестнул из раны.

— Крепче держите! — яростно заорал Кязым и еще раз полоснул ножом по опухоли, на этот раз поперек первого надреза. Теперь гной шел вместе с кровью.

Кязым обеими руками сдавливал живот коровы вокруг раны, чтобы как можно больше крови и гноя вышло из нее. Коровы стонала, как человек. Кязым взял в руки бутылку, открыл ее и, опять приказав ребятам как можно крепче держать корову, стал медленно вливать в рану огненную чачу. Коровы вздрагивала, шумно отдувалась, стонала. Он вливал долго, медленно, стараясь, чтобы водка как можно глубже проникла в распахнутую рану.

— Хоть бы нам немного оставил, — пошутил один из парней. Кязым промолчал: такая шутка по абхазским обычаям была не по возрасту.

Корову отпустили и отошли на несколько шагов. Она полежала, а потом, раза два дернувшись, перевернулась на живот и встала на ноги. Почувяв кровь, собака медленно подбиралась к тому месту, где до этого лежала корова.

— Прочь! — прикрикнул на нее Кязым, и собака, отпрянув,

отошла на середину двора. Жена Кязыма принесла на лопатке горячую золу из очага и присыпала те места, куда пролились молоко, кровь и гной.

На следующее утро Кязыма разбудил радостный голос жены.

— Рыжуха пасется! — крикнула она, входя в комнату, где он лежал.

Кязым встал, оделся и вышел на веранду. Корова паслась посреди двора. Она не так охотно щипала траву, как обычно, но все-таки это был явный признак, что она выздоравливает.

Пока Кязым умывался, к ней подошел теленок, но она, не дожидаясь, когда он ткнется ей в вымя, отошла на несколько шагов и снова стала щипать траву. Теленок уныло постоял, словно все еще силась понять, что случилось с матерью, и тоже принялся пощипывать траву.

Жена с ведром и хворостиной в руке пошла на скотный двор доить коз.

— Лошадь не выпускай! — крикнул он, утираясь полотенцем.

— Куда это ты собрался? — обернулась Нуца.

— Куда надо, — сказал он и прошел на кухню.

Восемнадцать лет он жил со своей женой, и она, ревнуя его ко всем делам, не относящимся к дому и хозяйству, всегда пыталась отлучить от этих дел, и хотя за все эти годы ей ни разу не удалось это, она так и не оставляла своих упорных, хотя и обреченных попыток.

Он зашел на кухню, разгреб спрятанные в золе еще не погасшие угольки, потом вышел на кухонную веранду и принес оттуда охапку дров и сухих веток. Наломав веток, сгреб угольки и, дуя на них и накладывая сверху наломанные ветки, выдул огонь и, когда он как следует занялся, подложил дров.

Потом он зашел в кладовку, где на стене гирляндой висела низка сухого табака. Выдернул из нее горсть листьев и, вернувшись на кухню, сел верхом на скамью. Беря из вороха табачных листьев по одному листу, он разглаживал на скамье большой ладонью приятно хрустывающий лист и, как следует разгладив, придавливал его растопыренными пальцами, а другой рукой, взявшись за черенок, осторожно отпарывал его вместе со всеми прожилками, вылезавшими между его растопыренных пальцев. Отпарывая черенки, он аккуратно складывал листья, как складывают деньги, и, может быть, получал от этого не меньше удовольствия, чем торговец, приводящий в порядок шальную выручку, или удачливый игрок. Потом перегнул всю пачку, что тоже нередко проделывают владельцы денег, и не только шальных, и, вынув нож, с хрустом перерезал ее, что полностью исключает всякое, даже отдаленное сходство с действиями владельцев денег.

Сложив перерезанную пачку листьев и сровняв оба надреза, он стал тонкими стружками состругивать табак. Нарезав его до последнего маленького комочка, который вместе с черенками отшвырнул в огонь, разрыхлил и распушил руками кучерявящиеся стружки табака и, вынув из кармана большую кожаную табакерку, плотно набил ее.

Как и всякому истинному курильщику, эта возня с табаком доставляла ему удовольствие. Он вынул клочок газеты, оторвал от нее на сигарку, помял в пальцах, насыпал табаку, свернул, прикурил от огня и с удовольствием затянулся.

Вошла жена с полным ведром молока.

— Пора бы разбудить твоих лежебок, — сказал он, вставая.

— Оставь детей, — ответила Нуца, переливая молоко сквозь цедилку в котел, — пусть спят до завтрака.

Он снял с кухонной стены уздечку и вышел во двор.

— Куда это ты собрался? — крикнула жена вслед, явно осуждая его поездку.

— В правление, — ответил он, не останавливаясь.

— Что это ты там потерял? — опять крикнула она, но он ничего не ответил.

С тех пор, как его любимая лошадь Кукла, во время войны мобилизованная для доставки боеприпасов на перевал, вернулась домой со стертой спиной, а главное, он был в этом абсолютно уверен, со сломленным духом, с навсегда испорченными скаковыми качествами, он дал себе слово никогда не заводить лошадей. Куклу он продал, чтобы вид ее не терзал душу.

И все-таки недавно его друг Бахут, который тоже был лошадиником и кое о чем догадывался, предложил ему эту лошадь.

— Посмотри, — сказал Бахут, — не понравится — вернешь, а понравится — купишь...

После той, последней, он боялся полюбить какую-нибудь лошадь. И старался к новой относиться, как к обычной домашней скотине, и как будто это ему удавалось, но что-то во всем этом было не то. Лошадь была хорошая, и ему, прирожденному лошадинику, надо было породниться с ней, но память о старой боли удерживала его. Это рождало ощущение вины перед лошадью, и он был уверен, что сама лошадь чувствует его несправедливое равнодушие к ней, его холодность. Разумеется, ни одному бы человеку в мире он не признался в этом. До войны он неоднократно брал призы на скачках, но с этим, он считал, навсегда покончено.

Он зашел на скотный двор, поймал лошадь, надел на нее уздечку и, приведя во двор, привязал к кухонной веранде.

— Говори людям, что Нури в городе растратил деньги и попал в беду, — сказал он жене, войдя в кухню, — говори людям, что нам нужно у кого-нибудь занять пятьдесят тысяч рублей.

Нури был братом Кязыма. Перед войной он повздорил с мужем своей сестры и, будучи необычайно вспыльчивым парнем, запустил в него топором, и тот умер от кровотечения. Дело удалось замять, потому что властям никто не жаловался, однако на семейном совете Нури был навсегда изгнан из семейного клана и Чегема.

Но после войны, когда столько близких не вернулось домой и сам Нури был тяжело ранен, отношение к нему смягчилось. Он стал изредка приезжать в Чегем из города, где жил, и только сестра, беззаветно любившая своего мужа, не прощала его, не виделась с ним и не разговаривала.

— Да ты что надумал! — услышав слова мужа, воскликнула Нуца и, обернувшись к нему, так и застыла с мамалыжной лопаточкой в руке.

— Так надо, — твердо сказал Кязым и, скрутив сигарку, нагнулся и ткнул ее в жар очага.

— Да во всем Чегеме не найдется таких денег! — воскликнула жена.

— Думаю, кое у кого и больше найдется, — сказал он, усмехнувшись.

— Да чтоб я вырыла кости своих покойников, если во всем Чегеме найдутся такие деньги! — воскликнула жена.

— Оставь в покое кости своих покойников, — сказал он, — и займись мамалыгой.

— Ты лучше скажи мне, что ты надумал? — опять тревожно спросила жена, и он в который раз подивился ее упорству.

Восемнадцать лет она неизменно спрашивала у него, что он надумал, и за это время он ни разу не признался ей в том, что он надумал, и все равно она каждый раз, когда он что-нибудь затевал, пыталась вытянуть из него его замыслы. Но он никогда не открывался ей и тем

более сейчас не мог открыться, потому что она своим куцым бабьим умом могла все испортить.

— Делай, как я сказал,— проговорил он твердо,— когда надо будет, узнаешь!

Она поняла, что ничего от него не добьется, и некоторое время молча мешала мамалыжную заварку лопаточкой.

— Смотри в беду не попади,— вздохнула она через минуту и стала сыпать муку в котел.

— Авань не попаду,— сказал он.

Нуца молчала, но по глухому яростному стуку лопаточки о дно котла он понимал, что она едва сдерживает раздражение.

Дети встали, и старшая дочь, семнадцатилетняя Ризико, взяв кувшин, пошла на родник за водой.

— Опухли со сна,— сказал он, обращаясь к старшему сыну Ремзику и дочке Зиночке, потиравшей свое сонное хорошенькое личико.

— Оставь детей!— бросила жена, с трудом проворачивая лопаточкой густой замес мамалыги.

— Пепе, конфет привези!— строго сказал ему малыш, перековыляв через порог кухонной двери. Увидев лошадь, привязанную к перилам кухонной веранды, он понял, что отец куда-то едет, и решил немедленно извлечь из этого пользу. Кязым молча глянул на малыша насмешливо потеплевшими глазами.

— Погонишь коз в глубину котловины Сабида и веди их все время вдоль ручья,— сказал он старшему сыну,— там выпасы хорошие.

— Знаю без тебя,— огрызнулся сын.

— Как ты с отцом говоришь?— обернулась к сыну Нуца.

Кязым промолчал. Ремзику было пятнадцать лет, и он уже стыдился, что его заставляют пасти коз. Это было то странное и новое, что медленно, но неостановимо входило в Чегем. Почему-то все стыдились пасти, чего никогда не стыдились их отцы и деды.

Позавтракав вместе с семьей, Кязым вынес остатки мамалыги и стал кормить собаку, молча дожидаящуюся у порога кухонной веранды. Он бросал ей мамалыгу небольшими ломтями, чтобы она не подавилась от жадности. Лоснясь на солнце черной шерстью, она, клацая зубами, ловила добычу и мгновенно, почти давясь, ее проглатывала.

Потом он вымыл руки и оседлал лошадь.

— Соли купи, раз уж ты едешь туда,— сказала жена и, вынеся мешочек, попыталась приторочить его к седлу. Но он взял у нее мешочек и сунул его в карман. Он знал, что в доме еще достаточно соли, но жена этой просьбой как бы привязывала его к семье, от которой, как ей казалось, он все норовит оторваться ради каких-то особых мужских или общечегемских дел.

Он отвязал лошадь, молча перекинул через седло свое легкое сильное тело и зарысил через двор на верхнечегемскую дорогу.

Минут через сорок он въехал в сельсоветский двор и, привязав лошадь у коновязи, поднялся в правление колхоза. Две счетоводки, одна молодая девушка, а другая женщина его возраста, склонившись к своим столам, щелкали счетами. Казалось, их печальные лица все еще излучали траур по арестованному бухгалтеру.

— У себя?— кивнул он на председательскую дверь.

— Да,— ответили обе, встав при его появлении.

Лицо той, что была старше, оживилось отсветом далекой нежности. Он рукой показал, чтобы они садились, и прошел в кабинет председателя.

Эта женщина, его ровесница, всю жизнь любила Кязыма, о чем он, вероятно, не догадывался. В юности она считала его настолько умнее и красивее себя, что никогда ни ему, ни кому другому не раскрывалась в своей любви. Она считала, что он достоин какой-то необыкновенной девушки и у него как будто была такая из села Атары и между ними было слово, так говорили люди. Но та девушка вдруг вышла

замуж за другого человека, а Кязым через много лет женился на своей теперешней жене. Прошли годы, она сама вышла замуж, народила детей, но чувство не прошло, исчезла боль, и она продолжала издали следить за его жизнью и тревожиться за него, потому что знала, что у него больное сердце.

Минут двадцать он находился в кабинете председателя, и обе женщины удивлялись, что из кабинета не доносится голосов. Ясно было, что там нарочно говорят очень тихо. Наконец скрипнул отодвинутый стул, и они услышали голос Кязыма:

— Только чтобы ни один человек не знал, иначе все сорвется...

— О чем ты, Кязым? — раздался голос председателя. — Это умрет между нами...

Дверь открылась, и Кязым вышел вместе с председателем.

— А у тебя в сводке ошибка, — сказал Кязым, усмешливо глядя на девушку. Последнее слово он сказал по-русски. Оно легко вошло в абхазский язык.

— Разве? — спросила девушка, густо краснея.

— А ну берись за свою щелкалку, — сказал он, подходя к столу.

Он знал, что она старательная, но ему всегда доставляло удовольствие уличать в ошибках и поправлять грамотных людей. Он стал перечислять работы, сделанные его бригадой за последний месяц. И когда она перемножала гектары прополотой кукурузы и табака, шнурометры нанизанных табачных листьев, он стоял над ней, каждый раз в уме умножая быстрее и называя цифру раньше, чем она выщелкивала ее на счетах.

— Ну вот, умница, видишь, — говорил он, когда названная им цифра совпадала с той, которую она выщелкнула. Если она ошибалась, а иногда она ошибалась оттого, что председатель на нее смотрел и Кязым стоял над душой, он говорил:

— А ну перещелкай наново!

И она перещелкивала, и все получалось так, как он говорил.

— Эх, — сказал председатель, когда он закончил проверку сводки, — если б кое у кого в Кенгурске была такая голова, мы бы к чему-нибудь вышли.

— Бери выше! — не удержалась ровесница Кязыма.

На столе у девушки лежала свежая газета, и Кязым вспомнил, что у него кончается бумага на курево. До войны он всегда покупал папиросную бумагу, но после войны ее не стало.

— Что-нибудь стоящее написано? — спросил Кязым у председателя, показывая рукой на газету. Он это спросил с обычной своей дурашливой серьезностью, о которой председатель прекрасно знал.

— Умный человек, а дурь всякую болтаешь, — ворчливо заметил председатель и, слегка подталкивая Кязыма, вывел его на веранду.

Кязым спустился с крыльца и подошел к своей лошади. Тут он вспомнил наказ жены, а вернее, своего малыша.

— Продавец у себя? — спросил он, уже держась за луки седла и обернувшись к председателю, все еще стоявшему на крыльце. Лавка была расположена в здании правления, но с задней стороны.

— За товаром уехал в Кенгурск, — сказал председатель.

— Хоть бы раз я увидел его товары, — сказал Кязым, усаживаясь на лошадь и носком ноги находя стремя, — а он только и делает, что ездит за товарами.

Солнце ушло за облака, и сразу же потемнел огромный сельсоветский двор, но совсем рядом, метров за двести, купы каштановых деревьев, белеющая камнями дорога, зелень кукурузного поля были все еще озарены особенным радостным солнцем. И лошадь, словно чувствуя это, словно стараясь быстрее войти в золотистую полосу света, быстро зарысила в сторону дома.

На полпути он свернул с дороги и подъехал к дому бывшего

председателя колхоза Тимура Жванбы, или попросту Теймыра, как говорят абхазцы.

— О, Теймыр!— крикнул он, подъезжая к воротам.

Рыжая собака с лаем выскочила из-под дома, но, подбежав к воротам, узнала Кязыма. Застыдившись, что она не сразу его узнала, она слегка повернула голову в сторону и несколько раз взлаяла, показывая, что и раньше лаяла по другому поводу.

Тимур свою собаку почти не кормил, и она ходила по соседским дворам и нередко добредала до дома Кязыма. Тимур и раньше был скуповат по чегемским понятиям, а после того, как его окончательно сняли с должности председателя и отправили на пенсию, присвоив ему неведомый титул почетного гражданина села, он совсем осатанел, одичал и оскотинился, как говорили чегемцы.

Он очень не хотел, чтобы его снимали с должности председателя, и ожидал, что по крайней мере ему дадут какую-нибудь другую должность в Кенгурске. Но никакой должности ему не дали, а присвоили утешительный титул почетного гражданина села.

Не исключено, что, давая ему этот титул и зная его любовь ко всяким знакам отличия, проявили немалую психологическую тонкость. Если бы Тимур Жванба переехал в Кенгурск в поисках руководящей должности, хотя бы и самой маленькой, он автоматически лишился звания почетного гражданина покинутого села.

Прожив в Чегеме больше пятнадцати лет, Тимур так и не научился по-настоящему хозяйствовать, хотя время от времени пробовал у себя на усадьбе всякие вздорные новшества. Так, он в один год половину своей усадьбы засеял арбузными семенами, хотя арбуз в условиях Чегема не вызревал, и весь урожай ему пришлось скормить скотине. В другой раз он закупил полсотни мандариновых саженцев, но все они высохли той же зимой.

И с каждым годом, по наблюдениям чегемцев, он все больше оскотинивался, подсчитывал каждое яйцо, а если курица не снеслась, он обвинял жену, что она тайно съела яйцо. В доме его уже давно вместо молока пили только пахтанье, и, наконец, он выдал замуж дочерей позорно по-чегемским понятиям — без приданого, почти голышом. Впрочем, обе его дочери были хороши собой и вполне благополучно устроились.

Одним словом, Тимур Жванба с его природной высотобоязнью в горном селе Чегем всегда выглядел странноватым, а после снятия его с должности председателя он выглядел особенно нелепым, как городской сумасшедший, почему-то попавший в деревню. Роль деревенского дурачка в Чегеме давно была закреплена за Кунтой, и он с ней неплохо справлялся, так что чегемцам Тимур был ни к чему.

И хотя чегемцы посмеивались над ним, однако относились не без опаски. Он, несмотря на то, что был снят с должности, продолжал ходить в чесучовом кителе, как бы намекая, что власти он не потерял, но она видоизменилась, что давало немало поводов для далеко идущих предположений. Кроме того, несмотря на общепризнанную дурость, он отличался немалой, как выражаются чегемцы, хитродермистостью.

Так, он выследил одного чегемца, который в глухом лесу имел тайный загон, в котором держал пять незаконных коров. Тимур сам потом, хвастаясь, рассказывал, что он заподозрил этого крестьянина, потому что снопы кукурузы, которые чегемцы обычно вздымают и укладывают на обрубленное дерево, растущее на усадьбе, у этого крестьянина уменьшались с быстротой, не соответствовавшей количеству его домашнего скота. Он выследил его и разоблачил.

Случай этот, как легко догадаться, не усилил симпатии чегемцев к Тимуру, потому что они всеми доступными им способами старались сохранить скот и никогда не понимали и не могли понять, кому это мешает. Чтобы пасти тридцать коз, нужен тот же пастух, который

может пасти и триста коз, а в условиях вечнозеленых зарослей козы в дополнительных кормах не нуждаются. Так в чем же дело?

Кязым и раньше много раз задумывался, почему люди, добывающие свой хлеб под крышами контор, когда их ударяет судьба, опускаются гораздо быстрее, чем обыкновенные крестьяне. Он это заметил и по судьбам многих снятых с должностей кенгурийских начальников.

Из кухни вышла жена Тимура и стала приближаться к воротам. Глядя на эту замызганную пожилую женщину, трудно было поверить, что в молодости она была учительницей и работала с мужем в кенгурийской школе. Подозрительно поглядывая на Кязыма, она подошла к воротам.

— Теймыр дома?— спросил Кязым, хотя знал, что его нет дома.

— Нету его,— сказала хозяйка,— может, чего передать?

Кязым замаялся и не ответил. Он внимательно оглядывал окна дома. Рама крайнего справа окна явно подгнила. Остальные рамы были целые. Это надо запомнить, подумал он.

— А где Теймыр?— наконец спросил Кязым, нарочно выждав.

— Он уехал в Атары,— ответила жена,— а что ему передать?

Кязым знал, что он уехал в Атары.

— А когда приедет?— спросил Кязым.

— Вечером обещал,— ответила жена, оживляясь тревожным любопытством,— зачем он тебе?

— Да вот у нас беда,— неохотно ответил Кязым,— брат в Кенгурске в плохое дело вляпался. Если не достану пятьдесят тысяч, он в тюрьму попадет. Думал, может, Теймыр мне займет...

— Да ты что, спятил?— всплеснула руками жена Тимура.— Мы отродясь не видели таких денег!

— Брат в беду попал,— задумчиво повторил Кязым,— думал, может, Теймыр займет, поделится...

— Поделится?!— повторила хозяйка с гневным изумлением.— Да чтоб я похоронила своих детей, если у нас в доме есть хоть какие деньги, а не то что пятьдесят тысяч!

— Так ведь жена не всегда знает, что есть у мужа,— вразумительно сказал Кязым.

— Да знать-то о чем?!— снова всплеснула руками жена Тимура.— Ты, я вижу, совсем рехнулся! Я ж тебе по-абхазски говорю: мы и денег таких отродясь не видели!

— Ну ладно,— сказал Кязым, поворачивая лошадь и уже как бы самому себе вслух,— я-то думал: займет, поделится...

— Да делиться-то чем, очумелый?— крикнула ему вслед жена Тимура, но Кязым, уже не слушая ее долгих проклятий, сворачивал на верхнечегемскую дорогу.

Минут через десять он снова повернул с верхнечегемской дороги и поднялся к дому старого охотника Тендела.

Тендел сидел у самогонного аппарата в тени грецкого ореха. Он сидел боком к воротам и следил за тоненькой стружкой алкоголя, стекающей по соломинке в бутылку. Сейчас был особенно заметен его сломанный ястребиный нос.

— О, Тендел!— крикнул Кязым, останавливая лошадь у ворот.

Тендел вскочил со скамейки, костистый, не по годам проворный старик, и глянул издали на Кязыма своими желтыми ястребиными глазами.

— Спешься, Кязым, спешься!— закричал Тендел, приближаясь,— Испробуй моего первача! Светопреставление! Птицу на лету сечет, птицу!

Голос Тендела был до того пронзителен, что с первыми звуками лошадь Кязыма шарахнулась было, но он ее удержал. Старый охотник явно испробовался своего питья, пока его варил.

— Не могу,— сказал Кязым, останавливая Тендела, пытавшегося распахнуть ворота перед мордой его лошади,— я по делу спешу. Хочу спросить, когда ты гостей позовешь?

У Тендела внук возвратился из армии, и он собирался отпраздновать это событие.

— Послезавтра,— сказал Тендел, несколько сообразуя свой голос с близостью собеседника, однако все так же польхая желтыми ястребиными глазами.— Уж тебя-то известили бы!

— Теймыра думаешь звать?

— Как же его не позвать, разрази его молния,— сосед!

— Правильно, зови его вместе с женой!

— А то не придет на дармовщинку-то!— зазвенел Тендел, и лошадь опять чуть не шарахнулась.— Моя бы воля, я бы их в адское пекло пригласил!

— Хорошо,— сказал Кязым, поворачивая и без того все время воротившего морду коня,— я, может, немного запоздаю, без меня садитесь!

— А то б не сели!— крикнул Тендел.— Спешься все-таки, Кязым, не пожалеешь! Испробуй моей грушевой! Птицу на лету сечет, анассыни!

Но Кязым уже спускался к верхнечегемской дороге.

Остальную часть дня до вечера Кязым крыл дранью новый табачный сарай. Кунта помогал ему. Вечером, когда они закончили работу, Кязым договорился с Кунтой, что завтра с утра они отправятся в лес щепить дрань. Кунта не понимал, для чего им надо щепить дрань, когда ее еще оставалось на несколько дней работы. Но, как всегда подчиняясь Кязыму, не перечил — ему видней.

Кязым нарочно решил щепить дрань и завтра и послезавтра, чтобы до самой пирушки в доме старого Тендела не встречаться с Теймыром.

Рано утром, прихватив сыр и чурек, Кязым на целый день ушел с Кунтой в лес. Он предупредил жену, чтобы она, если его спросит Теймыр, не говорила, где он. Когда вечером, побледневший от усталости, пришел домой, жена ему сказала, что Теймыр трижды заходил и спрашивал его.

Она об этом рассказывала ему, поливая из кувшинчика воду, а он, закатав рукава на сильных волосатых руках и заложив воротник сатиновой рубашки, умывался.

— Ну и что ты ему сказала?— спросил Кязым, подставляя огромные ладони под струю воды.

— Я ему сказала, что ты пошел на поля,— ответила жена.

— А он что?— спросил Кязым и, не дожидаясь ее ответа, плеснул на лицо воду и с хрустом потер ладонями зацетинившиеся щеки.

— А он спросил: правда ли, что твой брат попал в беду?

Жена подала Кязыму мыло, и он, намылив руки и лицо, снова подставил ковш ладоней под струю. Нуце хотелось побыстрей ему все рассказать, но она подчинялась его ритму. Снова плеснув на лицо воду и снова подставив под струю ладони, он наконец спросил:

— А ты что?

— А я говорю: «Правда!» Как ты научил.

— А он что?

— А он говорит: «Какого дьявола твой муж просил поделиться?! Чем это я должен делиться?!»

— А ты что?

— А я говорю: «Откуда я знаю! Это ваше мужское дело».

— Правильно,— одобрил ее Кязым, протирая мокрыми руками свою крепкую, с выпуклым кадыком шею.— Я вижу — ты умница.

— А он еще два раза приходил. Говорит: «Не нашел его ни на

плантациях, ни на кукурузниках». А я говорю: «Может, в правление ушел». А он говорит: «Ну, я его там перехвачу!» Никогда в жизни я столько не врала!

— Ты умница,— сказал Кязым, разгибаясь,— другого слова не подберешь.

— То-то же,— сказала Нуца довольная,— хоть раз в жизни признал меня умной.

— Ну-ну,— сказал Кязым и, сняв с ее плеча полотенце, вытер лицо и руки.

Отдав жене полотенце, он вошел в кухню и, усевшись перед огнем на скамью, стал сворачивать сигарку. Он сильно устал за этот день, но был доволен и тем, что они с Кунтой много драни нащепили, и тем, как вел себя Теймыр, и особенно тем, что он это его поведение предвидел.

— Если завтра придет Теймыр,— сказал он жене, подумав,— скажи ему, что я пошел с Кунтой щепить дрань в котловину Сабида.

— Я что-то ничего не понимаю,— удивилась Нуца, ставя узкий длинный столик между очагом и скамьей.— Разве вы не над домом Исы щепите дрань?

— Ничего,— сказал Кязым,— пусть походит.

— Лопни мои глаза,— сказала Нуца, доставая из котла порции дымящейся мамалыги, накладывая их на чисто выскобленный столик и прищелпывая лопаточкой,— если я чего понимаю. Не стыдно морочить почтенного, хотя бы по возрасту, человека?

— Сукин сын он, а не почтенный человек,— сказал Кязым.

— Все же бывший председатель,— заметила Нуца, втыкая в каждую порцию мамалыги по два куска сыра,— хоть и не любил наш дом.

— Сукин сын он, а не председатель,— сказал Кязым, насмешливо потеплевшими глазами глядя на малыша, который пробирался к своему месту рядом с ним.

Дети расселись, и Нуца присела с краю столика.

— Так что ж ты у него деньги просишь?— спросила она, отщипывая горячую мамалыгу от своей порции.

— А вот это уже не твое бабье дело,— сказал Кязым и, вынув из мамалыги размякший сыр, вяло надкусил его.

Вечером, когда он, бледный от усталости, с топориком-цаддой, перекинутым через плечо и поддерживающим вязанку дров на другом плече, вернулся домой, жена его встретила руганью. Она сказала, что Теймыр опять приходил, и она ему сказала, что муж ушел щепить дрань в котловину Сабида, и он там подня прорыскал и, не найдя Кязыма, вернулся и до того здесь разорался, что сбежались женщины из табачного сарая.

— Все идет как надо,— сказал Кязым.— Подогрей мне воду, я побреюсь и вымоюсь.

Он наладил бритву и, глядя в зеркальце, поставленное на очажный карниз, время от времени прикладывая к лицу мокрую горячую тряпку и после этого смазывая щеки мылом, тщательно побрился.

— Пепе,— сказала старшая дочка,— какой ты стал красивый. Дай я тебе волосы подровняю сзади, а то ты зарос.

— Ну ладно,— согласился он и уселся на скамью у очага.

Щелкая ножницами, дочка стала выравнивать ему волосы. Она всегда с удовольствием стригла его.

— Ты почти совсем не седой, пепе,— щebetала она, склонившись к его голове,— и у тебя никакой лысины нет.

— Ага,— согласился он, покорно склонив голову.

— Почему ты не заведешь усы, пепе?— спросила дочка.— Тебе усы пойдут.

— Обойдусь, — сказал он, вставая и отряхивая плечи.

Потом он вымылся в кладовке, переоделся в чистое белье, надел серую шерстяную рубашку, новые черные шерстяные галифе, натянул мягкие кавказские сапоги, перепоясался тонким поясом с ножом в кожаном футляре и, сдвинув назад складки рубахи, вышел на кухню.

После этого он уселся у очага и целый час там просидел, покуривая и сдержанно заигрывая с Гуликом. Малыш сидел на овечьей шкуре и, склонив пухловатое лицо, нежно озаренное огнем очага, строил из кукурузных кочерыжек вавилонскую башню. Он ставил две кочерыжки, сверху поперек клал еще две, и так постепенно росла башня, но в какое-то мгновение она обрушивалась, и малыш, не понимая, что вавилонская башня на то и вавилонская, что обречена рухнуть, раздраженно сопя, начинал ее снова возводить. Именно об этом думал Кязым, хотя и не этими словами, поглядывая на своего малыша и иногда, наклонившись, подправляя неровно поставленные кочерыжки.

Нуца уже начинала готовиться к ужину, когда он вышел из дому. Было прохладно, и он, поеживаясь, стал подыматься на верхнечегемскую дорогу. Ночь была звездная, ясная. Облака, целых два дня крившие и перекраивавшие небо, так и не сумев его обложить, куда-то скрылись. Так кончается ничем, подумал Кязым, всякое слишком затянувшееся дело.

Луны еще не было, но белые камни верхнечегемской дороги посвечивали в темноте. Косогор над дорогой темнел зарослями бирючины, ежевики, держи-дерева. Между теменью кустов, как странные призраки допотопных животных, серели огромные валуны. Доносились песня цикад.

Язык вселенского безмолвия и грусть вечности угадывались в покорном тиканье цикад, тогда как далекий лай собак напоминал о тепле человеческого жилья, об уюте временной радости жизни. Казалось, вечность грустит о недоступном ей уюте жизни, а уют временной жизни сладок душе человека самой недоступностью вечной жизни на этой земле.

Кязым вспомнил свою первую любимую лошадь, своего прославленного вороного иноходца, которого он имел в дни далекой молодости. Эту лошадь много раз пытался у него купить известный лошадиник Даур. Он жил в селе Джгерда. Даур много раз предлагал Кязыму большие деньги за его лошадь, потом он предлагал ему большие деньги и хорошую лошадь в придачу, но Кязым, гордый за своего скакуна, никогда не соглашался его продать.

Потом Даур смирился и больше не заговаривал с ним об этом, но стал часто заезжать к нему домой, и многие говорили Кязыму:

— Ох, уведет твоего иноходца этот человек! Ох, недаром зачастил он к тебе! Приглядывается!

Но Кязым не верил в коварство этого человека. Так ему подсказывало сердце, хотя и ему казались странноватыми эти наезды Даура: то ночь застала его в Чегеме, то гроза заставила свернуть с дороги, то еще что-нибудь. Так продолжалось около двух лет.

Однажды Кязым, проснувшись на рассвете, увидел, что постель его гостя пуста. Они спали в одной комнате. Он решил, что тот по нужде вышел из дому, но прошло достаточно много времени, а тот все не возвращался. Кязым встревожился. Встал, быстро оделся и вышел во двор. Подходя к конюшне, заметил, что дверь приоткрыта, и почувствовал, что кровь в его теле остановилась.

Он шагнул в приоткрытую дверь и замер. Даур стоял возле его лошади, гладил ее длинную гриву, почесывал холку и, нашептывая ей какие-то слова, иногда целовал в морду. Нет, конокрад так себя не ведет!

Кязым отшатнулся от дверей, как если бы случайно застал влюбленных за ласками, не предназначенными для чужих глаз. Он сам

любил лошадей, но чтобы взрослый мужчина ласкал лошадь и целовал ее в морду, как мальчишка, этого он никогда не слышал.

Так вот почему Даур стал часто ездить к нему, вот почему ночь или непогода заставляла его в Чегеме!

Кязым тихо вернулся в дом и лег в свою постель. Примерно через час в комнату вошел Даур.

Утром они встали, позавтракали, немного выпили, и гость собрался в дорогу. Когда домашние, провожая гостя, вышли из дому и Махаз, младший брат Кязыма, подвел лошадь Даура к веранде, Кязым вошел в конюшню, вывел под уздцы своего иноходца и поставил его рядом с лошадью Даура.

— Ты что, Кязым, тоже собрался куда-то?— спросил Даур.

— Нет,— сказал Кязым и, подойдя к его лошади, взялся за подпругу.

— Я уже затянул ее,— сказал гость, еще не понимая, в чем дело.

— А я решил ее ослабить,— усмехнулся Кязым и, отпустив подпругу, снял седло и, не глядя на бледнеющего Даура, перенес седло на свою лошадь.

Все, кто был рядом, застыли изумленные, а бледный Даур молчал, и только плетъ камчи, которую он держал в руке, тихо-тихо подрагивала. Так говорили потом домашние, рассказывая об этом.

— Я меняю свою лошадь,— сказал Кязым, прерывая неловкое молчание,— она мне поднадоела... Твоя лошадь не хуже...

— Кязым, ты даже сам не знаешь, что ты сделал,— промолвил Даур и больше ничего не мог сказать. Он уехал.

Кязым знал, что сделал, и никогда не жалел о том, что расстался с любимой лошадью. Это было совсем не то, что потом случилось с Куклой. Это было все равно что отдать любимую дочь за достойного человека. И он ее отдал и никогда не жалел об этом.

Конечно, Даур потом пригласил его к себе, устроил в его честь большой пир и подарил ему серебряный кинжал редкой работы.

— Кязым,— несколько раз, склоняясь к нему, говорил на пиру Даур,— помни, что ты утолил мою жажду, а мне недолго осталось жить! Но я теперь ни о чем не жалею!

— Чтоб твой язык отсох, Даур!— дважды вскричала его бедная мать, уловив его слова.— Зачем ты убиваешь меня!

Тогда Кязым не придавал большого значения его хмельным признаниям, хотя и знал, что кровь лежит на его роду. Его дядя двадцать лет назад убил по законам кровной мести человека из рода Тамба. Дядю арестовали, выслали в Сибирь, и он там умер. У дяди не было детей, и Даур мог стать жертвой будущего кровника. Но сам дядя погиб, с тех пор прошло двадцать лет и можно было надеяться, что там, в роду Тамба, удовлетворившись смертью дяди Даура, остыли.

Как водится в таких случаях, тот род, за которым кровь, избегает возможных встреч с родом, за которым остается право на выставку. Представители его не посещают места, где живут их враги, и, собираясь на какие-нибудь свадебные или поминальные пиршества, путем сложных расчетов многоступенчатости родства вычисляют возможность появления на этих сборищах своих кровников и, если эта возможность более или менее реальна, избегают их.

Примерно через год после того, как Кязым отдал своего иноходца Дауру, тот проезжал в десяти километрах от села, где жили его кровники.

Поравнявшись с мельницей, он решил прикурить от мельничного костра и, спешившись, зашел на мельницу. Мельница работала, но мельник спал на лежанке.

Даур не стал его будить. Нагнувшись, он прикурнул от костра, а когда повернулся к выходу, увидел, что в дверях с топором в руке стоит сын человека, убитого его дядей. Как потом выяснилось, тот искал заблудившуюся корову и, оказавшись рядом с мельницей и уви-

дев лошадь, привязанную возле нее (нет, он не знал, чья это лошадь), решил зайти на мельницу и спросить у путника, не видел ли тот где-нибудь на дороге корову.

Смерть Даура была страшной и быстрой. Кровник этот молча ударом топора отсек ему голову. Голова рухнула в костер и выкатилась из него, а плеснувший из огня фонтан искр посыпался на мельника.

Спросонья ничего не понимая, тот привскочил с лежанки и увидел перед собой безголовое тело человека, которое, мгновенно постояв, тоже рухнуло. Кровник схватил отрубленную голову и, загасив затлевшие на ней волосы, поставил ее на лежанку рядом с мельником, который к этому времени уже сошел с ума.

Кровник не стал скрывать, обо всем рассказал сам, его судили. Эта история долго помнилась в Кенгурийском районе. И каждый раз, когда Кязым вспоминал ее, хотя с тех пор прошло почти тридцать лет, в ушах его звучало хмельное пророчество Даура: «Кязым, ты утолил мою жажду, а мне немного осталось!»

По народной примете месть сына, если он был во чреве матери, когда убили его отца, бывает особенно свирепой. Так и было на этот раз. Не яд ли материнского горя, думал Кязым, всасывает плод в таких случаях?

Думая об этом, он дивился мудрости народных примет и верил, что есть судьба и есть люди, которые ее чувствуют. Даур был таким. Он чувствовал судьбу так же, как чувствовал лошадь.

И если нет судьбы, почему именно поблизости от мельницы у него сломалось кресало? В кармане Даура нашли сломанное кресало. Или он, волнуясь от близости опасного села, слишком сильно ударил кресалом о камень и оно сломалось? А потом, устыдившись своего волнения, спешился и зашел на мельницу? Но почему именно в это время мельник спал? Если б он не спал, возможно, он сумел бы встать между ними. И такое бывало. Почему так далеко забрел кровник в поисках коровы и почему именно в этот час он подошел к мельнице?

Есть судьба человека и есть судьба рода, думал Кязым. И он по опыту своей жизни точно знал, что есть роды, где многие хорошо чувствуют лошадь. Таким был род Даура. Есть крепкожилые роды, где многие люди обладают огромной силой, хотя выглядят обычно. Таким был род его кровника. И есть роды, где часто рождаются мудрые, и есть роды, где часто рождаются хитрые, и есть роды, легкие на подъем, и есть роды тяжелодумов, и есть роды, где много добросердечных людей. Но таких мало или они быстрее вымирают?

И бывают роды, думал Кязым, переходя на себя, которым не дается грамота. Сам-то он никогда не ходил в школу, потому что в его время никакой школы в Чегеме не было. Но сейчас дети его плохо учились, и он, внешне насмешничая над ними, в глубине души болезненно переживал это.

...Когда он подходил к дому Тендела, оттуда уже доносился нестройный гул голосов, из которого время от времени вырывался пронзительный голос самого хозяина. Кязым открыл ворота и пересек двор, удивляясь и настораживаясь оттого, что собака не дает о себе знать. У самого дома она вырвалась из-под лестницы, соединяющей кухонную веранду с горницей, и, яростно взрыкнув, кинулась на него. Выбросив ей навстречу правую ногу, он вдвинул носок сапога в распахнутую пасть. Собака, завыв от боли, отскочила. И уже издали обрушила на него истерический лай. К этому времени с криками выскочили из дому Тендел и его внук.

— Да что она, взбесилась, что ли?!— заорал Тендел и швырнул в собаку полено, подхватившее на кухонной веранде.

Собака, завыв, скрылась в темноте.

— Неужто укусила? — спросил Тендел, подходя к Кязыму.

Кязым приподнял ногу и в полосе света, льющегося из распахнутой двери дома, рассмотрел сапог. Он был цел.

— Нет,— сказал Кязым,— меня не так-то просто укусить.

— Очумела, своих не узнает!— крикнул Тендел, сверкнув глазами в темноту, куда убежала собака.

— Старается,— усмехнулся Кязым,— чтобы после пирушки ей перепало побольше.

Они вошли в большую комнату, где гудело праздничное пиршество, гости радостно повскакали, приветствуя его и раздвигаясь, чтобы уступить место. Кязым сел напротив Тимура, злобно и подозрительно поглядывавшего на него. Жена его вместе с хозяйкой и невесткой Тендела обслуживала сдвинутые столы. Потом она уселась в конце стола, где сидели еще две женщины. Все шло как надо.

— Мир перевернулся!— крикнул Бахут с того конца стола, где он сидел рядом с Тенделом.— Кезым на выпивку опоздал!

Бахут был мингрельцем и произносил его имя на свой лад. Они любили друг друга, хотя, конечно, никогда в жизни не говорили об этом, а, наоборот, бесконечно подтрунивали друг над другом.

— Опоздал,— сказал Кязым, поудобней усаживаясь,— потому что домой к Теймыру заходил, а он, оказывается, уже здесь.

— Чего это ты ко мне заходил?— спросил Тимур, исподлобья поглядывая на него глазами затравленного кабана.

Хозяйка поставила перед Кязымом тарелку с мамалыгой и маза-нула на нее шматок аджики.

— Да жена говорила, что ты заходил ко мне несколько раз,— сказал Кязым миролюбиво и, взяв из большой тарелки кусок мяса, притронулся им к аджике и, надкусив, как всегда без аппетита, стал жевать. Лениво жуя, он смотрел на Тимура, и в глубине его маленьких синих глаз таилась насмешка.

В выстиранном чесучовом кителе, Тимур сидел перед ним все еще крепкий, бритоголовый, с тем волевым выражением власти, которую он уже утратил в жизни, но все еще хранил на лице. По этому выражению Кязым мог узнать начальника в любой толпе, и было непонятно, их выбирают по этому выражению или оно вырабатывается от власти над людьми. Но в глубине темных глаз Тимура не было власти, Кязым это ясно видел, а была смертная тоска по власти, и страх, и неуверенность.

— Так ты же все прячешься от меня,— сдерживая себя, тихо kloкотнул Тимур.

Хозяйка поставила Кязыму чайный стакан и налила в него вино. От водки, которая якобы сечет птицу на лету, он отказался. Кязым не спеша приподнял стакан и, пожелав благодати дому, выпил и снова взялся за мясо. Тимур, наклонив вперед бритую голову, ждал.

— Чего это мне прятаться от тебя,— сказал Кязым и надкусил мясо,— я ничего не украл, чтобы прятаться...

— Какого дьявола ты приходишь ко мне за деньгами,— сказал Тимур сдержанно,— откуда у меня такие деньги?

В общем шуме их разговор пока еще не привлекал внимания за-стольцев.

— Нет так нет,— сказал Кязым, смеясь одними глазами, и, выпив вино, твердо поставил стакан на стол,— я же не насильно у тебя их беру...

— Ты сказал моей жене, чтобы я поделился. (Кязым заметил, что даже его бритая голова побагровела.) Это как понять?

— Так и понимай,— ответил Кязым, продолжая смеяться глазами.

Оказывается, все же остроухий старый охотник уловил внешний смысл их разговора.

— Нашел у кого деньги просить!— с того конца стола закричал Тендел, сверкая ястребиными глазами.— Да Теймыр как та синица, которой сказали, что ее помет — лекарство. Так после этого она все норвила над морем какнуть!

— Поделиться,— мрачно усмехнулся Тимур, не обращая внимания на крики Теңдела.— Откуда у меня такие деньги...

— Вот ты удивляешься, что я у тебя просил деньги,— сказал Кязым,— а надо бы удивляться, что ты два дня меня ищешь, чтобы сказать, что у тебя денег нет.

— Ну и что?— спросил Тимур, замирая с мослаком в руке и стараясь не дать себя перехитрить.

— Да разве человек,— сказал Кязым, продолжая посмеиваться одними глазами,— которому нечего дать, ищет человека, который у него просил деньги? Ведь если человек, у которого просили деньги, ищет человека, который просил деньги, значит, они у него есть и он хочет поделиться.

— Я тебя искал, вражье отродье,— изо всех сил сдерживаясь, тихо хлопотнул Тимур,— чтобы сказать, до чего я жалею, что не упек и тебя в Сибирь!

— Да,— сказал Кязым, состругивая ножом кусочки мяса с кости и отправляя их в рот,— тут ты промахнулся. Потому что ключ тогда у тебя был в руках, а теперь у меня.

— Какой ключ?!— спросил Тимур, и страх застыл в его глазах. С приоткрытым ртом он, не шевелясь, смотрел на Кязыма.

— Ключ от власти,— приспустил поводья Кязым,— а теперь он у меня в руках.

— Власть? Подумаешь, бригадир,— презрительно сказал Тимур, вглядываясь в Кязыма и стараясь поверить, что он именно это имел в виду, и в то же время чувствуя ужас бессилия от его намеков. И эти намеки были хуже, чем если бы Кязым его прямо обвинил в том, на что подмигивал смеющимися глазами.

А между тем кое-кто из окружающих уже вопросительно поглядывал на них.

— Оставь ты этого вырыгу, Кязым!— крикнул с того конца стола Теңдел, опять сверкнув в их сторону ястребиными глазами.

Все рассмеялись. Теңдел иногда употреблял слова, которых никто не понимал.

— Что это еще за вырыга?— смеясь, стали спрашивать у Теңдела.

— Вырыга — это такой человек, который не столько пьет, сколько вырыгивает,— просто объяснил Теңдел.

— Лучше я отсижу от него,— сказал Тимур, шумно вставая,— а то этот человек доведет меня до преступления!

— Я даже знаю, какого по счету,— сказал Кязым, взглянув на него, и приподнял ладонь, как бы готовый для наглядности показать на пальцах количество преступлений Тимура.

Тимур опустил бритую голову и, что-то бормоча, перешел поближе к Теңделу.

— Хватит бурунчать,— миролюбиво сказал ему старый охотник,— ты, Теймыр, давно безрогий, а все боднуть норовишь. Лучше сиди здесь и слушай мой рассказ.

Старый Теңдел стал рассказывать историю своей женитьбы. При этом жена его, еще очень бодрая старушка, стоявшая с чистым полотенцем, перекинутым через руку, слушала его рассказ, приподняв брови от старания вникнуть в каждое слово, будто дело касалось не ее, а какой-то другой женщины. Одновременно всем своим видом она выражала готовность тут же ответить на скрытые или откровенные выпады мужа, оскорбляющие достоинство ее рода.

По словам Теңдела, сватовство случилось в дни его далекой молодости, когда он еще не выдурился. Тут гости прервали его рассказ дружным смехом, намекая, что он и до сих пор не выдурился. Теңдел не обратил внимания на смех, а жена его, просяив от удовольствия, радостно закивала: дескать, так оно и есть, дескать, кому как не ей знать, что он еще не выдурился.

Так вот, продолжал Теңдел, в те дни, когда он еще не выдурился.

пришлось ему кутить в одном доме в селе Кутол. И там, когда гости порядочно выпили и начались пляски, в круг вошла хозяйская дочь в белом платье. В знак необыкновенной плавности ее танца, в знак непорочной чистоты ее скольжения кто-то из близких девушки поставил ей на голову бутылку с вином, и она, ни разу не качнувшись, сделала два круга. Кто его знает, сколько бы кругов она еще сделала, но тут Тендел не выдержал. Выражая восторг перед девушкой и ее искусством, он выхватил свой «смит-и-вессон» и выстрелом разбил бутылку на голове девушки.

Девушка, по словам Тендела, прервала танец (было бы странно, если б она продолжала его вся облитая красным вином), а гости и хозяева просто омертвели от этой неслыханной дерзости. Первым опомнился сам Тендел.

— Считайте, что я в вашем доме оставил пулю!— крикнул он, надо думать, не менее пронзительным голосом, чем в старости, и, перепрыгнув через стол, бросился к выходу.

Он вскочил на своего коня, стоявшего у коновязи, и, не теряя времени на открывание ворот, прямо перемахнул через плетень, сопровождаемый грохотом выстрелов, к счастью, ни одна пуля не задела его.

«Оставить пулю» по абхазским обычаям вот что означает. Родственники жениха, приехавшие свататься в дом невесты и договорившиеся обо всем, оставляют хозяевам газырь с пулей и стреляют в воздух. Газырь с пулей и выстрел в воздух скорее всего символизируют нешуточность договора, право на смертоносный исход в случае нарушения его.

Но жених-самозванец, «оставляющий пулю», да еще таким образом,— неслыханная дерзость.

Однако вернемся к Тенделу. Проскакав около трех верст, лошадь его неожиданно грянула о землю, и когда он, выпростав ногу из стремена, встал, она была мертва. Не понимая, в чем дело, Тендел обошел вокруг нее и увидел, что живот лошади распорот чуть ли не на метр. Заглянув в рану, Тендел был поражен— внутри было пусто. Видно, когда он перемахивал через плетень, лошадь напоролась на кол и у нее вывалился желудок.

— Теперь вы мне скажите,— пронзительно закричал Тендел,— кто-нибудь слышал про лошадь, которая, спасая хозяина, с вываленным нутром проскакала бы три версты?!

Гости засмеялись, кто-то сказал, что лошадь могла потерять желудок где-нибудь по дороге, может быть, совсем близко от того места, где рухнула на землю.

— Нет! Нет!— закричал Тендел.— Я почувствовал, когда перемахнул через плетень, как что-то шмякнулось подо мной, да сгоряча не оглянулся!

Тендел зацокал языком, с необыкновенной живостью переживая гибель любимой лошади, и обратил теперь свой взыскующий ястребиный взгляд на жену, как бы поражаясь неравноценности жертвы и полученной награды.

Жена его потупилась, но, неожиданно взвев полотенце, лежавшее у нее на руке, перекинула его через плечо, на миг создав мираж того белого платья и той девушки, которую он когда-то сватал.

Тендел посмотрел на нее, но то ли не поняв намека, то ли не придав ему значения, повернул ястребиный взгляд на застолье и продолжил рассказ.

По словам Тендела, родители и братья той полюбившейся ему девушки (видно, все-таки понял намек) поклялись никогда не отдавать свою дочь и сестру за этого безумного головореза. Видать, продолжал Тендел, они, не слишком доверяя своему дому и своей храбрости (тут жена его насторожилась, но оскорбление было не-

достаточно четким, и она промолчала) и зная о его неслыханной дерзости, припрятали свое чудище (нет, не понял намека) у родственника, жившего в другом селе.

— Но они... — сказал Тендел столь многозначительно, что теперь не только жена, но и гости с любопытством стали ожидать приближающееся оскорбление, однако Тендел и на этот раз его избежал, — не знали, что только я один держу в руках секрет этого человека.

Оказывается, именно этот родственник убил стражника два года тому назад и только один Тендел во всей кенгурийской округе знал об этом. И этот человек не только не препятствовал ему, но, наоборот, помог тайно умыкнуть невесту.

— Вот так она оказалась в моем доме, — закончил Тендел, — хотя толку от нее еще никто не видел. А теперь давайте выпьем, мои гости, а то я вас совсем словами заморил!

Гости, взглянув на жену Тендела, благодарно прошумели, показывая, что утверждение о ее bestолковом пребывании в доме Тендела полностью отвергается обилием выпивки и закуски на столе.

— В каждом деле есть свой ключ, — сказал Кязым, — и кто его держит в руке, тому он и служит.

— Истинно говоришь, Кязым! — закричал Тендел. — Ключ от этого человека я держал в своих руках, а они, дурье, этого не знали!

Жена Тендела, несколько отвлекшаяся окончанием истории и оживившимся застольем, быстро взяла себя в руки.

— Уж дурнее тебя, — отпарировала она, — не то что в моем роду, в твоём роду нет!

— Молчи! Молчи! — закричал Тендел. — Жалко, что я тебе тогда спьяну в голову не попал!

Когда Кязым говорил о ключе, Тимур опустил голову и больше за время пирушки ни разу не поднял. «Кажется, готов», — подумал Кязым. Он перевел взгляд на Бахута. Тот во время рассказа старого охотника ерзал на месте, то сдвигая на затылок сванку, которую снимал, только ложась в постель, то надвигая ее на брови. Это был верный признак, что Бахут тоже хочет рассказать знаменитую историю. И хотя почти все сидящие за столом ее слышали, а некоторые неоднократно, Бахут явно хотел рассказать ее еще раз.

— Учти, Тендел, — сказал Кязым, — Бахут от тебя сегодня не уйдет, если не расскажет, как продавал свое вино.

— Нет, зачем, кацо, — стал ломаться Бахут, — если все слышали, я не буду рассказывать, но если люди не слышали — другое дело.

— Давай-давай, Бахут! — крикнул старый охотник. — А я потом добавлю к тому, что ты расскажешь!

Гости одобрительно прошумели, показывая готовность, выпив по стаканчику, послушать историю Бахута. Бахут сдвинул сванскую шапочку на затылок и, залучившись маленькими глазками, приступил к рассказу.

— О да... — начал он грузино-мингрельским присловьем, приблизительно означающим «так вот». — О да, мы встретились с этим Вахтангом позапрошлой зимой на поминках в Анастасовке. И там же договорились. Я ему даю двадцать ведер вина, а он мне привозит двадцать пудов кукурузы. Через три дня он приезжает на арбе, дело уже было к вечеру, и привозит мне кукурузу. Я открываю ворота и веду арбу к дому. О да, мы выгружаем четыре мешка и вносим в кухню. А потом вместе с моим сыном вторым выкатываем из подвала двадцативедерную бочку и, положив доски, вкатываем ее на арбу. Он хотел уже уехать, но я, на дурную свою голову, его удержал.

жал. Неудобно, человек первый раз пришёл в мой дом и, стакана вина не выпив, уйдёт.

«Попробуй вино, что ты купил. Может, я тебе кислятину продал», — в шутку так ему говорю и веду его на кухню.

«Нет, — говорит он, — я не буду пробовать вино, которое ты мне продал».

«Почему?» — удивляюсь я.

«Потому что, — говорит, — кукурузу, которую я тебе привез, ты не взвесил, значит, ты мне доверяешь. Раз ты мне доверяешь, значит, я тебе тоже доверяю. Вино, которое я купил, пробовать не буду, но другое вино, пожалуйста, выпьем».

Уах! Но у меня другого вина нет. Одна «изабелла». Было около десяти ведер качичи, но мы его давно выпили. Теперь что делать? Мы уже на кухне, и жена накрыла на стол, а он требует другое вино. И я говорю:

«Хорошо, будем пить другое вино»:

О да, мы садимся за стол и начинаем пить. И я вижу — вино ему нравится, хорошо идет. Он хвалит мое вино, мне тоже приятно, и мы так сидим, пьем, а мои домашние ушли спать. И вдруг он мне говорит:

«Слушай, мне это вино очень понравилось. Давай заменим то, которое я купил, на это вино. Я всю жизнь любил такое вино».

Уах! Теперь что я ему скажу? У меня другого вина нет — одно вино. И я немножко так замялся, не зная, что сказать, а он это посвоему понял.

«Ты, — говорит, — не стесняйся, если это вино дороже. Я тебе еще кукурузу привезу, ради такого вина мне ничего не жалко!»

«Слушай, — говорю, — дело не в этом. У меня сейчас нет другого вина».

Но я вижу — не верит и начинает обижаться.

«Зачем, — говорит, — ты для меня жалеешь это вино? Если в два раза больше стоит, в два раза больше дам!»

«Слушай, — говорю, — дело не в этом. Идем попробуй, если то вино, которое я тебе продал, хуже, тогда ты его не возьмешь».

И вот мы среди ночи идем к арбе. Слава богу, кругом снег, все видно. Залезаем на арбу, я открываю бочку, вытягиваю шлангом вино, переливаю в банку и даю ему.

Про-бу-ет! Но вижу — не доверяет. Может, вино слишком холодное было, потому не понял, может, характер, еще не знаю. И он говорит:

«Ничего плохого про это вино не скажу, но то вино мне больше нравится. Я всю жизнь мечтал о таком вине».

Уах! Что теперь я ему скажу? Что?!

«Слушай, — говорю, — у меня другого вина нет. Было около десяти ведер качичи, давно выпили. Я тебя угостил этим вином, потому что неудобно было. Ты в мой дом пришел первый раз, и я хотел, чтобы ты стакан вина выпил в моем доме».

Нет, вижу, не доверяет и начинает цепляться.

«Значит, — говорит, — ты мне то же самое вино давал?»

«Да, — говорю, — другого нет».

«Тогда, — говорит, — сейчас идем взвесим всю мою кукурузу!»

«Зачем?» — спрашиваю.

«Потому что, — говорит, — ты не взвесил мою кукурузу, значит, ты мне доверяешь. А я попробовал твое вино — выходит, я тебе не доверяю. Если я тебе не доверяю, и ты мне не доверяй!»

Уах! Среди ночи взвешивать его кукурузу?! А у меня безмен только десять кило берет. Это сколько раз надо вешать?

Бахут оглядел застолье, как бы прося войти в его бедственное положение.

— Тридцать два раза! — смеясь, подсказал ему Кязым.

— Тридцать два раза! За это время я совсем с ума сойду! И тогда я так соображаю: эту бочку он не возьмет из-за ослиного упрямства. Но у меня еще одна двадцативедерная бочка стоит в подвале. Думаю, лучше ту бочку выкатить, а эту вкатить, чем еще полночи возиться с его кукурузой.

«Хорошо, — говорю, — у меня в подвале, как ты видел, еще одна бочка стоит. Как раз то вино, которое ты пил! Хочешь — бери!»

«Давай, — кричит, — ту бочку! Не желей хорошее вино на хорошего человека!»

Что делать? Теперь сына, значит, надо будить. Вдвоем вкатить бочку не сможем. Но сына будить тоже стыдно. Скажет: взрослые люди глупости делают. Но еще хуже будет, если сына разбужу, а он попробует вино и опять скажет: ты мне не то вино даешь. Потому что в подвале тоже холодно, а он вкус холодного вина не чувствует.

«Хорошо, — говорю, — идем в подвал. Я тебе даю ту бочку, но ты сначала попробуй вино».

Еле-еле в кухне нахожу свечку — проклинаю и жену, и этого Вахтанга, и эти поминки, где мы встретились. Идем в подвал, опять вытягиваю шлангом пол-литровую банку и даю ему попробовать. Про-бу-ет!

«О! О! О! — говорит. — Вот это вино я мечтал купить. Зови сына!»

О да, потихоньку вхожу в дом и бужу сына. Молодой — крепко спит. Еле разбудил. Но правду тоже сразу сказать не могу: стыдно, кацо, стыдно!

«Бочку, — говорю, — сынок, надо на место поставить. Помогите!»

«Что вы, — бурчит сын и одевается в темноте, — столько времени делали, если не могли сторговаться?»

Мы выходим во двор и втроем скатываем бочку с арбы и вкатываем ее в подвал. И теперь начинаем выкатывать ту бочку, а сын ничего не понимает.

«Папа, — удивляется он, — что вы делаете? Это то же самое вино! Вы от пьянства совсем с ума сошли!»

А этот проклятый Вахтанг, которого я на свою голову встретил на поминках, еще издевается надо мной.

«Ох, Бахути, — говорит, точно, как Кязым, говорит, — зачем ты сына, еще такого молодого, врать учишь! Я против того вина слова не скажу! Но это вино как раз по моему вкусу!»

Вижу, сын надулся, готов нас обоих убить. Кое-как вкатили эту бочку на арбу, и сын молча поворачивается и уходит.

О да, думаю, наконец уедет этот проклятый человек. Провожая арбу до ворот. И вдруг он останавливается! Останавливается! И только тут я понял, что на поминках ни о каком деле договариваться нельзя. Ты с человеком на поминках договариваешься о деле, а он приезжает к тебе домой и устраивает твои поминки.

«Слушай, — говорит, — выходит, что я твое вино попробовал, а ты мою кукурузу не взвесил! Значит, ты мне доверяешь, а я тебе не доверяю? Значит, ты благородный человек, а я нет! Не выйдет! Идем взвесим мою кукурузу!»

Уах! Я уже готов и эту бочку ему отдать и кукурузу отдать, лишь бы он уехал! Но разве он согласится!

«Слушай, — я все еще держу себя в руках, — вино — одно дело, кукуруза — другое дело! Если ты два-три литра моего вина выпил, это не значит, что я должен два-три кило твоей кукурузы скушать! Я и так на глаз вижу, сколько там пудов в мешках!»

«Нет, — говорит, — выходит, ты мне доверяешь, а я тебе не доверяю. Или взвесь мою кукурузу, или забирай свое вино, а я заберу свою кукурузу!»

Значит, снова сына будить?! Он убьет меня!

«Слушай, — говорю, еле сдерживаясь, — сейчас поздно. Мы оба устали. Завтра приедешь, и взвесим кукурузу».

«Нет, — говорит, — зачем завтра приезжать, когда я сегодня здесь».

Ну тут я ему показал!

«Значит, ты мне не доверяешь! — кричу я ему от души. — Ты в моем доме принял хлеб-соль, и ты боишься в моем доме до завтра оставить мешки! Ты думаешь, Бахут, как нищий, залезет в твои мешки, вытащит кукурузу, а завтра скажет, что там не хватает?! Ты плюешь на мой хлеб-соль!»

О! О! О! Вижу — потух, как свечка.

«Что ты, что ты, Бахути, — говорит, — успокойся ради бога, разбудишь семью. (Вспомнил мою семью!) Ты мне доверяешь, и я тебе доверяю. Завтра приеду».

И он уехал. Ни завтра, ни послезавтра, слава богу, не приехал, но бочку через одного человека прислал. И с тех пор я на поминках ни о каком деле ни с кем не договариваюсь. И вообще я перестал ходить на поминки.

Так закончил Бахут свою историю.

— Я его видел, Бахут, — закричал Тендел, — месяц тому назад, как раз на поминках!

— Такого человека только на поминках и встретишь, — сказал Бахут, надвигая на глаза сванку.

— Я ему говорю, — продолжал Тендел, — что у тебя там с Бахутом получилось? А он говорит: «Да то получилось, что Бахути меня напоил и вместо бочки качичи подсунул бочку «изабеллы». А зачем мне за двадцать километров надо было ехать, чтобы купить «изабеллу»? «Изабеллу» я у себя в деревне мог купить».

— Вай ме! — сказал Бахут и дурашливо ударил себя руками по голове, как бы оплакивая самого себя.

— Я тоже его видел! — крикнул один из гостей под общий смех.

— Опять на поминках? — спросил Бахут.

— Нет, на базаре! — перекрикивая смех, продолжал тот. — И я, зная твою историю, спросил: «Что ты думаешь о Бахуте?» И он мне сказал: «Бахути неплохой человек. Хлебосольный человек. А то, что с вином получилось, — это я сам виноват. Если покупаешь вино, сперва попробуй из бочки, которую берешь, а потом пей с хозяином, сколько хочешь. А я сперва выпил его качичи, получил кейф, а потом, конечно, не понял, что за вино он мне продал. Если б он бочку айрана поставил на арбу, я бы ее тоже взял. А так Бахути человек неплохой. Но зачем он сына приучает неправду говорить? А так Бахути неплохой, хлебосольный человек был... Что-то я его давно не встречаю... Может, он умер? Тогда почему меня на поминки не пригласили?»

— Если бог есть, — крикнул под общий смех Бахут, — я первый приеду на его поминки!

Выпив по последнему стакану за домашний очаг старого охотника Тендела, гости поднялись из-за столов. Тимур, выбрав удобное мгновенье, подошел и тихо сказал Кязыму:

— Поговорим.

— Ладно, — ответил Кязым, — только жену отправь вперед.

Светила луна, и ночь была ясной и тихой, когда они вышли на верхнечегемскую дорогу. На дороге стоял Бахут, ожидая Кязыма. Им было по пути.

— Ты куда? — спросил Бахут, внимательно вглядываясь в Кязыма, а потом так же внимательно в Тимура.

— Нам нужно поговорить, — ответил Кязым просто.

— Может, подождать тебя? — спросил Бахут.

— Нет, — сказал Кязым, — ты иди домой, я тоже скоро вернусь.

— Ну, как знаешь, — сказал Бахут, глядя вслед Кязыму, уходящему вместе с Тимуром. Высокая легкая фигура удалялась рядом с бритоголовой, коренастой, долго белевшей чесучовым китемем.

— Что тебе надо? — тихо спросил Тимур, косясь на Кязыма.

Сейчас они были одни на всей дороге. В лунном свете круглая, бритая голова Тимура с теменью глазниц казалась страшноватой.

— Пойми меня хорошенько, — сказал Кязым, не глядя на Тимура, — если б моему брату не грозила беда, я бы за это дело никогда не взялся. Ты мне дашь пятьдесят тысяч, я выручу брата, и мы забудем об этом деле. Как видишь, я не лучше тебя, мы это знаем оба.

— Ты сначала покажи свою карту, — выдавил Тимур.

— Моя карта у меня в кармане, — ответил Кязым и тут же поправил себя: — Твоя карта у меня в кармане.

Тимур остановился на дороге и уставился на Кязыма темными глазами, и круглая бритая голова его сияла в лунном свете.

— Только без глупостей, — строго предупредил Кязым, глядя на Тимура. Он сунул правую руку в карман, вытащил, отвел в сторону и раскрыл ладонь. На ладони сверкнул ключ от сейфа.

— Где взял?! — с трудом выдохнул Тимур.

— Я же говорил, что заходил к тебе, — сказал Кязым, внимательно следя за Тимуром.

— О! — рыкнул Тимур и, вцепившись в его руку, стал вырывать ключ. Он был все еще сильным человеком, но Кязым был сильней.

Несколько долгих секунд шла беззвучная борьба, и Кязым едва удержался от желания ударить левой рукой по ненавистному жилистому затылку Тимура, когда тот, не сумев расцепить его пальцев, попытался зубами поймать кисть его руки.

— Я же говорил: без глупостей, — с брезгливым раздражением напомнил Кязым и с такой силой вывернул ему руки, что тот, застоявшись, повалился.

Кязым, переведя дыхание, положил ключ в карман.

— Вставай, не маленький, — сказал он и, подхватив Тимура, поставил его на ноги.

Сейчас они молча стояли друг против друга.

— А если ты донесешь?

— Я же сказал, — помолчав и отдышавшись, ответил Кязым, — что я не лучше тебя. Как же я донесу, если деньги нужны мне для брата?

— Ладно, пошли, — сказал Тимур, и они снова двинулись по дороге.

Поглядывая на круглую, бритую голову Тимура, поблескивающую в лунном свете, Кязым напряженно думал, что тот еще может выкинуть. Они подошли к воротам дома Тимура.

— Вот что, — сказал Кязым, останавливаясь, — если ты попытаешься выстрелить из дому, тебе это не поможет. Бахут видел, что я ушел с тобой. Ты будешь в тюрьме, куда бы ты ни оттащил мой труп. И деньги твои пропадут. Все! И вот что еще. Если ты быстро не выйдешь из дому, я буду считать, что ты вынес деньги с заднего крыльца, чтобы перепрятать их в лесу. Тогда я иду к председателю и отдаю ему ключ. К утру тебя заберет кенгурийская милиция.

— Нет, — сказал Тимур, — я быстро выйду, они у меня разложены по тысяче рублей. Считать недолго.

— Вот и умница, — сказал Кязым, — всегда так раскладывай.

— Хорошо, — предложил Тимур, — я тебе даю деньги, а ты мне возвращаешь ключ.

— Не пойдет, — сказал Кязым.

— Почему?

— Потому что года через два, когда все успокоится, я сам открою железный ящик и возьму деньги. Вот тогда я тебе верну твои.

— Хитрый, — процедил сквозь зубы Тимур, — так я тебе и поверил...

— Но не хитрей тебя, — сказал Кязым, — это же надо спрятать

ключ, когда сам был председателем, а первый раз взять деньги уже через одного председателя. Ловко!

— Я его случайно нашел в доме, — сказал Тимур.

— Это ты придумал для суда, — ответил Кязым, — но ведь мы решили обойтись без суда...

Тимур открыл ворота, пересек двор и поднялся в дом. Кязым подумал, что не мешает обезопасить себя от выстрела, если Тимур все-таки вздумает избавиться от него. Он отошел от ворот и стал в тени алычи, росшей возле изгороди. А если он выйдет с ружьем? Навряд ли. А если все-таки выйдет? Метрах в сорока слева от усадьбы Тимура темнел густой лес, спускающийся до самой верхнечегемской дороги. Если он все-таки выйдет с ружьем, придется бежать туда, подумал Кязым.

Минут через десять из дому вышел Тимур. В руках он держал белый сверток. Он пересекал двор, издали тревожно вглядываясь в темноту.

— Эй! — крикнул он, озираясь.

Кязым вышел из тени и подошел к воротам. Тимур стоял с той стороны ворот, держа деньги, увязанные в полотенце. Кязым взял в руки сверток и, раздвинув узлы, убедился, что там деньги.

— Не считать? — спросил Кязым, хотя знал, что теперь это не важно.

— Все честно, — угрюмо сказал Тимур.

— А то ведь я приду завтра, если не хватает, — сказал Кязым.

— Я же сказал: все честно, — повторил Тимур.

— Это на тебя похоже, — сказал Кязым, с трудом впихивая в карман огромный сверток.

Сделав несколько шагов от ворот, Кязым обернулся и сказал:

— Да... Собаку не надо бить за то, что впустила меня в дом... Собака не виновата...

— Ну, уж это мое дело! — крикнул ему вслед Тимур.

Спускаясь на верхнечегемскую дорогу, Кязым думал: что еще может выкинуть Тимур? Он решил: если вскоре раздастся вой избиваемой собаки — значит, Тимур решил на ней сорвать ярость. Если же все будет тихо — не исключено, что он, опомнившись, погонится за ним с ружьем, и тогда лучше всего идти не домой, а в противоположную сторону, к дому нового председателя. Но ему лень было идти к дому Аслана.

Он уже подходил к верхнечегемской дороге, когда сзади раздался визг избиваемой собаки. Кязым вздохнул и только спустился на дорогу, как вдруг сверху, с косогора, кто-то загремел осыпью камней. «Перехитрил!!! — пронеслось в голове. — Жене поручил избить собаку, а сам лесом погнался за мной!»

Через мгновение Кязым облегченно вздохнул: на дорогу выскочил Бахут.

— Ты что там делал? — удивился Кязым.

— Я пошел за тобой, — сказал Бахут, — бесноватый мне не понравился... Что он тебе дал?

Кязым ему все рассказал и, вынув сверток, передал Бахуту.

— Отдай председателю, — сказал он, — и скажи, чтобы сейчас же послал кого-нибудь в Кенгурск за милицией.

— А ты что? — спросил Бахут, запихивая в карман сверток.

— А я пойду спать, — сказал Кязым и пошел своим легким ленивым шагом, с руками, по давней привычке засунутыми за оттянутый ремешок пояса.

Хотя Кязиму и в самом деле было лень идти к дому председателя, но все-таки он поручил Бахуту это дело по другой причине. Как ни мал был риск, что Тимур, опомнившись, погонится за ним, он не хотел этот риск делить с Бахутом. У него, как и у Кязыма, ничего,

кроме крестьянского ножа на поясе, не было. Так что он ему все равно ничем не смог бы помочь, а риск он не хотел делить.

Когда утром председатель колхоза вместе с работниками милиции и Бахутом пришли в дом Тимура, тому сначала хватило выдержки изобразить гневное негодование. Но председатель раскрыл портфель и дал заглянуть в него Тимуру.

Увидев деньги, завернутые в полотенце, Тимур побледнел. Все же он не сразу сдался. Вторую половину украденных в последний раз денег он вернул, а об остальных сказал, что ничего не знает. Разумеется, ему никто не поверил. После трехчасового обыска все деньги были найдены.

К этому времени, прослышав о случившемся, многие крестьяне собрались во дворе Тимура. Председатель колхоза несколько раз выходил на веранду и, покрикивая, пытался заставить их идти на работу. Но никто не ушел, все ждали, чем закончится обыск.

Когда, закончив обыск, милиционеры вместе с Тимуром выходили из дому, председатель, шедший за ними, что-то вспомнил.

— Стой,— сказал он Тимуру, уже спускавшемуся с крыльца под гул и гневные выкрики собравшихся во дворе,— дай ключ от сейфа!

— Какой ключ?— обернулся Тимур.— Его же выкрал у меня твой Кязым!

— Нет,— сказал председатель,— он тебе показал второй ключ.

Тимур на мгновение замер, пытаясь осмыслить то, что сказал ему председатель. И вдруг ринулся в дом. Через минуту из задней комнаты раздался страшный грохот. Не зная, что подумать, председатель и все остальные вбежали в дом.

В задней комнате Тимур катался по полу, с яростным исступлением стучая бритой головой об пол, и выкрикивал:

— Обманул! Обманул! Обманул!

Рядом с ним валялись клочки большой фотографии, осколки стекла и обломки рамы. Видно, ключ был заложен за эту фотографию, висевшую на стене.

Тимур бился, как в падучей, пока его не скрутили милиционеры, а Бахут, найдя в доме бутылку чачи, насильно, сквозь сжатые зубы Тимура не влил ему в рот хорошую порцию этой чегемской валерьянки. Тимур размяк, выпустил ключ, судорожно зажатый в кулаке, а потом встал.

Когда Тимур Жванба в сопровождении милиционеров и председателя колхоза второй раз вышел из дому, крестьяне, толпившиеся во дворе, стали плевать в его сторону, а сестра первого бухгалтера, сидевшего уже больше четырех лет, вцепилась ногтями в его лицо. Ее едва оторвали от него, а сам он даже не сопротивлялся.

Но в Чегеме редкое событие может обойтись без смешного. Так случилось и на этот раз. Не успела мрачная процессия перейти большой двор, как жена Тимура, словно очнувшись, с криками погналась за ней.

— Ну, теперь она ему покажет за дочерей!— высказал догадку кто-то из крестьян.

— Поздно вато вскинулась!— добавил другой, глядя вслед бегущей.

Жена Тимура, подбежав к процессии, ухватилась за руку председателя колхоза.

— Полотенце!— закричала она.— Мое полотенце!

— Какое полотенце?!— обернулся председатель, пытаясь отбросить ее руку.

— В котором деньги завернуты!— крикнула она.

Председатель извлек сверток из портфеля и под смех чегемцев, а может, именно из-за смеха чегемцев замешкавшись с развязыванием узлов, сунул ей в руки полотенце.

На этом, посмеиваясь сам, закончил рассказ Бахут. Они с Кязым сидели на кухне, попивая вино у очага. Кроме Нуцы, все уже легли спать.

— Но вот ты мне скажи,— попросил Бахут,— почему ты решил, что именно он ворует деньги?

— Потому что,— сказал Кязым, хитро поглядывая на Бахута,— я сразу понял, что все три воровства—дело рук одного человека и, значит, бухгалтеры тут ни при чем. Тогда кто? Обычно в правлении бывает два ключа от железного ящика, один держит председатель, другой держит бухгалтер. Где искать второй ключ? Бухгалтеров я отодвинул, они не виноваты. Значит, у одного из бывших председателей? А их у нас было три. Последний не мог держать второй ключ, потому что оба бухгалтера сели при нем и они бы обязательно сказали, что был второй ключ. При втором председателе деньги никто не воровал, и трудно подумать, что он, работающий за сорок километров от Чегема, мог узнать, когда в железном ящике будут деньги, и прийти ночью в правление как раз тогда, когда сторожа кто-то пригласит за праздничный стол. Остается Теймыр. И я на нем остановился. Он — первый наш председатель, и если с самого начала было два ключа, они были при нем. А во-вторых, и это главное, если он решил, сделав вид, что ключ потерял, воровать деньги, он обязательно должен был пропустить следующего за ним председателя. Для отвода глаз.

— Но вот что ты мне скажи,— снова спросил Бахут после того, как они выпили по стаканчику,— что бы ты сделал, если бы он ключ держал в том же месте, где деньги? Он бы сразу понял твой обман!

— Этого не могло быть,— продолжал Кязым с удовольствием.— Если человек зарезал человека и ограбил его, он свой нож или выбросит, или, вымыв, куда-нибудь спрячет. Но он его никогда не спрячет в том же месте, где награбленные деньги. Потому что нож возле награбленных денег — это вроде свидетель. А зачем убийце свидетель? А наш Теймыр, считай, трех бухгалтеров зарезал, а ключ — это его нож. Он его не мог держать вместе с деньгами.

— А если бы он спросил, как ты залез к нему в дом? — не унился Бахут.

— Ха,— усмехнулся Кязым и, положив ногу на ногу, скрутил сигарку,— не для того я его два дня ломал, чтобы он у меня много спрашивал. Но и на этот случай я заметил, что рама одного окна у него подгнила. Вечером я ее потихоньку растряс, раскрыл, а потом прикрыл и пошел в дом Тендела.

— Чем хвастаться,— сказала жена Кязыма, входя в кухню с охажкой белья,— ты бы подумал, как он тебе отомстит, когда вернется.

— Собаку жалко,— вдруг вспомнил Кязым,— я его натравил на нее...

— Ты бы лучше себя и своих близких пожалел,— ворчала Нуца, разгребая жар очага и, поддев его специальной лопаточкой, высыпала в утюг,— второй день пьешь, а потом будешь стонать: «Сердце схватило».

Кязым ничего не ответил, но, продолжая разговаривать с Бахутом, перешел на мингрельский язык, чтобы жена не встревала. Он еще не все тонкости этого дела выложил своему другу.

Нуца выгладила белье и, продолжая ворчать, ушла в горницу, держа перед собой большую стопку свежевыглаженного белья...

На рассвете, когда птицы уже расчирикались на деревьях усадьбы, Кязым с Бахутом стояли посреди двора. Оба держали в руке по стакану, а Кязым придерживал другой рукой кувшинчик. Они оба были пьяны, но не шатались и сознания не теряли. Сказывалась долгая выгучка.

Корова уже паслась, словно наверстывая все, что не доела за время болезни. Собака сидела у порога кухонной веранды и с некоторой сумрачностью следила за своим хозяином, как бы осуждая его.

Кязым, сильно запрокинувшись назад, долго тянул из стакана. Чувствовалось, что сосуд, в который втекает вино, уже с трудом вмещает жидкость, и Кязым, запрокидываясь все дальше и дальше, тянул и тянул из стакана, словно в этой позе выискивал в себе место, еще не заполненное вином.

Бахут в отличие от Кязыма был среднего роста и плотненький. В белом полотняном кителе и в шапке-сванке, надвинутой на глаза, он с некоторой хитрецей следил, чем окончится состязание Кязыма со стаканом.

Допив свой стакан, Кязым выпрямился и посмотрел на Бахута.

— Ты думаешь, я не знаю, что ты сейчас думал?

— Ничего я сейчас не думал,— отвечал Бахут, убирая с лица остатки ехидства.

— Ох, Бахут,— сказал Кязым,— ты сейчас думал: неужели Кязым не опрокинется назад?

— Ничего я такого не думал!— сказал Бахут.

Кязыму было очень весело от мысли, что Бахут ждал, что он опрокинется, а вот он взял, да и не опрокинулся. Но еще веселее ему было оттого, что Бахут теперь ни за что в этом не признается.

— Неужели,— сказал Кязым,— ты один раз в жизни не можешь честно сказать правду: «Да, я ждал, что ты опрокинешься!»?

— Я честно говорю,— сказал Бахут,— я не ждал, что ты опрокинешься!

— Ох, Бахут! Ох, Бахут! — покачал головой Кязым.— Почему один раз в жизни честно не скажешь: «Да, я ждал, что ты опрокинешься!»?

Бахут понял, что теперь Кязым от него не отстанет.

— Подумаешь, опрокинешься,— ворчливо заметил Бахут,— ничего страшного — трава.

— Значит, ты все-таки ждал, что я опрокинусь!

— Ничего я не ждал, кацо! Но если б даже опрокинулся, ничего страшного — трава!

— Ах ты мой толстячок! Учти, что я все твои хитрости заранее знаю!

— Ты знаешь кто такой? — сказал Бахут.

— Кто? — заинтересовался Кязым, поднося кувшинчик к его стакану.

— Ты сушеная змея,— сказал Бахут, отстраняя от кувшина свой наполненный стакан.

— Почему?!

— Что ты кушаешь — тебя кушает! Что ты пьешь — тебя пьет! — торжественно заявил Бахут.

— Почему то, что я пью, меня пьет? — допытывался Кязым.

— Вот ты всю ночь пил, а живот у тебя где? — спросил Бахут и стал дергать Кязыма за свободный ремешок на его впалом животе.— Куда пошло то, что ты пил?

— Куда надо, туда пошло,— сказал Кязым, несколько отступая под напором Бахута.

— Ты сушеная змея,— повторил Бахут понравившееся ему определение, радуясь, что он теперь атакует,— ты жестокий! Ты своих детей ни разу на колени не сажал! Если ты честный человек, скажи, ты хоть один раз в жизни сажал на колени своего ребенка?

— Нет,— сказал Кязым,— мы детей в строгости содержим. Абхазцы говорят: «Посади ребенка на колени — он повиснет у тебя на усах».

— Вот я и говорю,— нажимал Бахут,— у вас, у абхазцев, жестокие законы!

— Ах ты, эндурец! — сказал Кязым.

— Я не эндурец,— гордо возразил Бахут,— я мингрелец!

— Нет, ты эндурец,— сказал Кязым, чувствуя, что теперь он может перейти в наступление,— я один знаю, что ты эндурец.

— Нет,— гордо ответил Бахут,— я мингрелец. Я мингрельцем родился и мингрельцем умру.

— Нет,— сказал Кязым,— ты мингрельцем родился, но умрешь эндурцем.

— Это у твоего брата Сандро,— вдруг вспомнил Бахут,— жена эндурка.

Глазки Бахута засияли: мол, посмотрим, что ты теперь скажешь.

— Мой брат Сандро,— сказал Кязым,— сам первый эндурец!

Такой оборот дела показался Бахуту чересчур неожиданным, и он немного подумал.

— Значит, ты признаешь,— сказал он,— что твой брат Сандро эндурец?

— Конечно,— сказал Кязым,— мой брат Сандро первый эндурец в мире.

— Но раз твой брат Сандро эндурец,— радостно воскликнул Бахут,— значит, ты тоже эндурец!

— Нет,— сказал Кязым,— я не эндурец. Я единственный неэндурец в мире. Кругом одни эндурцы. От Чегема до Москвы одни эндурцы! Только я один не эндурец!

— Ох, не заносись, Кязым! — крикнул Бахут, помахивая пустым стаканом перед его лицом.— Ты, когда выпьешь, всегда заносишься! Я ненавижу, когда кто-нибудь заносится!

Уахале, уахале, цодареко...—

не слушая его, запел Кязым мингрельскую песню, и Бахут, не успев изменить гневного выражения лица, как бы подхваченный струей мелодии, стал подпевать. Немного попев, они снова выпили по стаканчику.

— Но иногда мне кажется,— сказал Кязым, как бы смягчившись после пения,— что я тоже эндурец.

— Почему? — сочувственно спросил у него Бахут.

— Потому что не у кого спросить,— сказал Кязым,— эндурец я или нет. Кругом одни эндурцы, а они правду тебе никогда не скажут. А чтобы узнать, превратился я в эндурца или нет, нужен хотя бы еще один неэндурец, который скажет тебе правду. Но второго неэндурца нет, потому я иногда думаю, что я тоже стал эндурцем.

Тут Бахут понял, что Кязым обманул его своим притворным смирением.

— Ты опять заносишься, Кязым!—стал подступаться он к нему.— Я ненавижу, когда кто-нибудь заносится. Подумаешь, этого дурака Теймыра обманул! Он даже прокушать деньги не смог! Крысы съели половину! У тебя нет причины заноситься! А ты, когда выпьешь, сразу заносишься!

О райда Гудиса-хаца, эй...

О райда сиуа райда,

О райда э-эй...—

запел Кязым абхазскую песню, и Бахут некоторое время сумрачно молчал, а потом не выдержал и подхватил песню, все еще сердито поглядывая на Кязыма.

Немного попев, они еще раз выпили по стаканчику. И когда Кязым пил свой стакан, он слышал в тишине прерывистый сочный звук, с которым Рыжуха рвала росистую траву. Звук этот был ему приятен, и порой, пока он пил свой стакан, звук наплывал с такой отчетливостью, как будто корова рвала траву у самого его уха.

На востоке сквозь ветви яблони чуть порозовело небо. Свежий, предутренний ветерок прошелестел в листьях грецких орехов и яблони и словно откачнул вместе с ветками птичий щебет и снова приблизил.

Два паданца один за другим — тук! тук! — упали с яблони, и через какое-то мгновение, словно решалось, падать ему или нет, последовало третье яблоко, явно более крупное — шлеп! — и снова все затихло. Только птичий щебет и сочный приближающийся звук срываемой травы. Буйволица на скотном дворе поднялась на ноги, подошла к ореховому дереву и, выбрав особенно шершавое место на его коре, стала, мерно покачиваясь, чесать бок. К щебету птиц и сочному звуку обрываемой травы прибавился еще шуршащий звук от трения толстой шкуры о дерево.

Кязыму было легко, весело, и он очень любил Бахута.

А Бахут решил вернуться к детям Кязыма, о которых он уже говорил.

— Ты сушенная змея,— сказал Бахут,— ты ни разу в жизни не посадил на колени своего ребенка.

— Для сушеной змеи я слишком много выпил,— сказал Кязым.

— Ты лошадей любил больше, чем своих детей,— сказал Бахут, чувствуя, что можно эту тему еще развить,— ты своих детей никогда не сажал к себе на колени, ты лошадей больше любил...

— Да,— сказал Кязым,— я лошадей сажал к себе на колени.

Но Бахут его шутки не принял, он ринулся вперед.

— Ты всю жизнь лошадей любил больше, чем своих детей, ты чуть не умер, когда твоя Кукла порченная вернулась с перевала!

— Как видишь, не умер,— сказал Кязым. Он не любил, когда ему об этом напоминали.

Бахут почувствовал, что хватил лишнее, но ему сейчас ужасно было жалко детей Кязыма, так и не узнавших, как он считал, отцовской ласки.

— Ты сушенная змея,— сказал Бахут, чувствуя, что еще немного — и он разрыдается от жалости к детям Кязыма,— ты ни разу за всю свою жизнь не посадил на колени своих бедных детей...

— Когда дойдешь до развилки,— сказал Кязым и для наглядности, поставив кувшин на землю, стал показывать руками,— так ты не иди по той тропинке, которая слева...

— Что ты мне говоришь! — вспыхнул Бахут. — Что я, дорогу домой не знаю, что ли?!

— Когда подойдешь к развилке,— вразумительно повторил Кязым и снова стал показывать руками,— по левой тропинке не иди. Иди по правой — прямо домой попадешь. Ты еще помнишь, где у тебя правая рука, где левая?

— Не заносись, Кезым,— гневно прервал его Бахут,— ты когда выпьешь, всегда заносишься! Я ненавижу людей, которые заносятся, как сушенная змея!

Щарда а-а-мта, щарда а-а-мта...—

запел Кязым абхазскую застольную, а Бахут некоторое время молчал, показывая, что на этот раз его не поддержит. Но потом забылся и стал подпевать, а потом вспомнил, что не хотел подпевать, но уже нельзя было портить песню, и они допели ее до конца. После этого они выпили еще по стаканчику.

За яблоней разгоралась заря. Корова, которая вначале паслась перед ними, теперь паслась позади них, и оттуда доносился все тот же сочный, ровный звук обрываемой травы. Буйволица на скотном дворе, стоя возле орехового дерева, мерно покачиваясь, продолжала чесать бок.

Большое дело, подумал вдруг Кязым, требует большого времени, точно так же, как буйволице нужно много времени, чтобы прочесать свою толстую шкуру.

Снова потянул утренний ветерок, и петух, может быть, разбуженный им, громко кукарекнул с инжирного дерева, где на ночь располагалось птичье хозяйство. Две курицы слетели вниз и закудахтали, словно извещая о своем благополучном приземлении, и петух, как бы убедившись в этом, пыхнув червонным опереньем, шлепнулся на землю и громко стал призывать остальных кур незамедлительно следовать его примеру. В козьем загоне взбрякнул колоколец.

Кязым и Бахут были пьяны, но нить разума не теряли. Во всяком случае, им казалось, что не теряют.

Бахут пошел дсмой, а Кязым стоял на месте и следил за ним, пока тот переходил скотный двор, и, когда Бахут скрылся за поворотом скотного двора, стал прислушиваться: не забудет ли он захлопнуть ворота. Там начиналось кукурузное поле, и скот мог потравить его. Хлопнули ворота — не забыл.

Уахале, уахале цодареко...—

затянул Кязым песню и замолк, прислушиваясь. Чегемские петухи всю раскукарекались. Через несколько мгновений раздался голос Бахута, подхватившего песню.

Звякнув стаканами, Кязым взял их в одну руку и, приподняв кувшинчик, пошел к дому своей все еще легкой походкой.

Через месяц бывшего председателя колхоза Тимура Жванбу, предварительно лишив его звания почетного гражданина села, судили и дали ему десять лет. Невинно осужденных бухгалтеров выпустили. В том же году жена Тимура, продав свой дом, переехала к дочери в Кенгурск. Так закончилась история ограбления колхозного сейфа.



ЭЛЬМИРА БЛИНОВА

★

ИЗ ЦИКЛА «НАДЕЖДА»

Старый дом

Мой дорогой, не правда ли, потом
мы не забудем этот добрый дом,
который в долгой жизни
к стольким людям
привязан был и полюбил потом
других жильцов, потом и нас забудет,
когда мы в новый дом перевезем
все книги, табуретки и посуду,
все пересуды, вздоры и причуды —
все то, что составляло старый дом,
а в новом будет старым барахлом
все то, что нам недорого, покуда
мы ценим не «покуда», а «потом».
Полюбим этот новый добрый дом.

Пусть будет!

А раньше не боялась ничего!
Ни грома, ни мышей, ни темноты,
ни черных кошек, ни дурного глаза,
ни кладбища, ни пьяных, ни калек.
Я раньше не боялась ничего.
Мне кажется, что раньше было так.

Мне кажется, теперь боюсь всего!
Врачей, мотоциклистов, высоты,
болезней, реактивных самолетов...
О боже мой, всего боюсь... Войны!
Мой маленький бежит ко мне, смеясь...
Мне хочется, чтоб вечно было так!

* * *

Ухожу, чтоб вновь не возвращаться
в жизнь твою, и в сердце, и в покой.
Оглянусь лишь взглядом попрощаться
и махнуть печальной рукой.
Оставайся — с холодом ночами,
с навсегда усталыми речами,
с навсегда несветлыми рассветами,
с вечным неуютом в мире этом.
Оставайся, я не возвращаюсь,
лишь коротким взглядом попрощаюсь.
В памяти твой взгляд — такой недолгий.
Ухожу. Ушла. Уже в дороге.

ЮРИЙ НАГИБИН

★

О ТЫ, ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ!..

Рассказ

Он велел подать себе фрак. Старого слугу Фридриха это не удивило: уже перевалило за полдень, а г-н тайный советник Гёте, случалось, надевал фрак и к завтраку, когда что-то внутри него требовало торжественности. При этом он вовсе не ждал, что домашние последуют его примеру и облекутся в парадные одежды. Его щегольской, странный и строгий вид являл резкий контраст с утренней небрежностью и покойной советницы, которой после ежевечерних танцев до упаду и обильных возлияний было не до туалетов — дай бог как-нибудь натянуть капот на жирные тела, и сына Августа, франта, но только не спросонок, когда голова трещит с похмелья, и пребывающей в рассеянном утомлении от балов и поклонников невестки Оттилии, и ее вздорной, всегда прибранной сестры — бедняжка слегка повредилась головой, уроненная в вальсе нерасторопным кавалером. Г-н тайный советник, вовсе не строивший из себя аскета — он много и со вкусом ел, любил общество и ежедневно осушал две-три бутылки рейнского вина, — как бы противопоставляя свою подтянутость, порядок внутри себя распаду близких людей. А может, хотел вдохнуть в них бодрость, уверенность: мол, продолжайте в том же духе, дорогие, я крепок, я на посту. Относясь с удивительной снисходительностью к людским слабостям, он не делал исключения и для родственников, прощая им все заблуждения, ошибки, даже пороки.

Старый Фридрих так долго находился при Гёте, что в конце концов научился думать. Он и сам не мог сказать, как проникла в него эта зараза, но вместо прежних вялых видений, обрывков каких-то воспоминаний, всплывающих со дна памяти, которые он не пытался ни продлить, ни сочетать с другими, дабы получить цельную, законченную картину смутных образов, вдруг возникающих из тумана и вновь поглощаемых им, ныне под черепной крышкой свершалась непрерывная работа, причинявшая немалое утомление, но вроде бы и удовольствие, когда в результате крайнего напряжения он приходил к каким-то выводам. Фридрих не отдавал себе отчета, зачем ему это нужно, — чуждый лакейским сплетням, малообщительный, он все свои наблюдения, соображения и умозаключения хранил про себя, но, если бы даже захотел сейчас, не смог бы остановить беспокойного, изнурительного шевеления в голове. И положила руку на сердце, едва ли б согласился вернуться к прежнему умственному сну, дарившему невозмутимое спокойствие. Наблюдать за г-ном тайным советником было интересно, а еще интереснее — разгадывать загадки его величаво-ровного со стороны, на деле же весьма странного и непредсказуемого поведения.

Казалось бы, свет не видывал лучшего семьянина, чем г-н Гёте,

столь внимательного, снисходительного, заботливого, готового — при всей загруженности государственными делами—вникать в каждую мелочь домашней жизни, если это могло помочь его ныне покойной жене или новой хозяйке г-же Оттилии, равно и столь деликатного, когда его вмешательство не требовалось. Фридрих, впрочем, сомневался, можно ли считать Оттилию, на редкость безразличную к дому, мужу и семье, новой хозяйкой, скорее уж на это звание претендовала ее сестра — до того как ее уронили на скользком паркете. И во дни Христианны, которую г-н тайный советник, спасая свое изнемогшее в скорби сердце, даже не проводил до места успокоения, и в нынешнее междуцарствие он охотно погружался в хозяйственную жизнь дома — пустейшая кухонная забота казалась ему стоящей внимания, и при этом мог без подготовки и предупреждения разом все бросить и уехать надолго в Иену, где у него было холостяцкое убежище, или на курорт. Он, правда, и оттуда не оставлял советами брошенное семейство, но коли собственное присутствие не способствовало поддержанию порядка в расползающемся доме, то уж подавно бессильными оказывались наставления издалека.

После смерти жены г-н Гёте стал проводить по полгода в Карлсбаде, куда уезжал еще до открытия летнего сезона, а возвращался осенью, в последнее же время сменил карлсбадскую клубящуюся испарениями целебных источников скалистую щель на плоский, как лепешка, Мариенбад — не из-за лечебных свойств этого преимущественно женского курорта, а ради темных глаз юной Ульрики Левецов, дочери энергичной дамы, которую он некогда дарил своим вниманием. Наверное, в ту далекую пору, думал Фридрих, эта дама занимала более высокое положение в обществе, а сейчас, будучи владелицей большого и мрачного дома, содержала гостиницу, служившую, как болтали злые языки, и для скоротечных свиданий.

Вспомнив о г-же Левецов в этот солнечный марииенбадский полдень, когда г-н тайный советник потребовал фрак, Фридрих привычно присовокупил к ней недавно узнанное от гостей хозяина и пленившее его выражение «следы былой красоты». Слова эти околдовали развившийся ум Фридриха; приглядываясь к гуляющим по рядным улицам модного курорта удрученным женскими болезнями дамам, Фридрих отыскивал в их чертах следы былой красоты. И он научился угадывать даже самые слабые, занесенные прахом лет и недугов знаки минувшей прелести на увядших лицах. Но на просторном и чистом лице г-жи Левецов следы эти были столь очевидны и щедры, что Фридрих искренне недоумевал: зачем его господин хлопочет, точно шмель, над нераспустившимся цветком — девятнадцатилетней Ульрикой, когда к его услугам чуть пожухший, но еще пышный и яркий бутон — старшая Левецов? В конце концов г-н тайный советник, первый министр Великого герцогства Веймарского, далеко не юноша...

Фридриха огорчало, что язык того светского круга, в котором он преимущественно вращался, обслуживая друзей и гостей хозяйна, остается ему зачастую непонятен. Ускользало одно-единственное слово, а с ним терялся весь смысл. Фридрих налег на справочники и толковые словари, которые брал из хозяйской библиотеки. Они расширяли кругозор, обогащали множеством ненужных сведений, но чаще лишь стучали туман. Фридрих прослышал, что в пору своего увлечения старшей Левецов г-н тайный советник называл ее Пандорой. И прозвище сохранилось по сию пору. Обратившись к энциклопедическому словарю, Фридрих выяснил, что Пандора — имя женщины, созданной Гешэфтом (так ошибочно прочиталось имя Гефест) и наделенной наряду со множеством достоинств и редкой красотой, хитростью, любопытством и коварством. Ее послали на землю, чтобы погубить род людской, снабдив ящичком, наполненным всякой

мерзостью. В словаре не было объяснено, знала ли Пандора о своем предназначении и о содержимом ящика. И почему его открыла — из неумного бабьего любопытства или по сознательной злобе. Так или иначе, она выпустила наружу всю нечисть, а на дне осталась лишь обманчивая надежда. Что имел в виду г-н тайный советник, назвав г-жу Левецов — в пору своего увлечения — Пандорой, оставалось неясным: то ли ее избыточные прелести, то ли тайное криводушие, то ли готовность дамы выпустить в мир омерзительных чудищ. Нынешнее сближение его господина с семейством Левецов тревожило лакея Фридриха.

И сейчас, в последний раз обмахивая метелочкой из черных страусовых перьев тугую гладкость фрака, прекрасно сидящего на крепкой фигуре хозяина, Фридрих изо всех сил напрягался мыслью, чтобы постигнуть то новое, что исподволь вызрело в размеренной мариенбадской жизни и достигло критической точки сегодня, когда г-н Гёте после визита к нему герцога Веймарского Карла Августа, которого, пользуясь старой дружбой, принимал по-домашнему, хотя величал даже с глазу на глаз «ваше королевское высочество», потребовал подать весь парадный доспех.

Он придирчиво осмотрел черную пару, атласный жилет, рубашку и шейный платок, велел убрать звезды и усыпанный алмазами орден на шелковой ленте, глазами показал на несколько седых волосинок, приставших к воротнику, и с обычной неторопливой энергией принялся одеваться. Помогая своему господину, Фридрих жадно следил за ним, но тайный советник ничем себя не выдал: движения его сохраняли обычную механическую четкость, он сразу попадал в штанины и рукава, садился, когда надо, и, когда надо, вставал, гибкое тело безотчетно облегчало работу слуги. Но что-то необычайное все-таки было... О да, блеск, «лихорадочный блеск», вспомнил Фридрих подходящее выражение, темных, глубоких глаз г-на тайного советника.

Поразительно, что семидесятичетырехлетний старик сохранил такие живые, горячие, черно-сверкающие глаза. Впрочем, г-н Гёте и вообще замечательно сохранился. Ему даже вино шло на благо, нежно поддурмянивая чистую кожу мясистого, но ничуть не обрюзгшего лица с крупным, решительным носом и тронутым лишь над бровями долгой тугой морщиной высоким, крутым лбом, слегка потеснившим к темени плотные белые волосы, красиво вьющиеся на висках и затылке. Прямая спина, неторопливый твердый шаг, гордый постав головы придавали ему величавость.

Но сегодня г-н тайный советник не просто выглядел молодо, он и впрямь был молод и сам чувствовал в себе эту молодость. Он напрягал икры, что было заметно сквозь тонко-плотную ткань панталон, поводил плечами, выпячивал грудь, его переполняла жажда движения. Но выйти из дома он почему-то не мог. Наверное, кого-то или чего-то ждал. Он ненавидел пустой расход времени, того мешканья, до которого столь охочи все несобравные люди, особенно женщины. Человек уже давно собрался, а все не может сделать решительного шага, мнется, мельтешит, шарит по карманам, хлопает ящиками бюро, открывает и закрывает дверцы шкафа, но он ничего не ищет, просто страшится переменить обстановку. Нет, г-н тайный советник Гёте всегда знал, чего хочет, и находил кратчайший путь к цели. Если он собирался из дома, то был готов к выходу в ту же секунду, когда заканчивал сборы, никогда ничего не терял, не забывал, хотя делал сотни дел, держал в памяти весь предстоящий день, наполненный работой, диктовкой секретарю произведений изящной словесности, научных трудов, деловых бумаг, распоряжений, встречами с разными людьми, официальными и светскими визитами, прогулками — пешком, и на коне, и бог весть еще чем. День г-на Гёте был неизмеримо насыщенной и словно бы длиннее дня любого другого

человека.. Вынужденный прервать диктовку, порой не на минуты, а на часы, он продолжал с того самого места, на котором остановился, хоть с полуфразы. Фридрих изо всех сил старался сделать свой ум таким же цепким и ясным, но, хотя забот у него было куда меньше, ничего из этого не вышло. Стоило одному делу наложиться на другое, и Фридрих настолько терялся, что забывал оба дела.

Г-н тайный советник, конечно же, и сейчас не испытывал колебаний и сомнений в отношении того, что ему делать дальше, он просто ждал. Нетерпеливо ждал какого-то известия, чтобы начать действовать, но известие запаздывало, и это нарушало его спокойствие. Сама собой тугая, медленная, но не сбивчивая мысль Фридриха связала нетерпение хозяина с той переменной в его жизни, которая с некоторых пор стала казаться неизбежной.

Когда умерла старая хозяйка, Фридрих мог бы кошелек, набитый талерами, поставить на заклад против кружки пива, что г-н тайный советник навсегда останется вдовцом. И вовсе не потому, что он так пламенно и верно любил жену, с которой прожил почти тридцать лет. Конечно, ее смерть явилась для него тяжелым ударом, он даже изволил пролить слезу, впрочем, слеза была тем единственным напутствием, которым он провожал в небытие самых близких людей: жену, баронессу фон Штейн, г-на Шиллера... Не было случая, чтобы он хоть взгляд бросил на дорогие, но уже заострившиеся черты. То ли г-н тайный советник хотел сохранить живой образ усопшего, то ли боялся смерти, то ли слишком презирал ее. Возможно, он считал, что там, где начинается держава смерти, кончаются его солнечные владения, и прекращал всякие отношения с теми, кто предпочел госпожу Смерть его обществу.

Отдав дань извинительной слабости, омыв — и смыв — слезой дорогой образ, г-н тайный советник возвращался к делу жизни с особой энергией, словно бы освеженный и помолодевший. Что касается покойной советницы, то задолго до ее кончины он предоставил и себе и ей полную свободу: ей — веселиться, танцевать до упаду и кутить в обществе браво офицеров (шампанское пенилось вокруг г-жи Гёте, как пена морская вокруг Афродиты), себе же оставил уединенный труд, государственные заботы, встречи с замечательными людьми, красное вино и летом — восторженный щебет молодых женщин.

После смерти жены г-н Гёте словно принял на себя оброненную ношу усопшей, обрел вкус к балам, пикникам, повесничанию и долгому уединению с юными красавицами. Казалось бы, что может быть лучше такой жизни, дающей все радости и почти ничего не требующей взамен, но с некоторых пор рассеянный свет его внимания собрался, как в фокусе, на юной Ульрике Левецов. Это не было похоже на другие, быстро проходившие увлечения. Крепко запала в душу Фридриха фраза, оброненная как-то г-ном Гёте за семейным обедом, когда несдержанный, всегда раздраженный Август в очередной раз сцепился с откровенно презирающей его Оттилией: «Вся беда в том, что наш состав неполон». Занятые своей ссорой, молодые люди пропустили слова главы семьи мимо ушей, они и вообще не баловали его почитательностью, а может, сочли бессильной жалобой вдового старика, лишь повредившаяся в уме сестрица Оттилии метнула в его сторону короткий злобный взгляд. А им стоило бы прислушаться, ибо г-н тайный советник впервые — и сознательно — проговорился о своих намерениях.

Смущало Фридриха лишь одно: наивность этого заявления, — неужели великий ум может настолько заблуждаться в своих близких? Появление новой тайной советницы внесет такой же мир и лад в смятенную жизнь дома, как содержимое ящика мифической Пандоры. И даже обманчивой надежды не останется. Конечно, Август и Оттилия объединятся в ненависти к новой «мамочке», ущемляю-

щей их наследственные права, но едва ли об этом мечтает г-н Гёте.

Ныне Фридрих склонен был фразе, услышанную за столом и оставленную без внимания молодым поколением, связать с лучезарно-беспокойным обликом г-на тайного советника. Не должно ли сегодня решиться то, что сделает полным «семейный состав», принесет мир и покой дому — «кошмар и ужас», твердо определил будущее своего хозяина научившийся мыслить Фридрих. Для себя лично он не ждал перемен, ибо принадлежал к тому священному и неприкосновенному обиходу г-на тайного советника, который был исключен из домашних потрясений. И все-таки ему было не по себе...

Ну а как же иначе? Ведь не было у Фридриха другой жизни, кроме той, что уже несчитанные годы незаметно день за днем проходила в доме г-на тайного советника Гёте. Бывает, что слуги, при всем своем зависимом положении, не только влияют на домашние и прочие дела хозяина, но и направляют их,— поведение советника полиции Бруннера в семье и на службе целиком зависит от того, с какой ноги встал и как обиходил его красноносый лакей Михель, брюзга и пьяница, с которым хозяин не расстался бы за все блага мира. Фридрих не пользовался влиянием на своего хозяина, и никто другой не пользовался: г-н тайный советник умел закрывать глаза на домашние безобразия, но не плясал под чужую дудку. Фридриху достаточно было наблюдать и делать выводы — совершенно бескорыстно, ибо он и так имел все необходимое для душевного довольства: четкий круг необременительных обязанностей, сносное жалованье, независимость, обеспеченную подчинением лишь одному человеку, добрый стол с хозяйским вином, крепкий табак, опрятную постель, хорошее платье и достаточно свободного времени, чтобы посидеть в погребе и перекинуться шуткой с какой-нибудь Кеттхен или Лизхен. Будучи лишь немногим моложе хозяина, Фридрих, подобно ему, не держал двери на запоре. Он знал, что г-н тайный советник неисповедимыми путями — доверительных разговоров меж господином и слугой не велось — осведомлен о его галантных похождениях и относится к ним с одобрением. Г-ну Гёте было по душе всякое проявление жизненной силы, но омерзителен, как бы ни скрывал он свои чувства, пьяный, грубый разврат Августа.

Фридрих желал счастья своему господину, но неужели тот действительно верит, что избалованная девочка поможет обуздать бешеного Августа и своенравную Оттилию? Эта мысль так озаботила Фридриха, что он перестал обмахивать веничком плечи г-на тайного советника и замер с поднятой рукой, сжимающей букет из облезлых страховых перьев.

— Я разрешаю вам обратиться ко мне с вопросом, Фриц,— с улыбкой — не губ, а глаз — сказал г-н тайный советник.

— С каким вопросом, ваше превосходительство?

— Не лукавьте. Вас давно томит вопрос: уж не хочет ли барин жениться?

Взгляд Гёте вдруг отдалился, затуманился и вовсе покинул остекленевшие глаза. Непостижимым образом Фридрих угадал выпадение своего господина из данности, вслед затем с легкой дурнотой ощутил, что и его затягивает, заверчивает странная, не из яви воронка и брезжит что-то не имеющее ни образа, ни подобия, из какого-то чужого обихода, с чужими запахами, чужим воздухом, чужой заботой, он понял, что это барин затащил его туда, где ему все незачем быть, и тоска сдавила сердце.

А Гёте, не в первый раз пережив мгновенное погружение в стихию иного времени, иного бытия, предстоящего ему, видимо, после износа этой жизни и этого образа, опять, как и во всех прежних случаях, кроме одного-единственного, относящегося не к будущему, а к прошлому, где он оказался могучим туром, зазывно трубящим в золотистой лесной просеке, тщетно пытался ухватить тот сдвиг,

из которого возникла странная, несвойственная ему фраза. Снова ничего не получилось, он уловил лишь, что там была не Германия, может, и вообще не Европа, но и экзотикой не повеяло, самое же поразительное, что рядом с ним по-прежнему находился Фриц, другой, как и он стал другим,— новая ипостась Фрица. Неужели возможно такое вот спаренное перевоплощение?.. По чести, он предпочел бы, чтобы не Фриц, при всех его несомненных достоинствах, сопутствовал ему в новом существовании... Ах, если б договорить, доспорить с Шиллером!.. А увидеть вновь юную Фридерiku, доверчивую, трогательную Фридерiku, которую он так внезапно бросил, не воспользовавшись плодами победы, спасая себя от нее, а ее — от себя,— почему в молодые годы им владела неодолимая страсть к разрывам? Наверное, то было безотчетное, самосохраняющее чувство: кто-то в нем, более умный, нежели он сам, знал, что чудо жизни даровано ему не для того, чтобы изойти томлением и восторгом у женской юбки. Но как они были прелестны! И Фридерика, навеки запечатлевшаяся в нем тонкой болью, и нежная Шарлотта Буфф, ставшая г-жой Кестнер и тем подарившая ему и веку «Вертера», и страстная, смелая Лили, так бурно любившая, готовая бежать с ним в Америку, и стойкая, гордая, измучившая его больше всех женщин, вместе взятых, прежде чем подарить своей близостью (не удивительно, что перетянутая струна вскоре лопнула), баронесса фон Штейн, и обреченная пленять всех, кто неосмотрительно приближался к ней, Минна Херцлиб — сам Эрот придумал эту фамилию,— и даровитая, таящая пламень под личиной холодного пре-краснодушия Марианна Виллемер, с которой он вновь стал Вертером, правда, умудренным годами и застрахованным от поражения. Но все самое нежное, трепетное, желанное, покорное и покоряющее, влекущее, озаряющее и одухотворяющее сосредоточилось в его последней любовнице Ульрике Левецов, нет, все же не любовнице, хотя были и поцелуи и объятия, такие пылкие!— а ведь ей всего девятнадцать, это он, седовласый, разбудил невинное создание для чувственной любви. Да будет с ним лишь она, одна она во всех последующих превращениях, его душенька, его богиня, которую он вскоре назовет женой перед небом и людьми.

Гёте не сомневался в чувстве девушки, да и не бывало такого, чтобы его страсть не вызвала ответной страсти. Даже Шарлотта Буфф, кладезь немецких добродетелей, невеста честного Кестнера, олицетворение долга, порядочности, житейской трезвости и расчета, потеряла на миг голову, ясную и озабоченную голову, спокойно и прямо сидевшую на крепких плечах юной хозяйки большого дома овдовевшего отца, и так ответила ему на воровской поцелуй, что сладостный его яд обернулся выстрелом Вертера.

И все-таки тогда он потерпел поражение. Впрочем, он сам отступился от Шарлотты — из дружеской преданности Кестнеру, так это выглядело, на деле — все из той же самозащиты, ведь, разрушив их помолвку, он брал на себя обязательства, которых втайне страшился, как и всю жизнь страшился официального закрепления связи; он и на брак с Христианной решился после восемнадцати лет совместной жизни, когда погасла страсть и вошел в возраст сын-ба-стард. А сейчас он открыто и радостно готовился к таинству брака, призванного увенчать его последнюю и самую большую любовь. Правда, последняя любовь всегда казалась ему самой большой, то было заблуждение незрелости, но в семьдесят четыре года человек не обманывается в своих чувствах. Благодетельная природа сотворила для него великое чудо, воскресив его сердце, наделив второй молодостью, но только душевной, но и физической. «У нас будут дети! — думал он горделиво.— И я уже не упущу их, как упустил бедного Августа».

В Ульрике с ее тугими локонами, удлиненными, широко расстав-

ленными глазами, глядевшими то с детским доверчивым удивлением, то с пронизательностью мудрой, хотя еще не осознавшей себя души, таинственно сочеталась наивная непосредственность с той глубокой женственностью, что важнее опыта и ума. Без этого дара женский ум даже высшего качества сух, бесплоден и несносен. Вечно женственное обладает бессознательной способностью проникать в скрытую суть вещей и явлений, перед его интуитивной силой паует просвещенный, систематический ум мужчины.

В Ульрике поражала отзывчивость — на мысль, слово, чувство, прикосновение. Ее все захватывало: минералогия, ботаника, зоология, физика, химия, лингвистика, история; никому и никогда не излагал Гёте с таким удовольствием и уверенностью, что его поймут, свою теорию цвета, как этой девятнадцатилетней девочке; а как обрадовалась и воодушевила ее идея о прарастении, над которой все издевались, — видимо, тут что-то соответствовало ее жажде цельности и художественной завершенности мироздания; музыка и стихи слезили ей уголки широко расставленных глаз, а когда Гёте прикасался губами к ее ароматной головке, она вздрагивала, прижималась к нему легким телом, сжимала отвороты его сюртука и полуоткрытым, прерывисто дышащим ртом искала его губы. Если б он меньше любил Ульрику, то сделал бы своей, но зачем ему ворованное наслаждение, раз они скоро свяжут судьбы?

Никогда, даже в расцвете лет, Гёте не пользовался таким успехом у женщин, как в пору, которую люди слабодушные и невыносимые считают угасанием, хотя, быть может, только тут человеческая личность находит свое окончательное воплощение. И потому разница в возрасте ничуть не смущала Гёте — он был уверен в себе и в Ульрике, и если попросил великого герцога Веймарского быть его сватом, то единственно из легкого недоверия к г-же Левецов. Конечно, Пандора была его другом, некогда другом весьма нежным, она знает ему цену и, надо полагать, осведомлена о чувствах своей дочери, но кто поймет этих мамаш! Может, у нее на примете другой претендент, не уступающий Гёте ни богатством, ни положением, но обладающий — в глазах глупцов — преимуществом молодости: нельзя исключать и чисто бабьего расчета: Пандоре может взбрести в голову, что бывшему возлюбленному уместнее взять в жены ее, коли уж приспичило жениться, а Ульрику получить в дочери — с бюргерской точки зрения это куда естественней; наконец, она может возревновать к дочери или просто не поверить в окончательную серьезность намерений «старого ловеласа», каким считает его курортное общество, или же посчитать молодой блажью склонность дочери к седому поэту. Короче, нужна гарантия серьезности, чистоты и достоинства его намерений. Державный сват явится достаточно веским поручителем.

Старый бурш, как называл Карла Августа умный и насмешливый Меттерних, был одним из самых взбалмошных, распущенных и непутевых немецких князей; любивший пуще души охоту, вино, баб и войну, он к старости не только остепенился, но удивительным образом преуспел во всех своих непродуманных начинаниях. Ввязавшись в войну с Наполеоном, испытав жестокое поражение, позорное бегство, потерю всех земель, он в конце концов оказался в стане победителей, а его заштатные владения расширились и стали Великим герцогством; сочетая распутство с многолетней влюбленностью в красивую, но малоодаренную и вздорную актрису Ягеман, он, овдовев, женился на ней и возвел на великокняжеский трон; проведя полжизни на кабаньей и оленьей охоте, беспощадно вытаскивая крестьянские поля, он вдруг дал своей стране конституцию и привлек к управлению третье сословие; то ссорясь, то мирясь с Гёте, сместив его в угоду Ягеман с поста директора театра, он сумел намертво привязать «величайшего немца» к Веймару, превратив свою крошечную

столицу в духовный центр Европы, место всесветного паломничества, и, наконец, не только сохранил при своей особе многолетнего друга-врага, но даже оказался его доверенным лицом в самом деликатном деле. Что это — набор случайностей, стечение обстоятельств, колдовство, влияние тайных сил или характер? Наверное, тут намешано всего понемногу, но в одном не откажешь Карлу Августу — в отличие от всех немецких князей он способен быть не мелким.

Гёте хотелось так думать сейчас. Чем крупнее казался ему Карл Август, тем сильнее вера, что посольство его удастся. А разве может оно не удастся? Неужели Пандора не поймет всех выгод этого брака — и сейчас, и особенно в будущем?..

Благообразное лицо Фридриха, исполненное почтительного внимания, напомнило ему, что он так и не получил ответа на свой шутивно-странный вопрос.

— Я, кажется, спросил вас о чем-то, Фриц?

— Не смею беспокоить ваше превосходительство своим недостойным любопытством, — с политической уклончивостью, достойной Меттерниха, отозвался Фридрих.

— Напрасно, Фриц. Вы живете в моем доме, и вас не могут не интересовать предстоящие перемены. Так вот, друг мой, ваш господин женится.

— Разрешите принести свои поздравления, ваше превосходительство.

— Спасибо, Фриц. Я уверен, что вы сами давно обо всем догадались. Вы тонкая бестия, Фриц.

— Премного благодарен, ваше превосходительство, — поклонился слуга.

Своеобразный демократизм Гёте состоял в том, что он относился с интересом к каждому человеку, с уважением — к каждому труженнику, если тот знал свое дело (Фридрих был образцовым слугой), но как только эти люди собирались вместе для любого действия: протеста, защиты своих прав, тем более восстания, участия в каком-то выборном органе или даже для выражения верноподданнических чувств, — как тут же становились для Гёте толпой, и он со смаком повторял изречение Аристотеля: «Толпа достойна умереть прежде, чем она родилась». Было вне сомнений, что Фриц никогда не сольется с толпой, презирая ее своим лакейским сердцем едва ли не сильнее, чем его господин — бюргерским, и Гёте испытывал к нему ту полноту доверия, которая позволяла говорить о вещах интимных. А сейчас он как никогда нуждался в собеседнике, чтобы заговорить растущую тревогу, поскольку Карл Август задерживался.

К сожалению, Фридрих был слишком вышколенным слугой и слишком осторожным человеком, чтобы позволить втянуть себя в чересчур доверительный разговор, о котором хозяин рано или поздно пожалеет. Гёте сердила лакейская хитрость Фридриха, хотя он понимал, что ничего иного нельзя ждать от человека, всю жизнь находящегося в услужении. Было бы дико, если б Фридрих вспыхнул вдруг захлебной откровенностью своего тезки Шиллера или рассыпался в доверительно-сентиментальных сарказмах Гердера.

— Жизнь нашего дома изменится, Фриц, сильно изменится! — Гёте распахнул свои огромные пламенные глаза, словно пораженный величием предстоящих перемен, но не поколебал каменной невозмутимости лакея. — Молодость войдет в наш дом, Фриц! — неискренним — от раздражения — тоном продолжал Гёте. — Нам обоим придется помолодеть.

— Ваше превосходительство и так хоть куда! — отважился Фридрих на уместную, как ему подумалось, фамильярность. — А мне позновато.

— Что вы мелете? — вскинулся Гёте.— Вы же моложе меня на шесть лет.

— Не равняйте себя с другими людьми, ваше превосходительство. У вас другой счет времени.

— Что это значит, Фриц? — серьезно спросил Гёте, пораженный замечанием лакея, которое не могло родиться в его черепной коробке.

Фридрих и сам почувствовал, что высказал нечто сверх своего разума, но, доверяясь странной несущей силе, продолжил, не вдумываясь в смысл произносимых слов, входивших в него словно из нездешнего бытия.

— Вы каждый день проживаете целую жизнь, ваше превосходительство, но время не имеет над вами той власти, что над другими людьми. Для вас у него иная длительность. Вы не старше меня на шесть лет, а моложе на четверть века. Время — не абсолютная категория, ваше превосходительство.

«Этот шельмец обставит меня в каком-то очередном воплощении», — с досадой подумал Гёте.

— Как можете вы все это знать, Фриц? Где вы набрались такой премудрости?

«А и верно, где? — удивился Фридрих.— Черт его знает, что лезет в башку! Надо подтянуться. Не хватало еще слуге наставлять господина. Такого господина!.. Это плохо кончится. Но и господин тайный советник хорош — зачем принуждать подневольного человека к неподобающим рассуждениям?» У каждого свои обязанности, его, Фридриха, дело — чистить платье и убирать в комнатах, а для умных разговоров есть господин Эккерман. Хорошо бы улизнуть. Иначе попытка доверием до добра не доведет.

Фридрих так и не понял, откуда явилось спасение. Но взгляд пламенных глаз, ставший вдруг нестерпимым, словно ему открылось нечто, недоступное зрению простого смертного, соскользнул с его скромной особы, унесся ввысь и потерялся там, а широкая белая кисть Гёте дважды сделала нетерпеливый и недвусмысленный жест, означавший: пошел вон!

Фридрих поспешно ретировался, благословляя неведомого избавителя, но и чуть досадуя на старческие причуды своего господина, прежде за ним не наблюдавшие.

А Гёте видел Ульрику. Видел так ошеломляюще ясно и материально, что на мгновение ему почудилось, будто он может коснуться ее рукой и ощутить тепло округлой щеки и розовой просвечивающей мочки. Он видел черные точки в кобальтовых радужках, ямку в уголке губ, приотвистшую порожину темной родинки; двойная нитка кораллов обвивала стройную шею и убежала за обшитый кружевами корсаж. Жаркое легкое девичье дыхание чуть вздымало и опускало шелковую ткань на груди, и он застонал, потому что благодать облика его любимой стала болью. Как мог он сравнить ее с другими, кто промелькнул прежде в его жизни, точно с этой его любовью могли сравниться все прежние бедные влюбленности. Да, всего лишь влюбленности, потому что любил он впервые. Наверное, так и должно быть с тем, кого природа лишь насыщала и совершенствовала с годами, ничего не отнимая, кроме заблуждений, и укрепляя в главном — творческой силе и даре любви.

— Его королевское высочество!..— Голос Фридриха, грубо вошедший в очарованную тишину, будто подавился самим собой — знать, принц оттолкнул слугу от двери.

— Я никудышный сват! — вскричал Карл Август.— Напрасно вы доверились мне.

Гёте поглядел на красное лицо старого кутилы и борзятника с узкогубым брезгливым ртом, так не соответствующим жизнерадостному настрою своего владельца, с цепкими, очень неглупыми глазками и не понял смысла сказанного.

— Простите, ваше королевское высочество..

— Ох, старина, хоть бы в такую минуту — без китайских церемоний! — с досадой сказал Карл Август.

Его раздражал принятый Гёте с некоторых пор обычаи величать его этим пышным титулом; мнимая почтительность скрывала дерзость, ибо устанавливала между ними дистанцию, которую герцог не признавал, стремясь вернуться к прежней короткости, но старый упрямец неизменно отталкивал его от себя.

— Слушаюсь, ваше королевское высочество..

— Несносный старик! — в сердцах сказал Карл Август. — Так пожалуйста: вам отказали.

— Что это значит? — отшатнулся Гёте.

Герцог посмотрел на задрожавший рот, на смятение, охватившее величавое еще миг назад, прекрасное лицо, и впервые по-человечески пожалел Гёте.

— Пандора открыла свой ящик.. Правда, сделано это было весьма деликатно, не придерешься, но гады выпущены на волю. А если без иносказаний — мне объяснили, что Ульрика слишком молода и сама не знает своего сердца. Ей нужно время, много времени, чтобы разобраться в собственных чувствах.

— Но Ульрика?.. Почему не спросили ее?

Карл Август колебался. Он думал, что Гёте примет отказ с большим мужеством и гордостью и не захочет знать подробностей этой, в общем-то, унижительной истории. Он отошел к окну, побарабанил пальцами по стеклу и услышал первые такты «Турецкого марша» Моцарта.

— Я не знаю, — он говорил, стоя спиной к Гёте, — было ли у них отрепетировано заранее или старая Левецов решилась на экспромт. Конечно, на экспромт, хорошо подготовленный. Ваше предложение не явилось для нее неожиданностью, она ждала его. Смутила лишь фигура свата. Но отдадим должное Пандоре — она быстро овладела собой и сама позвала Ульрику.

— И Ульрика?..

— Сказала, что всегда относилась к вам только как к отцу.

— Но это неправда!..

— Ах, старина! Вы же сами знаете, каким влиянием пользуется Пандора на свою дочь. Ульрика — мягкий воск.. Если б мать захотела, Ульрика сразу поняла бы, что ее привязывает к вам совсем не дочернее чувство. Но у матери другие планы, и бедная девочка всерьез поверила, что дарила вам лишь детские поцелуи. Ульрика совсем не бунтарка, ее очарование — в готовности принять любую форму. Этим она вас и прельстила. Но авторитет матери выше. Поймите это и смиритесь. Господи, да что, на ней свет клином сошелся? Кругом столько красоток!..

Гёте не отвечал, и Карл Август, незаметно для себя перешедший на игривый тон, бодро обернулся, но то, что он увидел, потрясло его крепкую солдатскую натуру. Вместо величавого вельможи перед ним был согбенный старик с пергаментной кожей обвисшего лица и потухшим взором.

— Старина! Что с вами? — вскричал пораженный Карл Август. — Нельзя же разваливаться из-за юбочки! Да будьте мужчиной, черт побери! Вы испытаны в страстях, как оперная дива, возьмите себя в руки!..

Гёте молчал.

«Похитить Ульрику и обвенчать их тайно? — пронеслось в голове старого бурша. — А хрычовку мать припугнуть, чтобы не подымала шума. Да не пойдет на это наш поэт. А жаль!..»

— Может, тряхнем стариной? — предложил Карл Август. — Помните, как мы повесничали в старое доброе время? Плянем на этот тухлый Мариенбад и махнем в Вену. Инкогнито.

— Вы очень добры, ваше королевское высочество,— послышался тихий, но уже окрепший голос.— Примите мою глубочайшую благодарность, а также искренние извинения, что я обременил вас столь неловкой просьбой, но я должен сам объясниться с Ульрикой.

«Он будет жить!— восхитился Карл Август.— Это железный старик!»

...Восемь дней осаждал Гёте Ульрику Левецов, и лучше не было бы этих восьми дней в его жизни. Он оставил попытки говорить языком страсти, ибо Ульрика тут же превращалась в обиженного несмысленно. Он укротил чувство и положился на разум. Бесплодное и мучительное занятие: подавляя крик боли и страсти, доказывать девятнадцатилетней девушке языком железной логики полезность и даже необходимость брака с семидесятичетырехлетним стариком. Изопрямясь в казуистике, он вбивал в хорошенькую и смекалистую головку мысль о тщете безнадежности сопротивления избирательному сродству, так открыто заявившему о себе в их случае. Потраченного им ума, вдохновения и волевого напора хватило бы, чтобы закончить вторую часть «Фауста», растянувшегося на всю его жизнь, но великое, изощреннейшее витийство разбивалось о глухое упорство девушки, не желающей покидать страну, название которой юность.

Впрочем, Гёте казалось, что Ульрикой правит не внутреннее веление, а посторонняя сила, которую можно одолеть, ибо неодолимо лишь то, что вне рассудка, вне разума. Пророк Моисей говорил, что ему ведомо все, кроме одного—что происходит в голове сумасшедшего, поэтому тут кончается его власть. Сфера чистой эмоции сродни безумию, она непостижима и неуправляема, но Ульрикой, как он думал, двигала чужая воля. Он отнюдь не преуменьшал влияния Пандоры: у нее были преимущества места— всегда рядом с дочерью,— пола и крови. Перед всем этим оказывается бессилён ум. Ну, а сила личности, а гениальность?.. И он стал гениален, отдав этой девочке больше, чем всему «Западно-восточному дивану», но не продвинулся ни на шаг, хотя чувствовал порой, как загорается ее отзывчивая душа. Что-то намертво развело их. Что?.. Нет смысла ломать голову. Пандора могла выпустить из своего ящика таких гадов, что и думать о них противно. Но зачем это нужно Пандоре? Быть может, она боится, что необузданный Август и далеко не кроткая Оттилия разрушат помолвку или сделают жизнь его молодой жены невыносимой? Такая тревога оправдана. Но почему бы ей не сказать ему об этом? Он бы ответил прямо: я возьму в руки кнут и усмирю их. Я никогда этого не делал, но сделаю ради Ульрики. Может, объясниться с Пандорой, развеять ее материнское беспокойство, дать какие-то гарантии? Этого не принимала душа. Получить Ульрику в результате сговора? Да будь дело только в его семейных сложностях, практичная г-жа Левецов давно бы навела разговор на волнующие ее обстоятельства, но она и не подумала этого сделать. Нет, она просто не хочет его для своей дочери, и все тут! Осилить ее можно было бы лишь с помощью Ульрики, но ту словно подменили. Неуловимая, недоступная и оттого лишь более желанная, она утратила свою горячность и непосредственность, стала рассудительной, осторожной, контролировала каждое слово, каждый жест. Даже позволяя порой увлечь себя мыслью, образом, полетом воображения, она все время оставалась начеку. Когда же ему изменяла выдержка и он не мог сдержать гневной боли, она остужала его чужими, заученными словами:

— Не надо сердиться. Будьте моим добрым, мудрым другом.

И он отступился, поняв, что ему не пробиться к маленькому, сжавшемуся в тугий комок сердцу...

Прощаясь с Ульрикой перед отъездом— карета ожидала его у дверей,— Гёте заметил промельк смятения в кобальтовых, с черными

крапинками глазах: пусть на мгновение, но тайная душа ее проговорила о чем-то таком, чего не знало дневное сознание девушки. И в недобром прозрении он сказал:

— Если б вы были только красивы, только очаровательны и поженски умны, Ульрика!.. Я был бы спокоен за ваше будущее. Но вы слишком значительны и слишком глубоки для обычной женской доли. Вы еще сами не понимаете этого, но когда поймете, будет слишком поздно. Вы обрекаете себя на безбрачие, бедное дитя мое. Нет ничего грустнее бесплодной смоковницы. Прощайте, мы никогда больше не увидимся.

Ульрике было грустно расставаться с Гёте: до чего же нелепа жизнь, если нельзя сохранить его в качестве друга, собеседника, наставника, нет, главное, в качестве друга, очень, очень близкого друга!— ей так нравилось целовать темные огненные глаза, заставлявшие забывать о его годах, но прощальная угроза задела женскую гордость, и хотя у нее хватило вкуса, такта и снисхождения промолчать, даже потупиться с печальной покорностью: мол, что поделаешь, раз такова моя участь,— в душе она посмеялась над пророчеством Гёте, не знавшего ни о смуглом кудрявом сыне соседа-аптекаря, ни о байроническом гофрате из Дрездена, с которым она познакомилась на последнем балу, дав из-за него отставку стройному, элегантному геттингенскому студенту...

Чуть приоткрыв занавеску, Ульрика смотрела, как старый рослый лакей Фридрих тяжело подсаживал в карету своего будто обезноженного господина.

— Бедный, бедный дедушка!..— вздохнула Ульрика, рассмеялась и вдруг заплакала...

...Трясущийся на козлах рядом с кучером Фридрих с тоской поглядывал на корчмы, трактиры и гостиницы, то и дело мелькавшие по сторонам дороги. Курортный край был насыщен первоклассными заведениями, где усталый путник мог утолить жажду и голод, дать отдых истомленным членам. Они находились в пути уже более семи часов, а Гёте и не думал дергать за шнурок, конец которого был привязан к мизинцу Фридриха.

Конечно, любовный голод вытесняет мысли о пищах телесной, и г-н тайный советник в своем теперешнем состоянии не вспомнит о грубой материи жизни до самого Веймара. Но Фридрих не был ни влюблен, ни отвергнут, в животе у него урчало, глотку саднило, а голова упрямо клонилась к груди, но голод и жажда отгоняли спасительный сон. Не знал сердечных ран и кучер, но этот здоровяк с каленым лицом настолько привык к дорожным лишениям, что в нем не найдешь союзника. Надо полагать, что и ехавший сзади в двухместной карете секретарь тоже не понес любовного поражения, но разве осмелится он потревожить высокий покой или скорбное томление г-на тайного советника! Оставалась одна надежда на малорослых лошадок с лоснящимися крупами. Крепенькие и резвые, но порядком забалованные, они привыкли к бережному отношению и недвусмысленно выражали свою обиду, то и дело сбиваясь с ходкой рыси на фальшивую трусцу, и кучеру приходилось покрикивать на них и даже взмахивать кнутом. Это ненадолго помогало, но когда он понастоящему пустит его в дело, лошади наверняка взбунтуются.

Фридрих вообразил себя лошадью, уже восьмой час идущей в упряжке, взявшей с натугой множество подъемов, круто осаживавшей на спусках, отчего хомут налезает на уши, он ощутил напряжение в паху и подмышках, лому в крестце, услышал, как екает в брюхе селезенка и как зудит кожа, накусанная слепнями, чешутся глаза, облепленные мелкими мушками—проклятые твари норовили выпить зрак, и Фридрих сгонял их, хлопая жесткими ресницами; ягодицы

ему натерла шлея, он ерзал, чтобы утишить резь; огромный, шершавый, закоженевший язык не помещался в пересохшем зеве, и он свесил его наружу через нижнюю губу... Тут кучер, видать, дернул вожжу. Фридрих, послушный конь, хотел взять вправо и чуть не свалился с козел. Он очнулся и обнаружил, что его дергают за мизинец. Они тащились мимо старой гостиницы с потемневшей от времени черепичной крышей, замшелыми деревянными стенами и черными кирпичными трубами, исходившими сытым дымом.

— Стой! — гаркнул Фридрих и на ходу соскочил с козел.

Он остушился, подвернув ногу; прихрамывая, заковылял к карете, но тут дверца распахнулась и г-н тайный советник молодо спрыгнул на землю, не дожидаясь, когда Фридрих опустит ступеньку. Из второй кареты уже спешил секретарь, на его узком бледном лице Фридрих увидел отражение собственной ошеломленности. Только с г-ном Гёте возможны подобные превращения: его плоть обладала куда большей пластичностью, нежели у доктора Фауста, с которым он так долго возится, тому понадобилось заключить сделку с нечестным, чтобы вернуть молодость, и бесконечно долгие годы, чтобы вновь ее изжить, — г-н тайный советник в течение одного дня мог стать дряхлым старцем и вновь возродиться юным, подобно фениксу, из пламени внутренних сил.

Бодрый, свежий, словно не испытывавший крушения надежд, не похоронивший любви и не намаившийся более семи часов в тряской карете без пищи и питья, он быстро зашагал к гостинице, на ходу отдавая распоряжения:

— Устройте нам вкусный ужин, Фриц. На закуску два десятка устриц. Проследите, чтобы подали свежайшие. И холодный мозельвейн. — Затем секретарю: — Вы взяли свои письменные принадлежности?.. Отлично! Мы пройдем в гостиную и кое-что запишем. Фриц, велите подать туда по кружке светлого. И сухих вяленых рыбок.

Позже, когда Фридрих пришел доложить, что ужин подан, секретарь читал своим мелодичным голосом, так нравившимся г-ну Гёте, только что записанные под диктовку стихи, сочиненные, как понял слуга, в карете. Вот почему они так долго не делали привала.

.
Там у ворот она меня встречала
И по ступенькам шатким в дом вводила.
Невинным поцелуем провожала,
Вдруг кинувшись вдогон, иной дарила.
И образ тот в движенье, в смене вечной
Огнем начертан в глубине сердечной...

Фридрих не любил стихов, но тут пожалел, что не слышал начала.

— Любопытно, — сказал Гёте секретарю, у которого подозрительно поблескивали глаза. — Возраст все-таки чего-то стоит. В юности понадобился «Вертер», чтобы уцелеть, сейчас обошлось одним стихотворением...

...Ульрика Левецов прожила очень долгую жизнь. Она дотянула до нашего века. По свидетельству современников разных поколений, она до седых волос сохраняла тонкую юную красоту, и даже в глубокой старости лицо ее удивляло трогательной миловидностью. Пророчество Гёте сбылось — она так никогда и не вышла замуж; на могильной плите почти столетней старухи было выбито: «Фрейлейн Левецов». В женихах не было недостатка, иным удалось затронуть ее сердце, другим — разум, понимавший, что пора наконец сделать выбор и зажечь естественной и полноценной женской жизнью. Но что-то всякий раз мешало, останавливало у последней черты. Быть может, память о старике с огненными глазами, но кто это знает?..

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА

★

НИЧЕГО ОСОБЕННОГО

Рассказ

Маргарита Полуднева — счастливый человек. Например, однажды в четвертом классе, когда в нее влюбился соседский мальчик Вовка Корсаков и, желая обратить на себя внимание, сбросил на нее с шестого этажа чугунный утюг, то утюг упал в одиннадцать сантиметров от ее ноги. Судьба посторонилась на одиннадцать сантиметров. Маргарита в это время поправляла сползший чулок. Она подняла голову, увидела Вовку в окне и сказала: «А... это ты...» — и пошла себе дальше в двурогом синем бархатном капоре. На Вовку она не обиделась. У нее был такой характер. Если бы он убил ее или покалечил, тогда были бы основания для обид. А так — зачем обижаться на то, что не произошло.

Маргарита осталась цела тогда, возле штабеля дров. В те времена топили дровами. Выросла, закончила школу и поступила в кораблестроительный институт, сокращенно Корабелку. И в семнадцать лет полюбила араба с роскошным именем Бедр Эльдин Мария Мохамед. Через два месяца после знакомства Мария Мохамед вернулся к своему гарему. Сложная международная обстановка не позволяла ему более оставаться в Ленинграде. Надо было возвращаться в Объединенную Арабскую Республику. От Бедре ей осталось имя Марго — вместо Рита. И сыночек Сашечка с черными глазами и русыми волосами — что, в сущности, счастье. Могло и вовсе ничего не остаться.

Официально Марго считалась матерью-одиночкой, хотя грамотнее говорить матерью-холостячкой. Если женщина имеет ребенка, да еще такого красивого и полноценного, как Сашечка, — она уже не одинока.

Помимо всего прочего, Бедр Эльдин научил Марго есть картошку, политую постным маслом и лимоном, это было вкусно и дешево. Так что если разобраться, от Бедре произошло довольно много пользы. Больше, чем вреда. Тем более что пользу он принес сознательно. А вред — бессознательно. Не мог же он повлиять на сложные международные отношения. Любовь бессильна перед политикой. Потому, наверное, что любовь касается только двоих людей, а политика — многих.

Время шло. Сашечка рос и уже ходил в школу-интернат, а по субботам и воскресеньям Марго забирала его домой. Марго работала в конструкторском бюро и ждала своего счастья. Она не просто ждала, туманно надеясь, а пребывала в состоянии постоянной готовности встретить свое счастье и принять его радостно, без упреков за опоздание. За столь долгое отсутствие.

Однажды счастье явилось в виде обрусевшего армянина по имени Гена. Подруги сказали: «Опять». И сказали, что Марго просто специа-

лист по Среднему и Ближнему Востоку. Им казалось, что Гена и Бедр — это одно и то же. Хотя общее у них — только цвет волос.

К чести Гены надо сказать, что он не собирался обманывать Марго и сразу, с первого дня, сказал, что не любит ее и любить не собирается. Его сердце занято другой женщиной, но у них временное осложнение отношений. Гена учился в консерватории на отделении деревянных духовых, и, выражаясь языком музыканта, осложненная любовь была главной темой его жизни. А Марго являлась как бы побочной партией. А вся его жизнь — симфоническая поэма-экстаз.

Гена был какой-то вялый, будто и не армянин вовсе. Он постоянно простужался и кашлял, как в трубу. Видимо, ему был не полезен ленинградский гнилой климат. Он говорил, что Ленинград стоит на болотах и он здесь никогда не согреется. Марго вязала ему теплые вещи, варила горячие супы и выводила гулять. Когда шли по улицам, она вела его за руку — не он ее, а она его, держа в своей руке его нежные вялые пальцы. Иногда они останавливались и целовались. Это было замечательно.

Главная тема гармонично переплеталась с побочной партией. В музыке это называется полифония.

Марго умела жить моментом и не заглядывала вперед. А Гена был подвержен самоанализу. Он говорил, что только простейшие микроорганизмы типа инфузории-туфельки размножаются простым делением и не заглядывают вперед. А человек на то и человек, чтобы планировать свою жизнь и самому руководить своей судьбой.

Вот и спланировали. Собрались со Старостиними из конструкторского бюро в отпуск. Собрались в Гагры, а оказались в совершенно разных местах: Гена — в гробу, а Марго — в больнице.

Марго помнила, как они выехали на окружную дорогу. Зинка Старостина включила «Маяк», голос Пьехи запел старый вальс: «Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок...» Старостин оглянулся назад и сказал:

— Дверь дребезжит. — Имея в виду заднюю правую дверь, возле которой сидела Марго.

Гена сказал:

— Прибавь скорость.

Стрелка запрыгала на ста двадцати, машина как бы оторвалась от земли, и совершенно не чувствовалось трения колес. Марго посмотрела на Гену, нашла его прохладную руку на сиденье, сжала пальцы и сказала сквозь слезы:

— Я счастлива.

Это было последнее, что она ощутила, — счастье.

Потом провал в памяти. А потом голос хирурга сказал:

— Счастливая. В рубашке родилась.

Счастье Марго на этот раз состояло в том, что все разбилось насмерть, а она вылетела через неплотно закрытую дверь и у нее произошел разрыв селезенки.

Когда у человека вырезают селезенку, то кроветворную функцию берет на себя костный мозг, так что без селезенки можно жить, как раньше, и не замечать, есть она в тебе или нет. А ведь мог быть разрыв печени, например. Или сердца. Или дверь могла быть хорошо закрыта.

Марго очнулась в больнице, когда ее везли в операционную, и не испытала ни одного чувства: ни страха, ни огорчения. Ни даже удивления. В этом, видимо, состоит защитная функция психики. Если бы Марго могла полностью осознать и пережить то, что с ней произошло, — она умерла бы от одного расстройства. Но ей было все равно. Единственно ее беспокоило — куда деть руки: вытянуть по швам или свесить вниз с каталки. Марго сложила руки на груди, как покойник, почивший в бозе, а дежурный хирург Иван Петрович накрыл ее скрещенные руки своей большой ладонью. Его ладонь была теплая, а ее

руки — холодные, потому что в связи с внутренним кровотечением у нее нарушилось давление, и она в прямом смысле отдавала концы, холодея именно с концов — рук и ног.

Иван Петрович шел около Марго, неотрывно глядя на нее, то ли следя профессиональным глазом, то ли жалея по-человечески — все же она была молодая, красивая. А даже если бы не молодая и не красивая. Когда бы смерть ни пришла — всегда рано.

В операционной Иван Петрович наклонился к Марго. Она увидела близко его голубые глаза и русую бороду. Борода была промыта какими-то замечательными шампунями, каждая волосинка горела и нежно благоухала. Марго сквозь глухое безразличие ощутила вдруг, что не умрет, потому что жизнь манит ее. И еще поняла, что даже перед смертью думает о любви.

Через несколько часов Марго проснулась в реанимационной палате. В носу и в животе торчали какие-то трубки. Она поняла, что жива, ее это не обрадовало и не огорчило. Ей было все равно.

Время от времени подошли медсестры и делали уколы — наркотики со снотворным. Поэтому Марго либо спала, либо существовала в некотором обалделом состоянии. Иногда она открывала глаза и видела над собой Ивана Петровича, но даже этот факт оставлял ее равнодушной.

Однажды Марго проснулась ночью и услышала, как одна сестра сказала другой, что операция прошла неудачно, потому что Иван Петрович нечаянно перерезал какой-то очень важный проток, что во время операции пришлось вызвать специальную бригаду, и они пять часов ювелирно штопали этот важный проток, и теперь неизвестно, чем дело кончится, и родственники могут подать на него в суд и его посадят в тюрьму в том случае, если Марго умрет.

Марго подумала, что родственников, кроме Бедр Эльдина, у нее нет. Она сирота с тринадцати лет. Друзей Старостиных тоже нет. Значит, никто никуда не будет жаловаться, и надо будет ему об этом сказать.

Утром пришел Иван Петрович и стал проверять трубки, которые торчали из живота Марго, как цветы из современной вазы, когда каждый стебель накалывается на свое место. Потом поставил возле нее на тумбочку банку с клюквенным соком и велел выпить две ложки. Он подносил ложку к ее рту и сам вытягивал губы, как бы повторяя ее движения. Так матери кормят маленьких детей.

Потом Иван Петрович взял у медсестры марганцовый раствор, ватные тампоны и стал осторожно смывать с живота следы засохшей крови, аккуратно обходя трубки. Иван Петрович был хирург, а не санитарка, и эта процедура совершенно не входила в его обязанности. Но он не мог передоверить Марго в чужие, равнодушные руки.

Марго легонько улыбнулась: дескать, ничего, прорвемся! Он тоже улыбнулся, но улыбка у него вышла как гримаса. И слезы набежали на глаза. Марго удивилась: из-за нее так давно никто не плакал. А если уж честно — никто и никогда не плакал из-за нее, разве только Сашечка в тех случаях, когда она что-то ему запрещала. Марго смотрела на его лицо, вдохновленное печалью, и ей вдруг совершенно не жаль стало своего живота. Она готова была отдать и руку и ногу. Пусть режет. Только бы сидел вот так рядом и плакал по ней.

На другой день Марго попросила у медсестры зеркало. Зеркала не оказалось, и медсестра принесла свою пудреницу, на которой сверху было написано «Елена». Марго заглянула в зеркальный кружок и увидела в нем свое лицо. Оно было не бледное, а голубовато-белое, как подсиненная наволочка. И не худое, а просто село на кости. И это ей очень шло. Появилось какое-то новое выражение — святости. И еще заметила, что подбородок и кончик носа шелушатся. Она стала думать, что бы это значило, и вспомнила, что накануне поездки целовалась с Геной. Гена был небрит, и его щеки скребли, как терка. Она вдруг в

первый раз за все время осознала, что его нет. Его поцелуи еще не сошли с ее лица, а его самого уже нет. И Старостинных нет.

Марго заплакала первый раз за все время и не могла уткнуться в подушку, чтобы спрятать лицо. Она могла лежать только на спине. Медсестра подошла к Марго и сказала, что плакать нельзя ни в коем случае, потому что ей вредно расстраиваться. Марго ответила, что не может остановиться сразу. Тогда медсестра побежала к телефону и вызвала Ивана Петровича. Иван Петрович появился буквально через две минуты и приказал сестре, чтобы она не мешала плакать, что Марго должна делать то, что ей хочется. И если Марго хочется плакать, то медсестра должна не запрещать, а предоставлять для этого все условия.

Медсестра ушла обиженная, потому что ее унизили при больной. А больные считались в больнице более нижним чином, чем медсестры и даже санитарки. Иван Петрович принес откуда-то низкую табуреточку. Сел возле Марго, ссутулившись. Их лица оказались примерно на одном уровне. Взял ее руку в свои и стал дышать на пальцы, как будто ее рука была замерзшей птичкой, а он отогревал ее своим дыханием. Похоже, он был рад, что Марго плакала. Это была первая эмоция, которую Марго проявила за все время. Это было возвращение к жизни.

Он дышал на ее руку, близко поднося к губам. Смотрел на нее таким взглядом, будто изымал из нее и вбирал в себя часть ее страданий. И ей действительно становилось теплее от его дыхания и легче от его взгляда. И хотелось, чтобы он сидел так всегда.

Через две недели из нее вытащили трубки и назначили рентген. Каталки все были почему-то заняты. Не почему-то, а именно потому, что были нужны. В больнице жили свои порядки, по которым всегда не находилось того, что нужно, а было то, что не нужно. Например, чернила для авторучки. Иван Петрович половину дня тратил на операции, а половину на описание этих операций. Кому нужна была эта писарская деятельность? Во всяком случае, не врачу и не больному. Может быть, для архивов. Когда-нибудь, через много поколений, потомки будут иметь представление о состоянии дел в медицине в конце двадцатого века. Так что полдня Иван Петрович тратил для потомков. Хотя его время было гораздо нужнее для современников.

Каталки не оказалось на месте, и Иван Петрович понес Марго на руках. Рентгеновский кабинет находился двумя этажами ниже, и Иван Петрович нес Марго сначала через весь коридор, потом через два лестничных пролета вниз. Она боялась, что он ее уронит и у нее сразу лопнут все швы, внешние и внутренние, и она крепко держала его за шею, слышала нежный запах его усов и бороды. Такое или похожее чувство она испытала однажды на горнолыжном курорте, когда ехала на фуникулере к вершине горы. Под ногами пропасть — болтаешься между небом и землей, задыхаешься от страха и счастья.

— Не дыши мне в ухо, — попросил он. — Щекотно. Я тебя уроню.

— Ничего, — ответила она. — Сами уроните. Сами почините.

А он нес ее и нес, и это была дорога не в рентгеновский кабинет, а в вечность. У господ на руках.

Ее никто и никогда не носил на руках. Разве только родители в детстве.

С этого дня Марго стала его ждать. Она жила от обхода до обхода. Засыпала с мыслью, что завтра снова увидит его. И просыпалась с ощущением счастья: скоро откроется дверь, она увидит его лицо, услышит его голос.

Марго ловила себя на том, что подражает его интонациям и надевает на свое лицо его выражение. Она не видела себя в зеркало, но ей казалось, что с этим выражением она на него похожа. Это начиналась

любовь, когда одно «я» становилось идентичным второму «я». Когда «я» Марго не хотело существовать само по себе, становилось частью «я» Ивана Петровича.

Каждое утро он входил, полувбегал в палату. Полувбегала в палату ее жизнь, и из ее глаз, из макушки, как фонтанчики воды у кита, разбрызгивались флюиды счастья. Он садился на краешек постели и сам становился счастлив, потому что попадал в климатическую зону молодой любви и потому что Марго поправлялась и была чем-то вроде его детища.

Она была счастлива. Ее душа существовала на взлете, как птица, которую он отогрел. А трудности и даже физическая боль кажутся меньше с высоты взлета.

Больные и медсестры удивлялись несоответствию ее настроения тяжести болезни. Соседка Алевтина с желчным пузырем считала, что длительный наркоз повлиял на ее мозги и теперь Марго — «с дружеским приветом». Другие думали, что Марго обладает какой-то исключительной силой воли. Но ни силы, ни воли у Марго не было. Она была просто счастлива, потому что любила своего лечащего врача Ивана Петровича Королькова как никого и никогда. Это было, конечно, предательством по отношению к Гене. Но она устала от его нелюбви. Гена как бы делал одолжение своим присутствием. Марго постоянно развлекала его и напоминала себе няньку, которая приплясывает и прихлопывает перед капризным ребенком, чтобы он съел ложечку каши. А этот ребенок глядит хмуро и с недоверием и отталкивает ложку, и каша шлепается жидкой кляксой на нянькино лицо.

Ей надоела любовь-самоотверженность. Любовь-жертва. Ей нужна была любовь-жалость. Иван Петрович ее жалел. Он поил ее с ложки, носил на руках. Плакал. Пусть он спасал в какой-то степени себя. Но он спасал и ее. Значит, их интересы совпали. А любовь — это и есть совпадение интересов.

Иван Петрович не мешал Марго любить себя. Она любила его сколько хотела. И как хотела. А он не мешал, потому что не знал.

Соседка Алевтина подкармливала Марго витаминами. Алевтину навещали каждый день по нескольку раз, и ее передачами можно было прокормить все отделение.

Собеседница из Алевтины получалась скучная, потому что она полностью была порабощена своей болезнью и говорила только о желчном пузыре. Алевтина была погружена в свое дыхание, пищеварение и, проглатывая кусок очередного суперпродукта, ныряла вместе с куском в свой пищевод, потом доплывала до желудка и слышала, как там начинают действовать желудочные соки, а кусок обрабатывается и переваривается, крутятся, как кофта в барабане сухой химчистки. И выражение лица у Алевтины становилось утробное. Она никого не любила в жизни больше, чем себя, и ей ничего не оставалось, как поддерживать и обеспечивать свой жизненный процесс.

Жизнь в больнице шла своим чередом. Из соседних палат доносился хохот. Больные смеялись, вышучивая свои болезни, свою беспомощность и друг друга. Здоровые навещали и плакали. А больные смеялись. Потому что смех — это был способ «выжить».

В один прекрасный пасмурный день Иван Петрович пришел в палату — нарядный и торжественный, как жених. Из-под халата проглядывали крахмальная рубашка и галстук. Он протянул руку Марго и сказал:

— Прошу.

Он просил ее встать. Но Марго боялась подняться на ноги. За время болезни и соседства с Алевтиной она успела влюбиться в жизнь и больше всего дорожила и дрожала за свое хрупкое существование.

— Боюсь, — призналась Марго.

После аварии у нее развилось чувство неуверенности и неустой-

чивости, как будто ее жизнь — пустая скорлупа. На нее кто-нибудь обязательно наступит, и — крак! — даже мокрого места не останется.

— Боюсь, — повторила Марго.

— А моя рука?

Марго посмотрела на его согнутую руку — сильную и как бы налившуюся дополнительной силой. Положила на нее свою кисть — иссохшую, как кипарисовая ветвь. И поднялась.

— Стоишь? — спросил он.

— Стою, — сказала Марго.

— Теперь иди.

Она сделала шаг. Потом другой. А он рядом с ней тоже сделал шаг. Потом другой. Они шагали по палате. Вышли в коридор.

По коридору беленькая медсестра катила тележку с лекарствами. Рядом с ней толкал тележку негр-кубинец, на черном лице белели полоски лейкопластыря. Негр лечился выше этажом, в мужском отделении, но каждый день спускался вниз, потому что в обществе беленькой медсестры ему было интереснее.

Пол в коридоре был скользкий, холодный. Марго шла, как по льду. Она мгновенно устала, и на лбу выступили крупные капли пота. Ей казалось, что теперь так и будет и никогда не будет по-другому. Никогда она не сможет ходить запросто, как раньше, не тратя никаких усилий на передвижение, не думая о каждом шаге.

Халат был обернут вокруг Марго чуть ли не в четыре раза. Она была бледная, тощая, перемученная. А Иван Петрович смотрел на нее и не мог скрыть счастья, расплзающегося по его лицу. Он смотрел на нее так, как никогда и никто на нее не смотрел, разве, может быть, мама или отец, когда она была маленькая и они учили ее ходить. Но это было давно, если было. Она этого не помнила.

С этого дня Марго начала бродить по палате: сначала перегнувшись пополам, держась за живот. Потом чуть согнувшись. Потом почти прямо. И — поразительное дело — с какой жадностью восстанавливался молодой организм. Марго стояла у окна, смотрела на улицу и слышала: будто соки из земли по стволу, поднимались по ней силы.

На улице был уже ноябрь, грязь со снегом. Люди в темных одеждах — лбом вперед. И она — совершенно счастливая, потому что жива и потому что влюблена, как никогда и ни в кого.

С тех пор, как Марго стала поправляться, Иван Петрович потерял к ней интерес — сначала на шестьдесят процентов, а потом и на девяносто. Он торопливо осматривал шов, говорил, что у нее первая степень заживаемости и что она молодец. Нажимал пальцем на нос, как на кнопку звонка, и тут же убегал. Его ждали другие послеоперационные больные.

Иван Петрович Корольков считался лучшим хирургом в отделении, и все самые трудные случаи оставляли ему.

Марго караулила, когда он появится в коридоре. Он появлялся, делал ей приветственный жест, подняв руку, царапая пальцами воздух — дескать, пока, — и шел дальше. За ним, как свита за военачальником, шли практиканты.

В отделении работали еще два хирурга — Анастасьев и Проценко. Анастасьев был хороший специалист, но плохой человек. Если, например, больной его спрашивал перед операцией: «А можно не резать?» — он отвечал: «Можно. Но вы умрете». Когда родственники больного начинали задавать вопросы, он спрашивал в свою очередь: «Вы врач?» Тот отвечал: «Нет». «Ну так что я вам буду лекции читать? Вы все равно ничего не поймете». У Анастасьева было заготовлено несколько таких вот остроумных ответов, и, когда ему удавалось их применить, он бывал доволен собой. А что чувствовал родственник или больной — это его не касалось.

Оперировал он хорошо. Но, выписываясь, больные почти никогда не говорили ему «спасибо». И он каждый раз удивлялся: почему люди так неблагодарны?

Анастасьев и Корольков не любили друг друга, как две примы в одном театре. Анастасьев — так казалось Марго — был несколько разочарован тем, что она выздоровела и бродит по коридору, как тень забытых предков. Он, естественно, этого никак не выражал, но она угадывала его мысли по его летящему, чуть мажущему взгляду.

Была в отделении и третья хирургиня—Раиса Федоровна Проценко. Это была очень милая женщина, хотя непонятно почему она работала в хирургии, а не в регистратуре или не на кухне, например. Ее больные выживали совершенно случайно, не благодаря, а вопреки Раисиному вмешательству. Говорили, что Раиса получила место по какому-то высокому благу и сместить ее было невозможно. Сначала надо было сместить того высокого благодетеля. Марго мечтала, чтобы однажды в больницу по срочной привезли этого самого благодетеля и он попал бы в руки этой самой Раисы. Тогда преступление и наказание сошлись бы в фокус и в природе на некоторое время наступил бы нравственный баланс. Но у благодетеля были другие врачи. К Раисе он попасть не мог. Преступление свободно полоскалось, как парус на ветру.

Вскоре Марго перевели в другую палату. Для выздоравливающих. Эту палату вела Раиса. Она пришла на обход и осмотрела Марго, больно надавливая на живот жесткими пальцами, и выражение лица у нее было брезгливое. Потом она отошла к раковине и долго мыла руки с какой-то известкой, карболкой, чтобы смыть со своих рук следы чужой болезни. Марго смотрела в ее спину, и ей казалось, что человек — это выпрямленное животное. Его выпрямили и оставили стоять на задних лапах.

Когда Раиса ушла из палаты, Марго вдруг увидела себя ее глазами — бескровную, малооплачиваемую мать-одиночку, полуинвалидку, без родителей и даже без любовника. Она сунула лицо в подушку и стала плакать. Теперь у нее была возможность делать это незаметно. Она накрылась одеялом, и никто не видел, что она плачет. Да и вообще это было ее частным делом. Марго больше не пользовалась привилегией как тяжелобольная, а была обычной стационарной больной. Как человек, утративший славу, Марго плакала до ночи. До тех пор, пока не поняла, что по-другому не будет. И от слез ничего не переменится. Надо не переживать, как учат йоги, а искать выход. Марго догадалась, что ее выход — через дверь. Следует выписаться из больницы и уйти домой восвояси. И рассчитывать только на себя. Даже на Сашечку не рассчитывать, потому что дети, как известно, неблагодарны.

Была ночь. Дежурила Раиса.

Марго подошла к ее столику, села на белую табуреточку. Раиса писала историю болезни. Почерк у нее был замечательный, просто каллиграфический. Ей бы в паспортном отделе работать, паспорта заполнять. Или похвальные грамоты писать. Во всяком случае, потомуки не будут мучиться над закорючками, а легко прочитают ход операции, проведенной Раисой.

— Выпишите меня домой,— попросила Марго.

— Надоело? — спросила Раиса и заглянула в синенький листочек анализа.

— Да нет. У вас тут хорошо,— уклончиво ответила Марго.

— У нас здесь очень хорошо,— хмуро подтвердила Раиса.— Просто замечательно. Монте-Карло. Рулетка.

Видишь, Раиса на кого-то была обижена. Даже оскорблена. Но говорить об этом с больными было не принято.

— Не стирайте сразу. И не носите тяжести. Не больше двух килограмм. Вы с кем живете?

— С семьей,— ответила Марго.

В коридоре лежала больная пожилая женщина с животом, как дирижабль. Марго посмотрела на нее и подумала, что завтра ее переведут в палату. На освободившееся место.

На другой день Марго позвонила на работу, чтобы ей принесли зимние вещи. Но встречать ее пришли не с работы, а пришла мама Зины Старостиной — Наталья Трофимовна, или, как ее звала Зина, Натали. Натали была толстущая старуха килограммов на сто пятьдесят, с трогательной претензией на светскость. Она стояла внизу с авоськой, раздувшейся от вещей, и ждала Марго.

Марго спускалась по лестнице в больничном халате, держась за перила. Один раз она немножко оступилась, но устояла и несколько секунд не решалась идти дальше.

Увидев Марго, Натали зарыдала так громко, что все остановились. А с верхних этажей стали свешиваться любопытные.

Марго не знала, что ей делать и как утешить. Получалось, она виновата в том, что осталась жива, хотя могла погибнуть дважды: на дороге и во время операции. А вот жива и стоит. А Зины — нет. А ведь могло быть и наоборот, если бы Зина сидела не рядом с мужем, а на месте Марго.

Марго молча, с ощущением вины переделалась в свою потертую дубленку, которая была куплена еще до того, как дубленки вошли в моду. Переделалась, переобулась и, поддерживая Натали, повела ее из больницы.

Они шли по больничному двору. Воздух был сырой и пронзительно-свежий. Натали совсем обессилела от рыданий и просто висела на Марго. А Марго шла и была готова к тому, что у нее разойдутся все швы. Ей разрешалось преодолевать тяжесть в два килограмма, а Натали весила сто пятьдесят. Семидесятикратная перегрузка. Но Марго было себя не жаль. Ее душа рухнула с большой высоты и лежала без сознания. И душе было все равно, что происходит с телом.

Марго была устроена таким образом, что умела думать о себе только в связи с другим человеком. А что такое один человек? Жалкая половинка, неспособная воспроизвести себе подобного.

Иван Петрович Корольков писал в анкетах, что он русский, служащий, тридцать седьмого года рождения. В школу он пошел рано, неполных семи лет, и был самым младшим в классе, потом самым младшим в институте на курсе, а потом и в больнице. Он так и считал себя молодым, пока не заметил, что за ним следом взросло уже два поколения.

Иван Петрович Корольков имел зарплату сто восемьдесят рублей в месяц. Бессимптомную язву желудка. Дочь Ксению пятнадцати лет. Жену Надежду пятидесяти пяти лет. Надежда на десять лет старше. Прежде, в молодости, это было заметно. Теперь тоже заметно. Корольков был худ, subtilen. Надежда — громоздкая, широкая, как диван-кровать, поставленная на ребро.

Надежда работала завучем в школе рабочей молодежи. Познакомились они в городе Торопце Великолукской области, куда Иван Корольков был послан по распределению. Он заведовал больницей, а она — школой. И по вечерам, когда некуда было деться, он приходил к ней. Они пили самогонку и пели под гитару, и так они хорошо пели, что под окнами останавливались люди и слушали. В результате этих спевков Надежда оказалась беременна. Они оба были молоды, но по-разному: Надежда — уходящей молодостью, а Иван — начинающей.

Надежда точно вычислила характер нового врача Ивана Королькова. Характер состоял из двух компонентов: совесть плюс инерционность.

Инерционность была почти обеспечена. Он бы так ходил и похаживал, пил и пел, пока не кончился срок распределения. А потом уехал бы и присылал открытки на Новый год. Или не присылал.

Срок распределения подходил к концу. Впереди был Ленинград, профессия в руках, двадцать шесть лет и вся жизнь. Жениться на Надежде ему и в голову не приходило. Однако бросить ее беременную было неудобно: городок маленький, все на виду. Если бы Надежда требовала и упрекала, если бы говорила, что он обязан, — он просто бы молча оделся и уехал. Но она подставляла горло, как собака в неравной драке. И он не мог перекусить.

Со смутным стыдом вспоминал, как уговаривал ее не рожать. Как-то вечером шли по улице, впереди высилась стена недостроенного клуба.

— Если ты родишь, я разобью себе голову об стену, — предупредил Корольков.

— Бей, — разрешила Надежда.

Корольков разогнался, бросил себя об стену и потерял сознание. Когда он очнулся, над ним сидела Надежда со скорбным лицом, вытянутым, как у овцы.

У Королькова не было к ней никаких претензий, кроме одной: она была не та. А хотела занять место той. Хотела отнять двадцать шесть лет и жизнь впереди.

Через полгода родилась девочка с подвывихом тазобедренного сустава, ей на ноги надели несложный аппарат, именуемый распорками. Она не могла первое время привыкнуть к распоркам и кричала с утра до вечера и с вечера до утра. Они по очереди носили ее на руках, блуждая вдоль и поперек их маленькой комнаты. Однажды девочка заснула на рассвете. Он видел, как сквозь сумерки прорисовывается ее маленькое личико с выражением беспомощного детства, короткий, как у воробышка, носик, — и услышал тогда, на рассвете, как совесть прорастает в нем, разрастается цветами и водорослями и пускает свои корни не только в душу, но и в мозг и капилляры. Он понял тогда, что никуда не денется. Что это и есть его жизнь.

С тех пор прошло пятнадцать лет. За это время почти половина его друзей и знакомых развелись и снова переженались. А они с Надеждой все жили и жили. Те, что развелись, хотели найти счастье вдвоем. Но самым прочным оказался союз с одиночеством. Иван Петрович со временем привык и даже полюбил свое одиночество и уже не хотел бы поменять его на счастье. Счастье — это тоже обязательство. На него надо работать, его надо поддерживать. А ему хватало обязательств перед дочерью и перед больными. Хирург — как спортсмен. Всегда режим. Всегда в форме. Надежда создавала этот режим и ничего не требовала для себя. Жизнь была удобной и инерционной. И даже ее возраст был удобен, поскольку не предполагал никаких сюрпризов, никакого предательства.

А Надежда все больше понимала, что высчитала в нем все, но не высчитала главного: когда в фундаменте отношений нет любви, человек сатанеет. Ей становилось жаль себя, своей жизни без ласки. Она понимала, что могла бы нормально выйти замуж и жила бы нормально. А теперь — кому нужна. Естественная выбраковка возрастом. А как хочется быть любимой. Как зябко — жить и знать, что тебя не любят.

Просыпаясь по утрам, чувствовала тяжесть своего лица. А подойдя к зеркалу, встречала новую морщину, которая шла под глазом вторым ярусом и походила на стрелу, пущенную в старость. А старость — это усталость. И хочется достойно стареть. А приходится все время притворяться.

Не в силах самостоятельно справиться с раздрызгом, Надежда садилась к телефону и принималась звонить по знакомым.

— Рай, — говорила она Раисе, если та была дома. — А это я вот. Звоню тебе. Тоска замучила.

А Раиса отвечала:

— А кому хорошо?

И получалось: никому не хорошо. И значит, она как все и можно жить дальше.

Раиса в свою очередь жаловалась на сложности в работе. Надежда поддерживала Раису, говорила, что все зло — в бесплатном лечении. Они искали зло не в себе, а вокруг себя и легко его находили. И ни одна не хотела признаться себе и друг другу в том, что занимает не свое место. И уже ничего нельзя поправить. Испорченная, скособоченная жизнь.

Но этого в анкете не пишут.

Иван Петрович ходил на работу пешком. Он считал, что половина болезней от гиподинамии — недостатка движений, вялости сердечной мышцы.

Пять лет назад у него была машина, но он ее продал. После одного случая.

Оксане было тогда девять лет. Ее отправили на лето в лагерь. У нее развился синдром «отрыва от дома», она тосковала, мало ела, много плакала. Но девать ее было некуда. Приходилось часто навещать. Однажды Корольков приехал в будний день. Дежурная девочка у ворот спросила:

— Вы Оксанин папа?

Он удивился:

— А откуда ты знаешь?

— А вы похожи, — сказала девочка и побежала за Оксаной, крича на ходу: — Королькова! К тебе приехали!

Появилась Оксана. Подошла довольно сдержанно, хотя вся светилась изнутри. Корольков смотрел, как она подходила, и видел, что дочь похожа на жену, но это не мешало ему любить ее.

— Ну как ты тут? — спросил он.

— Ничего. Только ласки не хватает.

Он увел ее в лес, достал из портфеля ранние помидоры, первые абрикосы. Стал ласкать свою дочь — на неделю вперед, чтобы ласки хватило на неделю. Он целовал каждый ее пальчик по очереди, гладил серенькие перышки волос. А она спокойно переживала — не цenia и не обесценивая. Для нее отцовская любовь была привычным состоянием, как земля под ногами и небо над головой.

Потом она рассказала лагерные новости: вчера были выборы в совет дружины.

— А тебя выбрали куда-нибудь? — спросил Корольков.

— Выбрали. Но я отказалась, — с достоинством ответила Оксана.

— А кем?

— Санитаркой. Ноги перед сном проверять.

Корольков отметил про себя, что в коллективе его дочь — не лидер. Наследственный рядовой муравей.

— А танцы у вас есть?

— Конечно, я хожу, — похвастала Оксана.

— А мальчики тебя приглашают?

— Приглашает. Валерик.

По футбольному полю бегали мальчишки. Гоняли мяч.

— А здесь он есть? — спросил Корольков, кивая на поле.

— Нет. Он от физкультуры освобожден.

«Инвалид какой-то, — отметил про себя Корольков. — Тоже не лидер».

Они обо всем переговорили. Через два часа Корольков поехал обратно. Было самое начало вечера. Солнце уже не пекло. Дорога была неправдоподобно красивой. Корольков ехал и наслаждался красотой, покоем, движением и тем состоянием равновесия, которое заменяло ему счастье.

Дорога вышла к деревушке. От серых рубленых изб исходил уют здорового простого бытия. Хорошо было бы выйти из машины и остаться здесь навсегда. Или уж, во всяком случае, на лето. При условии, что неподалеку будет районная больница. Без больницы он не мог. Вдруг увидел, откуда-то из глубины огородов стремительно несется нечто, похожее на маленькую собаку, но не собака, поскольку у собак не бывает такой голубовато-серой шерсти. Корольков понял, что сейчас они встретятся в одной точке и «нечто» получит в бок массу «Москвича», помноженную на скорость. Он резко затормозил. Нечто тоже резко затормозило и остановилось на обочине. И посмотрело на Королькова. Корольков разглядел, что это все-таки собака, которая спала прошлую ночь, а может, и все предыдущие на куче с углем. Поэтому шерсть ее приняла серый ненатуральный оттенок. А если бы ее отмыть — получилась бы беленькая дворняжка со смышенной обаятельной мордой и глазами цвета золотистого сиропа. Корольков отметил цвет ее глаз, потому что собака внимательно и вопросительно на него глядела, как бы пытаясь определить его дальнейшие намерения. Королькову показалось, что собака уступает ему дорогу как превосходящей силе. А собака, видимо, подумала, что Корольков медлит, дает возможность ей перебежать, раз она так торопится. Иначе зачем он останавливался? Собака так решила и резко рванула на дорогу. Корольков выжал газ и резко швырнул машину вперед. Они встретились в одной точке. Корольков услышал глухой стук. Потом услышал свою дрогнувшую душу. Он не обернулся. Не мог обернуться. Поехал дальше. Но ехал он иначе. Мир стал иным. Красота дороги ушла, вернее, она была прежней, но не проникала через глаза Королькова. Душа взывала, как сирена, колотилась в нем руками и ногами, как ребенок, закрытый в темной комнате. Корольков с механической роботностью продолжал вести машину, переключая скорости, выжимая сцепления.

Вдруг увидел в зеркальце, что позади него на мотоцикле едет милиционер. У милиционера была мелкая голова, короткая шея, широкое туловище, и он походил на куль с мукой. Корольков не понимал — милиционер едет за ним или сам по себе. Он прибавил скорость. Милиционер тоже прибавил скорость. Он поехал медленно. И милиционер тоже поехал медленно. Это обстоятельство нервировало, а дополнительную нагрузку нервы отказывались принимать. Корольков остановил машину. Вышел. Милиционер подъехал. Сошел с мотоцикла. Спросил:

— Это ты убил собаку?

— Я, — сказал Корольков.

— Зачем?

— Что «зачем»? — не понял Корольков.

— Зачем убил?

— Нечаянно, — сказал Корольков. — Неужели непонятно?

Милиционер смотрел молча, и по его лицу было видно, что он не верит Королькову.

— Мы не поняли друг друга, — объяснил Корольков, испытывая необходимость в оправдании. — Она думала, что я ее пропускаю, а я думал — она меня пропускает.

— Ты подумал, она подумала... Откуда ты знаешь, что она подумала? Она тебе что, сказала?

— Нет, — смутился Корольков. — Она мне ничего не говорила. Помолчали.

— Ну? — спросил милиционер.

— Что «ну»?

— Зачем ты ее убил?

На секунду Королькову все показалось нереальным: дорога, собака, милиционер, этот разговор с высоким процентом идиотизма. Реальным было только начинающееся бешенство.

— Чего вы хотите? Я не понимаю, — тихо спросил Корольков, слушая в себе бешенство и боясь его.

— Езжай обратно и убери с дороги, — приказал милиционер. — А то как убивать, так вы есть. А как убирать, так вас нет. А транспорт пойдет...

— Хорошо! — перебил Корольков.

Он развернул машину и поехал обратно.

Голубая собака лежала на том месте, где он ее оставил. Никаких внешних травм не было заметно. Видимо, она погибла от внутренних смещений. Корольков присел над ней, заглянул в ее глаза цвета золотистого сиропа. Глаза ее не отражали ни страха, ни боли. Она не успела понять, что с ней произошло, и, наверное, продолжала кого-то догонять или от кого-то спастись, только в другом временном измерении.

Он поднял ее на руки — замурзанную, доверчивую и глупую, прижал к своей рубашке и понес через дорогу. Через канаву. В сухой березовый лес. Там он нашел квадратную выемку, поросшую густой травой, положил собаку на ярко-зеленую июньскую молодую траву. Закрыв сверху сучьями, ветками. Постоял над могилой. Потом пошел к машине, заставляя себя не оборачиваться.

Перед тем как сесть в машину, постоял, привалившись к дверце. Мутило. Хотелось вытошнить весь сегодняшний день. Да и всю свою жизнь.

Заставил себя сесть и поехать.

Возле милицейского поста стоял «куль с мукой». Увидев Королькова, он свистнул.

Корольков остановил машину. Вышел.

— Убрал? — спросил милиционер.

— Убрал.

— Так, а теперь скажи: зачем ты убил собаку?

Корольков осторожно, почти вкрадчиво взял милиционера за верхнюю пуговицу и вырвал ее с куском кителя.

Милиционер как будто только этого и ждал и даже обрадовался — с готовностью дунул в свисток.

Королькова отвели в камеру предварительного заключения (КПЗ) и заперли за ним дверь.

Он огляделся: маленькое зарешеченное окошко, кровать пристегнута к стене, как верхняя полка вагона. Сесть не на что. Корольков сел на пол. Положил голову на колени. И вдруг почувствовал, что другого места для себя он не хотел бы сейчас. Он не мог бы приехать домой, сесть с женой пить чай, а потом смотреть телевизор. Он хотел хоть какого-то наказания для себя. Опустить холодную ладонь на горящий лоб своей болевой совести.

Кто виноват в том, что произошло? Или никто не виноват? Просто несчастный случай. Случайность. Брак судьбы. Или это закономерная случайность, написанная на роду?

Корольков продал машину, у него появился страх руля. Вскоре освободился от воспоминания. Почти освободился. В конце концов он — хирург. Смерть входит в профессию. Умирают люди. И как умирают! Что такое одна бездомная дворняжка за сто километров от города?

Время восстановило баланс между ним и совестью, между «я» и идеалом «я». Жизнь шла по излюбленной и необходимой инерцион-

ности. Но однажды во время его дежурства привезли молодую женщину с большими глазами цвета золотистого сиропа. Она смотрела на Королькова, и выражение ее глаз, спокойное и даже мечтательное, никак не соответствовало тяжести ее положения.

По резкой бледности и нитевидному пульсу Корольков сразу определил внутреннее кровотечение и приказал везти в операционную. «Надо бы вызвать Анастасьева», — почему-то подумал он. Но на Анастасьева не было времени. Нижнее давление упало до двадцати.

Оказался разрыв селезенки. Как он и предполагал. Селезенку не шьют. Ее удаляют. И по технике это одна из простейших операций, которую доверяют даже практикантам.

Корольков оперировал сосредоточенно, почти артистично, но не было, как обычно, того особого состояния, которое завладевало им во время операции. Мешала тревога и почти уверенность: что-то случится. И когда поранил поджелудочную железу — не удивился. Подумал: вот оно.

Значит, все-таки это у него на роду была написана та дорога. А собака просто попала под ноги его судьбы. А теперь судьба делает новый виток, и этот новый виток называется Маргарита Полуднева.

Весь послеоперационный период он не отходил от нее ни на шаг. Боялся перитонита. Ел и спал в отделении. Ее никто не навещал. Корольков сам ездил на базар, сам готовил на пару протертую телятину, сам давил и выжимал соки. А когда понял, что все позади, что они проскочили через линию огня, — ощутил опустошение. Он привык о ней заботиться и не переставал по ней страдать. Включились совесть + инерционность. А это было опасное сочетание.

Корольков стал вдруг замечать: что-то обаятельное происходит в мире. Например, небо за окном космическое, как на Байконуре, где запускают спутники. Он никогда не был на Байконуре, но был уверен: там именно такое небо — врата в космос. Он мог подолгу стоять и смотреть в небо, потрясаясь малостью и величием человека. Или, например, парк перед больницей с ручными белками, линяющими по весне. Их кормили люди и вовсю гоняли коты — так, что белки летали по всему парку на своих шикарных хвостах с облезлыми серо-бежевыми боками. Наверное, коты думали, что белки — это летающие крысы. А может быть, ничего не думали — какая им разница, кого сожрать.

Парк был всегда. И ручные белки в нем паслись лет десять. И небо тоже было давно — много раньше, чем Корольков обратил на него внимание. Однако заметил он это все только теперь.

— Что с тобой? — спросила его Раиса, сдавая дежурство. — Помоему, ты влюбился.

— С чего ты взяла? — испугался Корольков.

— Я этот язык понимаю, — неопределенно сказала Раиса и пошла завоевывать мир. За стенами больницы она чувствовала себя увереннее.

Любовь — если определить ее химически — это термоядерная реакция, которая обязательно кончается взрывом. Взрыв в счастье. Или в несчастье. Или в никуда.

Корольков не верил в себя. Что он мог ей дать? Свои почти пятьдесят лет? Вернее, те, что останутся после пятидесяти. Свою зарплату 180 рублей, вернее, то, что останется от зарплаты? Свою неуправляемую дочь, вернее, свою тоску по дочери? Свою бессимптомную язву, которая была опасна именно бессимптомностью и грозила прободением? Что еще мог он предложить любимой женщине?

Но, боже мой, как хотелось любви. Как давно он ее ждал. Как долго к ней шел. И встретил. И узнал. И струсил. Может быть, он слишком долго ждал и переутомился? Все в жизни должно приходить своевременно. И даже смерть.

Корольков перевел Полудневу в палату выздоравливающих и каждый день, проходя мимо палаты, давал себе короткий приказ: «Мимо!» И шел мимо.

Сегодня он тоже сказал: «Мимо». И заглянул. Ее кровать была пуста.

— А где Полуднева?— спросил Корольков.

— Выписалась,— спокойно сказала соседка. Для нее тот факт, что больная выписалась, был делом обыденным и даже радостным.

— Когда?

— Вчера.

Корольков стоял и не уходил, как будто чего-то ждал. Женщина с удивлением на него посмотрела.

— А она ничего не просила мне передать?— спросил Корольков.

— Вам? Нет. Ничего.

Корольков пошел в ординаторскую, пытаясь как-то разложить по полкам весь хаос внутри себя. Было ощущение, что его предали. Все-таки он же вынес ее на руках из огня, пусть даже он сам в нее стрелял. А она ушла и даже не попрощалась.

В ординаторской стояла Раиса. Она еще не успела надеть шапочку, и ее сложная прическа походила на клумбу.

— Ты выписала Полудневу?— спросил Корольков.

— Да. Она попросилась,— сказала Раиса.

Корольков взял историю болезни. Полистал.

— Попросилась... У нее же гемоглобин сорок пять.— Он с брезгливостью посмотрел на Раису.

— Поднимет естественными витаминами.

У Раисы были широкие брови и бегающие, высматривающие выгоду глаза, как у хищника. У куницы, например. Или хоря. Хотя Корольков никогда не видел ни куницу, ни хоря.

«Такая под машину не попадет,— подумал он.— И с машиной не перевернется».

Вошел Анастасьев. Посмотрел на Королькова и спросил:

— Иван, ты что, волосы красишь?

— В какой цвет?— спросил Корольков.

— Не пойму. Только они у тебя потемнели.

— Это я побледнел. Лицо поменяло цвет, а не волосы.

— Хочешь, я вырежу тебе твою язву? По знакомству.

— Спасибо. Не хочу,— глухо ответил Корольков.

Маргарита Полуднева стояла как кость в горле. Ни проглотить, ни выплюнуть. Он вдруг понял, что задохнется, если не увидит ее. Прочитал адрес на титульном листе истории болезни. Спросил:

— Кто такой Вавилов?

— Какой Вавилов?— не понял Анастасьев, думая, что речь идет о больном.

— Улица Вавилова,— объяснил Корольков.

— Революционер, наверное,— подсказала Раиса.

— А может, ученый,— предположил Анастасьев.— А что?

— Ничего,— ответил Корольков.

И Анастасьев удивился несовпадению его лица со смыслом беседы.

Корольков вышел из больницы, сел в такси и приехал на улицу Вавилова. Марго открыла дверь, увидела его, услышала звон в ушах, как будто забили колокола, и упала ему на грудь как на нож.

Души встретились, и вознеслись, и сели на облачко, держась за руки.

Марго смотрела, всматривалась в его склоненное лицо. В своей жизни она не видела ничего более красивого, чем это склоненное над ней лицо. Произведение божьего искусства. Подлинник.

— Все люди одинаковы. Но если постепенно выщипывать все, что

одинаково, то в конце концов останется то, что есть сам человек. Тайна. Понимаешь?

Она смотрела, как движутся его губы.

— Как реставрация. Снимаешь слой за слоем и в конце концов находишь то, что ты... Тебе больно?

— Ну и пусть!

Было больно от ножа, который стоял в солнечном сплетении. На глазах выступили слезы.

Он целовал ее в глаза. Потом в губы. И она слышала вкус собственных слез.

— Откуда это у тебя?

— Что?

— Вот это...— Она трогала его лицо, как слепая, проверяя пальцами брови, щеки, губы.— Откуда это у тебя?

— Это только для тебя. Вообще у меня этого нет. Я с тобой совсем другой. Это ты.

Они говорили шепотом о чем-то, чему нет слов. И то, что случилось, тоже не определить.

— Ты когда меня полюбила?

— Я? Сразу. А ты?

— И я сразу.

— А чего воображал?

— Побаивался.

— Чего?

— Я старый, нищий и больной.

— Ну и пусть!

— Это сейчас «ну и пусть». А дальше?

— Не надо заглядывать вперед. Не надо ничего планировать. Один уже планировал...

— Кто?

— Не важно кто... В истории много примеров. Гитлер. Наполеон

— Ты любила до меня?

— Сейчас кажется, что нет.

— Я прошу тебя... Пока мы вместе, пусть у тебя больше никого не будет...

— Мы всегда будем вместе. Не бойся ничего. Настоящий мужчина не должен бежать любви. Не должен бояться быть слабым, больным и нищим.

— Я не настоящий. Ты принимаешь меня за кого-то другого. Ты меня не знаешь.

— Это ты себя не знаешь. Ты сильный и талантливый. Ты самый лучший из всех людей. Просто ты очень устал, потому что жил не в своей жизни. Ты был несчастлив.

— Почему ты так решила?

— А ты посмотри на себя в зеркало. Такого лица не бывает у счастливого человека.

— Да?

— Такое впечатление, что ты прожил всю свою прошлую жизнь и живешь по инерции. По привычке жить.

— Ты еще молодая. У тебя нет привычек. Они тебя не тянут.

— У меня есть привычка к одиночеству.

— Ты его любишь?

— Что?

— Одиночество.

— Разве одиночество можно любить?

— Я любил до тех пор, пока не встретил тебя. А сейчас понимаю, что был по-настоящему нищим.

— А я знаю, какой ты был маленький.

— Какой?

— Такой же, как сейчас. Ты и сейчас маленький, поседевший от ужаса ребенок. И говоришь, бубнишь, как дьячок на клиросе. Тебя, наверное, в школе ругали.

Стучали ходики. Иван закрыл глаза и вспомнил себя маленьким. Как давно началась его жизнь. И сколько еще протянется...

Марго обтекала его, как река, заполняя все изгибы, не давая проникнуть ни боли, ни сквозняку.

— Ты о чем?

— Я счастлив. Так спокойно на душе. В самой глубине так тихо. Вот все, что человеку надо. Тишина на душе и преданная женщина с легкими руками.

— И морщинами,— добавила Марго.

— И морщинами, которые ты сам навел ей на лицо. Морщины от слез и смеха. Ты делал ее счастливой — она смеялась. Делал несчастной — плакала. Так и должно быть: мужчина берет молодое лицо в начале жизни и расписывает по собственному усмотрению.

— А если уже до тебя расписали?

— Все сотру, что до меня.

— Ты меня не бросишь?

— Нет. А ты меня?

— Я — твоя собака. Я буду идти за твоим сапогом до тех пор, пока ты захочешь. А если не захочешь, я пойду на расстоянии.

— Не говори так...

Они переплелись руками, телами, дыханием. И уже невозможно было их распутать, потому что непонятно кто где.

— Ты куда?

— Взять сигареты.

— Я с тобой.

— Подожди меня.

— Не могу ждать. Я без тебя не могу.

— Ну подожди!

— Не могу. Честное слово.

— Ну посчитай до десяти. Я вернусь.

Он встал и вышел.

Марго начала считать:

— Раз... два... три... четыре... пять...

Когда он вернулся, Марго стояла посреди комнаты и смотрела на дверь. От ее наготи исходил легкий свет, потому что она была самым светлым предметом в комнате. Он подошел и сказал:

— Ты светишься. Как святая.

— Не уходи больше никогда и никуда,— серьезно попросила она.

Он смотрел в ее лицо. Она казалась ему замерзшей перепуганной дочерью.

Марго проснулась оттого, что он целовал ее лицо.

Она открыла глаза и сказала с сильным страхом:

— Нет!

— Что «нет»?

— Я знаю, что ты хотел сказать.

— Что?

— Что тебе надо идти на работу.

— Действительно. А как ты догадалась? Ты что, телепат?

— По отношению к тебе да. Я пойду с тобой.

— Куда? В операционную?

— Я сяду внизу на лавочке и буду смотреть на окна, за которыми ты стоишь.

— Я кого-нибудь зарежу. Я должен принадлежать только больному. А ты будешь оттягивать. Понимаешь?

Марго тихо заплакала, наклонив голову.

— Я не могу уйти, когда ты плачешь.

— Я плачу по тебе.

— По мне?— удивился Корольков.

— Мне так жаль оставлять тебя без себя. Я боюсь, с тобой что-то случится...

— Интересно... Кто здесь врач, а кто больной?

Марго поднесла ладони к ушам.

— В ушах звенит...

— Это малокровие.

— Нет. Это колокола. По мне и по тебе.

— Что за чушь?

— Ты больше не придешь...

— Приду. Я приду к тебе навсегда.

— Когда?

— Завтра.

— А сегодня?

— Сегодня у Оксаны день рождения. Шестнадцать лет. Росла, росла и выросла.

— Большая...

— Да. Большая. Но и маленькая.

— Мне страшно...

— Ну почему? Ну хочешь, пойдем со мной...

— Нет. Ты кого-нибудь зарежешь. Я буду виновата. Я тебя здесь подожду. Посчитаю до миллиона.

— Не считай. Займись чем-нибудь. Найди себе дело.

— А у меня есть дело.

— Какое?

— Я люблю.

По дому плавали запахи и крики.

Надежда накрывала стол и ругалась с Оксаной, которая находилась в ванной и отвечала через стену. Слов не было слышно, но Корольков улавливал смысл конфликта. Конфликт состоял в том, что Надежда хотела сидеть за столом вместе с молодежью, а Оксана именно этого не хотела и приводила в пример других матерей, которые не только не сидят за столом, но даже уходят из дома. Надежда кричала, что она потратила неделю на приготовление праздничного стола и всю прошлую жизнь на воспитание Оксаны и не намерена сидеть на кухне, как прислуга.

Корольков лежал у себя в комнате на своем диване. Болело сердце, вернее, он его чувствовал, как будто в грудь положили тяжелый булыжник. Он лежал и думал о том, что вот уйдет — и они будут ругаться с утра до вечера, потому что Оксана не умеет разговаривать с матерью, а Надежда с дочерью. Она воспитывает ее, унижая. И они зажигаются друг о друга, как спичка о коробок.

Корольков знал по себе: от него тоже можно чего-то добиться только лестью. Никаких правд. А тем более унижений. Лесть как бы приподнимала его возможности, и он стремился поднять себя до этого нового и приятного ему предела.

Отворилась дверь, и вошла Оксана в новой кофте в стиле ретро, или, как она называла, «ретруха». Хорошо исповедовать «ретрухи» в шестнадцать лет.

— Пап, ну скажи ей,— громко пожаловалась Оксана.— Чего она мне нервы мотает на кулак?

— Как ты разговариваешь с матерью?— одернул Корольков.

— Ну пап... Ну чего она сядет с нами? Я все время буду в напряженке. Она вечно что-нибудь ляпнет, что всем неудобно...

— Что значит ляпнет?

— Ну не ляпнет. Поднимет тост за мир во всем мире. Или начнет обращать на меня внимание... Или начнет всем накладывать на тарелку, как будто голод...

— Ты не голодала, а мы голодали...

— Так это когда было... Сорок лет назад голодала, до сих пор наестся не может. Хлеб заплесневает, а она его не выбрасывает.

— Довольно-таки противно тебя слушать,— объявил Корольков.— Ты говоришь, как законченная эгоистка.

— Ну извини... Но ведь мой день рождения. Мне же шестнадцать лет. Почему в этот день нельзя сделать так, как я хочу?

Корольков посмотрел на ее чистенькое новенькое личико с новенькими ярко-белыми зубами и подумал, что ее перелюбили в детстве и теперь придется жать то, что посеяли. Он понимал, что нужен был дочери не тогда, когда носил ее на руках и посещал в пионерском лагере. Носить и посещать мог любой добрый дядя. А именно теперь, в шестнадцать лет, когда закладывается фундамент всей дальнейшей жизни,— именно теперь нужен родной отец. И не амбулаторно, как говорят врачи,— пришел, ушел. А стационарно. Каждый день. Под неусыпным наблюдением. Чтобы не пропустить возможных осложнений. А осложнения, как он понимал, грядут.

Позвонили в дверь. Оксану сдуло как ветром вместе с ее неудовольствием, и через секунду послышался ее голос — тугой и звонкий, как струя, пущенная под напором. С ней было все в порядке. Впереди праздник, и жизнь — как праздник.

Корольков представил себе Марго, как она там сейчас сидит и считает. Не живет, а отмеряет время. И понял, что сначала искалечил ее тело, а теперь душу. Сшиб ее на дороге. Хотя и ненарочно. Еще не хватало, чтобы нарочно.

Сердце рвануло и заломило. Боль пролилась в плечо и под лопатку.

Корольков поднялся и пошел на кухню.

Из комнаты Оксаны доносился галдеж.

— Мам! — крикнула Оксана. — Сделай нам вареную воду.

Надежда достала из холодильника банку засахаренного сливового варенья. Еще было клубничное варенье, но Надежда не расхodoвала его на гостей, а хранила для внутреннего пользования.

Корольков знал от Раисы, что Надежда звонила ночью в больницу и выяснила, что его там нет. Если его нет в больнице и нет дома, значит, он где-то в третьем месте. И Надежде как жене было бы естественно поинтересоваться, что это за третье место. Но она молчала — так, будто ничего не произошло.

— А ты хитрая, — сказал Корольков.

— Дай мне сахар, — велела Надежда и посмотрела на него.

И он увидел ее глаза — серые, дождистые, без ресниц. Какие-то ресницы все же были — редкие и короткие, как выношенная зубная щетка. Корольков давно — вот уже лет десять — не глядел на свою жену. Он привык к ней, как привыкают к своей руке или ноге, и уже не смотрел сторонним взглядом. А сейчас он ее увидел. И содрогнулся от ненависти. И именно по этой ненависти понял, что куда не уйдет. Если бы он решил уйти, то пожалел бы Надежду и увидел ее иначе.

— А ты хитрая, — повторил он, держась за сердце.

— Я старая, — ответила Надежда.

— Ты не всегда была старая.

— С тобой я с тридцати пяти лет старуха.

— Но ты всегда знала, что делала. Ты заворачивала меня, как мясо в мясорубку, и получала тот продукт, который хотела.

— Тише, — попросила Надежда. — У нас люди. Что они о нас подумают?

— За что ты меня так? Что я тебе сделал?

— Не вали с больной головы на здоровую. Я всегда все делала так, как ты хотел. И продолжаю делать, как ты хочешь.

— Я так не хочу.

— Конечно. Ты хочешь все сразу. Все себе разрешить и ни за что не отвечать. Кентавр!

— Кто?— удивился Корольков.

— Кентавр — полуконь-получеловек. А ты — полустарик-полудитя.

— Очень хорошо!— обрадовался Корольков.— Я ухажу.

— Иди!— спокойно ответила Надежда, и он поразился, насколько просто разрешаются, казалось бы, неразрешимые проблемы.

Корольков вышел в прихожую. Оделся и пошел из дома.

На третьем этаже он вспомнил, что забыл бритву и фонендоскоп. И поднялся обратно.

— Я забыл фонендоскоп,— объяснил он.

— Бери,— сказала Надежда.

Корольков взял свой старый, выдавший виды портфель, который он приобрел в Чехословакии во время туристской поездки. Бросил туда бритву в чехле и фонендоскоп.

— До свиданья,— сказал он.

Надежда не ответила.

Корольков вызвал лифт. Спустился вниз и вспомнил, что ничего не объяснил Оксане.

Он вернулся.

— Я ничего не сказал Оксане,— объяснил он, стоя в дверях кухни.

— Скажи,— разрешила Надежда.

Корольков заглянул в комнату.

Девочки и мальчики сидели вокруг стола. Некоторых он знал — Федотову и Макса.

— Ты со своими тостами, как грузин,— сказала Федотова.

— Я не «как грузин». Я грузин,— поправил Макс.

— Грузины берегут традиции потому, что они маленькая нация,— объявила Оксана.

— Грузины берегут традиции потому, что они берегут прошлое,— ответил Макс.— Без прошлого не бывает настоящего. Даже кометы не бывают без хвоста.

— А головастики обходятся без хвоста,— напонила Федотова.

— Вот мы и живем, как головастики,— ответил Макс.— Как будто все с нас началось и после нас кончится.

— Говори, говори,— попросила Оксана и подложила кулачок под высокую скулу.

— Что говорить?— не понял Макс.

— Все что угодно. Ты очень хорошо говоришь.

Оксана заметила отца в пальто и шапке, стоящего в дверях.

— Ты куда?— удивилась она.

— Никуда,— ответил Корольков и вышел на кухню.

— Сядь,— спокойно сказала Надежда, стоя к нему спиной.— Перестань бегать туда и обратно.

— Мне плохо!— проговорил Корольков, и его лицо стало отрешенным.

— Тебе надо успокоиться. Выпей!

Надежда достала из холодильника бутылку коньяка. Эти бутылки время от времени совали большие. Брать было неудобно. И не брать — тоже неудобно. Это была форма посильной благодарности за спасенную жизнь.

Корольков налил стакан и выпил, будто жаждал. Налил второй и выпил второй.

Он вливал в себя не коньяк, а наркоз, чтобы ничего не чувствовать, размыть все чувства до единого. Иначе — катастрофа, как если

больной вдруг просыпается во время операции и начинает осмысленно моргать. У Оксаны грянула музыка. Корольков некоторое время видел сквозь приоткрытую дверь, как они танцуют, а вернее, замедленно качаются, как водоросли в воде. Успел подумать почему-то, что необходимое условие для современного танца — молодость. Потом все исчезло.

...Он бежал по шоссе — серому, ровному, бесконечному. Трудно было дышать, сердце стучало в горле, в висках, в кончиках пальцев. Казалось, не добежит.

Но вот знакомая будка. В будке знакомый милиционер — «куль с мукой». Верхняя пуговица на его кителе была оторвана. Так и не пришел с тех пор. Он сидел и пил чай с большим и даже на вид мягким бубликом. Корольков стал стучать в дверь так, будто за ним гнались. «Куль» медленно поднялся, подошел, отодвинул задвижку.

— Отведи меня в КПЗ, — попросил Корольков, задыхаясь.

— Зачем? — удивился «куль».

— Я совершил преступление.

— Какое? — «Куль» отер губы, освобождая лицо от крошек.

— Я предал любовь.

— Это не преступление, — успокоил «куль». — За это сейчас ничего не бывает.

— А раньше?

— Смотря когда раньше. Товарищеский суд, например. Или выговор с занесением в личное дело.

— А еще раньше?

— Еще раньше? — «Куль» задумался. — Дуэль.

— А с кем мне стреляться? Я один виноват.

— С собой и стреляйся.

— Дай мне пистолет.

— Не имею права. Меня привлекут.

Корольков дернул кобуру и оторвал ее от ремня, ожидая, что «куль» свистнет в свой свисток и его отведут в КПЗ.

Но «куль» не свистнул.

— Только не на дороге, — предупредил он. — А то транспорт пойдет...

Корольков пошел назад вдоль шоссе, вглядываясь в придорожный лес. Подумал: а куда стрелять — в висок или в сердце?

Он приставил пистолет против сердца. Нажал курок. Курок был тяжелый, как ржавый, и шел очень тяжело. Корольков надавил сильнее, притиснув дуло к груди, чтобы грохоту было меньше. Но грохота вовсе не вышло. Его только сильно толкнуло в грудь и загорелась болевая точка. Потом огонь от точки пошел к горлу, к животу, и через мгновение вся грудь наполнилась непереносимым жжением. Хотелось разбить грудь, чтобы остудить сердце воздухом.

«Как больно умирать, — подумал Корольков. — Бедные люди...»

Прошло три года.

Корольков выздоровел после инфаркта и по-прежнему ходил пешком на работу и с работы.

Пока лежал в больнице, выяснилось, что у него никогда не было никакой язвы. Это боль от сердца давала иррадиацию в желудок.

Корольков получил место заведующего отделением. У него прибавилось административных дел, которые отвлекали его от операций. Но зато он стал получать на двадцать пять рублей больше.

Жизнь потекла по-прежнему. Вернулась необходимая и излюбленная инерционность. О Марго он сознательно не думал. Боялся: если начнет думать — сердце треснет по-прежнему шву.

Корольков знал по своим больным, а сейчас уже и по себе: счастья хочется, когда цело сердце. А когда оно похоже на мину за-

медленного действия с часовым механизмом и каждую секунду может взорваться, когда жизни угрожает опасность — хочется жить, и больше ничего. Просто жить и делать операции — плановые и экстренные.

Белки по-прежнему летали по деревьям, и их по-прежнему преследовали коты. Но Королькову казалось: все переменялось за три года. Белки облезли и постарели, как будто их погрызло время. Коты стали меланхоличнее, и такое впечатление, что у котов и белок тоже был инфаркт.

Оксана вышла замуж, и развелась, и снова собралась замуж. Когда Корольков спрашивал: «Это серьезно?» — отвечала: «Пока навсегда».

В жизни Марго не произошло никаких перемен.

Корольков сказал: жди. И она ждала. Сначала — каждую минуту. Потом — каждый час. Теперь — каждый день.

Когда на работе звонил телефон, она поворачивала голову и серьезно, внимательно глядела на аппарат. Подруги смеялись над ней, и она смеялась над собой вместе с ними. Но в самой глубине души — ждала. Ведь не может же человек уйти — вот так. И навсегда. Если в это поверить, жить невозможно.

Чтобы ожидание не было таким монотонным, Марго забрала Сашечку из интерната, устроила его на плавание и фигурное катание. До предела загрузила его детство, потому что детство — очень важное время в жизни и его нельзя проскочить, как скорый поезд мимо полустанка.

Зимой темнеет рано. Марго возвращалась с работы с сумками и кошелками, когда уже было темно.

Они усаживались с Сашечкой на кухне, и Марго начинала его кормить и испытывала почти тщеславие от каждого его глотка, от того, что необходимые витамины попадают в драгоценный растущий организм.

А Сашечка не ведал о тщеславии, просто жевал, и уши у него двигались, и кадык приподнимался, когда он глотал. Иногда в нем проступал совершенно незнакомый человек, и Марго со счастливым недоумением разглядывала русого русского мальчика с фараонскими замашками. А иногда он как две капли воды походил на ее детские фотографии, и тогда Марго казалось, что она сидит за столом со своим собственным детством.

Как-то в метро на переходе встретила Вовку Корсакова — того самого, что сбросил на нее утюг.

— А... это ты? — обрадовалась Марго, и ее лицо осветилось радостью встречи.

Вовка молчал и стоял с никаким выражением.

— Не узнал? — спросила Марго.

— Почему? Узнал, — спокойно ответил Вовка. — Ты и не изменилась вовсе.

Действительно, было в ней что-то, не поддающееся времени: доверие к миру и отдельным его представителям. И несмотря на то, что представители уходили по разным причинам, — доверие оставалось. И делало ее похожей на себя прежнюю — ту, возле штабеля дров, в бархатном двуроге капоре, как у шутов времен Шекспира.

— Ну да... — не поверила Марго. — Двадцать лет прошло. За двадцать лет даже климат меняется.

— Может, климат и меняется, — согласился Вовка. — А ты ничуть не изменилась. Постарела только...



РИММА ЧЕРНАВИНА

★

ДВИЖЕНЬЕ

Все движется.
В плену все у движенья.
И зверь, и птица,
И двуногий человек.
Как вероломен и изменчив
Автомобиль
По отношению к пространству,
Попавший в плен к всеильному движенью
Благодаря нечистой силе,
Вселившейся в его колеса.
И лишь дома, и камни, и деревья
Упрямой неподвижностью своей
Противоречат мощному движенью.
Сопротивляются,
Как стойкие бойцы.
Но и они, того не зная,
Всего лишь пленники движенья.
Как иллюзорен их покой,
Обманчиво их постоянство.
И в них заложен
Дух изначальный перемен
И делает свою работу
До той поры,
Пока обман невинный
Сам не раскроется собой.
И рушатся дома.
И засыхают на корню деревья.
И камни рассыпаются во прах.
Едино все.
И кажущаяся неразумность
И мудрость видимая
Свой скрытый смысл
Разоблачают
В своей соподчиненности
Всеобщему движенью,
В своем движенье
К бесконечной цели.

Солнце

Душа предчувствием томилась.
Лучом послушным не спеша
Сквозь толщу облаков на землю пробивалось солнце.
Птенец в надежность крыльев никак поверить не решался.
Бутоны не раскрывались.
Тянула бабочка с рождением.
Но солнце, разорвав завесу, засверкало,

И миг преобразилось все кругом.
 Бутон без всякого стеснения раскрылся
 И стал пленительным цветком,
 Птенец в свой первый путь пустился,
 Вспорхнула бабочка, прозрачна и легка.
 А хмурое лицо улыбка озарила.

Право́та

Вам приходилось видеть умирающую птицу?
 Вы видели,
 Как умирает голубь?
 Как голубь,
 Что на крыльях сизых спокойно рассекал пространство,
 Вдруг очутился на земле?
 Он на снегу лежал,
 И снег под ним подтаял,
 Окрасившись немного в желто-сизый цвет...
 Во взгляде птицы был испуг,
 Который не был вызван приближеньем человека
 И любопытством пробегающей собаки.
 Испуг был вызван тем,
 Что появилось в ней самой.
 Как будто кто-то крепкою рукой
 Ее держал за крылья.
 Она подняться попыталась,
 Но поняла,
 Что захвативший власть над ней
 Сильней.
 Она водила желтыми глазами,
 Ища ответа у деревьев...
 И вдруг стремительно взлетела
 Со скоростью,
 С какой взлетают только камни,
 И рухнула на снег
 Так тяжело,
 Как могут падать только камни,
 Паденьем собственным
 Ответив
 На мучивший ее вопрос.
 А ночь спустя,
 Когда явил сиянье миру
 Новый день,
 Пушистый белый снег
 Покоился в блаженстве исступленном
 Повсюду —
 Здесь и там...
 Не зная,
 Не желая знать
 О том, что было.
 И белый снег был прав.
 И будет прав до той поры,
 Пока лучи сияющего солнца
 Не создадут другую правоту...
 На месте снега
 Заструится вешний ручеек
 И весело заявит миру:
 Я прав.

ИННА ГОФФ

★

ПЕРЕПОЛНЕННАЯ ЧАША

От автора

В рассказе Чехова «Дама с собачкой» я очень люблю то место, где Гуров и Анна Сергеевна приезжают в Ореанду.

Они сидели на скамье, смотрели на море и молчали.

«Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет».

Читаю и всякий раз испытываю волнение.

Может быть, потому, что это состояние пережито не только Гуровым, но прежде всего самим Чеховым. Это щемящее «когда нас не будет», куда Чехов включил и себя и нас с вами... Оно так знакомо каждому, кто был у моря и слушал его равнодушный глухой шум.

Мир меняется, но человек сохраняет в себе главное — человеческое, и тончайшие движения его души неизменны.

Мы часто обращаемся мыслями к Чехову. К его книгам и самой личности. К Чехову, настолько не любившему наставительного тона, что многие современники не замечали идеи его произведения, считали, что она просто отсутствует, а его самого называли писателем без идеи и направления. Сейчас нам кажется это почти невероятным — читатель неизмеримо вырос и научился прочитывать идею, заложенную в образе, в самой ткани вещи.

И вот Чехов со своей нелюбовью к поучениям остается для нас очень близким. Не потому ли, что во всех его зрелых произведениях нет четко сформулированного вывода — résumé? Это разрешает каждому взглянуть на прочитанное по-своему.

«Там же все написано», — отвечал он Качалову на вопрос, как надо играть Тригорина. Так он мог ответить критику и читателю, буде они обратились бы к нему с вопросом о его авторском отношении к выведенному в рассказе.

Чехов не любил поучать в своих рассказах и повестях. Но в его письмах мы находим множество советов по самому разному поводу — советы житейские, медицинские, литературные. Впрочем, часто и они снабжены шуткой, оговоркой вроде: «Когда критикуешь чужое, чувствуешь себя генералом».

Выделяются его письма к братьям Александру и Николаю. Написанные в воспитательных целях, они представляют собой свод жизненных правил, коими, по мнению Антона Павловича, должен руководствоваться культурный человек. (Тут нельзя не вспомнить замечательное письмо Александра Сергеевича Пушкина, адресованное младшему брату Льву на пороге его самостоятельной жизни.) Письма Чехова братьям резки и серьезны. В них отчетливо выступает другой — мужественный и твердый Чехов. Этого Чехова знают меньше, чаще говорят о мягком, чуть ироничном, задумчивом. А на деле то был стержень, основа.

Именно этот мужественный Чехов пересек Россию, затеяв трудную поездку на каторжный в ту пору Сахалин.

Именно этот Чехов выходит из Академии, узнав, что из нее исключен только что принятый Максим Горький.

Именно этот Чехов рвет с реакционным «Новым временем» и отходит от Суворина, с которым был связан годами дружбы.

«Воля чеховская была большая сила, — вспоминает его современник писатель Потапенко, — он берет ее и редко прибегал к ее содействию, и иногда ему доставляло удовольствие... переживать колебания, даже быть слабым.

Но когда он находил, что необходимо призвать волю, — она являлась и никогда не обманывала его. Решить у него — значило сделать».

У Потапенко же находим:

«...все было пережито им — и большое и ничтожное. И если полноте переживаний часто мешали его осторожность и как бы боязнь взять на себя всю ответственность, то причиной этого был талант.

Но Чехов-человек страдал от этого».

Он страдал от болезни, одиночества. Часто от непонимания. Но научился скрывать это даже от самых близких. Таким он воспитал себя.

В письме брату Николаю Павловичу (Москва, 1886) он, перечисляя по пунктам свои требования к понятию воспитанный человек, пишет: «Они (воспитанные люди. — И. Г.) не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают. Из уважения к чужим ушам они чаще молчат».

Требования, предъявляемые другим, он прежде всего предъявлял себе самому. В силу этой причины многое в его жизни остается еще нераскрытым.

В том же письме он пишет брату, что воспитанным людям нужно от женщины: «Им, особенно художникам, нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть матерью...»

Замечено, что 1898 год был для Чехова необычайно плодотворным. До этого тоже было особенно «урожайное» для него время, тогда появились повесть «Степь», пьеса «Иванов» и несколько водевилей. Возможно, это было вызвано известным письмом Григоровича, в котором маститый писатель призвал Чехова бережней относиться к своему большому таланту.

И вот спустя десятилетие, в 1898 году, — снова душевный взлет. И как следствие — плеяда блестящих рассказов: «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Случай из практики», «По делам службы», «Душечка», «Новая дача».

В чем же причина такого нового творческого подъема? Объяснения этому нет до сих пор. Думаю, что причина в том высоком праздничном избытке сил, который дает человеку любовь.

Не случаен среди названных выше рассказов «О любви». Чеховым пройден путь от прелестной Мисюсь («Мисюсь, где ты?») до Анны Алексеевны Луганович. «Дама с собачкой» написана год спустя. От арифметики детской любви к геометрии любви поздней с ее треугольником.

На треугольнике построен рассказ «О любви» — чета Лугановичей и Алехин. В «Даме с собачкой» Чехов усложнил фигуру до многоугольника, введя в рисунок повествования и тех, кто стал невольным участником драмы.

В невозможности для героев рассказа достижения счастья ценой страдания других — детей в первую очередь — и кроется высокий нравственный потенциал.

Чехов показал историю любви двух людей, которые «любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как

верные друзья». «Сама судьба предназначила их друг для друга». Рассказ слишком известен, чтобы его пересказывать. Но нельзя удержаться еще от одной цитаты: «...точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках». В этой фразе тот же резкий Чехов, что и в письмах братьям. Чувствуется не грусть, а острая боль. О такой боли нельзя написать понаслышке, ее надо испытать самому.

Что побудило Чехова к написанию этого пронзительного рассказа? Были тут скрытые личные мотивы?

Полагаю, что были.

Оба рассказа — «О любви» и «Дама с собачкой» — возникли в конце десятилетия сложных отношений Антона Павловича Чехова с Лидией Алексеевной Авилловой.

...до сих пор многие думают, что Чехов никогда не испытал большого чувства. Так думал когда-то и я.

Теперь же твердо скажу: испытал! Испытал к Лидии Алексеевне Авилловой.

И. А. Бунин.

«**М**ного, много у меня времени лежа думать и вспоминать. Ну, думы тяжелые и думать больно. А вспоминать можно с выбором, и часто от воспоминаний вся душа точно пронижется солнцем и станет легкой и радостной».

Передо мной доселе неизвестные воспоминания и дневники Лидии Алексеевны Авилловой, впервые разобранный и приведенный в порядок ее архив.

Эту работу тщательно, с большой любовью выполняла внучка писательницы. Она же позвонила мне и любезно предложила познакомиться с рукописью. Я с радостью согласилась.

Почему же именно ко мне обратилась внучка Авилловой? И почему я с такой радостью приняла ее предложение?

У меня есть рассказ «Цветы девицы Флоры». Он был напечатан в сентябрьском номере журнала «Юность» за шестьдесят пятый год. Пожалуй, ни на одну свою вещь я не потратила столько нервной энергии. Началось с небольшого открытия.

В переkreшенном свете воспоминаний двух разных лиц об одном и том же я близко увидела Чехова, не заслоненного чужим ощущением, — ведь мемуары по своему существу жанр субъективный.

Тут не было посредника. Не кто-то другой, а я сама стала невольным свидетелем того, как оберегал Чехов имя любимой женщины от посторонних вторжений. Рассказ мой был о взаимоотношениях Антона Павловича Чехова с писательницей Лидией Авилловой. О цветах, которые она принесла ему в больницу. О том, как Антон Павлович отвел подозрение Ивана Щеглова, посетившего его в больнице неделей позже и увидевшего на столике у постели цветы, не была ли это поклонница...

Умер Иван Щеглов, принявший на веру слова Чехова, сказавшего, что цветы ему подарил миллионер. Умерла долго не печатавшая своих воспоминаний Лидия Алексеевна Авилова. Умерла за четыре года до выхода в свет первого издания книги «Чехов в воспоминаниях современников». Чеховеды отрицали серьезную роль Авилловой в жизни Чехова. В отличие от признанной Лики Мизиновой — недолгого раннего увлечения и долгой сердечной дружбы — история отношений Чехова с Авилловой была подвергнута сомнению, и ее воспоминания в книге были даны с оговоркой.

Мой рассказ вызвал споры, недоверие — чеховедение, как и всякое «ведение», не любит пришельцев со стороны. В дальнейшем я нашла солидную поддержку: мнение об этом Ивана Алексеевича Бунина, хорошо знавшего Чехова и Авилову, принявшего ее воспоминания безоговорочно. Но в ту пору, когда рассказ был написан, его мнение не было еще у нас широко известно.

Девятитомное собрание его сочинений, где Бунин так высоко отзывается о Лидии Алексеевне, молодой женщине с ясным лицом, вышло двумя годами позднее.

Потом я поняла, почему мне довелось сделать это открытие — маленькое, но ценное. Я не была человеком со стороны — слишком давно меня занимало все, что касалось Чехова. Этот интерес усилился, когда я стала писать рассказы. Помню, работавший в ту пору в «Новом мире» Сергей Антонов сказал об одном писателе, что у него чувствуется школа Чехова и Бунина.

Чехова и Бунина... Многие объединяли этих писателей при жизни и долго потом. И лишь не скоро поняли, что это две совсем разные, хотя и близкие школы. Но давно почувствовала это Авилова: «...Чехов давал мне советы, которые тогда я плохо понимала: «Будьте холодны, когда пишете». Лучше всего я поняла этот холод не на Чехове, а на Бунине... он в совершенстве владеет секретом писать холодно, а вызывать самое сильное впечатление. Я бы сказала, что он открыл новую школу, и очень хорошо взялась бы доказать это...» Впервые же о возникновении школы Бунина она говорит еще в пятнадцатом году.

Редакция «Юности» проявила разумную осторожность — три известных литературоведа решали вопрос, можно ли напечатать мой рассказ. Двое из них высказались в мою пользу, и «Цветы девицы Флоры» появились в журнале.

Пятнадцать лет отделяет меня от первого прикосновения к этой теме. Отделяет мой собственный жизненный опыт и опыт литературный, за эти годы много написано, еще более перечитано и переделано. И вот — биографическая рукопись Авиловой, иногда плавные, цельные, порой отрывочные записи, ее дневники. Написанные для себя, для взрослых уже детей в надежде, что когда-нибудь прочтут — потом, когда ее не будет на свете, — эти записи создали для меня заново портрет пленительной женщины.

Женщины, которую любил Чехов.

Кто была Беатриче?

Кого сохранил для нас Леонардо в образе Моны Лизы?

Какой была она, вдохновившая Чехова на рассказы о любви?..

Кроме высокой оценки Бунина, она не удостоилась до сей поры серьезного внимания. В сущности, мы долго знали о ней лишь то, что о себе сообщила она сама. И это принято было как истина. Она же в свойственной ей манере всегда смотрит на себя как бы чуть свысока. Слегка себя высмеивая, над собой подтрунивая. Как бы памятуя строки чеховского письма: «Горды только индюки». Вот образцы того, как говорит она о себе:

«В гимназии я училась плохо»;

«...была неуверенность в себе, доходящая до уверенности, что я непременно скажу или сделаю глупость»;

«...никогда я не была глупей, чем когда я говорила с умными людьми».

Говоря о своем первом рассказе, помещенном в «Петербургской газете», которую издавал муж ее сестры Н. С. Худеков, добавляет: «Плохой рассказ». И тут же: «...это был не дебют, а просто родственная любезность».

«За свой первый рассказ я получила двадцать рублей и подарила их Мише¹, чтобы он купил себе чернильницу. Но он не купил. Сказал, что за двадцать рублей чернильницы дрянь, и продолжал писать из пузырька...»

Она себе мало нравится. Но когда хвалят то, что она пишет, когда Максим Горький обращает на нее внимание, она готова поверить словам мужа: «У тебя счастливая наружность, вот и все!»

Ее принимают в Союз взаимопомощи русских писателей. «...но мне не страшно было: уж очень я была безобидна, незначительна. И, конечно, меня приняли.»

И в главке «Как я была писательницей»: «Я завела эти записки, в которых убожество моих умственных запасов оставляет мне такое крошечное поле действия..»

«Я была талантливое ничтожество.»

Она беспощадна к себе, учиняя анализ прожитой жизни, оглядываясь на себя, оценивая свои поступки, как бы отвечая на чей-то вопрос — не на свой ли?.. Объясняя самой себе — себя.

Послушаем, что о ней говорят другие:

«Я помню ее в юности. Вся бледная, с белыми волосами, с блестящими глазами... Молодая девушка с розами на щеках» (И. А. Бунин),

«В ней все было очаровательно: голос, некоторая застенчивость, взгляд чудесных серо-голубых глаз...» (он же),

«Я любил с ней разговаривать как с редкой женщиной, в ней было много юмора даже над самой собой, суждения ее были умны, в людях она разбиралась хорошо. И при всем этом она была очень застенчива, легко растеривалась, краснела...» (он же),

«Ах, Лидия Алексеевна, с каким удовольствием я прочел Ваши «Забутые письма». Это хорошая, изящная, умная вещь. Это маленькая, куцая вещица, но в ней пропасть искусства и таланта...» (А. П. Чехов),

«Авилова хорошие темы находит» (Л. Н. Толстой),

«Авилова пишет лучше Андреева. Она выбирает старые нравственные темы и пишет на них» (он же).

Читая сейчас записи Лидии Алексеевны, я часто вспоминала фразу Чехова из письма, ей адресованного: «Верьте, Вы строги не по заслугам».

Так он писал ей, защищаясь. Не по заслугам строга она и к себе.

Вскоре после того как «Цветы девицы Флоры» были опубликованы, в редакцию журнала стали приходить письма. Два из них я здесь приведу.

Первое меня чрезвычайно обрадовало:

«Дорогая Инна Гофф!

Извините, не знаю Вашего отчества. Прочла Ваш... рассказ в «Юности», посвященный отношениям, вернее эпизоду в отношениях, моей бабушки Лидии Алексеевны Авиловой с Антоном Павловичем Чеховым, и захотелось поблагодарить Вас за ту лиричность и нежность в интерпретации этого эпизода, просто за то, что Вы ее полюбили и как-то по-своему, но очень трогательно осмыслили и захотели осмыслить их взаимоотношения.

...Вы, верно... знаете, что не все поверили бабушкиным воспоминаниям. Тем более мне было приятно прочесть Ваш рассказ, почувствовать тепло и взволнованность в Ваших строках... Если Вас интересуют поточки...»

Далее следовало приглашение. Было указано два телефона, домашний и служебный — Института русского языка Академии наук СССР.

¹ Муж Лидии Алексеевны Михаил Федорович Авилов.

И стояла подпись — Н. Авилова.

Второе письмо меня озадачило:

«Главному редактору журнала «Юность» тов. Полевому.

Уважаемый Борис Николаевич!

В номере девять журнала «Юность» за сентябрь 1965 года я прочел статью Инны Гофф «Цветы девицы Флоры».

Не откажите в любезности сообщить Вашим читателям, что сестра Антона Павловича Мария Павловна при жизни не один раз говорила мне, что со стороны Чехова никогда не было никаких серьезных чувств к Л. А. Авилловой, что она желаемое приняла за действительность и в изложении ряда фактов не была точна.

С уважением С. М. Чехов.

6 октября 1965 г.».

Вот таких два письма в ответ на мою «статью». Борьба не утихла. Впрочем, я поняла это, натолкнувшись на отзыв одного из трех рецензентов, решавших судьбу моего рассказа, — сторонника версии Марии Павловны.

А я-то обрадовалась, узнав, что И. А. Бунин высоко оценил прочитанные им воспоминания Авилловой.

Я прочла это, когда рассказ был уже написан, и решила, что ссылка на Бунина обескуражит каждого. Но, оказалось, этого недостаточно. Слишком велик авторитет Марии Павловны Чеховой. Да и как ей не быть авторитетом, сестре и другу, столько сделавшей для Антона Павловича при его жизни и еще более после его смерти. Разве сама я не подчинилась в свое время ее влиянию, не подвергла сомнению рассказанное Авилловой, прочтя в предисловии к сборнику воспоминаний о Чехове: «В особой оговорке нуждаются мемуары писательницы Авилловой... Ее воспоминания дают ряд достоверных сведений, в частности о той среде, которая окружала Чехова во время его приездов в Петербург, о первых постановках его пьес в петербургских театрах, уточняют некоторые данные биографии писателя. При всем этом нельзя не отметить чрезмерную субъективность и односторонность автора в освещении материала, связанного с Чеховым. Едва ли также можно считать вполне достоверным, что свои отношения к Авилловой Чехов выразил в рассказе «О любви»...»

Второе издание воспоминаний современников о Чехове вышло в свет в пятьдесят четвертом году, автор предисловия повторяет уже знакомую нам оценку Марии Павловны. Его не вполне ловкая фраза — либо отношение к Авилловой, либо отношения с Авилловой — погасила тогда мой интерес к напечатанному, я проглядела эти страницы бегло, с раздражением: как можно, думала я, сочинять, фантазировать, придумывать свой роман с Чеховым!..

Я многие годы не возвращалась к мемуарам Авилловой, помещенным в книге, пролистывала их, пока однажды в воспоминаниях Ивана Щеглова не обнаружила ее цветы. Щеглов, посетивший Чехова в больнице, прилежно передает разговор о цветах. Свои вопросы и ответы Антона Павловича:

«...и вазочка с букетом живых цветов.

.....

— А это у вас от кого? — кивнул я на букет, украшавший больничный столик — Наверное, какая-нибудь московская поклонница?»

Я замерла, прочтя этот вопрос.

«— И не угадали: не поклонница, а поклонник. Да еще вдобавок московский богатей, миллионер.— Чехов помолчал и горько усмехнулся:— Небось и букет преподнес, и короб всяких комплиментов, а попроси у этого самого поклонника «десятку» взаймы — ведь не даст! Знаю я их, этих поклонников!

Мы оба помолчали.

— А знаете ли, кто у меня вчера здесь был? — неожиданно и с

видимым удовольствием вставил Чехов.— Вот сидел на этом самом месте, где вы теперь сидите.

— Не догадываюсь.

— Лев Толстой!»

Между тем Лев Толстой посетил Антона Павловича 28 марта, Щеглов же — 5 апреля.

Чехов уводит от разговора о цветах.

Но Иван Щеглов, приняв на веру слова Чехова о миллионере, делает вывод: среди поклонников не нашлось ни единого, который догадался бы «позабыть» на больничном чеховском столике... чек на необходимую сумму для поездки за границу.

В рассказе «Цветы девицы Флоры» приведен этот эпизод — ключ к моей догадке о глубоком чувстве, которое приходилось скрывать.

В редакции журнала письмо внучатого племянника Чехова передали мне с просьбой ему ответить. Сохранилась копия моего ответа. Приведу его здесь полностью, так как это ответ не только ему:

«Уважаемый Сергей Михайлович!

Борис Николаевич Полевой передал мне Ваше письмо по поводу моего рассказа (именно рассказа, а не «статьи», как пишете Вы) «Цветы девицы Флоры». Это разница существенная, так как статья требует большей аргументации и тем отличается от лирического рассказа, наваянного мыслями о Чехове и открытиями, пусть очень скромными, пристального читателя материалов «вокруг Чехова».

В свою очередь, хочу Вам сообщить, что эти материалы показывают, что Антон Павлович не всегда был до конца откровенен даже с Марией Павловной, которую очень любил. Возможно, эта любовь и оберегала покой сестры, пока это было возможно. То есть до того самого момента, когда истина уже непременно должна была обнаружиться. Вспомните столь неожиданную для самых близких женитьбу Антона Павловича, переживания Марии Павловны, вызванные ею.

Есть и другие примеры, говорящие о том, что личная, мужская жизнь Чехова не всегда была известна его сестре. Ссылаться исключительно на мнение Марии Павловны в таких тонких и сложных вещах, как чувство, испытываемое одним человеком к другому, тем более мужчины к женщине, несколько странно.

Скрытность Антона Павловича оставила много белых пятен в его, казалось бы, так хорошо изученной биографии. Пытаться как-то восполнить эти пробелы, изучая творчество, архивы и переписку Чехова, дело, по-моему, нужное. Ибо «хрестоматийный глянec» сложившихся суждений часто мешает живому делу поисков в литературе».

Теперь, спустя пятнадцать лет, мое знакомство с Лидией Алексеевной Авиловой углубилось, стало ближе. Возникло такое чувство — близкого знакомства.

Это случилось одновременно с выходом в свет моей новой книги «Знакомые деревья». В ней я впервые поместила свой рассказ о цветах «девицы Флоры» — так когда-то шуточно представил ее Чехову муж сестры Авиловой Н. С. Худеков, издатель «Петербургской газеты».

В прежние мои сборники этот рассказ не ложился, тут же был особый раздел моих записок и размышлений и даже новая работа, тоже связанная с именем Чехова, — «Вчера он был у нас... (Вокруг одного письма)».

Звонок внучки Авиловой я вначале связала с выходом моей книги. Но это было только совпадение.

Папка с рукописью — «Авилова Лидия Алексеевна. Воспоминания, дневники». Более двухсот страниц искренней исповеди. Отсвет

этих записок, прочитанных теперь впервые, лег и на мой давний рассказ, кое-что в нем осветив по-иному. В нем тоже, думала я теперь, она такая, какой сама представилась нам. Ее взгляд на себя и события по прошествии многих лет.

Взгляд из того далека, когда о себе уже можно писать отстранясь, не «я», а «она», что порой и делает Авилова в своих записках.

«Я добросовестно искренна»,— говорит она, боясь допустить «вдохновение» в свои тетрадки. Прежде всего здесь она сама, вся ее трудная, долгая жизнь. И главное в этой жизни — две чаши весов, две ее большие любви.

Любовь к Чехову и любовь к своим детям. Была постоянная боль.

«Две натянутых, напряженных струны»,— скажет она спустя годы.

И в другом месте:

«Вот взяла и перечла сегодня эту тетрадь. Когда я писала ее? Давно. Любовь. О любви. В семьдесят четыре года (скоро будет) я думаю о любви. И думаю я, что я ее никогда не знала.

...Была ли у меня влюбленность в Чехова? Конечно, была, но такая подавленная, такая загнанная! Одна боль...» (запись в дневнике).

Ей семьдесят три года, и она называет влюбленностью то, что прежде звала любовью. Но слово боль выдает ее. Боль осталась.

Иван Алексеевич Бунин по прочтении ее мемуаров пишет:

«А ведь до сих пор многие думают, что Чехов никогда не испытал большого чувства. Так думал когда-то и я.

Теперь же твердо скажу: испытал! Испытал к Лидии Алексеевне Авиловой».

И далее: «Чувствую, что некоторые спросят: а можно ли всецело доверять ее воспоминаниям?

Лидия Алексеевна была необыкновенно правдива. Она не скрыла даже тех отрицательных замечаний, которые делал Чехов по поводу ее писаний, как и замечаний о ней самой. Редкая женщина!»

И еще: «А сколько лет она молчала. Ни единым словом не намекнула при жизни (ведь я с ней встречался) о своей любви...»

Так писал Бунин в своей неоконченной книге «Чехов», отрывки из которой помещены в девятом томе собрания его сочинений.

Допускаю вопрос: а можно ли всецело доверять Бунину?

Почему Бунину, а не Марии Павловне?

Пусть ответит на этот вопрос сама Мария Павловна Чехова:

«Вы просили меня указать Вам кого-нибудь, кто бы мог написать биографию моего покойного брата, и, если Вы помните, я советовала Вам Ивана Алексеевича Бунина. И теперь советую его же и даже прошу. Лучше его никто не напишет, он очень хорошо знал покойного, понимал его и может беспристрастно к этому делу приступить...» (письмо М. П. Чеховой П. В. Быкову от 10 мая 1911 года).

Последуем совету Марии Павловны и поверим И. А. Бунину. Ведь все дело именно в этом — б е с п р и с т р а с т н о.

Среди заметок Бунина об Авиловой есть одна фраза недописанная, прерванная на середине: «А вся жизнь ее поистине глубокой любви к Чехову, трагической даже и по...»

На этом месте отвлекли, прервали, так и осталось. Рискну продолжить: «...трагической даже и после смерти Чехова, когда ее имя было отторгнуто от него, вытеснено другими именами, насильственно утвержденными...»

Да простит меня Иван Алексеевич Бунин, если намеревался сказать другое.

Но это — напрашивается.

«Разве можно после опубликования воспоминаний Авиловой серьезно говорить о Лике Мизиновой» (И. А. Бунин).

Бунин судит беспристрастно.

Он был частым гостем Марии Павловны, Ма-Па, как он звал ее дружески и после кончины Антона Павловича. Они много, подолгу беседовали. Результатом собственных впечатлений и этих бесед с его сестрой явились воспоминания Бунина о Чехове, напечатанные в сборнике товарищества «Знание» за 1904 год (вышел в девятьсот пятом году). Много лет спустя Бунин сделал на этом сборнике надпись, перечеркнув то, что писал когда-то: «Написано сгоряча, плохо и кое-где совсем неверно благодаря Марье Павловне, давшей мне, по мещанской стыдливости, это неверное».

Замечание не вполне справедливо. Беседа с ним, Мария Павловна не догадывалась о существовании у брата другой, скрытой жизни. Она искренне заявила Лику Мизинову на роль лирической героини в жизни брата. Лика была ее подругой Подругой всей чеховской семьи: «привези Лику», «приехала Лика» — то и дело встречаем в письмах Чехова.

«Кукуруза души моей», «канталупа» — таковы нежные прозвища, которыми Чехов награждает «милую Лику», «Ликусю».

С января девяносто пятого года письма Чехова Лидии Стахивевне становятся суше, деловитей, перерывы между письмами все длиннее. В них все чаще постскриптумы:

«Маша просит, чтобы Вы привезли 2 пары перчаток и духов» (январь 1895 года);

«Милая Лика, так как Вы приедете к нам встречать Новый год, то позвольте дать Вам поручение: на Тверской у Андреева купите четверть (бутыл) красного вина Кристи № 17 и привезите. Только не выпейте дорогой, прошу Вас. Если не привезете, то мы без вина!!!
Будьте здоровы, канталупа».

И внизу после даты: «За вино я отдам».

Он серьезно влюблен. Все нагнетается, потому что надо от всех скрывать. И это томит. Как позднее будет томить Гурова в «Даме с собачкой».

Чехов чуть не проговаривается в черновике письма жене Суворина, с которой в ту пору был близко дружен, объясняя ей свое бегство из Петербурга после провала «Чайки». Там есть строчка без всякой связи с другими: «Представьте, я чувствую, что я влюблен» (черновик письма от 19 октября 1896 года, Мелихово).

В беловом тексте эта строчка отсутствует.

Кто она, в любви к которой признается Чехов и сам же это вычеркивает? Не та ли, которой он обещал ответить со сцены на многое?

Та, что послала ему брелок с зашифрованными словами: «Если тебе понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее», — и сидела «в амфитеатре, с правого края, около двери» на первом ужасном представлении «Чайки». Вспыхивала и бледнела, ожидая обещанного им ответа.

Его отчаянье от провала спектакля усиливалось от ее присутствия в зале. Услышала она его? Поняла?..

Он ей ответил — на многое — устами Тригорина.

Это ей, пишущей рассказы, он исповедуется в том, что есть жизнь писателя, — «я должен писать, я должен писать, я должен...».

Устами Тригорина он обращается к ней: «...и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, я собираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший?..»

Это ее, а не Нину Заречную благодарит он устами Тригорина за брелок: «Как грациозно! Прелестный подарок!»

И столько раз, почти назойливо, произносится начертанное на брелке — чтобы она запомнила: «Страница 121, строки 11 и 12...»

И она запомнила. Сквозь хаос провала, сквозь возмущение и хохот, мешавшие слушать, для нее звучало: «Страница 121, строки 11 и 12...»

Вернувшись домой, она прочитала его ответ в томике своих рассказов: «Молодым девицам бывать в маскарадах не полагается». Это не был ответ на многое. Лишь на то, что он получил ее брелок и знал, с кем пьет шампанское в день маскарада в суворинской ложе.

Сосредоточась на этом, запоминая страницу и строчки, она упустила другое. Ответ Чехова был многозначен. Монолог Тригорина необычайно серьезен для самого Тригорина. Можно сказать, Тригорину поручено здесь высказать мысли Чехова. Ему же, Тригорину, поручено произнести слова благодарности и любви.

Вспомним еще несколько его реплик.

«Тригорин. ...*(В раздумье.)* Отчего в этом призыве чистой души послышалась мне печаль и мое сердце так болезненно сжалось?»

Ответ на ее брелок. Ее — не Заречной.

«Тригорин. Такой любви я не испытал еще».

И дальше, отзываясь на слова Нины Заречной: «Мы увидимся в Москве», — Чехов как бы подсказывает ей их будущую встречу устами Тригорина: «Остановитесь в «Славянском базаре»... Дайте мне тотчас же знать».

Подсказана их неудачная встреча в Москве. От премьеры «Чайки» до того рокового марта менее полугода. (Встреча в «Славянском базаре» состоялась позднее у Гурова и Анны Сергеевны в «Даме с собачкой».)

Он приехал в Москву, как они с ней условились, несмотря на то, что всю ночь не спал — мешал сильный кашель. В письме к Лидии Алексеевне Авиловой он написал: «...задержать меня дома может только болезнь».

Но и болезнь не задержала его...

Он остановился в гостинице «Большая Московская», может быть, потому, что в «Славянском базаре» жил Суворин, а ему не хотелось лишних свидетелей. В тот же день он послал ей записку с посыльным с просьбой прийти к нему ввиду его нездоровья. Но когда обедал с Сувориным в «Эрмитаже», пошла кровь горлом...

Суворин увез его к себе, и его мучило, кроме всего прочего, еще и незнание, получила ли она его записку, придет ли к нему...

Пролежав в номере Суворина больше суток, он вернулся к себе в «Большую Московскую».

«Надо знать, что 24 утром, когда я еще спал, Чехов оделся, разбудил меня и сказал, что уходит к себе в отель. Как я ни уговаривал его остаться, он ссылался на то, что получено много писем, что со многими ему надо видаться и т. д.» (из дневника Суворина).

Вернувшись утром к себе в гостиницу, он не нашел ответа от той, к которой спешил.

Он не знал, что она уже была у него, отправив с тем же посыльным ответ, что будет вечером. В восемь часов. Не знал, что, не застав его, она ушла обиженная, оскорбленная. Ушла, отыскав среди прочей нераспечатанной почты свою записку и унеся с собой.

Больной и слабый, он снова шлет ей записку — сообщает о случившемся и кончает словами: «...пролежал более суток — и теперь дома, т. е. в Больш. моск. гостинице. Ваш А. Чехов».

Просмотрев корреспонденцию Чехова тех дней, легко заметить, что, кроме брата Ивана, которому он пишет: «Побывай у меня, кстати есть дело», видется он ни с кем не собирался.

Ни с кем, кроме Авиловой.

Свидание их состоялось в больнице. Она была первой, кто посетил его. Пришла, и ее пропустили к нему — единственную. По его настоянию.

(К нему не пускали тогда никого, был назначен строгий режим. Нужен был пропуск даже для членов семьи — его брат Иван Павлович приехал на Курский вокзал встретить ничего не знавшую Марию Павловну и передать ей карточку для посещения больного.) Их встречу я описала в своем рассказе:

«„Он лежал на спине, повернув лицо к двери“, — вспоминала она потом.

„Как вы добры“, — тихо сказал он.

Она села на стул около его кровати, взяла с тумбочки часы — ей разрешили пробыть около него три минуты. Он отнял часы и, задержав ее руку, спросил:

„— Скажите: вы пришли бы?

— К вам? Но я была, дорогой мой...”

Она могла ничего больше не говорить. Могла уйти, не ожидая, пока пройдут отведенные для них минуты свидания.

Он был счастлив. И знал, что это счастье будет с ним и после, когда она уйдет и он останется один.

„Но я была, дорогой мой...”

Ее голос, взгляд ее серых глаз, устремленных ему в лицо с тревогой и нежностью...» (Фразы, взятые в кавычки, из воспоминаний Л. А. Авиловой.)

И обращенное к ней:

«Милая!»

Долгие-долгие годы это слово звучало в памяти лишь для нее одной.

«Я вас очень лю... благодарю», — написал он ей в записочке: разговаривать запретили.

«„Лю“ он зачеркнул и улыбнулся», — вспоминает она.

Отношения с Марией Павловной сложились неблагоприятно для Авиловой.

После смерти Чехова, одиннадцать дней спустя со дня его похорон, Мария Павловна получила от Лидии Алексеевны письмо. Это письмо впервые приведено М. П. Чеховой в ее книге «Из далекого прошлого»:

«Я пишу только Вам, не для публики, даже не для окружающих Вас. У меня именно к Вам личное чувство, и я думаю о Вас, потому что больше не могу думать о том, кого нет... О, если бы мне знать, не рассердит ли Вас то, что я решилась написать Вам? Поймете ли, почему мне это так нужно было?

Простите меня, пожалуйста, если я тревожу Ваше горе. Поверьте мне: если бы я сама не чувствовала этого горя, если бы я не тосковала, если бы я могла совладать с собой — я бы не считала себя вправе обратиться к Вам... У меня много его писем.

И мне некому, некому, кроме Вас, сказать, как это все ужасно, как это все трудно понять и, когда поймешь, как безотраднo, скучно жить.

...Я написала Вам, что у меня много его писем. Но я не знаю, как он относился ко мне. Мне это очень тяжело...»

Комментируя эти строки, Мария Павловна отмечает: «...она признается в том, что не знала (выделено мной.— И. Г.), как же Антон Павлович к ней относился».

И делает вывод: «Из... воспоминаний вытекает, что Антон Павлович любил ее, что их отношения стояли на грани романа, что он сам говорил ей об этом. Этого не было» (выделено мной.— И. Г.).

Л. А. Авилова в своих записках:

«Мне часто вспоминается рассказ Чехова. Кажется, он называется «Шуточка»... Зимний день. Ветер. Ледяная гора. Молодой человек и молодая девушка катаются на санках. И вот каждый раз, как санки летят вниз, а ветер шумит в ушах, девушка слышит: «Я люблю вас, Надя».

Может быть, это только кажется?

Я летела с горы в Москве. Я летела и раньше. Я слышала не один раз: «Я люблю вас». Но проходило самое короткое время, и все становилось буднично, обычно, а письма Антона Павловича холодны и равнодушны...»

Как-то в ответ на ее упрек он сослался на то, что не умеет писать письма... Их набралось двенадцать томов, его писем, исполненных блеска, ума, юмора и печали.

Видимо, он хотел сказать, что не умеет писать письма такие, какие ей хочется получать. Чтобы в них все было сказано и в то же время не сказано ничего. В которых значительность прячется за будничными словами.

Такие письма, если их случалось ему писать, выходили у него холодными.

Он пишет ей даже сердито, и когда говорит ей о своей любви, вспоминает она, «лицо у него было строгое, глаза смотрели холодно, требовательно... точно он сердится, упрекает меня...».

То был не холод, а сдержанность.

«Я никогда не верила, что и он любит меня. Его радость при встречах я объясняла его характером и еще тем, что ему было весело со мной...»

Она сомневается. Не знает — верить ли?

Это случается и тогда, когда вместе прожита жизнь: любил он меня? Любила она меня?..

Лидия Алексеевна Авилова ищет поддержки, подтверждения у его сестры, но встречает полное неприятие.

Они впервые встретились, когда Мария Павловна решила издать эпистолярное наследие Чехова.

В глаза мне бросилось одно несоответствие.

Мария Павловна пишет: «Лидия Алексеевна передала мне все письма (выделено мной.— И. Г.) к ней брата...»

В чеховском томе «Литературного наследства» читаем: «Когда М. П. Чехова готовила издание писем Чехова, Авилова передала ей копии (выделено мной.— И. Г.) всех имевшихся у нее писем — всех, кроме одного».

Так все же — письма или копии писем?

Мария Павловна придает подлиннику большое значение, о чем говорит в предисловии к своему изданию писем Чехова:

«Значительное большинство писем было доставлено мне в подлинниках: их текст был мною тщательно проверен и печатается с сохранением всех его особенностей. За точность тех немногих писем, которые были мне доставлены в копиях... ручаться не могу».

В новом полном собрании сочинений и писем А. П. Чехова в примечаниях к письмам, адресованным Авиловой, то и дело следует ссылка на издание М. П. Чеховой с указанием, «где опубликовано впервые... по автографу».

В отделе рукописей Ленинской библиотеки, по счастью, хранятся еще копии писем Чехова, лично снятые Марией Павловной с автографов, с ее пометками «с подлинника». Мне их показали.

И я окончательно убедилась, что Авилова передала М. П. Чеховой не копии, а самые письма Антона Павловича, что очень существенно. Тем более в случае Авиловой, когда все эти письма были потом утеряны — похищены.

«Лидия Алексеевна передала мне все (см. об этом дальше.— И. Г.) письма к ней брата и, в свою очередь, попросила меня вернуть ее письма к Антону Павловичу, что я и сделала (см. дальше.— И. Г.)... У нас произошли разногласия, и я с ней после того больше не виделась».

Л. А. Авилова (в своих записках):

«Несколько лет после смерти Антона Павловича его сестра, Мария Павловна, отдала мне мои письма к нему. Они были целы. «Очень аккуратно перевязаны ленточкой,— сказала мне М. П.,— лежали в его столе». Не перечитывая, я бросила их в печку. Я очень жалею, что это сделала. [...] На полях я видела какие-то отметки. Почему я не хотела обратить на них внимания? Конечно, потому что мне было больно...»

Больно... Боль.

После несбывшейся встречи и коротких свиданий в Остроумовской клинике Чехов пишет и печатает рассказ «О любви».

Но перед этим были ее «Забытые письма».

Авилова прислала Антону Павловичу на суд вырезки газет со своими рассказами. Из Мелихова их переслали ему в Ниццу. Среди них «Забытые письма», три письма от женского лица.

Женщина, потерявшая недавно мужа, пишет любимому человеку. Она пишет ему: «...жизнь без тебя, даже без вести о тебе, больше чем подвиг — это мученичество».

И: «Я счастлива, когда мне удастся вызвать в памяти звук твоего голоса, впечатление твоего поцелуя на моих губах... Я думаю только о тебе».

И там же: «Я не могу припомнить, говорил ли ты мне когда-нибудь, что любишь меня? Мне так бы хотелось припомнить именно эту простую фразу... Ты говорил о том, что любовь все очищает и упрощает... Любовь...»

В последнем письме к героине приходит сомнение в том, что она любима, она переменяет интимное «ты» на «вы»:

«В вашей веселой рассеянной жизни я была лишь развлечением — и только».

Л. А. Авилова в своих воспоминаниях «Чехов в моей жизни»:

«Зачем после свидания в клинике, когда он был «слаб и не владел собой», — а мне уже нельзя было не увериться, что он любит меня, — зачем мне надо было... послать «Забытые письма», полные страсти, любви и тоски?»

Разве он мог не понять, что это к нему зывали все эти чувства?..»

Чехов все понял. Услышал.

Из четырех ее рассказов он выделил этот.

«Это хорошая, умная, изящная вещь... в ней пропасть искусства и таланта».

Услышан — «тон, искреннее, почти страстное чувство».

Они не виделись с того марта. Теперь был ноябрь.

На брек он ей ответил со сцены.

На этот рассказ ответит рассказом «О любви».

В июле он сообщает ей, что пишет — «уже написал, надо кончать» — рассказ для «Русской мысли».

В рассказе ответ на ее вопрос: «...говорил ли ты мне... что любишь меня?»

«...воспоминание о стройной, белокурой женщине оставалось во мне все дни, я не думал о ней, но точно тень ее лежала на моей душе».

«Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней».

«Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим».

(«Я вас очень лю... благодарю»)

«Я чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга»...

Она плакала. Слезы застилали глаза, мешали читать. Потом ее задело слова, что, «когда любишь... не нужно рассуждать вовсе».

Много раз она перечитывала рассказ, стараясь постичь его вывод.

«...когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле...»

«...как ненужно, мелко и обманчиво было то, что мешало нам любить», — говорил он устами Алехина.

Герой отбрасывал сложность жизни. Что «не нужно, мелко... обманчиво»? Ее семья? Ее дети?..

«Не ласково было мое письмо», — признается она.

Обида взаимна. Его не поняли. Признанья не услышали. Она сравнивает его с пчелой, которая берет мед «откуда придется». Вспомнила, должно быть, монолог Тригорина в «Чайке» — «для меда, который я отдаю кому-то в пространстве, я собираю пыль с лучших своих цветов...».

Он отвечает ей сдержанно:

«Вы не справедливо судите о пчеле. Она сначала видит яркие, красивые цветы, а потом уже берет мед.

Что же касается всего прочего — равнодушия, скуки, того, что талантливые люди живут и любят только в мире своих фантазий, — могу сказать одно: чужая душа потемки...»

Невозможность близости порождает раздражение. Человек от своей боли становится глухим, нечувствительным к боли другого.

Их любовь — цепь несовпадений, взаимно-не-пониманий. Свой девятый вал они пережили в Остроумовской клинике. Ограниченное время, боязнь за его жизнь и его слабость освободили от всего, позволили обо всем забыть...

«Один день. Для меня...»

Но ее ждали дома. И третье свидание не состоялось.

В тридцать девятом году, четверть века спустя после первой — и единственной — встречи с Марией Павловной, Авилова написала ей:

«Думаю о Вас часто и много. И грустно мне, что я Вам чужда и, возможно, неприятна. Мы не сошлись с Вами когда-то в одном вопросе, и Вы огорчились тогда до слез. С тех пор я считала, что Вы не хотите больше иметь со мной никаких отношений. Даже не решилась зайти к Вам, когда была в Ялте... А я до сих пор горячо благодарна Вам за то, что Вы дали мне случай поцеловать руку Евгении Яковлевны²».

О разногласиях с Авиловой в книге Марии Павловны сказано, что они произошли «по поводу публикаций некоторых писем». Какие же это письма, возможность публикации которых или ее невозможность могла огорчить до слез сестру Чехова?

Видимо, те, где выходит на поверхность глубоко скрытое существование личных отношений, — иного ответа найти нельзя.

М. П. Чехова предвяряет первое собрание писем, изданных ею в 1912 — 1916 годах, своим предисловием. Она пишет: «...в некоторых письмах... вследствие слишком интимного характера сделаны пропуски, везде обозначенные точками».

Сверяя это издание с последующими, я нашла такие пропуски только в двух письмах Чехова Авиловой. В письме от 21 февраля

² Мать А. П. Чехова.

1892 года из текста исключены слова, прямо следующие за критическим разбором рассказов Авиловой:

«Однако я вижу, не удержался и отмстил Вам за то, что Вы обошлись со мной, как фрейлина екатерининских времен, т. е. не захотели, чтобы я не письменно, а словесно навел критику на Ваши рассказы».

Согласимся, что ничего сугубо интимного в этом нет. Есть лишь повторение — усиление упрека, — с него начинается письмо: «Понастоящему за то, что Вы не пожелали повидаться со мной... мне следовало разругать Ваш рассказ...»

Второе письмо со множеством отточий — от 19 марта 1892 года, но о нем речь впереди.

В этом собрании писем отсутствуют записки совсем невинного характера, как то письмо от 15 февраля 1895 года после неудачного визита Чехова к Авиловой, когда их разговору наедине помешали случайные гости — и все было испорчено:

«Вы не правы, что я у Вас скучал бессовестно. Я не скучал, а был несколько подавлен, так как по лицу Вашему видел, что Вам надоели гости. Мне хотелось обедать у Вас, но вчера Вы не повторили приглашения и я вывел заключение опять-таки, что Вам надоели гости...»

Получив гранки включенных в первое издание чеховских писем, ей адресованных, Авилова пишет Марии Павловне:

«Я заметила, что некоторые письма пропущены... Вы не знаете, как я была бы благодарна Вам, если бы Вы отказались от печатанья моих писем! Я сама не знала, как мне будет это тяжело... Вы бы сняли с моей души тяжесть, если бы согласились исключить меня».

Письма, отсутствие которых заметила Лидия Алексеевна, получив корректуру, в издании не восстановлены, они были пропущены не случайно. Просьбу же о том, чтобы снять еще одно письмо («Я его зачеркну. И пусть его как бы совсем не было») Мария Павловна охотно выполняет.

Это письмо от 21 октября 1898 года, первое после ее неласкового письма в ответ на рассказ «О любви». В нем слышна еще взаимная обида:

«Если в своем последнем письме я пожелал Вам счастья и здоровья, то не потому, что хотел прекратить нашу переписку или, чего боже упаси, избегаю Вас, а просто потому, что всегда хотел и хочу Вам счастья и здоровья».

...Простите, если в самом деле в моих последних письмах было что-то жесткое или неприятное. Я не хотел огорчать Вас, и если мои письма иногда не удаются, то это не по моей вине, это против воли».

Отброшено или сокращено то, что хранит следы глубоко личных отношений.

Личных, что отнюдь не всегда означает интимных.

Мария Павловна Чехова в любви к брату была ревнива и нетерпима. Внезапная для близких женитьба Антона Павловича на Книппер — он обвенчался тайно от всей семьи, не открылся даже брату Ивану, которого видел в Москве в самый день венчанья, — вызвала смятение и бурю ревности в душе сестры Маши.

«Милая мама, благословите, женюсь» — телеграмма из Москвы 25 мая 1901 года. И письмо Марии Павловны, будем считать его поздравительным:

«Так мне жутко, что ты вдруг женат! Мысли у меня толкают одна другую...»

...факт, что ты повенчан, взбудоражил все мое существо, заставил думать и о тебе, и о себе, и о наших будущих с Олей отношениях... пока не могу себе отдать отчета в своем чувстве к ней...»

И через десять дней:

«...каюсь, что этим огорчила тебя и Олю. Если бы ты женился на другой, а не на Книпшиц, то, вероятно, я ничего не писала бы тебе, а уже ненавидела твою жену. Но тут совсем другое дело: твоя супруга была мне другом...»

«Была мне другом...» Говорится как о минувшем.

Какую же неприязнь должна была вызвать у нее Авилова, причастная к тайной жизни Антона Павловича, о котором, казалось Марии Павловне, было известно все.

Истолковав по-своему фразу авиловского письма: «Но я не знаю, как он относился ко мне», М. П. Чехова крепко держалась за свое толкование.

Отвергая скрытый смысл этих слов: «Не знаю, верить ли...»

Они встретились летом тридцать девятого года. Мария Павловна навестила Авилову по приезду в Москву. Лидия Алексеевна жила с сиротой-внуком, которого воспитала, в маленькой, узкой, похожей на щель комнате коммунальной квартиры. Внучка Авиловой вспоминает это жилье — «полутемную комнату на пятом этаже. Там с трудом удалось установить две кровати, диван, стол, шкаф и кухонный стол с керосинкой. Готовили в комнате...».

М. П. Чехова вспоминает:

«...я сама зашла к Авиловой на квартиру (следует адрес.— И. Г.). Я увидела старую, больную... женщину. На столе лежала грудка окурков от папирос.

Свидание наше было грустным и — последним».

Лидии Алексеевне Авиловой было семьдесят пять лет.

Мария Павловна была старше на год, но ни старой, ни больной себя не чувствовала.

Она пережила Л. А. Авилову на четырнадцать лет.

Цель этих записок — попытка портрета Лидии Авиловой.

Чтобы читатель мог составить свое суждение о ней как личности, не раз прибегну к помощи ее дневников и записок.

Авилова по мужу, урожденная Страхова, она выросла в Москве на Плющихе, «очень широкой и тихой улице, по которой утром... пастух собирал и гнал стадо на Девичье поле».

Она пишет о Москве той поры — плеск воды в бочках в темноте зимнего утра. Жильцы, квартирующие в доме, — картежник и бедная русская швея, которую почему-то звали мадам Анго. Управляющий, которого дети — в семье Страховых их было шестеро — боялись и не любили. Когда его хватил удар, дворник таскал его на спине и он, сидя верхом, делал распоряжения.

Ее мать была дареной — многодетная бедная сестра подарила ее богатой, бездетной. В воспоминаниях ранней поры присутствуют две бабушки.

И менявшиеся гувернантки и царившие в доме запреты — зимой детей не выпускали на улицу, не было даже зимней одежды.

Девиз «дареной» бабушки был: «Дети не должны предлагать вопросов».

Гимназия — «когда я стремилась стать гимназисткой, я представляла себе ученье как-то иначе, не так скучно...».

Ей было одиннадцать лет, когда она потеряла отца. Он умер внезапно, едва поднявшись после болезни и сидя под большими часами (эти большие, XVIII века часы английской работы и сейчас хранятся в семье Авиловых и идут исправно).

Городское детство, первая любовь — издали, к незнакомому гимназисту, — первое разочарование. И случайная встреча с ним, уже лысым господином, спустя жизнь, когда эта любовь определена ею как детская глупость.

Имение Клеточки Тульской губернии, поделенное его владель-

цем Кропоткиным на трех дочерей—одной третью владели Страховы,— было символом свободной, другой жизни.

Клекоткам Авилова отводит много страниц. Они поистине дышат счастьем.

«Кричат грачи, и ходит волнами весенний, деревенский упоительный воздух, и пахнет молодой крапивой и теплой землей... Все только в начале, все только в обещаниях: ...и в развернувшихся почках, и в немногих еще лютиках, и в порхающих бабочках... Приятен даже запах крапивы потому, что она пахнет тогда, когда других запахов в природе еще мало...»

Воспоминания состоят как бы из отдельных новелл, и те, что посвящены Клекоткам, наиболее живописны. «Осень в деревне», «Дождливый день в Клекотках», «Летний день в Клекотках». Ее живопись импрессионистского толка:

«На столе осыпается букет роз. Пахнет розами, пахнет влагой, комната полна воздуха и свежести. Со ступенек балкона умильно улыбаются, кланяется и пригибается Серый. Он хочет, но не смеет войти и то кладет переднюю лапу на ступеньку, то снимает ее...»

Зеленой стеной стоит сад и как темный тоннель—аллея. Розы розовые, розы красные, розы белые... тихо, тихо шумит дождь».

После смерти отца она оставалась в Клекотках вдвоем с матерью до глубокой осени. По вечерам в пустой усадьбе они иногда играли в четыре руки.

«Мы берем по зажженной свече и идем отпирать дверь в залу... Там очень холодно. Большие окна не занавешены, и в них, а главное, в простеночных зеркалах гостиной мелькают отражения наших свечей. Почему-то это неприятно. От дыхания идет пар, и тени бегут и никнут по стенам... Один композитор сменяется другим... Я случайно оглядываюсь на стену... всегда на одном и том же месте, точно оно нумерованное или абонированное, сидит большой паук... Может быть, правда, что пауки любят музыку и готовы слушать ее часами?... Он оставался еще на своем месте, когда мы брали свечи и уходили, ломая на стенах тени и зажигая огни в зеркалах и черных окнах».

В двадцать лет она стала невестой.

«Это было самое счастливое время моей жизни. Когда я теперь вспоминаю о нем, меня удивляет, что можно такое продолжительное время (целую зиму и лето) быть такой непростительно счастливой.

Летом мы разошлись: я отказала ему».

Он был военным, на балах появлялся в ментике, опущенном соболями. Она отказала ему, потому что он был богат и безволен. Она хотела, чтобы он учился, поступил в университет. Он обещал. Но ничего не получалось.

Отказав ему, она тосковала.

Спустя тридцать семь лет он отыщет ее только затем, чтобы сказать, что всю жизнь любил ее одну...

Писать, вернее сочинять, она начала еще гимназисткой. На выпускном экзамене ее сочинение на вольную тему прочли вслух как лучшее. Об одаренной девушке рассказали В. А. Гольцеву, он пригласил ее к себе со всеми рукописями.

«Несколько раз прошла я мимо подъезда, прежде чем позвонить... мне сказали, что Гольцев профессор, кроме того он писатель: печатает свои произведения в «Русской мысли»...

Мы с ним сидели в маленьком зальце, за столом, а кругом нас кишели дети. Может быть, их было и не так много, но они были до такой степени шумливы, подвижны и резвы, что заполняли собой все пространство.

Один мальчик все влезал на стул и рисовал у него что-то на лысине. Виктор Александрович только слабо отмахивался...»

Прочитавший эти строки навсегда запомнит Гольцева.

Любовь не требует пояснений. Ее брак с Авиловым в них нуждался. И она поясняет:

«Я решила, что выйду замуж «трезво». Мне жилось хорошо. Весело мне уже не было, но мне было интересно: я много писала...»

Они поселились в Петербурге. Ее муж донской казак Михаил Федорович Авилов был студенческим другом ее старшего брата толстовца Федора Страхова. Она признается, что будущего мужа «не любила, побаивалась... и ценила высоко».

И еще о нем: «Любезность он считал глупостью и сам всегда был дерзок, иногда тонко и умно, но всегда очень обидно... Я знала, что он умный... очень здраво глядящий на жизнь и очень верный человек.

Ужасно я тогда ценила этот «здравый взгляд и верность»...»

В Петербурге они поселились вблизи Худековых. В тесной квартире издателя «Петербургской газеты» бывали известные писатели, здесь же устраивались юбилейные обеды и чествования. Жена Николая Сергеевича Худекова Надежда Алексеевна, переводчица и театральная критик, познакомила свою сестру Лидию Авилову со многими литераторами.

Тут бывали Минаев, Лейкин, Потапенко. Бывал Антон Павлович Чехов. Впечатления о встречах и беседах с ними вошли в главу рукописи Л. А. Авиловой, озаглавленную «Петербург».

Она, делавшая в литературе свои первые шаги, не прошла для этих людей незамеченной.

Какой была она в ту пору?

«...был высокий рост, прекрасная женственность, сложение, прекрасная русая коса...» (И. А. Бунин).

В ней смесь застенчивости и любопытства к жизни, смешливости и грусти. Она забывала о том, что красива, потому что в ней было еще столько другого — ум, юмор, талант, постоянное ощущение своего несовершенства...

«Писательница! Чтобы иметь право доверять своей мысли, надо суметь провести ее через мысль, уже выраженную раньше... И жизнь и мысль — это всегда продолжение жизни и мысли...»

«Я прочла несколько серьезных книг: Миля, Шопенгауэра. Будто поняла, но почему-то мне это ничего не прибавило.

И вот я поняла: я безнадежна, потому что я не мужчина, а насквозь, прямо неистово — женщина».

В женственности ее сила, но она словно не понимает этого. Впрочем, позже, рассказав о встрече с Максимом Горьким в конторе книгоиздательства «Знание», о том, как, прочтя ее книги, он пришел к ней потолковать с глазу на глаз, оговорив, чтобы им не мешали, она запишет:

«...почему Горький ко мне приехал? Почему он горячо и много говорил? Да просто потому, что я тогда была молода и понравилась ему. Будь я умней в десять раз, талантливей в сто крат, но будь у меня очки на носу и закрученная косичка на затылке, никаких Горьких у меня бы не бывало».

И там же: «Лев Николаевич, конечно, не замечал моей наружности... Он узнавал меня при встрече, справлялся о моих занятиях, считал мои рассказы «хорошими» и даже как-то прочел вслух один мой рассказ... но мне кажется... что в этом случае, будь у меня очки и косичка, он отнесся бы ко мне еще лучше, еще внимательнее и теплее».

Попав в литературную среду, она вошла в нее легко и естественно.

Дом Худековых, литературный кружок Гнедича, завтраки у Тихонова — суетливые, где «всегда не хватало не только вилок, рюмок, но и стульев».

И здесь литераторы — Голицын, Муравлин, Морозов («сидевший в крепости», поясняет она).

Знакомство с Маминым-Сибиряком, Станюковичем. Дружба с Боборыкиным, новым романом которого после смерти Тургенева открывался каждый январский номер «Вестника Европы» и о котором Бунин сказал: «...очень умный был человек, только большим талантом бог его не наделил...»

Эта среда мастерски изображена ею в записках. Законченные портреты и живые наброски, сделанные легким касанием пера.

И если в пейзаже она живописец-импрессионист, то в портрете скорее график.

В ее галерее Лев Николаевич Толстой, быстро сбегающий по ступенькам навстречу молоденькой девушке, пришедшей к нему за советом, как ей жить, чтобы стать полезной народу. Его отеческий, разочаровавший ее совет — найти дело в своей семье.

И Максим Горький, первая встреча его с молодой писательницей, сударыней, как он назвал ее в разговоре, и ей это не понравилось.

«— Да ведь черт вас знает! Ведь вы все-таки дама? Ведь так? — Ну ладно... Дама,— согласилась я, смеясь».

Здесь и данная без грима великая Савина, и гротесковый Н. А. Лейкин со своей простоватой, добродушной женой Прасковьей Никифоровной. Они жили на Петербургской стороне в собственном деревянном доме и держали лошадь.

«И вот почти каждый день Прасковья Никифоровна отправлялась на этой лошади отвозить в редакцию „статьи“ Николая Александровича. Его сценки и рассказы она всегда называла „статьями“».

Она пишет по ночам. Пишет много. Лидию Авилу охотно печатают, хвалят. Ее имя встречаем в «Петербургской газете», в газете «Сын отечества», в «Ниве». Она издает свою первую книжку «СЧАСТЛИВЕЦ и другие рассказы». «Книжонку»,— уточняет она. Солидный журнал «Вестник Европы» принимает ее повесть «По совести». (В этой редакции с ней случился конфуз, о котором она потом рассказывала с присущим ей юмором: от смущения она не могла правильно назвать по имени редактора Михаила Матвеевича Стасюлевича и, путаясь, называла его то Стасюлей Матвеевичем, то Михаилом Стасюлеевичем.)

Этот случай стал широко известен благодаря ей самой — она была мастерица рассказывать о себе анекдоты.

Был любящий муж и маленький Левушка. Она жила в Петербурге, писала, печатала... А какие достались ей учителя!

Только вот писать приходилось по ночам.

Антон Павлович Чехов, с которым она встретилась у Худековых, подробно разбирает ее рассказы. Дает советы, которые она, по ее признанию, тогда «плохо понимала». Часто она обижалась, и он терпеливо разъяснял суть своих требований, потому что считал ее талантливой. Он часто призывает ее к холодности:

«...Когда хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее — это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисовывается рельефнее».

А то у Вас и герои плачут, и Вы вздыхаете. Да, будьте холоднее» (19 марта 1892 года, Мелихово).

Она старалась следовать его советам, но у нее получалось не холодно, а сухо.

«Пишет умственно-сухо», — сказал Лев Толстой о некоторых ее вещах. Он питал интерес к ее работе и один из рассказов, «Первое горе», включил в свой «Круг чтения» и написал ей по этому поводу:

«Я перечитал этот рассказ, и он мне понравился еще больше, чем прежде, то есть очень».

Внучка Авиловой подарила мне книжку, вышедшую в библиотечке книгоиздательства «Посредник» в 1906 году под номером шестьсот двенадцать. В тонкой серенькой обложке, на ней справа сверху автограф — Л. Авилова...

Книжка эта — книжечка — озаглавлена «ВЛАСТЬ и другие рассказы». Слово в л а с т ь в названии набрано очень крупно, остальное мелко, под ним. Пять небольших рассказов, они вместе заняли сорок шесть страниц.

Рассказы, знакомые мне по письмам к ней Чехова. Я прочла их впервые. И удивилась — ожидала другого. Более женского, что ли, письма.

Они написаны так, что не скажешь, будто их автор «прямо насквозь, неистово — женщина». Начиная с названий: «Власть», «Без прищипки», «Судебный следователь»... Социальное начало отчетливо в каждом и несколько выпирает.

Чехов учил ее: «Вы мало отделяете, писательница же должна не писать, а вышивать на бумаге, чтобы труд был кропотливым, медлительным» (15 февраля 1895 года, Петербург).

А тут была канва — без вышивки.

Писать приходилось по ночам. Пока в доме спят. Спешила... День принадлежал не ей. Дети — их стало уже трое — часто болели. Вспыльчивый муж разбрасывал по полу неудавшиеся оладьи, говоря, что ими «только в собак швырять».

«Я должна была идти за покупками и брать... кофе на Морской, сметану на Садовой, табак на Невском, квас на Моховой...

И должна была делать соус к жаркому сама, а не поручать кухарке... И еще главной моей заботой были — двери. Двери должны были быть плотно закрыты весь день, чтобы из кухни не проникал чад, и настежь открыты вечером, чтобы воздух сравнялся...

Уж какой там «кропотливый, медлительный» труд!

Говорят — тема носится в воздухе. Темы она находила, ловила их с быстротою ласточки, на лету. Иногда задолго до того, как их осваивали — обживали — другие.

В рецензии на повесть Лидии Авиловой «Наследники» Бунин (под псевдонимом И. Чубаров) пишет в «Литературном дневнике» «Южного обозрения» за 1898 год:

«В этой же книжке «Русского богатства» напечатана небольшая повесть молодой симпатичной писательницы Лидии Авиловой «Наследники»...»

Бунин излагает сюжет:

«Перед читателем — наследники отживающего и отжившего свой век барства, разоренного и придавленного бессилием и... безденежьем, цепляющегося за обломки широких и благородных в известном смысле традиций...

Второе поколение... Неутешительны отпрыски знатного барства, но еще неутешительнее отпрыски мелкого дворянства... сопоставление сделано удачно и итог подведен весьма смело. Надо приветствовать это произведение писательницы как значительный шаг вперед на литературном поприще» («Литературное наследство», т. 84).

В примечании сказано: «В повести Л. А. Авиловой Бунина привлекла проблема, в ней поставленная, — судьба русского помещичьего дворянства, истории вырождения которого был впоследствии посвящен «Суходол»...»

«Впоследствии»... И «Вишневый сад» тоже впоследствии, добавлю я.

Она была талантливей своих книг.

Что-то мешало бутону развернуться и благоухать в полную мощь. Потом обстоятельства изменились, и в воспоминаниях «Чехов в моей жизни», написанных «с большим блеском, волнением, редкой талантливостью и необыкновенным тактом» (оценка Бунина), она уже открыто являет нам свое лицо. Та же внутренняя раскованность и талант в ее записках и дневниках, включая последние годы жизни.

Какая в них свобода! Острый, я бы сказала, веселый ум.

Какая память чувств, давно пережитых!..

Несостоявшаяся судьба? Несостоявшаяся книга?

Но все же они состоялись — и судьба и книга о ней...

В семнадцатом году в селе Глотова Орловской губернии племянник Бунина Н. А. Пушешников записал:

«Ночью гроза. Иван Алексеевич почему-то, когда распахивалось небо от молний, вспомнил писательницу Авилову».

Пушешников приводит слова Бунина об Авиловой:

«Она принадлежит к той породе людей, к которой относятся Тургеневы, Чеховы. Я говорю не о талантах, — конечно, она не отдала писательству своей жизни, она не сумела завязать тот крепкий узел, какой необходим писателю, она не сумела претерпеть все муки, связанные с искусством, но в ней есть та сложная, таинственная жизнь. Она как переполненная чаша...» («Литературное наследство», т. 68).

Она как переполненная чаша...» («Литературное наследство», т. 68).

В 1916 году она овдовела. Авиллов поехал на Кавказ лечиться и внезапно умер вдали от дома. С опозданием, уже посмертно, словно из небытия пришла его телеграмма: «Всегда один, ухода нет...»

Смерть мужа поразила ее, оставила чувство вины. В воспоминаниях и дневниках то и дело возникает человек, за которого она вышла когда-то замуж трезво. И чувство ее вины перед мужем возникает тут же как его тень.

Чехов пишет Суворину, объясняя присущее Иванову, герою своей пьесы, ощущение вины: «Это чувство русское. Русский человек... всегда чувствует себя виноватым».

Виноваты были оба.

Авиллов выбрал жену не по себе. Любил ее, страдал от нелюбви, которую она не умела скрыть. Ее талант, внешняя привлекательность, живость ума, все, что ценили в ней другие, были для него как бьющий в глаза яркий свет. Его защитой были скепсис и насмешка, мелочные придирки. Ее литературные опыты он считал пустячными. Он ревновал к ним, боясь, что они отвлекут ее от обязанностей жены и матери.

Вина Лидии Алексеевны Авилловой была в том, что она вышла замуж без любви — трезво. Она не ошиблась в «вычислениях на прочность» своего брака с Авилловым. Но в ее расчетах не было учтено главное — как эта прочность и преданность совместится с ее характером, живым и непосредственным.

Я пишу так много об Авиллове, потому что без него портрет Лидии Алексеевны не будет полным. Потому что его присутствие, зримое или незримое, ощущалось ею везде, где возникал — пусть только в мыслях — Чехов.

Авиллов был добр, когда не вмешивалась ревность. Зная, как дороги ей Клеветки, выкупает их на аукционе, после того как ее брат Павел — они были завещаны ему — успел их промотать.

И он же отказывает ей в деньгах на издание новой книги³:

«Не принимай всерьез своих успехов. Ерунда! Будет только смешно, если ты о себе вообразишь».

«Но мне не вообразить хотелось, — пишет она. — Мне так необходимо было что-то оформить из себя. Я... издала книгу. Она имела ус-

³ Первая была издана в кредит.

пех. Однако на вторую книгу Миша денег не захотел дать. Так и осталось. И я пропала. Безвозвратно».

В ее жизнь вошел Антон Павлович Чехов.

Это была их вторая встреча. В доме Худековых праздновали юбилей «Петербургской газеты». За столом они сидели рядом — Чехов отказался сесть ближе к «сонму светил», и остался возле нее «в уголке у окна».

В своих воспоминаниях «Чехов в моей жизни» она приводит слова Чехова, обращенные к ней в тот день:

«...не кажется вам, что когда мы встретились с вами три года назад, мы... нашли друг друга после долгой разлуки?»

И он продолжал: «Такое чувство может быть только взаимно. Но я испытал его в первый раз и не мог забыть...»

Там был ее муж. Он ушел, не дождавшись конца торжества, — не мог вынести ее оживления. Он тогда уже догадался — Лида, его жена, полюбила Антона Павловича. Он понял это раньше, чем поняла она.

Что он мог выставить против такого соперника? Неказистую внешность, в которой «хороши были только глаза»? Свой несносный характер, от которого сам страдал?.. Ни «авторитет», ни «прочная верность», знал он, не победят ее чувства.

Только дети. На них он надеялся.

«Я была страстная мать, — запишет она потом. — Любила своих детей тревожно, болезненно».

Он это знал и пользовался их защитой.

Эти три якоря удержат ее, какая бы там в душе ни бушевала буря.

И удержали.

Дети объединяли двух несхожих, не созданных друг для друга людей в одно. Была семья.

«Любимая семья», как скажет она однажды Чехову в ответ на его, счастлива ли она...

И добавит: «Но разве любить — это значит быть счастливой?»

Смерть Чехова избавила Авилова от ревности и опасений.

Лидия Алексеевна Авилова в неопубликованном эпилоге воспоминаний «Чехов в моей жизни» рассказывает о том, как она узнала о смерти Антона Павловича.

Был июль. Они жили в Клеточках и ждали с вечерним поездом гостей. Когда их встретили, и развели по комнатам, для них предназначенным, «Миша быстро подошел ко мне, взял меня под руку и вывел на неосвещенный балкон».

— Вот что... — сказал он резко, — вот что... Я требую, чтобы не было никаких истерик. Я требую. Слышишь? Из газет известно, что второго в Баденвейлере скончался Чехов. Мы этой газеты еще не получили. Так вот... Веди себя прилично. Помни!

Он сейчас же быстро ушел».

Она описывает эту ночь, которую пережила. Короткую летнюю ночь без сна, с думами о том, кто сделал ее жизнь такой несчастно-счастливой...

Она не видела Антона Павловича пять лет. С той встречи, когда была в Москве проездом с детьми и он пришел на вокзал.

Он просил ее тогда задержаться на день, чтобы посмотреть с ним вместе «Чайку» — ее давали без декораций, для него одного.

«Мне очень хотелось бы, чтобы вы посмотрели «Чайку» вместе со мной».

Она отказала ему: Как тогда в больнице: «Останьтесь на день. Для меня».

Каждый раз отказывала ему в том, чего сама так сильно желала. Отказывала ему — и себе.

С какой охотой она выполняла все его поручения. Разыскать в старых пыльных номерах «Петербургской газеты» его забытые ранние рассказы, необходимые ему в связи с марксовским изданием. Найти людей, которые их перепишут, и переслать это ему в Ялту.

«...после долгих размышлений я решил, что больше не к кому мне обратиться с этой просьбой».

Было время, когда он решил купить в Москве дом, и она пересмотрела их множество в поисках подходящего...

Он, не любивший никому докучать, легко обращался к ней — знал, что доставит ей этим радость. Она находит слово более сильное:

«Поработать для Чехова — какое счастье!..»

А тут — отказала.

Прощаясь, «он вдруг обернулся и взглянул на меня строго, холодно, почти сердито.

— Даже если заболете, не приеду,— сказал он.— Я хороший врач, но я потребовал бы очень дорого. Вам не по средствам. Значит, не увидимся».

Это была их последняя встреча. И его последняя просьба к ней. И вот он умер...

Она думала о нем всю ночь — без слез. Старалась привыкнуть к тому, что его нет. Вспоминала его письмо, последнее:

«Главное, будьте веселы...»

«Да, сам он когда-то был очень веселый. Я это помню. А потом гасла, гасла его веселость и грусть постепенно, но настойчиво овладевала его душой. Я знала, почему...»

И она приводит его слова из того же письма:

«Да и стоит ли она, жизнь, которую мы не знаем, тех мучительных размышлений...»

Она думала о нем как о писателе:

«Люди читали, похваливали... но не было таких, которые оглянулись бы на себя и сказали бы себе: «Стыдно! Да, действительно, стыдно так жить!» И его же упрекали, что он не идейный писатель, что он не учит, не руководит, не дает идеала. Разве не пропал даром весь его громадный талант? Разве он не чувствовал этого?»

Авилова дает блестящее, на мой взгляд, определение Антона Павловича Чехова, отличающее его от других:

«Он не давал формы, внешности, костюма. Вот поклонники учения Толстого сейчас же сшили себе «толстовку», широкие штаны, отказались от мяса, от воинской повинности и поэтому становились толстовцами и чувствовали себя гордо.

Еще раньше девушки стригли волосы, носили косоворотки, не чистили ногтей и назывались нигилистками.

...требования Чехова были иные... надо было иначе чувствовать, иначе думать, чтобы не было «стыдно». И за это никаких знаков отличия, никакой этикетки...

Очень любили Чехова и замучили...»

И там же:

«Чехов умер,— напомнила я себе.— Умер.

Я приподнялась и облокотилась на подоконник. Уже совсем рассветло, и высоко в небе заалело облачко. И опять всплыло лицо Чехова на подушке.

— Милая,— услышала его голос. Резкой болью кольнуло в сердце, я невольно вскрикнула, и тогда слезы хлынули из глаз».

В год их последнего свидания — на вокзале — Чехов пишет «Даму с собачкой». Годом раньше написан рассказ «О любви».

Это развитие той же темы. Как бы диалогия.

Если прежде его чувство к Авиловой и самая тема владели им, то теперь он владеет ими — своим чувством и темой.

«Цветы девицы Флоры» кончались этой догадкой:

«Свидания в гостинице, посыльный — «красная шапка», бегство из театра посреди спектакля. И опять: «Они любили друг друга как очень близкие родные люди...»

И женщина — молодая и не защищенная рассудком, не избежавшая трудной любви, где страдание и счастье так перемешаны, что нельзя понять, где кончается одно и начинается другое.

Это был рассказ о том, чего не было и что могло быть между ними.

Но она должна была быть другой.

И он написал ее — другую.

Лидия Алексеевна Авилова прочитала рассказ и в этой, другой женщине себя не узнала.

«...не защищенная рассудком», — написала я тогда.

Не защищенная любовью к своим детям — написала бы я теперь.

В ее записках приведен разговор с Антоном Павловичем о нравственности. Он есть и в напечатанных ею воспоминаниях, но тут подробней, он словно неотшлифован. И тем интересен:

«Я помню, как я один раз сказала ему, что не родители воспитывают детей, а дети родителей.

— Как я могла бы подойти к своим маленьким, если бы на моей совести было пятно? Мне кажется, это было бы невозможно! И тогда как жить?..

Он задумчиво повторил:

— Как жить?

И, помолчав, добавил:

— У вас врожденная, настоящая нравственность...

Был однажды общий такой разговор. Он спрашивал по какому-то поводу: справедливо ли, что ошибка в выборе мужа или жены должна испортить всю жизнь?

Конечно, я ответила, что совсем несправедливо, нелогично и даже непростительно и возмутительно.

Он очень удивился.

— Вот не ожидал от вас такого ответа! Я предполагал, что вы узки и строги.

— Возможно, что вы правы и что для вас мой взгляд и строг и узок. По-моему, нельзя в этом вопросе руководствоваться одним чувством, а всегда надо знать наверное, стоит ли? Взять всю сумму неизбежного несчастья и сумму возможного счастья и решать: стоит ли?»

«Я была уверена, — пишет Авилова, — что он скажет: «Это значит не любить», или возмутится расчетливостью, а он замолчал, думал, нахмурился и потом спросил:

— Но, в таком случае, когда же стоит?

Я сказала:

— Когда нет жертв, которых очень, очень жалко и с той и с другой стороны. А в одиночку, всегда можно все перенести, то есть не пожалеть себя. Именно себя надо меньше жалеть, и тогда ясно будет, стоит ли?

— Я уже говорил вам, что у вас какая-то настоящая, невыдуманная нравственность, — неожиданно заключил он, и я с радостью почувствовала, что он понял меня».

В рассказе «О любви» все было как в жизни, сохранено даже отчество Авилловой. Одиноким Алехин и Анна Алексеевна, «молодая, красивая, умная женщина». У нее немолодой неинтересный муж, который «рассуждает с таким скучным здравомыслием...».

И дети — вначале один, а потом и двое. «Даме с собачкой» оставлено то же имя, изменено только отчество. У нее нелюбимый муж с сухой нерусской фамилией фон Дидериц, который «где-то служит», и... собачка. Белый шпиц.

Так у дамы появилась собачка.

Устранено то, что мешало любви. Тайные отношения с Гуровым оправданны, обусловлены желанием жить с любимым человеком и невозможностью преодолеть естественные препятствия: у героя рассказа опять же семья — жена, дети...

Дети в особенности. Он несвободен, потому что не может принести в жертву тех, кого очень, очень жалко...

По пути на свидание с Анной Сергеевной, идя с дочерью, «которую хотелось ему проводить в гимназию», он скучно объясняет ей, почему идет снег.

«— Папа, а почему зимой не бывает грома?»

Он объяснил и это».

И сколько еще всего надо объяснить детям... Они ни в чем не повинны.

Невозможно переступить через них, получив оправдание автора. Для него очень важно, что Анна Сергеевна нравственно чиста.

Всего год отделяет рассказ «О любви» от рассказа «Дама с собачкой». Но как переменялся подход Чехова к той же теме, насколько глубже, серьезней она разработана.

Чудится, переменялся не только подход к теме, но и сам автор.

Прочтя опубликованные воспоминания Авиловой, Бунин рассказал Вере Николаевне Муромцевой-Буниной о своем разговоре с Антоном Павловичем — Чехов советовал Бунину вернуться к жене, так как маленький сын будет страдать (речь шла о первой жене Бунина, с которой Иван Алексеевич расстался).

Иван Алексеевич, улыбнувшись, заметил: «Это влияние Авиловой, как я теперь понимаю, она говорила Чехову: „Ведь непременно будут жертвы. Прежде всего дети. Надо думать о жертвах, а не о себе“».

«Дама с собачкой» — роман, сжатый в атом рассказа. Энергия чувства, заключенного в нем, не убывает. Не высвобождается на протяжении стольких лет, сохраняя разрушительную силу.

Все так явно в этом рассказе, детали его столь реальны. И опять «Славянский базар», подсказанный еще в «Чайке». В нем останавливается всякий раз Анна Сергеевна, приезжая в Москву на свидание с Гуровым.

Как могло случиться, что Авилова не узнала себя в Анне Сергеевне? Не узнала свой голос в коротком монологе, где Анна Сергеевна говорит о себе: «...меня томило любопытство... ведь есть же, — говорила я себе, — другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить...»

Это ее интонация, хорошо знакомая мне теперь по ее записям и дневникам. Тот же взволнованный голос. Самая фраза, словно оттуда вынутая:

«Хотелось пожить! Пожить и пожить...»

Не узнала себя. Помешала неуверенность, «никогда не верила, что он меня любит». Или то, что она знала наверняка, — этого не было.

И — не могло быть. Потому что «будут жертвы»...

Юрий Соболев в своей книге «Чехов» (издательство «Федерация», 1930) насильственно притягивает рассказ «Дама с собачкой» к едва возникшей в ту пору в жизни Антона Павловича Ольге Леонардовне Книппер. Первые письма будущей жене датированы 1899 годом. В том же году написана «Дама с собачкой». Это горестный

рассказ о любви без будущего. Он создан на перекрестке минувшего с новым, едва возникшим. Рассказ-прощанье.

«Я умею писать только по воспоминаниям и никогда не писал непосредственно с натуры. Мне нужно, чтобы память моя процедила сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно...» (письмо Чехова Батюшкову от 15/27 декабря 1897 года).

Близилась пора воспоминаний.

«Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась...»

«...печально сложилась» у Чехова с Авиловой.

С Ольгой Книппер все еще только складывалось и все было впереди.

Лидия Алексеевна Авилова посвящает главу своих записок поездке в Крым с мужем и дочерью Ниной.

«Я помню свои мысли на балконе — в Симеизе. Миша подошел ко мне и обнял меня.

— Ты думаешь о судьбе своих детей.

— Почему ты угадал?

— Я знаю.

Я прислонилась к нему, и мы думали вместе. Но молчали. Чувства Миши и его мысли были всегда гораздо нежнее, мягче его слов. Я знаю, что тогда мы думали и чувствовали одно и то же...

Разве жизнь так богата счастьем, чтобы его выбирать?

В эту весну двое из моих трех наших свое счастье, захотели его всей душой. И эти двое спросили у нас: «Можно? Вы согласны? Вы поможете нам быть счастливыми?..»

...Мы, разные, но одинаково любящие, мы могли сказать только то, что кричала нам наша любовь. И я, после тяжкого разочарования в себе, в своем знании и опыте... хотела (детям.— И. Г.) счастья во что бы то ни стало. Я хотела его с отчаяньем, с безумьем. Отец хотел осторожно... с пронизательностью, свойственной ему во всем... Он боялся. Но не только боялся: он ревновал.

...Да, когда мы глядели тогда, обнявшись, на море и молчали, это была, кажется, самая многозначительная минута нашей общей жизни. Какое чувство! Ему нет слов! Точно наши двое из трех уплывали от нас в это безбрежное море...»

Переживание, которое мог разделить с ней только один человек на всей земле — Михаил Федорович Авиллов.

Со смертью Антона Павловича для Авилова наступила пора покоя. И для нее отчасти тоже.

«Разве любить — значит быть счастливой?..»

Покой вспоминался потом как счастье. Главу, посвященную смерти мужа, она называет «Последний день счастливой жизни».

Случались дни, исполненные мира и благодати. Чаше случались они летом в родных Клекотках.

«Я сижу в кабинете со спущенными шторами. Хочется писать, но ручка прилипает к пальцам... из чернильницы лезут мухи.

...Ах, сколько было этих дней в кабинете, с мухами, жарой, с мыслями о чьих-то чужих и небывалых жизнях, потому что в своей было тихо, покойно, жарко...»

Протягивалась Мишина рука и подавала на листьях клена ягоды земляники...»

Он умер, не дожив полгода до свадьбы дочери Нины. Она вышла замуж в семнадцатом году и вскоре эмигрировала — так пожелал ее муж офицер Владимир Гзовский.

Революция свершилась. Прежняя жизнь рухнула, новая еще не наладилась. Лидия Алексеевна с двумя сыновьями — Львом и Всеволодом — в Москве.

Ей пятьдесят три года. Трудно переносить лишения, отвыкать от привычного. Она терпит неурядицы наравне с молодыми. Только строка в дневнике — как сдержанный вздох:

«12. 2. 1919.

...И вот хочется быть бодрой, веселой.

Сколько месяцев я сплю одетая, под тяжестью одеял и шубы... Как утомительно, что все, что я беру в руки, — мерзло, сыро, невыносимо!»

В ее комнате плюс два градуса. Она пьет морковный чай и находит, что это «не только не скверно, а прямо хорошо». Потому что, «запах чая нет, но нет и другого запаха».

Трудности быта в ее дневнике. В свои записки — воспоминания — она их не пускает. Там другая, высокая жизнь — жизнь ее души.

Сны ее жизни, как однажды она их назвала.

Там она размышляет и вспоминает.

Она пишет: «...я чувствую, что чем я старше, тем больше я люблю жизнь и тем больше жизнь эта не во мне, а в окружающем...»

И о любви к природе: «...это единственная любовь, которая дала мне только (выделено ею. — И. Г.) счастье...»

Вспоминает, как еще с матерью сажали в своих Клекотках деревья, делали лунки и бабы смеялись, что она копает в перчатках. Смеялась с ними и она — «разве лучше натереть мозоли?»

В ее рассказе «Без привычки» хозяйка имения смотрит вслед брату, идущему по лесу на стук топора узнать, кто рубит. Как он, «неловко ступая среди травы и сухих сучьев, направился к оврагу». И дальше: «Он шел, слегка подпрыгивая на своих длинных тонких ногах; раз или два он споткнулся, и, по движению его локтя, Ольга Ивановна угадала, что он опять поправил очки.

„Коля — дачник, — подумала она, — в деревне он и ходить-то по-настоящему не умеет“».

Лидия Авилова не дачница среди природы. Она своя. Для нее смерть — это слияние с природой, растворение в ней. И потому не страшно.

Новелла-воспоминание «Тилька», в ней дама разговаривает со своей собачкой. Авилловский фокс потерялся, они искали его, не нашли.

Вдруг за окном среди молчания зимней ночи раздался негромкий, деликатный лай. И вот он в тепле, дома. Его, гуляку, впустили, дали поесть.

«Дрянь! — тихо говорила я ему. — Где ты шляешься? Что это за идиотские увлечения? Ведь ты маленький, сравнительно слабый...»

В дневниках — радости и волнения будней. Мысли о прочитанном. Она читает Ключевского, Романа Роллана. Спорит с Гёте.

«Если поэт болен, — говорил Гёте, — пусть он сначала вылечится».

Ее мучит неизвестность о судьбе дочери Нины, уехавшей за границу. Огорчает возраст. Впрочем, «старятся все вместе, кто вместе был молод».

И — «я не умею догорать. Я не состарилась... Я притворилась старухой, потому что на мне маска старости, и я должна ей соответствовать».

Душа бунтует. «Я не правильная старуха. И вот я верю... что стоит мне сорваться желтым листком со стебелька, как я опять уже буду почкой. Умру, чтобы жить...»

Ирония над собой. Она намеренно старит себя, ей это свойственно. Муж называл ее «правильной старухой» задолго до старости. Когда был ею доволен.

Лидия Алексеевна получает известие о дочери. Они в Чехословакии. У них есть маленький Миша — нареченный Ниной в память об отце Михаиле Федоровиче.

Узнав, что дочь тяжело больна, она едет к ним. Гзовские вскоре расходятся, и Авилова увозит на родину неизлечимо больную дочь и внука.

Живя в Чехословакии, она разыскала близкую ей семью Буниных, обитавших в Париже. Началась переписка. В своей неоконченной книге «Чехов» И. А. Бунин приводит некоторые письма Авиловой к нему и его жене Вере Николаевне.

В эмиграции Лидия Алексеевна не прижилась — тянуло на родину. Не только потому, что там остались ее сыновья. Просто там все было свое, а здесь — чужое.

Не всякое дерево может прижиться на новой почве. Думаю, что чем богаче интеллект, чем развитей душа, тем это труднее.

Лидия Алексеевна Авилова принадлежала русской интеллигенции в самом высоком значении этого слова.

Описав по просьбе Буниных свою жизнь в России (те первые после революции годы, голод и холод, доставлявшие ей физические страдания, и вызванную ими болезнь — туберкулез легких; и торговые ряды на рынке, где она продавала свою одежду и где такие же, как она, продавцы в «буржуйном», или «дворянском», ряду разговаривали между собой по-французски; и мышшей, которые были везде — «на столе, в постели, даже в карманах платья»), Авилова заключает:

«А теперь я думаю, что все это было терпимо...»

Из другого письма (4 июня 1923 года):

«Но мне мои выступления обходятся дорого... Их тут приезжает много, много, и все идут поговорить ко мне, потому что я недавно... «оттуда»... тут нельзя жить со своей точкой зрения на что бы то ни было. Надо подравняться.

А у меня и точки-то нет... я ищу, тоскую и, представьте себе, я люблю до страдания свою родину... Там кто-то что-то понимает. Там мне было очень плохо. Здесь мне противно и скучно. И я боюсь здесь умереть».

Она вернулась на родину. В 1930 году ее дочь умерла. Не стало той самой Ниночки, которая девочкой сидела на коленях у Антона Павловича в день их последней встречи на вокзале, и он, ласково перебирая ее золотистые локоны, пошутил, что она «похожа на классную даму». Ниночки, «которая очаровала меня в Москве», вспоминал о ней Бунин. Воспитание осиротевшего внука⁴ стало смыслом убывающей жизни. И еще — ее воспоминания о Чехове, которые были созданы в тридцатые годы.

В 1940 году она рискнула отдать в печать свою рукопись.

Прошли годы, и она уже не столько опасалась возможного гнева Марии Павловны. Сильней был страх, что воспоминания могут затеряться... Как затерялся ее «литературный сундучок», отданный на хранение семье Даниловых. В нем книжки журналов с ее повестями и рассказами разных лет и красивый ящичек с письмами к ней Гольцева, Бунина, Максима Горького. Из-за этой шкатулки, полагала Авилова, они и были украдены. Возможно, разочарованный содержимым, вор уничтожил драгоценные письма. И среди них письмо некоего Алевина, адресованное Анне Алексеевне Луганович.

А может быть, эти письма еще найдутся? Если бы!..

Узнав о женитьбе Чехова, Лидия Алексеевна решила поздравить его по-своему и тем как бы продолжить рассказ Чехова.

⁴ М. В. Гзовского (1919—1971), впоследствии крупного ученого-геолога.

В конверт, адресованный Антону Павловичу, она вложила другой — с письмом Алехину от Анны Алексеевны Луганович (герои рассказа Чехова «О любви»). В сделанной ею приписке она просила Чехова переслать письмо по адресу, который ему должен быть известен.

Луганович писала Алехину, что рада за него. Благодарила его за то, что вся ее молодость была точно обрызгана свежей душистой росой. И спрашивала Алехина, счастлив ли он.

С помощью Чехова Анна Алексеевна Луганович получила письмо от Алехина:

«Низко, низко кланяюсь и благодарю за письмо.

Вы хотите знать, счастлив ли я? Прежде всего, я болен. И теперь знаю, что очень болен. Вот Вам. Судите как хотите. Повторяю, я очень благодарю за письмо. Очень. Вы пишете о душистой росе, а я скажу, что душистой и сверкающей она бывает только на душистых, красивых цветах.

Я всегда желал Вам счастья, и если бы я мог сделать что-нибудь для Вашего счастья, я сделал бы это с радостью. Но я не мог.

А что такое счастье? Кто это знает? По крайней мере я лично, вспоминая свою жизнь, ярко сознаю свое счастье именно в те минуты, когда, казалось тогда, я был наиболее несчастлив.

В молодости я был жизнерадостен — это другое.

Итак, еще раз благодарю и желаю Вам и т. д.

Алехин».

Так писал Авиловой Чехов на пороге своей новой жизни.

«...ярко сознаю свое счастье... когда, казалось... я был наиболее несчастлив».

Когда же он был несчастлив, Алехин? «Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней...»

Цветы... Сравнение с цветами часто в их переписке.

Мария Павловна Чехова пишет в книге «Из далекого прошлого»: «Лидия Алексеевна Авилова передала мне все письма к ней брата...»

Письмо Алехина Авилова оставила у себя, сочтя его слишком личным. Обнаружив, что оно утеряно, она очень горевала. И сделала для себя копию — она помнила его наизусть, как стихи. Есть ее запись на полях рукописи: «Может быть, добавить и письмо Алехина? Но оно только переписано. Подл[инника] нет. Можно ли?»

Работая над окончательным вариантом своих воспоминаний, она делает запись в дневнике:

«27.ХІ. 1939 года.

Я сегодня уничтожила копию письма Алехина. Жалко. Я сделала ее после того, как погиб оригинал. Помнила каждое слово, даже длину строк. И написала все точь-в-точь так же, даже подражая мелкому почерку Ант. П.

Так вышло похоже, что меня это утешило. И я долго хранила эту копию. А сегодня уничтожила. Вот почему: нашли бы после моей смерти, и, конечно, узнали бы, что это фальшивка, подделка.

Кто мог бы понять, зачем она сделана? Не возбудило бы это подозрений? Не отнеслись бы с недоверием к моей рукописи? Одна ложь все портит...

Один обман — все обман, все ложь, все подделка, как письмо.

И не хотела я совсем упоминать об этих письмах Луганович — Алехина, да не могла вычеркнуть их. Они меня так примирили, так утешили. Без них... После моей смерти... Неужели еще долго жить?»

Письмо «Алехина», оставшееся в воспоминаниях Л. А. Авиловой, было впервые опубликовано в чеховском томе «Литературного наследства» (1960).

А что, если там, в шкатулке, было и другое письмо? Еще более личное? Запись в дневнике Авиловой:

«В этой тетради я пыталась распутать очень запутанный моток шелка, решить один вопрос: любили ли мы оба? Он? Я?»

«...В клинике я был слаб. Я недостаточно владел собой. Но, может быть, мы слишком много рассуждали, слишком сдерживались...»

(«Из пропавшего письма» — пометка Л. А. Авилловой.— И. Г.)

И ниже: «Нельзя забыть, что я больной. Не могу забыть, не должен забыть. Связать с собой женщину молодую, здоровую... Отнять у нее то, что у нее есть, а что дать взамен? Я врач, но я не уверен, что я вполне выздоровею».

(«Из того же письма» — пометка Л. А. Авилловой.— И. Г.)

Внучка писательницы поясняет: «Примечания сделаны на полях тетради карандашом, нетвердым почерком...»

Видимо, они были сделаны в том же 1939 году, когда была уничтожена копия утерянного письма Алехина Луганович.

В нем этих фраз нет. Да и быть не могло. Они явно относятся к переписке более ранней. Скорее всего Авилова оставила его у себя как слишком личное. Как оставила у себя письмо, подписанное «Алехин», сочтя невозможным его публикацию.

Письма от Антона Павловича Авилова получала по почте до востребования, о чем сама говорит.

Иногда Чехов писал в Москву на Плющиху с припиской: «Для передачи Лидии Алексеевне Авилловой».

В годы, когда Мария Павловна занималась собранием чеховских писем, был еще жив муж Авилловой Михаил Федорович.

Все это надо учитывать, когда мы говорим об их переписке.

Мы можем только гадать...

В книге «Из далекого прошлого» Мария Павловна Чехова пишет, что Авилова попросила вернуть ей ее письма Антону Павловичу, «что я и сделала».

Тут нужна поправка. Три письма Л. А. Авилловой Антону Павловичу остались у Марии Павловны и были переданы ею вместе со всем чеховским архивом в начале двадцатых годов в отдел рукописей Государственной библиотеки имени Ленина.

1904 год. Февраль. Последняя вспышка в их переписке. Перед тем долгое молчание. И вот ее письмо Антону Павловичу с просьбой дать «маленький рассказик, хотя бы страничку на помощь раненым на войне» в затеянный ею сборник.

Он отвечает ей сразу. И она вновь пишет ему.

Приведу выдержки из второго, наиболее интересного, письма Авилловой Антону Павловичу:

«И вот Вы ответили мне не так, как я боялась!

Я знаю, что мое письмо опять-таки издерганное. Но это оттого, что я сегодня глупо счастлива. Я давно уже не пишу издерганных писем, я выучилась застегивать на все пуговицы свой нравственный вицмундир...»

Воображение подскажет нам, как усмехнулся Антон Павлович по поводу «нравственного вицмундира».

«Пять лет. Я бы очень хотела видеть Вас, рассказать Вам и многое снять с себя, что мне так ненавистно. И в особенности в мои годы, когда жизнь прошла (Л. А. Авилловой в 1904 году сорок лет.— И. Г.), сознавать себя все еще смешной и жалкой так тяжело! Точно позор. А я по совести не чувствую, что заслужила его.

Простите мне, Антон Павлович, мою непрошеную откровенность. Я хватаюсь за случай, но я не искала его.

Я все боялась, что я умру и не успею сказать Вам, что я Вас всегда глубоко уважала, считала лучшим из людей.

И что я же оклеветала себя в Вашем мнении. Так вышло. И это было самое крупное горе моей жизни...

Мне не надо, чтобы Вы меня простили, я хочу, чтобы Вы меня поняли.

Ваша Л. Авилова».

Что хочет снять с себя Лидия Алексеевна? «Точно позор», — говорит она. Но позор, не заслуженный ею. И в то же время «я... оклеветала себя в Вашем мнении. Так вышло».

Нам известен лишь один случай на ранней поре их знакомства. Она поверила сплетне о том, что Антон Павлович в день встречи с ней на юбилейном обеде «Петербургской газеты» «кутил со своей компанией в ресторане, был пьян» и говорил, что хочет увезти ее, добиться развода, жениться.

И что его друзья одобряли его и даже качали.

Она не вполне поверила, но все же тогда упрекнула его в письме.

Он сейчас же ответил:

«Ваше письмо огорчило меня и поставило в тупик. Что сей сон значит? Мое достоинство не позволяет мне оправдываться... сколько могу понять, дело идет о чьей-нибудь сплетне? Так, что ли?»

Убедительно прошу Вас... не верьте всему тому дурному, что говорят о людях у вас в Петербурге... Успокойтесь, бога ради. Впрочем, бог с Вами. Защищаться от сплетни... бесполезно.

Думайте про меня, как хотите».

Это письмо Чехова к ней кончалось словами:

«...с удовольствием помышляю о своем решении никогда не бывать в Петербурге».

В опубликованных воспоминаниях Авилова рассказывает об этом недоразумении:

«...меня ужасно огорчало его решение никогда больше не приезжать в Петербург... каждый раз при этой мысли больно сжималось сердце».

Прошло двенадцать лет с той размолвки. Она длилась больше года, до того письма от 1 марта 1893 года, в котором он написал ей, что «уже не сердит». И там же: «У нее (Надежды Алексеевны, сестры Авиловой. — И. Г.) я хотел встретиться и с Вами. Можете себе представить. Как это ни невероятно, но верно».

И сам же вспоминает, что нарушил свое обещание не бывать больше в Петербурге. «...Вы, конечно, умышленно пропустили еще одну мою вину...»

Большой и в то же время не слишком большой срок для случившегося, которое она называет самым крупным горем своей жизни. «Теперь пора это сказать», — заключает она.

Из того же второго письма (февраль 1904 года):

«Мне суждено всю жизнь порываться так или иначе и потом долго, и н о г д а г о д а м и (выделено ею. — И. Г.) страдать от стыда, презирая себя до того, что и жалости к себе не чувствуешь. Одно чувствуешь: ничего поправить нельзя! Слова — пустой звук. Словами же самое чистое, святое, дорогое чувство облекается в какую-то пошлую захватанную форму и передается людям.

Я всегда была очень неловка. Может быть и теперь...»

Что побудило ее коснуться этого?

Произошла ли какая-то новая неловкость с ее стороны, случайная и непредвиденная? — «я же оклеветала себя в Вашем мнении. Так вышло».

Некоторое подтверждение этой версии дает ее письмо Чехову, посланное вслед:

«А я умею изредка устраивать такие штучки. В прошлом году у меня был Алекс[ей] Макс[имович] Горький, сидел вечер, пили чай, а на другой день в Пет[ербургской] газете появилась целая статья о том, что он говорил, что и как пил и ел. С тех пор я его не видела. Он,

долж[но быть], думает, что я получила за статью несколько рублей. А я готова была кусаться или повеситься от стыда. Это мне Коля Худков удружил. Он вообще ко мне не расположен, а тут еще очень рассердился, что не позвала его (пить чай с Горьким.— И. Г.), несмотря на его настойчивое желание».

Возможно, и здесь случился подобный казус.

Впрочем, внимательно сличив воспоминания Авиловой (издание 1960 года) с этим письмом, можно почти с уверенностью сказать, о чем идет речь.

Вскоре после встречи на вокзале 1 мая 1899 года Авилова написала Чехову письмо, но ответа не получила. Решив, что ее письмо не дошло, она написала вновь. Снова молчание. Это было на него не похоже. «Долго спустя», узнав, что он в Крыму, она написала ему в Ялту. Она пишет: «Этого письма он не мог не получить, т. к. оно было заказное».

Мог и его не получить, добавим от себя. Но если получил и не ответил, значит, решил, все решил для себя окончательно. Решил за себя и за нее. Еще тогда, на вокзале.

С того мая все кончилось — их переписка, встречи. Резкое прекращение отношений — уже само по себе отношение. Что-то вдруг как оторвалось, сломилось.

В письме, посланном в Ялту заказным, она «не могла скрыть ни своей любви, ни своей тоски».

И это жгло ее долгие годы: «Точно позор. А я по совести чувствую, что не заслужила его».

Она писала ему, ничего не зная о принятом им решении, если это было решение, а не какая-то неувязка с доставкой писем.

И главное — писала ему о своей любви, не зная, что он не ощущал уже себя одиноким: в его жизни появилась женщина.

«...сознавать себя все еще смешной и жалкой так тяжело!..»

И снова можно только гадать...

Лидия Алексеевна Авилова пишет в своем дневнике:

«...в этих тетрадах, которые я сейчас исписываю, я могла бы расписаться. Но я добросовестно искренна. Самое легкое вдохновение уже не допускает искренности, потому что она ничто перед вдохновением...»

Авилова избегает вдохновения. Я в этих записках избегаю всего, что могли бы счесть вымыслом — литературой.

Моя задача здесь иная — исследовать личность Лидии Алексеевны Авиловой и ее роль в жизни Антона Павловича Чехова.

Повернуть бинокль, который нарочито умалил ее роль, другой стороной и тем приблизить ее. Дать крупно.

Для этого не художество нужно, а документ.

И если догадка, то обоснованная документом — письмом, цитатой. Еще одна попытка «распутать очень запутанный моток шелка». Удалась ли она? Судить читателю. Но судить надо беспристрастно...

Между ними, Чеховым и Авиловой, при их жизни было много тайного, скрытого от посторонних. Скрытого и от них самих.

В своей любви они оба не знали счастья.

«Я был несчастлив» — Чехов в рассказе «О любви».

«Одна боль...» — Авилова в дневнике.

Но счастье присутствовало в их отношениях, оно было как солнце за пеленой облаков.

Иногда оно прорывалось и озаряло их лица.

ЗОЯ ВЕЛИХОВА

★

ЧАСЫ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ

Он себя сработал крепко.
Умудрен и деловит.
А сюда приходит редко,
Неуверенно звонит.
И, не раздеваясь, с ходу
Коридором прямо в дверь,
Чтоб в забытую свободу
Окунуться. Здесь. Теперь.
Бытом немногэтажным
Эти улицы тверды.
Стынет дом на ветре влажном
У реки, несущей льды.
Здесь, как из высотных окон,
Вся столица не видна.
И уже странна немного
Переулка тишина.
Но прошли года надменно,
И осадок в глубине,

Что, наверно, нет замены
Этой ветхой тишине,
Миру комнат небогатых,
Где на этажерке в ряд
Строим, в рамочках, как в латах,
Фотографии стоят.
Миги жизни быстротечной
Выстроились чередой.
Вот и он еще беспечный
И бесстрашно-молодой.
А сейчас усталый, сникший,
Слабый и больной на вид,
К снам бессонницы привыкший,
Днем, как в детстве, мирно спит,
Может, оттого, что в доме,
Как и все года подряд,
Так неспешно, будто в дреме,
Старые часы стучат.

* * *

В прохладный тихий день
Куда идти, когда
По серым лужам — рябь,
С небес — вода, вода?..

Охрана у дверей,
Мечтательно-стройна,
Скучая, как всегда,
Опять весь день одна.

Но надеваешь плащ
И поднят воротник,
Поскольку ждет заказ
В отделе редких книг.

Ее дежурству тут
Еще не вышел срок.
И что-то затаил
Научный каталог.

Уверенных минут
Не та сегодня прить.
И некого винить.
О чем же говорить...

В головке промелькнет
Средь самых разных тем:
«Ах, в этой тишине
Не сгинуть бы совсем».

Идешь не торопясь
Сквозь мокроватый снег
Туда, где свет зажгли
В тиши библиотек.

Смущенно поспешишь,
Ей предъявив билет.
И поглядит она
Слегка с усмешкой вслед.

Там поглотит шаги
Обшарпанный ковер.
По лестницам — наверх,
В пустынный коридор!..

Как ей сказать, что день
Сегодня чуть больной,
Что кое для кого
Он тут совсем иной —

Здесь сладок долгий труд,
И буквицы поют,
И среди стеллажей
Блаженный неуют.

Как объяснить, что тот,
Кто входит в эту дверь,

Почти освобожден
От горестных потерь,

Что холодок уже
Ушел из сердца прочь
И тает смутный день,
Переливаясь в ночь.

В средневековом городе

По жести прерывистых ливней икота,
И город листвою шуршит.
Я знаю, там снова неузнанный кто-то
Мне вслед неотрывно глядит.
Под ветром щербатые стынут ступени,
И времени ход не унять,
И медленной птицей сквозь воздух осенний
Тот взгляд настаивает опять.
И сердце неясным томленьем объято,
Но встретиться нам не дано.
Мы, кажется, знали друг друга когда-то,
Но как это было давно!
Здесь площадь соборная за день промокла
И вновь погрузилась во тьму.
И видится сквозь запотевшие стекла
Из низкой мансарды ему,
Как я, этих улочек редкий прохожий,
Озябший печатаю след.
И нет никого в этом мире дороже
Безмолвно глядящего вслед.

АНАТОЛИЙ КАПИТОНОВ

★

ЛЫЖНЯ

Лыжня проложена не мною.
Другой прошел поля не зря —
Заснеженною целиною
Пробился к сердцу января.
А для меня лыжня готова,
Но проторенные снега —

Не мной придуманное слово,
Не мной открытая строка.
И я сворачиваю круто
И напрямиком по целине
Иду рискованным маршрутом,
И кто-то в спину дышит мне.

Сельский врач

Наверно, привезли больного —
Стучат в окошко.
Ты идешь
В объятья холода ночного,
В сугробы лиственных порош.
Найти единственный ход
верный —

Проблема вечная врача.
А над поселком злятся ветры,
В окно больничное стуча.
Твоей руке, почти что детской,
Не нож бы, а цветы держать.
Но вот ровнее бьется сердце
И начал человек дышать!

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ



МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Рассказ

Возможно, вы уже слышали об этой истории от кого-нибудь из своих знакомых, от дорожных попутчиков, может быть, вы даже читали о ней — думаю, что она не должна была пройти мимо внимания журналистов. Не исключено также, что вы знаете кого-нибудь из ее участников, — все это вполне возможно, ибо подобное случается чрезвычайно редко...

Южные города красивы и значительны в любую пору года: и весной, когда на севере, в Москве или Ленинграде, стоит насморочная погода, небеса сплошь рваны, в дырах, в прорехи на землю сыплет и сыплет полудождь-полуснег, и люди невольно начинают мечтать о настоящей весне с теплым бронзовым солнцем и молочно-зеленой листвой, только-только вылезшей из почек. Хороши южные города и осенью, когда воздух сух и горек, пахнет полынью, шашлыком и добрым молодым вином, хороши и зимой, когда дали тают в нежной папиросной дымке, народу на улицах почти нет, все живут воспоминаниями об ушедшем лете, событиями, имевшими место в жаркую майско-сентябрьскую пору, и ждут лета следующего. Ждут! Потому что именно лето — самая лучшая, самая запоминающаяся пора для южных городов. Ведь именно в эту пору каждая улочка, каждый дом и палисадник расцветают ярко, окна призывно распахнуты, отовсюду сочится музыка. Деревянные ряды рынков ломятся от фруктов, женщины юны и веселы, и у каждой на лице — таинственная улыбка Джоконды, означающая очень много и вместе с тем ничего не означающая, под ноги падает перезревшая шелковица, птицы поют так сладко и захватывающе, что невольно начинает щемить сердце...

С севера на юг тянутся вереницы машин — «Волги» с прилаженными к крышам чемоданами, палатками и прочим скарбом, необходимым для отдыха, юркие «Жигули», способные носиться со скоростью пули, «Москвичи» и «Запорожцы» разных выпусков, причем «Москвичи» попадаются такие старые, что кое-кто по ошибке называет их «опель-кадетами», попадаются и не менее редкие уже, смахивающие на половинку хлебной ковриги, поставленной горбом вверх, «Победы». И всю эту армаду надо напоить, накормить, обиходить. Не только водителей, а и сами машины.

Заправочные станции обычно располагаются на окраине городов — на тот случай, чтобы те путешественники, кому не надо заезжать в город, сразу же после заправки по объездной бетонке двинулись дальше на юг, к месту назначения. И ой как худо, когда заправочные станции располагаются в самом городе. Тут случаются и пробки, и аварии, и ругань, и драки. Бывает, дело и без милицейского протокола не обхо-

дится — в общем, полный джентльменский набор, некое бесплатное, а то и платное, приложение ко многим долгим путешествиям.

Заправочная станция, на которой имела место упомянутая история, располагается удобно — именно на окраине города, насчитывает полтора десятка ярких, пожарного цвета бензиновых колонок, где продается горючее разных марок, кроме колонок есть еще два стоячка для масла. Станция построена совсем недавно, спроектирована по последнему слову техники, она новая в прямом и полном смысле этого слова, очередей здесь почти не бывает, машины подходят одна за другой, быстро съезжая с трассы на асфальтовый пятак-распределитель, подруливают к колонкам, там три минуты на заправку, потом полный газ — и, глядишь, остался от путешественника один лишь синий дымок да запах сожженного на крутых поворотах корда. Иногда у тех, кто работает на заправочных станциях, туманом покрываются глаза, когда они глядят вслед укатившим машинам, губы раздвигаются в сожалеющей улыбке, что-то тоскующее, теплое появляется на лицах этих прикованных к месту людей: ведь их тоже тянет в путь-дорогу. Невольно тянет.

В тот день машин на станции было несколько больше обычного: недавно прошли сильные дожди, в скользкую мокрядь, в ливневый мрак движение застопорилось, все отсиживались в кемпингах, гостиницах, мотелях, коротали хмурое время, а когда с небес кончила сверзаться вода и выглянуло солнышко, то машины тронулись дальше. Шли машины плотно, тесня друг друга. Но иногда случались и перерывы: только что шоссе было забито, как река во время половодья, — и вдруг делалось пусто и голо.

В одиннадцать тридцать пять, — время засекала дежурная операторша бензозаправочной станции тетя Даша, сидящая у окошечка на контроле, она первой обратила внимание на машину, за рулем которой сидел один из персонажей этой истории, покачала головой, то ли осуждая, то ли завидуя: «Ишь, расфуфыристое авто какое, ну ровно петух, а не автомобиль», — к одной из заправочных колонок с «девянсто шестым» бензином подъехал ухоженный, весело поблескивающий лаком «жигуль» последнего выпуска. Был он действительно бросок: у ветрового стекла, свисая к самому рулю, болталась на резинке синяя животно-тастенькая обезьянка, руль был обтянут одуванчиковым бархатом, к заднему стеклу прикреплена алая качающаяся пятерня с броской, видной издали надписью «Stop!». Пятерня эта словно бы поучала водителей, едущих сзади, и веяло от нее какой-то презрительностью. На чистенькой протертой полочке, примыкающей к «кормовому» стеклу, куда обычно кладут сумки, книги, походную аптечку, разную мелочь, покоился лохматый, сделанный из синтетической шерсти кот с нахальными рыжими глазами и большим репсовым бантом, припиленным к хвосту. Был кот сотворен настолько искусно, что не сразу и разберешь, настоящий он или игрушечный.

«Жигуль» был окрашен в броский помидорный цвет, оклеен добрым десятком этикеток: эмблемы разных автомобильных клубов мира теснились на боках машины, на капоте и багажнике. Спереди же, кроме обычных фар, имелись фары желтые, противотуманные, и еще черно-белые клетчатые фонари, предназначение которых даже многознающая тетя Даша не могла определить.

Глаз у тети Даши наметанный. Она абсолютно справедливо считает, что какова машина, таков и хозяин. Если машина чистая, ухоженная, смахивает на новогоднюю игрушку, то и хозяин у автомобиля такой же чистюля, у которого все блестит, все надраено, все на месте: деньги в кошелек положены, а не в карман, как часто у мужиков бывает, шнурки вдеты в ботинки, а не валяются где-нибудь в галошнице, брюки, извините, на заднице находятся, сидят как влитые, а не накинута на плечи вместо свитера, как это делают некоторые неряшливые водители, распарившиеся в своей консервной банке во время

жаркой езды и неожиданно увидевшие на заправочной станции женщину-оператора. Если же автомобиль зачуханный, облезлый, мятый, как жестянка из-под консервов, то и хозяин, глядишь, вылезает из него жеванный, с перекошенной небритой физиономией, которой можно одежду вместо щетки чистить, в дырявых носках, потому что он, видите ли, устал вести машину в ботинках, ему удобнее в носках либо босиком. А брюки-то у такого хозяина, брюки! Они только один раз в жизни своей и были поглажены — на фабрике, когда их, сшив на потоке, отправили в магазин... В общем, у тети Даши насчет того, кто есть кто, глаз наметанный.

Как она и ожидала, из сверкающего «жигуля» вылез, так сказать, чистюля. Это был статный широкоплечий красавец с незабудковым чистым взором и аккуратной черной прической, где один волосок тщательно подогнан к другому; такие прически тетя Даша видела только в кино да на рекламных фотографиях, что выставлены в огромной стеклянной витрине центральной парикмахерской города; был бывший водитель выбрит до глянца, щеки обрамляли аккуратные баки. Зубы белые, ровные, как улыбнется — солнце сразу начинает светить ярче. Загляденье, а не парень. Только влюбляться в таких. Когда он подошел к тети Дашиному окошку и просунул в прорезь пятерку за бензин, то деньги приятно пахивали одеколоном.

Да-да, парень был что надо — любо-дорого на такого посмотреть.

Тетя Даша даже головой покрутила от восторга — ей захотелось, чтобы у ее внучки Светы именно такой жених был: представительный, аккуратный, холеный, словно граф. И с машиной...

В это время к колонке, где стоял «жигуль» красивого молодого человека, подъехал «горбатый», как поднаторевшие в острословии водители называют «Запорожцы» старого выпуска. И вот ведь — что-то в старом, изношенном нутре «Запорожца» заело, движок его закашлялся, зафыркал дымными черными кольцами, затрещал громко — у машины, видать, прогорел глушитель, вот мотор и палил будто из автомата; водитель нажал на тормоз, но и там тоже что-то отказало, и, прежде чем остановиться, «Запорожец» проскользил еще несколько метров по асфальту и ткнулся своим бампером в бампер нарядного «жигуля».

Удар раздался хоть и тихий, но все же различимый: ведь если мазнешь металлом по металлу, то звук всегда бывает жестким, слышимым издали, хотя царапин на железе может и не остаться.

Молодой человек дернулся, словно по нему самому скребнули бампером, на лицо напозла бледная прозрачная тень, а глаза в считанные миги буквально выгорели, из незабудковых, ярких превратились в блеклые, прозрачные, угадав в идущем молодом человеке хозяина нарядного «жигуля». Опытный глаз владельца «Запорожца», как, собственно, глаз и молодого человека, успел уже заметить, что ничего страшного не произошло, даже вмятины на бампере «жигуля» нет, только царапина осталась, царапина, и все, но ее за четвертак любой жестящик заделает, наведет глянец, отлакирует так, что бампер лучше нового станет.

— Подождите минутку, — бросил он тете Даше тихо и замедленными спокойными шагами направился к своей машине.

Из старого «Запорожца» вылез такой же старый — под стать автомобилю, тети Дашино наблюдение было точным, — человек с угловатым, изрезанным то ли морщинами, то ли шрамами лицом и улыбка подавленно, виновато, угадав в идущем молодом человеке хозяина нарядного «жигуля». Опытный глаз владельца «Запорожца», как, собственно, глаз и молодого человека, успел уже заметить, что ничего страшного не произошло, даже вмятины на бампере «жигуля» нет, только царапина осталась, царапина, и все, но ее за четвертак любой жестящик заделает, наведет глянец, отлакирует так, что бампер лучше нового станет.

— Извините, ради бога, — проговорил владелец «Запорожца», обращаясь к молодому человеку, чей спокойный шаг не вызывал сомнений, что хозяин «жигуля» такого же мнения о царапине: пустяк ведь, пустяк, не больше. — Нечаянно задел я вашу машину, извините. Барак-

лит что-то моя старая черепаха. — Он хлопнул ладонью по крыше своего «горбатого». — Тормоза подводят.

Тут тетя Даша заметила: к стеклу «Запорожца» приклеен квадратик бумаги с буквой «р», означавший, что машина эта имеет ручное управление, а владелец ее — инвалид.

— То движок зачужфыркает в обратную сторону, то коробка скоростей не так себя поведет... Пора уже бедняге на покой отправляться...

Владелец «Запорожца» переступил с ноги на ногу, сделавшись враз кособоким, подбитым, и тетя Даша поняла, что у него нет ноги. И точно: один ботинок у владельца «Запорожца» был нормальным, «живым», как говорится, блистал чистотой, а второй — скукоженным, морщинистым, имел сирый, заношенный вид — туда был засунут протез.

Тете Даше неожиданно сделалось жаль этого старого человека: очень уж виноватым и растерянным выглядел он, топтался беспомощно на протезе, доламывал пустой ботинок. Уж лучше бы он вообще не носил этот второй ботинок, что ли... Тетя Даша, сгорбив округлую плотную спину, приникла к оконцу, стараясь разглядеть лицо растерянного инвалида.

Лицо его тете Даше понравилось: много в нем доброго, выстрадавшего было. Скрыто это в частых морщинах — а может быть, и в шрамах, издали ведь не разобрать, — в улыбке, во взгляде, в прямоте его, в том, что инвалид не юлил, поцарапав нарядный «жигуль», не отнекивался и не уходил от ответа, а прямо заявлял, что виноват. В общем, инвалид этот был хорошим человеком. И наверняка фронтовик. Тетя Даша потянулась за полою халата, поднесла к лицу, промокнула засыревший нос, влажные глаза. В горле у нее забулькало, задергалась какая-то малая горошина: тетя Даша вспомнила своего погибшего в войну мужа, чернобрового веселого гармониста, за которым девки ходили толпами, что вызывало невероятно сильную, жгучую, острую тети Дашину ревность. Ушел на фронт и не вернулся. И вот уже без малого сорок лет тетя Даша хранит его память, никому не дает к ней прикоснуться, часто видит своего мужа по ночам во сне — молодого, лихого, красивого, со звонкой шуйской гармошкой в руках. Кто знает, может, ее муж с этим инвалидом в одной части воевал, кто знает... Она вздохнула и снова промокнула глаза фартуком.

— ...так что простите, ради бога! Если надо — я заплачу за это увечье. Царапина ведь, заделать легко, — закончил тем временем свои извинения инвалид, приложил руку к груди. Повторил, убеждая молодого человека: — Заделать царапину несложно. Честное слово.

Спокойный, ровный шаг владельца «жигуля» замедлился, молодой человек почти вплотную подошел к инвалиду, заглянул ему в глаза, будто хотел увидеть там нечто такое, чего не видел раньше, с чем был незнаком, что должно было удовлетворить его притязания. На свою машину он не глядел, было такое впечатление, что она вообще его не интересует. И тете Даше вдруг стало понятно, что не «жигулю» инвалид нанес царапину, а самому молодому человеку. То ли душа у молодого человека была такая ранимая, то ли стечение обстоятельств было тому виной — словом, даже со спины тетя Даша увидела, каким жестким, непрощающим сделалось лицо молодого человека, как забурлила-заиграла металлическая тяжесть в его глазах. Шея — это тете Даше тоже было видно — напряжилась, на ней хребтами вспухли прочные синие жилы. В следующий миг молодой человек, не произнеся ни слова, занес руку в коротком, хорошо рассчитанном ударе и выбросил кулак вперед, целя инвалиду в лицо.

Не промахнулся красивый молодой человек. Тетя Даша так и охнула, ткнулась грудью в стол, поискала глазами, нет ли еще кого на заправочной станции, кто мог бы вмешаться в драку. Но, как назло, еще пять минут назад на станции было полно машин, валом валили,

а сейчас — пусто, ни единой машины, ни единой души, пауза перед очередным нашествием.

— Ах ты сволота! — хрипло выдохнула тетя Даша, в которой на смену прежней приязни к красивому и, вдобавок, здорово обеспеченному молодому человеку пришло злое удивление. Удивление тут же захлестнул порыв ненависти. Она завозила босыми ногами под столом в поисках тапок. Сжала кулаки. — Ах ты сволота! — снова пробормотала она. — Я сейчас тебе покажу, как инвалидов бить, я тебе покажу...

Засуетилась тетя Даша, затрясла руками, ругаясь, — она по-прежнему никак не могла попасть ногами в тапки и все вытигивала голову, кося глазами в оконце своей будки: как там разворачиваются события на заправочной площадке, не подъедет ли кто, не подсобит ли инвалиду? Не то ведь этот гад сейчас прыгнет в свой расфуфыренный автомобиль и укатит. Ну где же эти распроклятые тапки, где? Тетя Даша, налившись нездоровой буростью, свекольной краской, полезла под стол искать свою непутевую стоптанную обувь и упустила на несколько минут события.

Морщинистое, худое лицо инвалида побледнело от удара. Он мотнул головой, запрокидываясь назад, но не упал, а, кособочась, стуча ботинком, натянутым на протез, ударился спиной об окна своего старенького, одышливого автомобиля, который мерно похрипывал мотором — инвалид глушить движок почему-то не стал, — потом сполз на капот, сел на него, неверяще покрутил головой. Окна «Запорожца» выдержали, не раскололись. Губы инвалида, затрясавшись было от обиды, подобрались, сжались в твердую линию, потом он разлепил их, отхаркнулся кровью, посмотрел в упор на красивого молодого человека. Недоумевающим, больным был его взгляд, будто он чего-то не понял в жизни, что-то недоделал, кого-то сам обидел, и вот обида некоторое время спустя так странно и нелепо возвратилась к нему. Через несколько мгновений недоумение и боль исчезли из его взгляда, осталось только спокойствие — мудрое спокойствие человека, пережившего потрясение и принявшего решение, определившего плату, которой он будет рассчитываться за это потрясение.

— Что ж, — пробормотал он тихим, свистящим голосом, — впредь наука мне будет, как с вашим братом поступать. А теперь, сволочь, смотри, как я на своей «тридцатьчетверке» немецкие танки давил! Смотри, с-сука!

Инвалид резко повернулся, сползая с капота, и, кривя плечи, побито ступая по земле, обошел машину кругом, добрался до двери своего «горбатого», втиснулся на сиденье, коротким ударом руки передвинул рычаг скорости, переводя автомобиль на задний ход. Не оглядываясь, будто спиной костлявой своей, худыми лопатками, затылком ощущал пространство позади, отъехал метров на десять, таким же быстрым, решительным ударом руки переключая скорость на передний ход, и с места дал полный газ.

Мотор «Запорожца» взвыл на высокой ноте, захлебываясь, выплывая из прогоревшей выхлопной трубы черные едкие сгустки дыма, масляная копоти, но все же выдержал, не захлебнулся, под съеденными дорогами лысыми шинами пронзительно завизжал асфальт. «Запорожец» рванулся вперед.

На ходу инвалид, будто опытный гонщик, переключил скорость, снова выжал газ — и в следующий миг мощный грохот, лязганье, скрежет, чьи-то будто бы несущиеся из далекого далека незнакомые крики потрясли заправочную станцию.

«Горбатый» со всего маху врезался в нарядный бок «жигуля», корежа его. В воздух взметнулись прозрачные брызги разлетевшегося стекла, какая-то яркая тряпка — то ли галстук, то ли шейный платок, валявшийся на сиденье, кот, несмотря на то, что был синтетический, мгновенно спрыгнул на пол «жигуля», хоронясь от ударов. «Жигуль» приподнялся, становясь одним боком на два колеса и показывая алое,

покрытое антикоррозийной краской дно, но удержался, не завалился совсем и, когда «Запорожец» отъехал, снова опустился на четыре свои лапы.

Водитель нарядного, а теперь уже порядочно поковерканного «жигуля» снова кричал что-то, разрезая звонким голосом воздух, словно спелый арбуз на ломти, вскинул руки кверху, потряс ими, взывая к небу, заскулил, заныл, сморщился, как старая, вялая, сохлая груша.

По лицу инвалида в это время катились слезы, крупные, прозрачные, едкие, как пот, из разбитой губы сочилась кровь, стекала пугающе красной струйкой на подбородок, он стиснул белые, чистые, на удивление молодые зубы, прохрипел ожесточенно, плюща слова:

— Смотри, смотри, сволота, как я в сорок третьем тяжелом году на своем танке фашистских гадов давил. Смотри! Только рванье от них в воздух летело! Смотри и запоминай!

Отъехав метров на десять, он снова с места дал полный газ, отчего «горбатый» его, здорово поношенный, старый, с большой одышкой, даже приподнялся над землей, будто крылатый конь, зачихал, затарахтел пулеметно, понесся резво вперед, целя продавленным, но еще очень крепким, похожим на кувалду носом в несчастный «жигуль». В последний момент водитель «Запорожца» вильнул рулем, и машиненка эта, круто взяв влево, врубилась носом не в бок «жигуля», уже смятый, а в нарядную, сплошь оклеенную броскими клубными этикетками пятую точку.

В это время тетя Даша все же нашла тапки, выскочила из своей будки и остановилась пораженная. Она никогда еще такого не видела. А тут было на что посмотреть.

Молодой красивый человек носился по заправочной площадке, метеля руками, словно петух крыльями-огузками, кричал что-то, но крика не было слышно, тонул крик в вязком секущем грохоте, с которым «Запорожец» крушил красоту «жигуля». Честно говоря, тете Даше было жалко машину, словно живое существо, попавшее в нежданную-негаданную беду — автомобиль-то тут при чем? Бить владельца надо, а не машину.

Но с другой стороны...

Видимо, инвалид делал суровое и нужное, очень справедливое дело. Душа его, мозг, все израненное, помнящее войну естество были погружены сейчас в прошлое, в хлесткие щелчки втыкающихся в землю, в дерево, в живую плоть пуль, в снарядный бой, в гулкие взрывы, после которых на две-три секунды наступает звонкая тишина, а затем почти впритык слышится густое сыроватое буханье. Так всегда бывало. И болью, неизбывной болью полощется это буханье в слабых барабанных перепонках. Это шмякаются о твердь поднятые вверх глыбы земли, битый камень, доски и железо, жуткие, изорванные ошметья бывших всего полминуты назад живыми тел. Инвалид видел сейчас перед собою лица ребят своих, фронтowych дружков, которые ходили с ним в атаки, тряслись в одном танке, перекрикиваясь в тесном металлическом нутре «тридцатьчетверки» друг с другом по ларингофону, матюгаясь с лихим азартом, когда выпущенный из танкового ствола снаряд попадал в цель, счастливо, открыто улыбаясь в часы редкого затишья. Они были жадными до жизни, эти славные, до боли, до крика родные ребята, но выжить им не было суждено... Один прямо в «тридцатьчетверке» сгорел, когда очищали Прикарпатье, другого снял власовский снайпер сквозь смотровую щель танка, когда горбился на водительском сиденье, выискивая проход в минном поле, чтобы проскочить на ту сторону и врезаться в чужие тылы, третий был пополам расцелен пулеметной очередью, пущенной с несущегося низко над землей «мессера». Были еще и другие ребята, не только эти танкисты, вместе с которыми воевал инвалид, и вот какая страшная вещь — никого из них сейчас уже нет в живых. Вы понимаете, ник-кого!

Неужто они отдали свои жизни за то, чтобы под солнцем гордо

ходил этот вот нафабранный попугай, радовался уладам, столь легко доставшимся ему, считал свою персону исключительной и бил по зубам фронтовиков?

Не-ет, ребята, не за то вы полегли, не за то...

Инвалид закрутил головою, стряхивая слезы на брюки, и, лоя суженными, дергающимися от соленой боли глазами помидорное пятно исковерканного «жигуля», снова надавил на газ.

Стиснул зубы, когда бок «жигуля» опять надвинулся на капот «Запорожца», ударил.

Он мог бы бить, кромсать «жигуль» до бесконечности, потому что у «горбатого», во-первых, корпус прочнее, чем у «жигуля», — металл много толще, вот почему машина эта тяжелая, как танкетка, и лупить ею можно, наверное, не только хрупкие легковушки, а и грузовики, — а во-вторых, у «Запорожца» движок находится сзади, он хорошо защищен от ударов и разрушения. Поэтому сколько движок будет работать, фыркать, пятнать воздух горелыми бензиновыми кольцами, столько машина и будет способна двигаться.

Но инвалид больше не стал бить «Жигули», не стал — достаточно было того, что сделано.

Он притер свой помятый, но живой и способный еще долго быть на ходу автомобиль к бровке, опустил стекло кабины и, стерев трясущимися жилистыми руками слезы с глаз, просипел в сторону красивого молодого человека, видя и одновременно не видя его:

— А теперь милицию зови... Зови!

Красивый молодой человек сделал проворный скачок вперед, почти пластаясь по воздуху, стараясь дотянуться до инвалида, но тот уже поднял стекло, нажал на кнопки, чтобы двери нельзя было открыть, и оказался забаррикадированным в собственной машине. Напряжение с его лица ушло, было лицо сейчас спокойным, сосредоточенным на какой-то ведомой только одному инвалиду мысли, он закрыл глаза и погрузился в самого себя будто в сон.

Сипя, выкрикивая бессвязные слова, бледный, с трясущимся ртом, красивый молодой человек творил зигзаги вокруг «горбатого», не зная, как к нему подступиться, хватался руками за двери, тряс их, молотил кулаком в стекло, пинал ногой в бок «Запорожца» и сипло ойкал от боли, пытался забраться на крышу, но крыша была маленькой, он не удержался и соскользнул вниз, — в общем, ничего сделать с инвалидом красивый молодой человек не мог. И так же, как и инвалид, плакал — но плакал бессильно, зло.

Потом он начал озираться вокруг в поисках какой-нибудь железяки, которой можно было бы разбить стекло и добраться до владельца «Запорожца». Тетя Даша, сообразительная женщина, угадала намерение красивого молодого человека, охнула — ведь он же сейчас угробит инвалида, как пить дать угробит, — помчалась назад в свою будку, вызывать милицию.

Довольно долго телефон милиции был занят, но потом отозвался дежурный, и тетя Даша выложила ему все, что видела на заправочной станции. И про попугайского молодого человека рассказала, и про то, как он ударил инвалида, и про его поиски железяки, чтобы расколотить стекла «Запорожца».

— Ясно, — угрюмым, задерганным голосом проговорил дежурный. — Сейчас будет милицейский наряд. Ждите!

— Жду, — кивнула тетя Даша согласно, а когда дежурный уже положил трубку, спохватилась, прокричала в тоненько попискивающий сигналом отбоя телефон: — Он же убьет его, понимаете! Как можно быстрее наряд сюда надо, как можно быстрее, понимаете? Иначе худо будет!

Заметалась по своей каморке в поисках чего-нибудь тяжелого, чтобы, если уж совсем худо будет, подсобить фронтовику-инвалиду, отогнать супостата. Нашла старый велосипедный руль, непонятно как

оказавшийся здесь, в будке, но руль-то ведь вещь легкая, он полый, пустая трубка, в которую дуть хорошо, а наказывать обидчика, сильного, здорового парня, который шевельнет одной своей бульонкой — и тебя уже придется с дерева стаскивать, увы, несерьезно это. «Но если уж ничего другого нет, придется руль на вооружение взять, — сердито крихтя, решила тетя Даша, — чтоб до приезда милиции оброну держать».

Тут она вспомнила о пятирублевой кредитке, оставленной красивым молодым человеком на пластмассовой тарелочке перед окном, — надо ведь вернуть деньги супостату, бензин ему теперь все равно не понадобится, — подковыляла к оконцу, взглянула на пластмассовое, с обкрошившимися краями блюдце и изумилась, по-утиному приподняв нос и собрав веер вертикальных морщин на лбу: денег на тарелочке не было.

Значит, все, что совершал красивый молодой владелец «жигуля», не было приступом слепоты, бешенства, что хоть раз в жизни, но обязательно наваливается на каждого человека и тогда нельзя ничего бывает поделать с собою: с языка слетают сорные слова, за которые потом стыдно становится, а руки сами по себе, произвольно колбасят, мнут воздух, иногда, случается, и в живую плоть попадают. Долго потом неприятно удивляется человек: как же это с ним произошло, как теперь людям после такой напасти в глаза смотреть? И хорошо, что человеческое сердце отходчиво — даже после сильной обиды подобных людей прощают: не со зла ведь человек это сделал, не с трезвого ума — в бреду он был, в одури.

А тут нет, не-е-ет, красивый молодой человек в себе находился, в полном сознании, контролировал и руки свои, и ноги, и язык — и хорошо контролировал, раз не забыл прихватить с собой пятерочку.

— Во вурдалак! Ну и вурдала-ак, — пробормотала тетя Даша и, вспомнив об инвалиде, проворно выметнулась на улицу, сжимая в руке велосипедный руль.

Защита ее не понадобилась: на заправочную станцию, сыто поуркивая мощным мотором, уже въезжал канареечный милицейский мотоцикл с коляской. На сиденье его важно высился старый усатый сержант с посеченным оспой лицом, его тетя Даша знала, он часто приезжал на заправочную станцию, к машинам все приглядывался, нет ли среди них ворованных, — Леонтьев была его фамилия. Сержант милиции товарищ Леонтьев — вот как будет, если к нему официально обращаться.

В люльке же сидел, словно гриб в лукошке, молоденький милиционер, мальчишечка еще, в надвинутой на самые уши новенькой, ни капли не выгоревшей на жарком здешнем солнце фуражке. Поскольку фуражка большемеркой являлась, то уши у молоденького милиционера были тяжестью ее пригнуты, оттопырены в стороны. Негнущиеся свеженькие погоны не имели пока что ни единой лычки. Но ничего, такие погоны тоже не грех. Вон еще сколько у парня возможностей впереди!..

У тети Даши имелась одна особенность — стоило ей увидеть что-то новое, как она мгновенно отвлекалась, переключала свое внимание на увиденное, ее мозг начинал работать, будто электронно-счетная машина, делать прикидки, вычислять, предсказывать будущее, прогнозировать дальнейшую жизнь и этого нового и окружения его. Вот и сейчас — минут пять, наверное, прошло, прежде чем она вернула собственные мысли на круги своя и заторопилась к сержанту Леонтьеву, чтобы дать ценные свидетельские показания.

Но тот, увидев тетю Дашу, спихнул на нее своего зеленого напарника — поговори, мол, с бабкой, может, чего-нибудь дельное и скажет, — а сам занялся происшествием.

— Ваши документы! — строгим, жестким голосом потребовал Леонтьев у красивого молодого владельца «жигуля».

— При чем тут мои документы?! — взвился тот, привычно взрезая воздух острым своим голосом. — У него вот документы спрашивайте, у него! — Ткнул рукой в сторону «горбатого», в неясное пятно, темнеющее за ветровым стеклом. — Смотрите, что мне этот хулиган, бандит этот что сделал! Смотрите! Пусть отвечает по всей строгости закона, пусть покупает мне новую машину! Ясно? А этот хлам забирает себе!

Леонтьев выслушал темпераментную, громкую речь красивого молодого человека, недовольно пошевелил роскошными буденновскими усами; свое дело он знал хорошо и поэтому, не отступя ни на йоту, потребовал прежним жестким голосом:

— Документы! Иначе это дело я разбирать не стану. И автомобиль свой ремонтировать будете сами.

— Не имеете права! — сиплым, пугающим шепотом выдохнул красивый молодой человек. — Разберете за милую душу, понятно?! Иначе через два дня уйдете на пенсию и будете поливать помидоры в собственном огороде. Вы еще не знаете, с кем имеете дело.

— Не важно, с кем я имею дело, — отрезал сержант Леонтьев тусклым, лишенным всякого выражения голосом. Усы у него задергались, будто у кота, которому сделали неприятное, а каждая оспина на лице набрякла грозной темнотой. — И прошу мне не угрожать!

В это время к нему подскочил мальчишечка, узнавший от тети Даши подробно о том, что же произошло на заправочной станции, зашептал Леонтьеву на ухо, рассказывая, как все было, кто прав, а кто виноват. Сержант Леонтьев покивал, рассек ребром ладони воздух:

— Ясно, товарищ Птичкин, все как дважды два ясно. — Перевел взгляд на владельца «жигуля», тот отчего-то сразу скис, стрельнул глазами в сторону, не возражал больше и, ни слова не говоря, полез в карман за документами. Леонтьев не глядя взял его красную книжицу, сунул себе в лапу, огромную, как ковш экскаватора, подошел к помятому «Запорожцу», где сидел инвалид, притронулся пальцами к козырьку фуражки: — Теперь ваши документы! — С интересом посмотрел на бывшего танкиста, заглянул ему через плечо в кабину «горбатого», потом стрельнул глазами на исковерканный, мятый нос «Запорожца» и, теряя свою официальность, превращаясь в обычного мужика, задерганного родственниками, соседями, различными хозяйственными делами, телевизором, уличными происшествиями, проигрышами городской футбольной команды, колупнул пальцем отставшую в месте одного из изломов краску, поцокал языком. — Лихо! Оч-чень даже лихо!

Инвалид протянул ему в окно тоненькую, оклеенную простой материей книжицу — удостоверение инвалида Великой Отечественной войны.

Сержант Леонтьев взял удостоверение, подержал немного в вытянутой руке — вблизи он плохо видел, буквы слипались в кашу, в единое серое месиво превращались, ни шута не разобрать, — сзади к нему подошел красивый молодой человек, заглянул через плечо в документ, увидел фотокарточку, где инвалид был снят в простой, линялой солдатской гимнастерке без погон, с пришитыми к плечам петельками, за которые погоны эти должны были крепиться, при всех орденах и медалях. Наград у инвалида было так много, что они у него буквально не помещались на груди, налезали друг на друга. Лицо инвалида на фотокарточке было сосредоточенным, каменным, такое лицо обычно появляется у не привыкшего позировать человека, когда он садится на стул перед фотоаппаратом.

— Я вас сюда не приглашал, — не оборачиваясь бросил сержант Леонтьев через плечо, наполняя голос прежней жесткостью и строгостью.

— А вдруг я понадоблюсь?

— Не понадобитесь! — отрезал сержант Леонтьев. Выкрикнул: — Птичкин!

— Я, товарищ сержант! — отозвался школяр готовно.

— Поговори-ка с гражданином... — Сержант кашлянул в ладонь, где у него был зажат документ владельца «жигуля», хотел было посмотреть фамилию красивого молодого человека, но передумал и лишь обронил: — Поговори, чтоб он не скучал.

Шевеля губами, как второклассник, не познавший полностью грамоту, Леонтьев прочитал все, что было в удостоверении инвалида, все от корки до корки, — даже серию и номер прочитал, мысленно произнеся каждую циферку, каждую букровку и название типографии, выпустившей эту почетную книжицу, задержал взгляд на фотографии, не удержался, прицокнул языком:

— Хорошо воевал, отец! Орденов на целую роту хватит.

Инвалид никак не отозвался на замечание сержанта Леонтьева, он даже не шевельнулся в кабине «Запорожца», как сидел, так и продолжал сидеть в позе человека, погруженного в тяжкую, долгую думу. Лицо — стылое, отрешенное, намаявшееся.

Тут сержант Леонтьев совершил с точки зрения красивого молодого человека непоправимое. Он с сочувствием посмотрел на инвалида, приложил руку к козырьку:

— Значит, так, отец. Вот ваши документы, — протянул удостоверение в окно «Запорожца», — поезжайте себе спокойно. Без волнений. А чтоб ГАИ по дороге не придиралась к вашему помятому авто, я справку на руки выдам. — Выкрикнул зычно, не оборачиваясь: — Птичкин, нарисуй товарищу участнику Великой Отечественной войны справку! — Понизил голос: — Как домой приедете, то первым делом в райсобес заявитесь, там все увечья вашего авто оприходуют и дадут направление в мастерскую. На починку. Так что поезжайте спокойно. А с этим длинноруким, — сержант Леонтьев повел головой в сторону красивого молодого человека, — мы с товарищем Птичкиным еще разберемся будем. Думаю, за хулиганство оштрафуем, а там... там отпустим, — сообщил он доверительно инвалиду. — Поскольку состава преступления на большее нет. Можно тремя сутками его наградить. Но это уже... — сержант провел ладонью над головой, — предел. А что? — неожиданно зажегся он. — Пусть на пользу общества поработает.

Лицо инвалида как-то странно дернулось, будто внутри у него родилась внезапная боль, к щекам и скулам прилила живая краска, замкнутость, утрюмость будто рукой сняло. Тетя Даша не ошиблась в своих наблюдениях — этот изувеченный солдат был хорошим человеком. Он взглянул на сержанта, разлепил потрескавшиеся, со следами крови губы:

— Спасибо. Самое сердечное спасибо, сержант!

Леонтьев снова коснулся пальцами козырька фуражки?

— Поезжайте. Не волнуйтесь только... — Он повел головой в сторону. — Птичкин, справку нарисовал?

— Так точно!

Леонтьев пощелкал пальцами:

— Давай-ка! — А когда пухлощекий милиционер Птичкин, сохраняя на лице важность — все-таки он был представителем закона, как никак фигура! — осторожно вложил в нетерпеливо шевелящиеся пальцы вырванный из блокнота квиток, Леонтьев лихо пристукнул каблучками сапог, вручил справку инвалиду: — Счастливой вам дороги!

«Запорожец», хрипя мотором, оскользаясь лысыми колесами на асфальте, покинул заправочную станцию. Красивый молодой человек кинулся к Леонтьеву, выкрикнул своим острым, неприятно, будто казенная сталь звеневшим голосом:

— Зачем вы его отпустили? Зачем? Кто мне будет за машину платить? Вы за это ответите! — И потряс пальцем перед леонтьевским носом.

У того оспины на лице совсем сделались черными, глаза затуманились, сизыми стали от гнева, забурлившего в Леонтьеве, словно суп в котле. Леонтьев посмотрел поверх красивого молодого человека куда-то вдаль, в ровное синее небо, где в изнеможении плавало растопленное, жаркое солнце, пошевелил усами.

— И ответчу,— глухо сказал он. Вдруг рывкнул во весь голос:— Ах ты!..— Сдержался, хотя сдержаться было трудно, скомандовал:— А ну садись в коляску, поехали в отделение! Там разбираться будем. Там! И разберемся, во все-ем разберемся. Честь по чести. И я те не только штраф изображаю, а и несколько суток активного отдыха, хотя раньше этого особо и не обещал. Понял? Чтоб хоть какая-то польза от тебя нашему городу была. Чтоб не задаром ты воздух портил... Понял? Чтоб на будущее наука была. А ты, товарищ Птичкин,— Леонтьев резко повернулся к напарнику,— останься здесь, свидетельские показания вон с сотрудницы бензозаправки,— повел головой в сторону тети Даши, нетерпеливо мнущей тапками разгоряченный асфальт,— срисуй и в отделение на попутке прикатывай. Протокол составлять будем.

Взгромоздился на сиденье мотоцикла, ударом сапога завел свою тяжелую ходкую машину, прокричал красивому молодому человеку, сузив до маленьких колючих точек-укусов глаза, в которых еще не истаяла опасная горячая сизость:

— Давай-давай усаживайся поживее в люльку! Коль добром не пойдешь, то силком заставим. Да еще сопротивление властям в протоколе зафиксируем. Ясно? Или не ясно?!

— Вы знаете, кто у меня отец?! Вы... Вы... Ладно, мы еще посмотрим, кто виноват будет — вы или я! Вы правильно сказали: разберемся. Р-разберемся! — Выругавшись, молодой человек сделал решительный шаг к мотоциклу, сжал кулаки, будто хотел драться, перехватил острый взгляд Леонтьева и, взяв себя в руки, коротким ловким прыжком заскочил в коляску.

— Вот так-то лучше,— кивнул сержант Леонтьев. Хмыкнул недобро:— «Отец»...— Хотел что-то еще добавить к сказанному, но не стал. На мгновение тяжелая, тоскливая тень накрыла его лицо: а ведь, выходит, снова придется объяснять, что этот малый не святой, а самый настоящий подонок, хоть и имеет высокопоставленного папу... Он почувствовал, что заводится, но в следующий миг совладал с собою: все равно ведь его дальше этого мотоцикла не пошлют и сержантские лычки за то, что инвалида войны с миром отпустил домой, вряд ли с погон снимут. Повторил, по-прежнему сохраняя в голосе недобрый, рычащий тон:— «Отец»...

Он посмотрел на рядового милиционера Птичкина, который с начальственным видом стоял подле тети Даши, постреливал глазами изпод съехавшего на самый нос козырька фуражки. Птичкин хорошо разбирался в вопросах стратегии и тактики — не начинал «срисовывать показания», пока начальство не отбыло. Леонтьев усмехнулся, pokrutil рукоятку газа. Мотоцикл заревел так, что с деревьев листва посыпалась. Поспокойнело лицо Леонтьева. И вообще у него от одного вида Птичкина на душе лучше сделалось. Тяжесть не стала так давить, как давила минуту назад.

Снова сделалось пусто на заправочной станции. Тетя Даша сидела на своем привычном месте в будке, ожидая очередного потока тянувшихся на юг машин. Лишь поковерканный «жигуль», что продолжал стоять у колонки с «девяносто шестым» бензином, напоминал об истории, происшедшей здесь.

ИЗЪЯЩИСТИКА

АНДРЕЙ НИКИТИН

★

ХРУПКАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Иначалось с пустяка, со случайно оброненного слова, когда люди поднимались после очередного, сугубо прозаического заседания. Но кто-то на ходу упомянул Троице-Сергиеву лавру, в которой только что побывал, другой вспомнил ее основателя Сергия Радонежского, одного из крупнейших общественных деятелей нашей отечественной истории, современника Дмитрия Донского,—и, будто добежал до запала огонь по бикфордову шнуру, вспыхнул яростный спор о Куликовской битве, словно бы и не отделяли ее от нас шестьсот прошедших лет.

К немалому моему удивлению, спорщики, в которых раньше я не подозревал знатоков истории, с уверенностью разбирали характеры действующих лиц, тактические приемы сражавшихся, замыслы Мамаю и общую стратегию московского князя. А едва произнесены были слова «народное ополчение», как тут же припомнили недавнюю статью Федора Шахматова о Куликовской битве — пожалуй, один из самых захватывающих разборов сражения, решившего судьбу молодого Московского государства, который мне довелось читать. Прошлое, вроде бы давно забытое, вспоминаемое лишь в учебниках истории и в научных трудах, вдруг оказалось живым, ярким.

Меня поразило не предмет спора, не осведомленность спорщиков — скорее та страстная заинтересованность в установлении исторической истины и явные симпатии и антипатии в отношении действующих лиц героической драмы шестисотлетней давности, которые никак нельзя было отнести только на счет близившегося тогда юбилея Куликовской битвы. В этом знании исторических событий, имен людей, городов, в воссоздаваемом облике нашей земли, противостоянии русских княжеств, объединяемых союзами князей, русской церковью, распадавшейся и слабеющей Золотой Ордой, чувствовалось не умозрительное знание, не холодное любопытство к истории, а нечто более глубокое, личное, интимное, что связывало человека тысячами невидимых нитей с родной землей, с ее судьбой — с родиной.

А ведь с подобным я уже встречался.

Как-то, не помню уже по какому поводу, я оказался в Борисоглебских слободах, неподалеку от Ростова Великого. Я бродил внутри обширного прямоугольника крепостных стен, заглядывал в знакомые уголки бывшего монастыря, где, как и двадцать лет назад, чернели трещины и крошились красной зернью кирпичи, поднимался по стертým ступеням узких лестниц на башни, со смотровых площадок которых открывались купы сосновых боров, далекие села, просторы лугов и полей за синими извилами реки, и неожиданно для себя пристал к какой-то группе, приехавшей на автобусе из Москвы. Разомлев от жары, экскурсанты слушали рассказ экскурсовода вполуха, и только один пожилой мужчина, выделявшийся несколько торжественным темным костюмом, внимал каждому слову с видом восторженным и несколько оторопелым.

Поскольку ничего нового для себя я не услышал, пути наши разошлись. Я снова пошел бродить один и, наверное, так и не вспомнил бы о встрече, если бы спустя полчаса не наткнулся снова на этого странного туриста, стоявшего возле стены и с какой-то особой нежностью поглаживавшего старый кирпич, тронутый порослью яркого зеленого мха. В глазах человека плавала такая мечтательность и столь явное желание поделиться с кем-нибудь обуревавшими его чувствами, что я невольно замедлил шаг и взглянул на него.

— Странно вам, наверное, на меня смотреть? — почти сразу же произнес он немного извиняющимся тоном.— А вот для меня сегодняшний день все равно как праздник души, поверите ли! Вот вы тоже, чувствуется, нездешний, тоже посмотреть приехали, полюбостать... памятник старины и все такое. Для вас в новинку, а я вроде бы уже наизусть здесь все знаю, дед мой отсюда родом был, из Борисоглеба, по печному делу в Москву ушел. И родня осталась, так что бывать приходилось здесь, да и не один раз. Но вот только

сегодня как-то все во мне повернулось, словно кто-то включатель тронул или кнопку какую нажал. Хожу, смотрю, а в голову одна мысль лезет: ведь это ж твои, Николай Алексеевич, прямые предки махину эту возвели, своими руками! Твой прапрапра... какой-то там, да и не какой-то, а точно твой, потому как все они испокон веку здесь по печному да по строительному делу славилась до тех пор, пока мой Авенир Севостьянович не подался в Москву счастья искать. Вот ведь дело-то какое! И они же, родные мои, на этих самых стенах от поляков да от литовцев оборону держали. А раз так, то и я, выходит, не только к сегодняшнему дню, но и ко всей нашей отечественной истории прямое отношение имею, причастен ей всей кровью своей. Понимаете теперь, какой это, выходит, день для меня?!

Что я мог сказать этому человеку, вдруг почувствовавшему себя стоящим как бы на перекрестке времен, откуда открылась ему протяженность и собственной родовой судьбы, и даль отечественной истории, где каждое событие той или иной своей стороной определило судьбу кровных его предков, было событием их — а через них и его — жизни? Да и не нужны были ему тогда ничьи слова. Самому ему требовалось высказаться, чтобы вот так, словно бы со стороны услышать подтверждение тому удивительному чувству общности с этой землей, ее историей, своим народом, которое вдруг однажды пронзает человека как откровение, заставляя его по-новому взглянуть на себя и на окружающую жизнь, увидев иной смысл и в повседневных делах своих, и в том будущем, которое так или иначе мерцает в сознании каждого из нас.

Мерцает, но вспыхивает почему-то от соприкосновения именно с прошлым, словно бы в прошедших столетиях заложен мощный, ни с чем не сравнимый аккумулятор нравственных сил нации и народа, заряд которых позволяет каждому из нас с особой остротой почувствовать свою неслучайность и свое место в сегодняшней жизни...

Не в этом ли, подумалось мне теперь, заключена разгадка того ширящегося, воистину народного движения за спасение, сохранение, восстановление и реставрацию памятников нашей отечественной истории, которым отмечены последние десятилетия? Примеры, подтолкнувшие мысль, были повторением множества подобных, нашедших свое отражение в выступлениях историков, писателей, искусствоведов, да и просто людей, считавших своею обязанностью подать свой голос в разъяснение и в защиту нашего общего прошлого от прорывающихся порой невежества и вандализма, пытающихся прикрыть свою страсть к разрушению лозунгами, не имеющими никакого отношения к делу. Таких людей мало, но они все же есть, с ними сталкиваешься порой в самых неожиданных местах, вот почему мне представляется таким важным существование Всесоюзного общества охраны памятников, уже одним этим утверждающего саму идею внимания к прошлому.

В самом деле, разве за интересом к истории не лежит желание сохранить, спасти от забвения все славное, зачастую героическое прошлое народов, входящих в единую российскую семью, прошлое старшего в этой семье — народа русского? С лишком тысячелетие назад он стал исторической основой собирания России, принимая в себя племена и народности, усваивая себе что-то из их обычаев, знаний, преданий о мире, щедро черпая из их языков слова, выражения, сделав русский язык общенародным и международным. Да иначе и быть не могло, поскольку все это делалось не по заранее заданной программе, не по какому-то умозрительному плану, а стихийно, от сознания общности судеб, земли, общности дела, которое защищали от посягательства извне на восточных, южных и западных рубежах в X, в XII, в XIV, да и во всех последующих веках вплоть до нашего трудного и сложного XX века.

Именно из рук русского народа, своего старшего брата, получали многие малые народы письменность, культуру, возможность национального развития и многое другое, что сделало общим то самое прошлое, в котором каждый из нас теперь открывает и свое — личное, родовое, — что сгинуло и затерялось бы без следа, не будь оно изначально слито со всенародным...

Ну а с чего начинается человек?

Вероятно, с того же, с чего начинается земля, город, народ, государство, — с имени, в котором заложена некая «самость», отличие от других подобных, как бы различие между «я» и «не я».

Мы получаем имена не случайно. В них память о предшествующих поколениях, напоминание о людях, чьи имена благодаря нам звучат вновь, поддерживая память о минувшем. Имя, отчество и фамилия каждого из нас, таким образом, имеют куда больший смысл, чем облегчение бюрократических формальностей, дабы мы не затерялись в массе своих сограждан, образующих нацию и народ. И вот еще детьми, только еще начиная ощущать себя личностью, пытаюсь разобраться, что же мы собой представляем, мы начинаем взвешивать,

пробовать на вкус, разглядывать свои имена. Многие ли из нас поначалу были довольны звучанием своего имени? Но постепенно свыкаясь с ним, находя между ним и собой какие-то соответствия, еще с первых классов школы, когда на уроках перед нами начинало, приобретая пространственность и глубину, постепенно разворачиваться полотно отечественной истории, каждый из нас, не отдавая порой отчета, пытался найти свою этой истории сопричастность — по созвучию имен и фамилий, по месту рождения родителей, дедов, по случайно оказавшимся в семье старинным предметам, короче, по всему тому, что будит пылкое воображение ребенка.

Нет, совсем не зря передавались раньше от поколения к поколению родословные, счет родства с другими фамилиями, личностная память о предках. Все это было живой историей. И совсем не пустое тщеславие, не похвальба подвигами предшествующих поколений слышалась всегда юной поросли в такой передаваемой письменно или изустно родовой памяти, а осознание своих обязанностей по отношению к близким и к далеким — к согражданам, соотечественникам, ко всей стране своей — воистину своей, потому что каждая ее ядь оказывалась вспаханной, облагороженной, обстроенной, политой потом и кровью людей, которым так или иначе ты был обязан не только своим появлением на свет, но и своим благополучием, своими знаниями, в какой-то степени своим будущим.

Размышляя обо всем этом сейчас, мне представляется, что отнюдь не по детской наивности после уроков истории и литературы мы принимали на себя прозвища и имена полубившихся нам героев, по-своему, в соответствии с настоящим, разыгрывая события многовековой давности. Наши симпатии неизменно оказывались на стороне тех, кто оказывался носителем лучших черт гражданина и человека. Само слово «знатный» в русском языке означало первоначально «известный», «знаменитый», отмечая народной молвой с одобрением прославившийся своими представителями род. Герои, овеянные славой подвигов, борцы за честь и независимость страны, за личное достоинство человека, — вот кто неизменно привлекал внимание позднейших поколений, на кого равнялись, кого выбирали в свои мифические родоначальники и мы, мальчишки военных годов.

Много лет спустя, разговарившись с одним из докторов наук, потерявшим во время войны родителей, выросшим в детском доме, я услышал от него признание, что именно тогда, не зная о себе ничего, оказавшись как бы «голым человеком на голой земле» и сохранив от прошлого только имя и фамилию, он с непоколебимой уверенностью утверждал свою родословную от новгородского сподвижника Александра Невского, чье прозвище — Шило — было созвучно его фамилии.

В этом было не просто мальчишество. Именно в те трудные годы наша отечественная история, бывшая до того всего лишь одной из многих гуманитарных дисциплин, неожиданно оказалась немаловажным оружием народа в борьбе с иноземным нашествием. Идя по следам партизанского движения в Псковской области, мне приходилось встречаться с бывшими подпольщиками, вспоминавшими, каким важным подспорьем для полуголодной жизни в оккупации были книги — исторические романы, школьные хрестоматии, просто учебники русской истории, позволявшие надломившимся было людям обрести вновь сознание своего единства с землей и народом, почувствовать себя не одинокими, найти в себе новые силы для жизни и для сопротивления.

Над нами реяли тени наших великих предков, действительно вдохновлявших нас на подвиг; в одном строю с живыми сражались против захватчиков Александр Невский, чье имя ошутимо перекликалось с именем Александра Матросова, и Дмитрий Донской, Кузьма Минин, поднявший народное ополчение, и Дмитрий Пожарский; примером были для нас Пересвет и Ослябя, посланные на ратный подвиг, чтобы отстоять свободу и независимость земли русской мудрым старцем Сергием Радонежским, чей образ — портрет — сопровождал русские войска, изгонявшие иноземцев, и в Смутное время, и в тяжелую зиму 1812 года, а вместе с ними — Суворов, Кутузов, Барклай-де-Толли... всех не перечислить!

То были не просто имена — то были люди, вернувшиеся к нам из прошлого в сиянии воинских лат, рассыпях бриллиантов на орденах, в торжественном титуловании — великий князь Дмитрий Иванович Донской, генералиссимус Суворов, светлейший князь Михаил Илларионович Кутузов-Рымникский — и пышных званиях своей эпохи, в окружении своих дружин, свиты, войска. И вместе с ними в наше время шагнуло все прошлое с его культурой...

И кто осмелится отрицать, что в последнюю войну с каждой посылкой из тыла на фронт, с каждым письмом, с каждой мыслью о защитниках к ним подступала дополнительная сила всего народа, позволявшая вынести самые невыносимые условия, пройти воистину через смерть, потому что каждой своей клеточкой они ощущали за собой всю страну, живые и мертвые поколения, стоящие с ними здесь же, на переднем крае.

Мы защищали тогда не просто леса, поля, реки, города и села — мы защищали свое настоящее, прошлое и будущее, свою землю, каждый камень которой был исполнен для нас значения, вызвал к личной памяти...

Советские войска в прямом смысле слова оведала слава прежних побед. Имена городов, сел, названия улиц, упоминаемые в сводках Совинформбюро, переставали быть только географическими понятиями, точками на карте: за каждым из них стояла История, стояли судьбы живущих и некогда живших людей. История делалась сейчас, ежеминутно людьми, которые никогда раньше не задумывались о какой-либо своей исключительности, избранности. Не чувствовали они этой исключительности и тогда. Но сознание долга, сознание кровной общности исторического дела, которое они выполняли, сознание обыкновенности подвига делало их причастными ко всем тысячелетиям человеческой истории, наполняло их сегодняшним днем всем, некогда бывшим.

А мы, подрастающие в те годы, дышали этим же воздухом, и чувство сопричастности истории оставалось у нас на всю жизнь.

Впрочем, только ли у нас? Сейчас я склонен думать, что наше поколение было лишь одним из тех, кого обожгла мысль о нераздельности прошлого и настоящего, кто, пройдя испытания тех лет, увидел себя на перекрестке времен. И понял, что идти дальше, в будущее, можно, только сверяясь с прошлым, используя весь тот необъятный опыт — научный, душевный, интуитивный, — которому в определенной степени обязаны своим существованием и мы сами, пытающиеся теперь это прошлое рассмотреть...

Совсем как тогда, восемь лет назад, в Ленинграде...

В просторных, полупустых и гулких залах, затененных собранными в складки шторами, шаги отдавались скрипом и хрустом пересохшего старого паркета. Редкие фигуры посетителей, ломкая тишина, столь чуждая Русскому музею...

Подчиняясь магии слов — «Портрет петровской эпохи», — я скользнул по отлогой траектории из современного остроугольного и дисгармоничного пейзажа, многократно повторенного на стенах соседних залов, в иное историческое время... Тогда и возникло то странное, ни на что другое не похожее чувство незнакомой знакомости, которое испытываешь, попав в окружение людей, отдаленных от тебя двумя с половиной столетиями и тем не менее знакомыми тебе, что называется, «в лицо», а не только своими именами и титулами. Переводя взгляд с одного портрета на другой, с одного лица на другое, ты припоминаешь судьбу каждого из этих современников, обстоятельства, в которых они сталкивались друг с другом, их отношения между собой, родственные и служебные связи — все то знание, которое делает тебя их современником, нечувствительным образом на какое-то мгновение уничтожая достаточное протяженную временную преграду.

Их было не так уж много на этой выставке. Я считал, сбивался со счета на повторениях, но все же получилось около ста человек — ничтожная часть всех тех, чьими усилиями корабль России был спущен на воду земных морей и начал свой гордый путь под орудийные залпы победоносных батальонов. Они были очень разными — и по происхождению, и по своей роли в русской истории, и по длительности жизни. Но, переходя от одного лица к другому, вглядываясь в них, таких разных, как разнились таланты и манера работавших над ними живописцев, я невольно был поражен схожестью проступавших изнутри характеров, словно отпечатком эпохи, создавшей их и зажегшей одним огнем.

Наверное, дело не только в Петре I, оставшемся для России, как и для Европы, не столько Первым, сколько Великим, ставшим определенной вехой в потоке времени и стержнем, скрепившим это самое время; вероятно, главное заключено в том ветре перемен, в том безудержном порыве созидания, стремления к новому, что роднит отмеченное деятельностью Петра время с нашей эпохой.

Роднит его самого, его соратников и современников с нами.

Вот они — соратники и «птенцы гнезда Петрова»: «первый российский салдаты» Сергей Бухвостов; великий «временной человек» Александр Данилович Меншиков и его красавицы дочери, одна из которых чуть было не стала российской императрицей; хитро-беззаботный «швейцарский гражданин» Франц Лефорт; Виниусы; отец и сын Апраксины; старый честный и прямолинейный Патрик Гордон, верно служивший новой России своей шпагой; победоносный фельдмаршал, первый русский кавалер Мальтийского ордена и первый граф Священной Римской империи Борис Петрович Шереметев; Строгановы; калмык Михаил Сердюков, строитель и бессменный управитель Вышневолоцких шлюзов; Репнины; неподкупный и негибаемый Яков Долгорукий, ухитрившийся бежать из шведского плена, прихватив с собой

еще и вражеский фрегат; Голицыны, Нарышкины, Тургеневы; трагически погибший на плахе красавец Артемий Волынский... Так уж суждено, что каждое из этих имен, словно удар колокола или полуденный выстрел пушки, вызывает из небытия множество других, связанных друг с другом, или отвагою в общей морской виктории, или единым строем бросившегося на смертный приступ «потешного» полка, или участием в очередной дипломатической миссии, помогавшей открывать «европейское окно» не меньше, чем штурм Нарвы или победа при Гангуте.

Современники и соратники. Родственники, знакомые, друзья и враги. Те, кто первым — легко или трудно — смог отказаться от родового татарского прошлого, сменить не только костюм и прическу, но и мысли свои и чувства, «оставить мать и отца своих», с проклятием или с обожанием поспеяв за долговязым бомбардиром Петром Алексеевым, провозгласившим перед Полтавой, что не царь, а Россия и слава ее должны быть целью и оправданием жизни каждого из ее сынов.

Портрет — в первую очередь — человек: жизнь, судьба, история.

Мое внимание на этой выставке было привлечено не к именам художников, не к их манере исполнения, а к самим лицам людей. Это властная тяга к общению с человеком иной эпохи, надежда на открытие какого-то секрета, известного ушедшим, подобно тому как долго, очень долго ребенок хранит уверенность во «всезнании» взрослых...

Так кто же они, ушедшие? Чем отличаются от нас? Что прячется под чужими формами причесок, пышного, непривычно театрального костюма? Порой мне казалось, что общение получается как бы обоюдным; что, уставшие в музейных запасниках, потускневшие в обществе случайных экспозиций, эти портреты рады были собраться вместе, изголодавшись по собеседнику — равно современному им и собеседнику новому, ради которого они в конечном счете и совершили свою жизнь тогда, продлив ее на туго натянутом холсте картины.

Я смотрел на портреты, на людей и думал о магической силе запечатленной жизни, которая преодолевает смерть, небытие, время и связывает нас снова с, казалось бы, давно исчезнувшим и забытым в нас самих.

Или, может быть, все эти способности к воспоминанию мы несем в себе сами, глубоко запрятанные в цепочке генетического кода до тех пор, пока достаточно сильный поступивший сигнал извне не пробудит их к жизни? Не отсюда ли эта тяга к историческим повествованиям, картинам, остаткам прошлого — тяга интуитивная, часто непонятная для самого человека, идущая из подсознания, от самого организма?

С чего начинается это чувство? Наверное, с дома, с квартиры, просто с комнаты, где на стене или в ящике комода хранится старинный портрет, пожелтевшая фотография, несколько старых книг с разорванными кожаными корешками, чудом еще не сданных в макулатуру за очередную «Королеву Марго», камень на письменном столе, привезенный из экспедиции дедом или прадедом, гильза от зенитного снаряда вместо вазочки для карандашей, старинное зеркало, картина, кольцо или брошь, перешедшие по наследству от прапрабабушки, какие-нибудь безделушки, пачка бумаг, перевязанная выцветшей ленточкой, или далеко спрятанные от глаз треугольники военных писем... Да можно ли перечислить все, что передается от поколения к поколению вольно и невольнo?

Мал, очень мал подобный семейный микромир, невелико значение и емкость каждого подобного предмета, но, существующий в настоящем, этот осколок прошлого времени сам становится неким центром кристаллизации мысли и чувств, обращая их к подобным осколкам в других знакомых домах и семьях, связывая их воедино с общей тканью истории. А дальше, как от брошенного в воду камня, круги ширятся, захватывая одну, другую комнату, квартиру, весь старый дом с его настоящими и бывшими жильцами, улицу, сохранившую в первоначальном своем названии уже немалый кусок истории, западающий в память с детства или интригующий до определенного возраста своей загадочностью. И вот уж с неповторимых своих ракурсах, в преданиях и тайнах встает сам город, если вырос он не враз по типовому проекту, а собирался веками по бревнышку, по дому, по улице, приобретая свои, неповторимые уже черты, влияя на чувства и характер своих жителей.

Подобный старый город — сам учитель истории, потому что камни часто оказываются красноречивее людей: видно, на них все же сохраняется незримый отпечаток тех, кто их складывал, кто жил, оставив на стенах старых домов не только свою мимолетно скользнувшую тень, но и излучение своей души, что ли... Иначе в комнатах мемориальных музеев мы бы встречались не с их прежними обитателями, а всего лишь с экскурсоводами и вещами, которые мелькают перед нами на полках комиссионных магазинов. Вот почему старый город — точнее, древний город — требует к себе особого отношения, и здесь мы, увы, не всегда оказываемся на высоте.

Поводом для поездки моей в Калинин стал случай заурядный, можно сказать, банальный: конфликт между строителями и теми организациями, которым была вверена судьба не только современного города, но и древней Твери.

Конфликт возник потому, что строительство новых зданий Медицинского института началось не в районе новой застройки, на окраине существующего города, а, как говорится, «село» в самом центре древней Твери, на территории бывшего тверского кремля, значащегося с 31 июля 1970 года в списке городов, утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам строительства и коллегией Министерства культуры РСФСР в качестве памятников нашей национальной культуры. Постановление это, по моему мнению, явилось воплощением одной из самых нужных и самых прекрасных идей: всемерно способствовать сохранению облика древних русских городов с их неповторимой планировкой, храмами, жилыми домами, ансамблями городских улиц, стоящими кое-где еще усадьбами, созданными лучшими нашими художниками и архитекторами, в которых ощутим тот самый национальный колорит, который отличает Россию от Англии или Франции.

Внимание к прошлому во имя будущего — вот как можно было бы охарактеризовать ведущую идею этого постановления, над которым работали наши наиболее известные историки, архитекторы и искусствоведы, предлагавшие всякий раз предельно аргументированный перечень зданий и улиц в каждом таком городе. И не только зданий. В тексте постановления специально оговорено, что понятие заповедности распространяется как на отдельные постройки и градостроительные ансамбли, так и на ту почву, на которой они стоят, на древний культурный слой городов, «представляющий археологическую и историческую ценность». Из этого следует, что если в каком-либо из перечисленных городов возникает совершенно непреодолимая нужда строительства в заповедной зоне (хотя, скажем прямо, трудно представить разумный аргумент, нарушающий статус заповедности), то до начала земляных работ эту территорию должны исследовать археологи, проведя полные раскопки, и только после подписанного ими заключения, что на этом месте нет ничего ценного, можно начинать строительство.

Стоит заметить, что порядок такой не нов. В нашей стране в сметах на строительные работы всегда предусматривается специальный процент отчислений на предварительные археологические исследования. Так по большей части ведется строительство в Москве, Ленинграде, Киеве и Тбилиси, в Таллине и Риге. А вот в Народной Республике Болгарии подобное правило еще более жестко: если археолог при контрольных раскопках обнаруживает на отведенной под строительство территории достаточно интересный объект, то ни о каком строительстве на этом месте и речи быть не может — проект должен быть переделан заново и для строительства, будь то частный дом или крупное государственное предприятие, должно быть выделено новое место.

В Калининские проектировщики упустили из виду необходимость согласования с археологами, деньги на раскопки не были предусмотрены, начались земляные работы, а когда областное управление культуры, Общество охраны памятников и Калининский областной краеведческий музей попытались вмешаться, на защиту мундира поднялись все причастные к ошибке лица.

Каждый день, проведенный в Калининне, убеждал меня, что немногие из областных центров могут соперничать с этим городом по своему местоположению. Он протянулся вдоль набережных по берегам рек и ручьев, связанных своими устьями и своими потоками с Волгой. Имена, знакомые давно по книгам и летописям, но ранее звучавшие несколько отвлеченно — Заволжье, Затьмачье, Затверичье, — обрели теперь формы, краски, запахи, пространственную протяженность. Они заполнялись людьми, выстраивались домами вдоль улиц, разделялись и соединялись сверкающими пространствами быстрой воды, неукоснительно стремившей свою прохладу сквозь город.

И все же город был не один: их было два города, взаимопроникавших друг в друга продолжением уличных магистралей, незаметно переходивших из одной эпохи в другую, из той — в третью, и, начиная с вокзала, вокруг которого обростал домами современный Калинин, пешеход, минуя несколько кварталов, оказывался как бы в Калининне послевоенном, а далее почти без перехода — в центре губернской Твери, через которую он выходил на набережные уже 70-х годов блестящего XVIII века, связанного здесь с именами Матвея Казакова и не менее прославленного П. Р. Никитина. На протяжении всего этого пути в двести лет стыки эпох были почти нечувствительны. Вторжение нового в старое происходило медленно, мягко, и только заплаты войны кое-где выделялись на фоне общей панорамы старого города.

Древняя Тверь без преувеличения — одна из самых крупных загадок нашей истории.

В реальной ретроспекции Тверь возникает для нас, подобно фениксу из пепла, после уничтожившего ее пожара 1763 года. От этой даты разбегаются лучи ее улиц, распространяется ровный пояс домов на высокой волжской набережной; с этой даты начинают расти радостные, легкие стены Путевого дворца, в который был вложен и гений М. Казакова. Все более раннее, более древнее, что донесло нам время из своих глубин, сравнимо лишь с обрывками драгоценного, навсегда утраченного фолианта, источенного книжным червем и прожорливыми архивными мышами.

Когда началась Тверь? Кто основал ее? И начало и место первоначального основания Твери теряются в дымке прошлого. Первое упоминание об этом городе историки отмечают в грамоте новгородского князя, датированной 30-ми годами XII века. Однако похоже, что к этому времени город существовал достаточно долго, был центром транзитной торговли, да и само имя Тверь, Твера, что на древнеисландском языке означает «поперечная река» — а Тверца и впрямь сбоку подходит здесь к Волге, — заставляет полагать, что первые поселения на этих крутых берегах возникли еще в VIII—IX веках, когда именно по Волге из Балтийского — Варяжского — моря в Хазарию и в Каспийское — Хвалынское — море пролегал знаменитый «восточный путь».

Тверь была яблоком раздора между Господином Великим Новгородом и «низовыми» княжествами. В темные годы татарского ига именно Тверь пыталась поднять знамя общерусского движения против поработителей, но ее героический порыв разбился о рабскую преданность Орде князей-ренегатов, задушивших своими полками вольнолюбивые порывы и потопивших восстание тверитян в их собственной крови. Вражеские войска вторгались в город еще не раз; и уже после присоединения Твери к Москве, проходя в Новгород, Иван IV подверг многострадальный город окончательному разгрому. Но и на этом злосчастия древней Твери не кончились. После обширного пожара 1763 года был создан новый перспективный план застройки города и снесены остатки оборонительных стен и башен. Несколько позже, уже в начале XIX века, срыли земляные укрепления — валы и редуты.

Последний, самый тяжелый удар был нанесен Калинин, но пришелся опять по сердцу Твери, во время Великой Отечественной войны. И все-таки несмотря на артиллерийские обстрелы, бомбежки, бои, еще в послевоенные годы возле Путевого дворца возвышался древний собор, а с юго-запада от него стояли великолепные торговые ряды, выстроенные по проекту К. Росси. И то и другое снесли совсем недавно, чтобы освободить место для безликого куба новой гостиницы. Творениям Росси за последние десятилетия почему-то особенно не везло: вот и в Ленинграде возле Гостиного двора был снесен до основания один из его павильонов, портик которого все же восстановили по требованию ленинградцев...

Так что же, ничего не осталось от прошлого?

Самое главное, самое драгоценное осталось — земля тверская, культурный слой, выросший за века существования города, сохранивший в своей многометровой толще множество утерянного, казалось, навсегда. Это и есть та чудом уцелевшая до наших дней, никем не потревоженная до недавнего времени (потому что при прежнем строительстве фундаменты неглубоко врезались в грунт) самая полная и самая подробная тверская летопись. Уникальный архив Твери, способный ответить на все вопросы историков. Здесь лежит все славное и тяжелое прошлое тверитян, выплаканные ими слезы, крики радости, каждая капля их крови и пота, которые и сделали эту землю такой черной, влажной и плодородной.

И в этой же земле лежат — как теперь доподлинно известно — тысячи никем еще не прочитанных берестяных грамот, хранящих имена, чувства, заботы и дела древних тверитян. Они были замечены в начале нашего века рядом со зданием тогдашней тверской гимназии, именно там, где на моих глазах вгрызлся в древнюю тверскую летопись ковш экскаватора, заканчивавшего выборку обширного котлована под строительство.

Как же получилось так? Почему вместо археологов, осторожно счищающих кусочки земли с каждой крупинки древности, чтобы ее можно было прочесть и истолковать, землю взрывали ковши экскаваторов? Я ехал с этим вопросом в Калинин в качестве корреспондента «Литературной газеты», заранее готовый к бою. Но все оказалось гораздо сложнее и гораздо проще, чем я мог ожидать. Только надо было во всем этом разобраться.

Да, теперь, когда экскаваторы уже практически выкопали котлованы для фундаментов и подвалов новых корпусов, битва между заинтересованными ведомствами шла больше в защиту пресловутой чести мундира — ну и в качестве некоего прецедента на будущее. В этих спорах, жалобах, обвинениях никто не ставил под сомнение необходимость новых корпусов для одного из крупнейших вузов города. Больше того, когда все это было выкопано, вроде бы и деньги на раскопки нашлись — правда, может быть, потому, что копать и исследовать на этом месте уже ничего не осталось. Спор, таким образом, оказался бесплоден.

перешел в другую плоскость: можно ли вообще строить на этом месте проектируемое здание?

Вот тогда я начал понимать источник зла и мог его назвать обеим сторонам — равнодушие. Самое страшное из всех зол, которые можно себе представить, потому что равнодушие бесплотно, неощутимо, но оно разъедает и души людей и жизнь, истачивает, как ржа. В данном случае равнодушие — в общем-то равнодушных людей — представало в виде ведомственной ограниченности, бесконтрольности, отсутствии согласованности, просто медлительности: улита едет, когда-то будет...

При разработке проекта забыли о необходимости согласования, о выделении средств на исследование, не поставили в известность соответствующие организации. Но ведь и эти «соответствующие организации» проявили минимум заботы и любопытства к проекту, когда он даже был опубликован в областной газете! Так кого же винить? Только то самое равнодушие и нерасторопность, которые почему-то приписывают нам в качестве черт национального характера, а это ох как несправедливо, потому что одно дело — человек и совсем другое — та бюрократическая машина, которую он пытается сдвинуть с места.

Пытаясь разобраться в происходившем, неожиданно для себя я обнаружил, что действительная проблема заключена не в границах выкопанного котлована, не в шести тысячах квадратных метров, отходящих под застройку и коммуникации (о них чуть позже), а в правомерности самого вторжения на территорию древнего города современного многоэтажного строительства, в первую очередь зданий общественного назначения.

В самом деле, ну зачем новые корпуса Медицинского института, площадью и объемом чуть ли не вдвое превышающие сам институт, неудачность проекта которых была еще до начала строительства отмечена в одном из информационных писем Госстроя СССР, надо возводить в самом центре города? Вопрос резонный, никто на него мне так и не ответил, тем более когда выяснилось, что студенческие общежития находятся в одном конце Калинина, в районе новой застройки, а базовая областная больница, в которой студенты-медики проходят практику, — в другом.

Вот тогда я специально поинтересовался у руководителей института: надолго ли удовлетворят эти здания нужду института в аудиториях, лабораториях и прочем? Оказалось, что не только не удовлетворят, но институт заранее готовится сразу же по окончании строительства просить о новых дотациях и расширении, поскольку плохо с общежитиями, нужны помещения для библиотеки с читальными залами, стационар...

Решить все эти вопросы можно было бы разом, создав за городом, в непосредственной близости от строящихся там гигантских зданий областной больницы своего рода медицинский городок по образцу университетских городков — с учебными корпусами, общежитиями, культурно-спортивными комплексами, парком.

Все это к частному вопросу о строительстве и планировании.

Между тем вопрос, вставший передо мной в Калинин, вопрос о древней, но не исчезнувшей, реально существующей Твери, дал повод для размышлений, ибо то был далеко не частный случай, а самый что ни на есть общий, достаточно важный и болезненный для всех наших старых и древних российских городов, больших или маленьких, областных или районных центров, даже вообще «заштатных», выросших из больших торговых сел.

Надо ли перестраивать древние города? А если надо, то в какой мере, в каком направлении?

Мне всегда казалось важным понять, что чувствует архитектор, склоняясь над планом города, насчитывающего энное количество веков, одним движением карандаша уничтожая простоявшие сто и двести лет дома, рисуя на их месте здание новое, суперсовременное, своим появлением как бы безапелляционно перечеркивающее все искания и находки зодчих предшествующих эпох.

Обо всем этом написано много, пишется и сейчас и, к сожалению, будет писаться еще больше... да только результат этого какой? Конечно, результат есть, маленький, но хочется верить, что он растет вместе с нами и каждое наше усилие оказывается не напрасным хотя бы потому, что оно обращено и к тем, кто придет за нами следом.

Что греха таить! Мы любим вести долгие и многозначительные разговоры о формировании духовного облика человека завтрашнего дня, о воздействии на его чувства и воображение, о развитии в нем лучших черт человеческого характера, бережного отношения к прошлому, а между тем незаметно для себя сами же уничтожаем именно те факты окружающего нас мира, которые только и способны поддержать подобное рождение индивидуальности, таланта, чуткости и уважения к творению рук человеческих. Мне кажется, достаточно сопо-

ставить, сравнить облик районов типовой застройки с исторически сложившимся сердцем старого города, где каждое здание, каждая решетка, каждый двор, переулок, поворот улицы с открывающейся перспективой несут в себе неповторимый отпечаток индивидуальности, некий суммарный склад характеров зодчих, строивших в разное время, но со вниманием относившихся к делу рук предшественников, чтобы вся эстетическая — чтобы не сказать, биологическая — несовместимость этих двух подходов предстала наяву.

Вторжение современного строительства в зону старой застройки неизбежно приводит к уничтожению или распаданию архитектурного лица города уже потому, что современный архитектор и проектировщик, находящиеся часто «за тридевять земель», не пытаются сочетать внешний облик нового здания с уже имеющимся окружением. И здесь дело не только в ограничении их возможностей наличием тех или иных строительных деталей, из которых, как ребенок из набора «Конструктор», они вынуждены создавать будущее здание. Мне думается, что безапелляционность подобного вторжения идет от неумения или неспособности почувствовать и реализовать существующую связь времен, поскольку и наше время, его облик, составляющие его элементы, возникли не на пустом месте, а в известной мере наследовали опыт и формы предшествующих эпох.

В том, что возможен иной подход, убеждает опыт таких городов, как Ленинград, где после долгих сражений и необоснованного разрушения ряда уникальных зданий проектировщики научились вписываться в уже существующую городскую перспективу, подлаживаться при реставрации и достройке в центральных районах под общий стиль планировки и градостроительства Петербурга. Эти же сдвиги заметны кое-где в Москве, в городах прибалтийских республик..

В облике города, неразрывно связанном с его именем, с именами его улиц, заключена некая тайная магия, действующая на нашу память, на чувства, невольно настраивающая нас на определенный лад,— все равно, будем ли мы приезжими или старожилами, впитавшими тайную эманацию его камней, осененные его вековыми деревьями, привыкшие к переплетению его улочек и переулков. Город, возраставший столетиями, возраставший поколения своих сыновей и дочерей, вошедший в историю и мировую культуру именами своих сограждан, своих улиц, обликом своих зданий,— он уже воспринимается как некий символ, неотторжимый от истории страны, истории ее народа. Не памятник, нет, нечто гораздо большее, чем стали Севастополь, Одесса, Ленинград, Москва — города-герои, имена которых озарили светом бессмертия тех, кто отдал за них свою жизнь.

Но переименуйте город такой и прислушайтесь: вызовет ли новое имя прежний душевный трепет, заставлявший в подсознании своем поднимать пласты отечественной истории? То же — с переименованием улиц наших городов, переименованием очень часто случайным и неоправданным, когда новые улицы и проспекты нарекаются по географическому принципу — скажем, в северной части города появляются названия улиц Мурманская, Северная, Полярная, Беломорская; в южной — Крымская, Черноморская, Севастопольская и так до бесконечности,— тогда как старые имена в исторической части города стираются новыми, по большей части ничего нам не говорящими. А ведь куда справедливее именно новым районам дарить имена наших современников хоть бы потому, что эти новые районы, улицы, дома и города являются результатом жизни этих людей, связаны с их деятельностью гораздо теснее, чем те улицы и переулки, в которых они случайно родились или жили.

На улице можно разрушить, снести, заменить и один дом, и два, и три; можно даже всю улицу перестроить; но до тех пор, пока она сохраняет свое прежнее наименование, пока тянется из прошлого в современность туго натянутая ниточка имени,— оно заставляет звучать и отзываться наши сердца, потому что истинное Имя имеет власть магически преобразовать повседневность.

Мы сами — «имя имеющие».

Слыша непривычные уху названия, не находя прежних ориентиров, человек чувствует, что он словно бы переехал в другой город, где ничто его не привязывает, ни к чему не обязывает. И теряя привычные ориентиры жизни — сначала название улицы, потом привычную череду магазинов, учреждений, служб быта,— прежний старожил оказывается в зыбком, непрочном, словно бы иллюзорном мире, тревожащем его отсутствием стабильности.

И здесь, пожалуй, стоит вспомнить о том, что нами привычно именуется памятником.

...Русский язык гибок, отзывчив на смысловые оттенки, вот почему, наверное, сочетание слов «памятник архитектуры» так нечувствительно и легко трансформируется в «памятник архитектуре» — грустный памятник тому, чего больше нет. Только так представляется

мне возможным объяснить сохранение среди однотипных панельных и блочных домов наших новых районов полуразрушенных церковок XVII и XVIII веков, еще недавно красовавшихся среди зеленых куп деревьев пригородных сел и поселков. Построенные некогда первоклассными архитекторами своего времени, эти церковки были неразрывной частью природно-архитектурных ансамблей нашей средней полосы, окруженные усадебными постройками, флигелями, дворцами, парками, прудами, зеленью сельского кладбища, рядами крепких добротных домов, украшенных по фасаду и наличникам обязательной замысловатой деревянной резьбой.

Теперь, одинокие, полуразрушенные или только подправленные снаружи, они стоят чужими, перенесенными в иную эпоху, как и те редкие старинные особняки городских усадеб, получившие паспорт «памятника архитектуры», в поредевшем строе переименованной, перелицованной сегодняшней улицы...

Сознание того, что государство проявляет заботу о прошлом каждого из его сограждан, что государству безразлично, что и как думает по поводу национального достоинства молодой человек, которому — может такое случиться — выпадет судьба с оружием в руках защищать не только это достояние, но и само государство, как то делали его отцы, деды и прадеды, — эта мысль может оказаться решающей в такой момент, как тот, что поднял на пьедестал бессмертия А. Матросова или Н. Гастелло. Они пошли на смертный подвиг не за памятники — за всю землю русскую, вобравшую в себя судьбы и тех, кто уже жил, и тех, кто еще когда-то будет на ней жить. У них была уверенность в твердости, незыблемости, правильности мира, который они защищают, в справедливости дела, которое они делают, как у каждого бойца, участника Великой Отечественной войны, который чувствовал себя соиздателем, вставшим на борьбу с разрушителем.

Идеей созидания — отражения нападения, предотвращения разрушения — проникнута была вся русская история, окрашены битвы, которые велись со вторгавшимся врагом. И жертвы, которые нес русский народ во всех войнах, начиная с Невского и Чудского побоища, с Куликовской битвы, были всегда во имя созидания России.

Вот, может быть, почему, приходя теперь с почтением на поля этих битв — возле Дона и Непрядвы, на Неве и у Полтавы, у Смоленска, Пскова, Бородина, на Орловско-Курской дуге — и на многие другие русские поля, не кровь, не запах ненависти и соперничества ощущаем мы, а светлую радость и горькое торжество, пронизанные чувством глубочайшей благодарности к тем нашим близким по духу, кто жизнью своею заплатил за наше право жить.

Вот почему забота о прошлом, забота о памяти тех, живших, передавших нам прошлое как эстафету, как завещание будущего, является как бы нашей национальной обязанностью, в чем бы это прошлое ни выражалось: в старинной ли песне, распев которой чудом сохранен самодеятельным деревенским хором, как это и сейчас можно слышать в Варзуге на терском берегу, в степном кургане, под насыпью которого лежит еще не прочтенная летопись веков, в названиях городов и улиц, на которых, как на опорных реперах геодезистов, держится вся наша отечественная история; наконец, в заросшем маленьком деревенском кладбище, чьи памятники, ушедшие в землю плиты и покосившиеся с краткими надписями кресты являют собой никем еще не зафиксированный архив села.

Храним ли мы все это? Увы, плохо, от случая к случаю, все больше забывая о своей сыновней обязанности за сутолокой сиюминутных дел.

В поездках по России мне приходилось видеть старинные кладбища провинциальных городов — и таких маленьких, как Вязники, Ростов, и таких растущих, как Коломна и Муром, — где уже не найти ни одного памятника, ни одного надгробия. Кому мешали они?

В трудные военные годы мы учились на примерах героизма, дышали воздухом истории, помнили ответ, полученный во время оно Дарием от скифских послов, которых персидский царь, вторгшийся на землю скифов со своим войском, тщетно призывал к сражению. «Если вы хотите, чтобы мы стали воевать с вами, — отвечали скифы, — попробуйте захватить могилы наших предков!» Свободолюбивые, бесстрашные скифы соглашались воевать лишь в том случае, если враги попробуют захватить и отнять их прошлое. Потерять прошлое для них было все равно что потерять будущее — страну отцов, свободу, самоуважение, родовую память.

Но разве мы, люди XX века, целенаправленно строящие свое будущее вот уже шестьдесят с лишним лет, можем обойтись без того, без чего не мыслил себе жизни древний скиф? Не верю. Больше того, уверен, что именно нашим людям, постоянно обращающим свои взоры к Красной площади, к историческим кремлевским стенам, скрепленным прахом первых революционеров, к Мавзолею основателя нашего рабоче-крестьянского государства, должно быть в особой степени присуще чувство сопричастности истории, прошлому своей

страны, ибо само ее существование является примером огромной важности для других народов мира.

Мы сами творцы своей истории, и судьба нашего будущего зависит от того, с каким отношением к прошлому, с каким багажом мы в это будущее войдем. Потому что будущее в равной мере зависит не только от сегодняшнего нашего в него вклада — строительства новых домов, городов, заводов, разработки земных богатств, уровня сельского хозяйства, отношения к природе, завоевания космоса, — но и от сохранности мраморных колонн античного Херсонеса, от того, сохраняются или нет на высоких взгорьях по берегам просторных северных рек деревянные храмы, поражающие нас одинаково своей красотой и виртуозным инженерным решением; это будущее зависит от чистоты воды наших озер и водохранилищ, морей, от спектра нашей каждодневной жизни, из которой мы, сами того не замечая, порой выбрасываем, уничтожая, драгоценные, создававшиеся веками произведения искусства.

Все, что исчезло сегодня, снова уже никогда не возникнет в тех формах, в тех красках, в которых оно некогда существовало, — об этой истине следует вспоминать как можно чаще. Несмотря на все наше горячее желание и уверения фантастов, время необратимо. И не стоит себя успокаивать мыслью, что лучшее — самое лучшее! — будет сохранено в музеях, в резервациях, в заповедниках. Музей — не жизнь, скорее отрицание жизни, поскольку составляющие его предметы уже навсегда изъяты из жизни, из кипения человеческих чувств, из ежедневного общения с человеком, на радость которому они и создавались. Теперь, изъятые и пронумерованные, они надежно ограждены от человека холодными плоскостями стекла, не пропускающего ничего, кроме любопытного взгляда.

Культура общества определяется очень многими факторами, среди которых одинаково важную роль играют средства массовой информации, коммуникативные системы, публичные музеи, государственные библиотеки, концертные залы, театры, уровень развития архитектуры, эстетика каждодневной жизни, гастрономические вкусы общества, мировоззрение, раскованность мышления, отношение цивилизации и ее производства к природе и многое, многое другое. Но действительным показателем уровня культуры каждого отдельного члена общества будет, по-видимому, качество и количество книг в его личной библиотеке, присутствие или отсутствие в его квартире произведений искусства, все равно, творений высокого профессионального мастерства или безымянных народных художников.

Эстетическое, воспитательное, нравственное воздействие любого произведения искусства становится возможным лишь в процессе каждодневного с ним общения как осознанный или подсознательный диалог. Собрания картинных галерей являются воистину сокровищницами национальной культуры: они необходимы, чтобы сохранять, поддерживать жизнь выдающихся образцов живописного и прикладного искусства, сделать их доступными для всеобщего обозрения, для изучения их специалистами, для общеобразовательных целей...

Не это ли, думается мне, и вызвало за последнее десятилетие музейный бум, отмечающий резко возросшую потребность личного общения с произведениями искусства, своего рода эстетический голод в быту?

Может ли удовлетворить подобный голод пятиминутное лицезрение Эль Греко или Нестерова, притом из толпы таких же рвущихся к общению с искусством людей? Нет, для общения с искусством — пусть это будет самый маленький рисунок, гравюра, памятная медаль, чеканенная по эскизу Федора Толстого, — нужна отрешенность, тишина и сосредоточенность, которые давно исчезли из залов музеев. Вот почему так явна стала противоположная тенденция, приводящая к стихийному росту личных библиотек, возникновению самых различных коллекций, начиная от станковой живописи, икон, гравюр, монет, предметов народного и прикладного искусства, игрушек и кончая почтовыми марками, открытками, спичечными этикетками, газетными вырезками, раковинами и камнями, — всего того, что дает собирателю не только эстетическое наслаждение, но и будит его мысли, расширяет кругозор, заставляет пополнять образование, делая часто такого коллекционера непревзойденным специалистом в избранной области.

Мне кажется, поиски раритетов, дающие возможность такому человеку соприкоснуться с прошлым, рожают в нем определенное чувство сопричастности всей человеческой истории, позволяя надеяться, что этим своим увлечением он тоже вносит посильный вклад в будущее, оставляя после себя некоторую рукотворную память... В том, что это именно так, убеждают не только такие хрестоматийные примеры, как судьба коллекций братьев П. М. и С. М. Трегьяковых, С. И. Щукина, А. А. Бахрушина, П. Д. Корина, но за последние годы Ф. Е. Вишневого, чье собрание превратилось в известный теперь Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени, появление в собрании Пушкинского Дома фонда поморских рукописей и рукописных книг К. П. и А. Г. Гемп из Архангельска, судьба биб-

лиотеки М. И. Чуванова, из которой пополняется сейчас собрание Государственной публичной библиотеки имени В. И. Ленина, куда перешло знаменитое в свое время книжное собрание Н. П. Смирнова-Сокольского, не считая множества других столь же знаменитых, многочисленных выставок, устраиваемые в последние годы московскими и ленинградскими коллекционерами из своих собраний — И. С. Зильберштейном, Я. Е. Рубинштейном... Да можно ли всех их перечислить?!

Правда, все это уже наиболее высокое проявление сознания общества, своего рода аристократизм культуры, тогда как на очереди у нас стоят задачи более простые и важные, касающиеся той основы основ, на которой все эти проблемы возникают, — нашей земли. Потому что именно она, земля, является первой и главной хранительницей нашей истории, нашего прошлого.

Вряд ли я выскажу новую мысль, что история человека начинается с первого орудия, изготовленного его руками, а история общества — с первого закона по той причине, что закон не столько утверждает уже достигнутое, сколько в известной степени служит программой дальнейшего, указывая способы и направления, на которых предстоит обществу развиваться и совершенствоваться. И все же такое напоминание представляется мне необходимым, потому что одна из наиболее знаменательных статей новой Конституции СССР, статья 18-я, впервые в законодательном порядке подтверждающая определенную зависимость успешного развития общества от его отношения к природной среде и правильному познанию ее природных законов, начинается именно так: «В интересах настоящего и будущих поколений...»

Впервые с достаточной определенностью эту мысль выразил еще Ф. Бэкон, сформулировав ее следующим образом: «...власть человека над природою основана единственно на искусствах и науках, потому что природою можно повелевать, только повинувшись ее законам».

Между смелой для своего времени мыслью Ф. Бэкона, ставящего на место всемогущего божества природу, и основанным на этой мысли законодательным актом первого социалистического государства лежат почти четыре столетия, наполненных войнами, революциями и гигантским взлетом человеческой мысли, который привел к тому, что частный, казалось бы, вопрос экологического равновесия, интересовавший до сравнительно недавнего времени только биологов, за последние годы обернулся серьезной проблемой, захватившей представителей всех отраслей современной науки.

С другой стороны, развитие таких новых направлений науки, как гелиобиология и палеоклиматология, исследование околосреднего космического пространства показали, что ключ к происходящим сейчас и ожидаемым в дальнейшем изменениям, как правило, лежит в прошлом. Это в одинаковой мере касается падения уровня Каспийского моря, колеблющегося с ритмичностью 1800—1900 лет под влиянием движения планет Солнечной системы, формирования структур почв, от которых зависит плодородие наших полей и на которые оказывают влияние долговременные атмосферические процессы; это касается цикличности землетрясений и общего развития биосферы нашей планеты на протяжении ряда тысячелетий, в том числе и ее климата. Иными словами, растения, животные, микроорганизмы, длительные гео- и биохимические процессы, сама человеческая жизнь, как мне приходилось уже писать, — все это оказалось в тесной, органической связи с космосом.

Познать эти закономерности, научиться их не только определять, но и предугадывать, предсказывать, чтобы парализовать или ослабить ожидаемое действие, можно, лишь исходя из опыта прошлого, из сведений, которые хранятся в великом архиве природы.

Вот почему по мере того, как естественные, точные и общественные науки находили между собой все больше точек соприкосновения, как бы намечая контуры будущей единой науки о человеке и космосе, им все чаще приходилось обращаться за недостающим материалом к археологии и к археологам. Древние поселения, могильники, наскальные изображения, культовые сооружения, пещеры с остатками деятельности человека, пространства древних пашен, таящиеся под покровом современных полей и лугов, древние горные выработки, слои торфа со слоями кухонных отходов и жилых построек древнего человека — все это при ближайшем рассмотрении оказалось сокровищницей прошлого, бесценным архивом космоса и биосферы.

Как это произошло? Стихийно, так, как обычно и проявляются законы истории — через человека вообще и через каждого отдельного человека в частности, потому что в каждом из нас, как я уже говорил, есть не только личное, присущее только нам, единственным, но и общее — родовое, национальное, общечеловеческое и благодаря этому планетарное, то есть космическое.

Люди, населявшие пять—семь тысяч лет назад лесные и лесостепные пространства

Восточной Европы, которые теперь мы считаем корнем России, разнились от нас только объемом своих знаний о себе и окружающем мире, своими представлениями и верованиями, а вместе с тем и уровнем своей жизни, производством и экономикой. Во всем остальном они были такими же, как и мы: в достаточной степени легкомысленными, мало заглядывающими вперед, думающими больше о дне сегодняшнем, чем о завтрашнем, и уж, конечно, гораздо меньше, чем мы, задумывались они о связи времен, переплетении прошлого с настоящим и будущим.

И все-таки они делали для будущего чрезвычайно много именно потому, что были гораздо теснее, чем мы, связаны с природой, зависели от нее и следовали ее изменениям.

Передвигая свое жилище вслед за кромкой сокращавшегося и зараставшего водоема или сооружая его на помосте среди болот, расчищая под пашню отвоеванную у леса землю, воздвигая деревянные кварталы первых древнерусских городов, эти люди сохраняли для нас — в слоях торфа, в грязи городской улицы — десятки тысяч стволов деревьев, по годовым кольцам которых современные исследователи начинают восстанавливать летопись климата, солнечной радиации, прорывающихся потоков космического излучения и многого другого. В остатках мусорных куч этих людей погребены свидетельства почти о всех животных, населявших контролируемое человеком пространство, и там же лежат зерна цветочной пыльцы растений, по которой с исчерпывающей полнотой можно не только восстановить картину растительности определенной эпохи, но вместе с тем определить закономерности в процессах биосферы на протяжении многих веков и тысячелетий.

Все не перечислить, к тому же обсуждение, какую именно информацию о прошлом и будущем может получить тот или иной специалист с помощью археологического объекта, — разговор особый. Прежде всего потому, что при современном уровне наших знаний мы просто не в состоянии оценить общую сумму этой информации, хранящуюся в слоях почвы, затронутых некогда деятельностью человека. К тому же какие бы заманчивые перспективы ни открывались нам в этом направлении, мы не имеем права забывать, что их реализация — все равно, в близком или отдаленном будущем — возможна только при сохранении самого археологического объекта, будь то пещера с остатками поселения первобытных охотников, стоянка древнего человека на берегу реки или озера, древнее городище, могильник, руины крепости или культурный слой, подвергающийся планомерному разрушению строительством в том же Калинине, Новгороде, Владимире, Ярославле и во всех других городах, где археологические раскопки ничтожны по площади и ассигнованиям или же не ведутся совсем вопреки существующему законодательству.

Что же, надо признать, что небрежное отношение к памятникам прошлого, иногда неоправданное их разрушение, даже полное уничтожение строительными и хозяйственными организациями пока еще встречаются достаточно часто. С каждой из этих причин в отдельности и со всеми вместе бороться нужно и должно, опираясь на помощь наших советских законов, о существовании которых мы почему-то часто забываем. Но сейчас я хочу сказать о другой опасности, которая подстерегает наше прошлое с совсем неожиданной стороны.

Мне представляется, что в настоящее время одна из наиболее существенных опасностей, ставящая под угрозу сохранение этих «архивов биосферы», как по праву можно именовать археологические памятники, очень часто исходит от самих археологов, точнее, от уровня современной археологической науки.

Это не парадокс — это горький итог достаточно долгих наблюдений и размышлений. И не привлекла ничего внимания эта сторона дела лишь потому, что стороннему человеку трудно, а часто и невозможно понять все тонкости кухни науки, разобраться в истинности и сложности ее направлений, отличить действия, совершенно необходимые для развития и накопления человеческих знаний, от имитации исследовательского процесса, остановившегося на уровне двадцати-тридцатилетней давности. А это может встретиться — и встречается — в любой отрасли науки, если она замыкается в себе самой и мало связана с современной жизнью, производством, народным хозяйством, — короче говоря, когда отсутствует та необходимая обратная связь теории и практики, без которой не мыслится ныне ни одна форма человеческой деятельности.

Каждый археолог подтвердит, что раскопки немислимы без разрушения — слоя, насыпи и т. д. В записях, фотографиях, планах, чертежах, описях, остающихся после раскопок в архиве, сохраняется отнюдь не сам памятник, как об этом привычно говорят и пишут, а лишь то или иное впечатление о нем, возникшее у его исследователя на основании опыта, уровня таланта, образованности, широты кругозора, умения ориентироваться в том множе-

стве смежных дисциплин, которые можно использовать для «считывания информации» и т. п. Другими словами, это субъективный взгляд, по большей части взгляд поверхностный.

И дело вовсе не в том, что в наш век электроники, тончайших химических и физических анализов материи, выхода в космос и проникновения мыслью и инструментом как бы в «подкорковое вещество Вселенной» археолог все еще вооружен только лопатой, ножом и кистью — таков его основной рабочий инструмент и таким он останется еще долго. Настоящая беда в том, что сама методика исследования, определение вопросов, подлежащих изучению, общий юридический статус объектов исследования за последние пятьдесят лет практически не изменились.

Почему? Вот в этом я и хочу разобраться.

Первую причину можно назвать объективной, она заключена в существующем разрыве между уровнем задач, решаемых каждым отдельным археологом в своих исследованиях, и неподготовленностью тех областей науки, которые эти исследования должны поддержать своей, так сказать, материально-технической базой. В любом случае первый и самый главный вопрос для археолога заключается в определении даты объекта, времени его возникновения, жизни и гибели. Второй вопрос касается определения характера памятника, того, что находится под землей и что предстоит изучить. Третий по важности вопрос — определение природного окружения человека того времени, направления его хозяйственной деятельности и экологии. Ответы на все эти вопросы исследователь должен получить перед началом работ, в самом их начале или в их продолжении, чтобы в соответствии с результатами менять направление и методику раскопок, ставить перед собой новые задачи.

Возможно ли это осуществить, исходя из имеющегося объема человеческих знаний и арсенала технических средств современной науки? В принципе возможно. Для определения возраста археологического объекта разработан ряд методов, в том числе радиоуглеродный; для определения залегающих под землей остатков используется электроразведка, магнитный метод, акустический и ряд других; для определения хозяйственной ориентации древнего человека и его природного окружения можно применить палеоботанический и биохимический методы в сочетании с палеогеографическими и геоморфологическими исследованиями.

Итак, возможность — теоретическая — налицо. В действительности все происходит наоборот. Все ответы на перечисленные вопросы исследователь получает в лучшем случае через год после проведенных раскопок, которые он осуществляет благодаря своей интуиции, везению и таланту, то есть практически на авось. Анализы становятся как бы данью моде, потому что никак не влияют на ход работы, а если к тому же их результаты расходятся с мнением исследователя, то они объявляются ошибочными, хотя, казалось бы, следовало посмотреть, не коренится ли ошибка в выводах самого исследователя и в использованных им посылках.

Почему возможен такой разрыв? В первую очередь потому, что археолог не обеспечен такой вот материально-технической поддержкой вспомогательных дисциплин. Финансируются, как правило, только земляные работы и в лучшем случае первичная обработка извлеченных из земли предметов, поскольку по-прежнему в центре внимания археолога остается вещеведение.

В течение многих лет я невольно слежу за работами Северо-западной экспедиции Государственного Эрмитажа, которые могут служить образцом действительно современного, в полной мере комплексного подхода не просто к памятникам археологии, а в целом к изучаемой территории. В отличие от многих других экспедиций здесь с самого начала во главу угла был поставлен вопрос о взаимодействии человека с природой, начиная от самой ранней эпохи, мезолитической, и вплоть до средневековых славянских поселений. Сами археологические находки — черепки, остатки свайных поселений, следы железодельного производства, кремневые мастерские, в которых изготавливались каменные орудия, — были не самоцелью поисков, а средством проникновения в последовательность и механику природных процессов, раскрытия причин смены хозяйственной деятельности человека в различные эпохи, возможности прогнозирования дальнейших открытий.

Так произошло благодаря широте взглядов руководителя экспедиции А. М. Микляева и потому, что он довольно рано понял: качество и количество открытий возрастают пропорционально с ограничением объема земляных работ и соответствующего возрастания исследований, в обычных экспедициях не предусмотренных и относимых на послеекспедиционный период.

Одним из объектов работ Северо-западной экспедиции были многочисленные свайные поселения на озерах и болотах, где в руки исследователей попал поистине уникальный

материал — несколько тысяч древесных стволов в виде свай и остатков жилых настилов, — архив, содержащий расположенную по годам в слоях древесины ценнейшую информацию о природе и космосе за все III тысячелетие до нашей эры. Весь этот материал удалось использовать лишь в ничтожной его части — хронологической — только потому, что ни одно учреждение, ни один институт или лаборатория не были готовы принять на себя его хранение и изучение.

По отношению к нуждам изучения прошлого современные точные науки еще «не вышли в поле». Не потому ли на страницах специальных изданий почти не видно статей, рассказывающих об использовании археологических объектов для решения задач современной экологии, планирования и экономики? Примером удивительного равнодушия такого рода может служить отношение археологов (да и ряда географов-экономистов) к учению о ритмах гидросферы, когда археологические объекты оказываются единственными показателями ритмических колебаний уровня водоемов в прошлом, предсказывая подобные же колебания в будущем.

В подавляющем большинстве археологических публикаций, казалось бы, прямо связанных с этим вопросом, напрасно искать хотя бы упоминание о применении данных учения о ритмах, их проявлениях, своеобразии отдельных районов, хотя, как я писал уже не однажды, этот метод был разработан советскими учеными, и в первую очередь А. В. Шнитниковым. Его применение позволит поставить археологический поиск на научную основу, во много раз повысив точность предварительного датирования слоя памятника до широких раскопок без применения дорогостоящих анализов.

Мне думается, причина этого заключена не только в традиционной ограниченности кругозора современного специалиста, внимание которого в данном случае, как и много лет назад, направлено на получение и описание вещей, а не на те насущные общечеловеческие проблемы, над разрешением которых работает мысль мировой науки.

Основная причина подобной индифферентности, как мне кажется, лежит в притуплении чувства ответственности за судьбу общечеловеческого достояния, каким является все без исключения наше прошлое, во всех его памятниках, следах и остатках, притупление чувства общечеловеческой значимости того дела, которому он себя посвятил и которое никогда не должно покидать исследователя, в какой бы области он ни работал.

Вероятно, такое чувство надо назвать гражданственностью.

Подобная высокая гражданственность всегда отличала лучших представителей нашей исторической и археологической науки, которые видели цель своей работы отнюдь не в том только, чтобы узнать, «как люди жили прежде», но и в том, чтобы через остатки деятельности этих людей найти путь в настоящее и будущее, вернуть своим современникам как бы концентрированный опыт поколений.

Наше государство ежегодно увеличивает ассигнования на научные исследования, в том числе и на археологические. Благодаря такому увеличению средств и прямому финансированию экспедиций системы Академии наук, Министерства культуры, местных музеев и отчислению определенного законом процента на раскопки в зоне строительства непрерывно возрастает объем земляных работ, увеличивается количество раскопанных, то есть уничтоженных раскопками объектов, материал которых поступает на хранение в музеи и научные учреждения почти неизученным. На его исследование не хватает ни времени, ни денег, ни оборудования. Все это оставляется на будущее. Темпы растут из года в год, фронт работ ширится катастрофически, множатся цифры раскопанных площадей, горы полученного материала, к которому уже нет времени вернуться, чтобы оценить и изучить. В результате же выходит, что рост ассигнований, направляемых на исследование прошлого, не только не расширяет, но практически сокращает возможность действительного его изучения.

Беда в том, что деньги, отпущенные на аварийные, спасательные раскопки, тратятся зачастую на другие объекты, которые вполне могли бы подождать своего часа... но они интереснее самому исследователю!

Насколько поверхностно могут проводиться работы, видно на примере обширных, дящихся около четверти века раскопок сотен памятников эпохи бронзы на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской и Калининской областей, где за извлечением и описанием вещей оказались начисто забыты такие первоочередные вопросы, как выяснение хронологии методами точных наук, вопросы палеографии, реальной экономики, сравнительного изучения биоценозов древности, исследования и выявления почв, использованных в древности и потому требующих сейчас особого к себе отношения, поскольку они включены в современный хозяйственный оборот. Сумма использованных на эти раскопки средств выражается цифрой со многими нулями, но вопросы эти даже не поднимались

в опубликованных итоговых статьях и монографиях, а о каких-либо хозяйственных рекомендациях вообще говорить не приходится, поскольку интерес к прошлому проявляется в этом случае, как говорят, академический.

Конечно, пример этот из ряда вон выходящий, виноваты здесь не большие суммы, ежегодно бесконтрольно перечислявшиеся на счет экспедиции, а низкий уровень руководства, организации и отсутствие контроля за расходованием народных средств.

Кто-нибудь захочет мне возразить: мол, это дело самих археологов—определять методы и задачи своей науки, на то они и специалисты, за то и деньги получают...

Думаю, что такое возражение неверно, оно продиктовано робостью и своего рода равнодушием: мол, моя хата с краю, я ни в чье дело не вмешиваюсь... ну и в мое тоже не вмешивайтесь! А если подумать хорошенько, есть ли такое на нашей Земле дело, которое не касалось бы каждого из нас? Что-то не могу придумать. Тем более, если это касается нашего общего прошлого, по существу нашего будущего, за которое в ответе каждый гражданин нашей страны, каждый житель Земли.

Много всего осталось от прошлого? На всех хватит? Слишком дорого с ним возиться? Нет. Не много, и никакой ценой не окупить утраты.

Еще недавно земные недра казались нам безбрежными, но прошло совсем мало времени — и мы узнали, что не так уж много природных богатств остается у нас на будущее. То же самое относится к прошлому, к тем слоям древнерусских городов, которые почему-то представляются нам неисчерпаемыми и взаимозаменяющими друг друга. Так или примерно так на это смотрели в Калинин, когда я доказывал необходимость запрещения строительства на охраняемой территории древнего тверского кремля, настаивал на необходимости исследования его архива — черного, влажного, открытого, по счастью, для изучения.

Бомбежки, артобстрелы, тяжелые уличные бои Великой Отечественной войны «расчистили» многие древние центры старинных русских городов, закрытые раньше плотной застройкой. Когда началось восстановление города, эти пространства были вновь закрыты зданиями. Тогда в Калинин возле здания Медицинского института открылась для изучения именно та территория, где в начале века были обнаружены берестяные грамоты. Подобная возможность — ею тоже не подумали воспользоваться — была только у Новгорода, который был практически наполовину снесен с лица земли. Новый Новгород целесообразнее было строить за пределами его древних валов, чтобы этот, древнейший, стал на века мировым центром медленного, скрупулезного изучения древнерусского города, огромным музеем под открытым небом. Увы, «северные Помпеи» не получились: драгоценный древний слой был уничтожен котлованами новых типовых домов.

Когда я был в Калинин, возможность глубинного изучения открылась было для древней Твери: следовало только пересмотреть проект, уже признанный неудачным, вынести строительство из охраняемой зоны и дать возможность начать наконец вдумчивое чтение естественной тверской летописи. Мне возражали, указывая, что уже затрачены определенные средства, что котлован почти выкопан, что эти шесть тысяч квадратных метров по сравнению со ста девяноста тысячами квадратных метров общей площади тверского кремля ничего не стоят, во всяком случае, стоят гораздо меньше, чем те средства, что уже затрачены на проект и подготовительные работы... Списать в убыток? Нет, такое было совершенно невозможно!

И вот я тогда задумался: может быть, правы эти люди, а не я? В самом деле, ну сколько же стоит прошлое и стоит ли вообще? Оно уже было, стало быть, его как бы уже нет, и тот культурный слой, о котором весь разговор, из-за которого весь сыр-бор загорелся, — так, фикция?

И вот собирая по крохам, по обрывкам впечатления, запавшие в память в те дни, когда я бродил по улицам Калинина, с особой остротой воспринимая жизнь незнакомого города, в котором по странному стечению обстоятельств я родился, где есть свое издательство, крупнейший в стране полиграфический комбинат, редакции газет, писательская организация, университет, прекрасный музей, я припомнил, что ни в киосках, ни в магазинах не попадалась мне краеведческая литература, рассказывающая об историческом прошлом Твери, о ее памятниках и окрестностях. Не было и среди значков с изображениями древних и современных гербов различных русских городов прежнего герба Тверского княжества, как он описывался когда-то: «Герб Тверской есть в красном поле золотой епископский престол с лежащею на нем зеленою подушкою, на которой положена золотая княжеская корона с золотыми ж кистями». Другими словами, за сегодняшним срезом калининского дня не просматривалась глубина его прошлого. Оно словно бы выпало из обращения в Калинин, поэтому слово «архив» воспринималось по отношению к слою древней Твери с нескрываемым удивлением.

Да, в Калининне есть архив, очень важный, дорогой для сердца каждого патриота. В нем хранятся документы партизанского движения на территории не только теперешней Калининской, но и Псковской, Смоленской, Великолукской областей. Там все, как было когда-то: бригады, отряды, бойцы, личные архивы командиров... Каждая папка — человек; каждая папка — судьба, кусок прошлого.

С тем тверским архивом сложнее. Там нет ни папок, ни этикеток, ни каталогов, ни описаний... пока еще нет. Поэтому давайте примем условно каждый квадратный метр еще никем не изученной площади тверского кремля на всю его пяти-восемиметровую глубину со всем, что в нем содержится, за человека. Тогда шесть тысяч квадратных метров древней Твери будут равны шести тысячам древних тверитян, прапрапра... Сейчас, до начала строительных работ, они есть, они существуют, может быть не в совсем привычном виде, но придет экскаватор — и ковш за ковшом эти пусть вымышленные, но когда-то реально жившие люди будут исчезать, переходить в небытие, откуда их уже не сможет вернуть никакая наука будущего.

Здесь уместно сказать, что организация охраны территории, на которой расположен тот или иной объект, имеющий статус памятника — архитектуры, археологии или природы, — определение возможной степени ее хозяйственного и культурного использования есть одна из самых насущных задач в культурном строительстве сегодняшнего дня. Такая территория может быть берегом озера, участком торфяного массива, частью современного города, речной долиной, пещерой с окружающей ее местностью, охранной зоной вокруг древнего храма или крепости, в исключительных случаях даже целым районом, в котором сконцентрированы памятники различного характера и разных эпох, являющихся, однако, одно целое с окружающей природой, как заповедник на Большом Кижском острове, как комплекс Соловецких островов на Белом море, как районы древних цивилизаций в Средней Азии и в горах Закавказья.

Все это не ново и не случайно. Человек издавна сохранял, объявляя заповедными, привлекавшие его внимание участки земной поверхности — «священные» рощи, деревья, скалы, источники, долины, горные цепи, леса, участки берега, озера и т. п. По мере развития человеческого знания и торжества цивилизации почтение к подобным местам просвещенными членами общества осмеивалось, объяснялось невежеством и суеверием предков, но вот проходило еще какое-то время, и их потомки обнаруживали, что традиция сохраняла не просто ту или иную естественную резервацию, овеянную легендами и чудесами, а богатейший природный архив, лабораторию природы, значение которых для сегодняшней жизни далеко выходит за те рамки, что были им когда-то определены... Стоит вспомнить, как еще совсем недавно мы потешались над естествоиспытателями прошлого, именовавшими себя астрологами и алхимиками, полагавшими, что жизнь каждого человека зависит от планет, сочетания созвездий и Солнца, таинственным образом влиявших на наш организм во время его еще утробного развития. Что же, минуло всего два-три столетия, и мы успели выяснить, что наша кровь подвержена действию магнитных полей Земли, на наше состояние — физическое, психическое, творческое — влияют различные поля, в том числе, по-видимому, и гравитационное, меняющееся от перемещения планет Солнечной системы, да и само Солнце постоянно влияет на нас потоками своей радиации настолько, что мы с полным основанием имеем право считать себя не только «детьми Земли», но и «детьми Солнца»!

Не так ли происходит сейчас и с памятниками прошлого, о ценности которых мы только еще начинаем догадываться? Вот почему именно теперь геофизиком заинтересовало римское и венецианское стекло, в котором они обнаруживают следы еще неизвестных космических частиц, находят в обожженной глиняной обмазке древней печи отпечатки магнитных силовых линий прошлого, позволяющие определять положение магнитных полюсов тысячелетия назад, а палеоклиматологи по деревянным балкам древних храмов и гробниц восстанавливают своеобразную летопись солнечной радиации.

Надо ли после этого доказывать, как необходимо особо бережное отношение к остаткам прошлого.

Между тем не все благополучно, как я уже говорил, даже в отношении объектов исключительного значения, как показывает судьба единственной в своем роде верхнепалеолитической стоянки Сунгирь под Владимиром.

Законсервированный трехметровой толщей суглинков, полностью сохранившийся здесь участок почвы двадцатипяти тысячелетней давности площадью около двух квадратных километров с остатками поселения людей того времени и их могильником мог стать на столетие международной исследовательской лабораторией высшего класса, но был разрушен карьером кирпичного завода. Не сразу — в течение двадцати с лишним лет. Сейчас от этого комплекса

сохранились только отдельные участки, до сих пор не взятые под охрану, откуда по-прежнему выбирается глина для производства.

Еще более быстро и без сколько-нибудь серьезных исследований был разрушен в Ярославской области ряд уникальных болотных поселений — на Берендеевом болоте, на Ивановском торфянике, — значение которых может быть сопоставимо разве что с открытием в середине прошлого века свайных поселений на озерах Швейцарии, оказавших поистине революционное воздействие на развитие науки. В этом случае вина лежит не только на археологах, но в особенности на палеогеографах, способствовавших уничтожению уникальных природно-археологических комплексов, хотя, казалось бы, именно они должны были оценить их значение не только для изучения прошлого, но и для прогноза развития климатической обстановки этого района.

Почему оказались возможны такие упущения?

Одна из причин, на мой взгляд, заключается в том, что в действующем законодательстве археологические объекты до сих пор рассматриваются только как памятники культуры, приравняемые к памятникам архитектуры и к мемориальным комплексам. Поэтому они до сих пор подлежат ведомственному учету и охране по линии Министерства культуры, его управлений и отделов. Не пора ли пересмотреть это положение так же, как и практику археологических раскопок, поскольку (как я пытался доказать) все эти объекты в гораздо большей мере являются памятниками истории биосферы и космоса, а потому подлежат ведению более компетентных органов, чем районные отделы культуры, загруженные клубной работой и вопросами кинофикации села?

Мне кажется, такой контроль за сохранением и наиболее эффективным — во всех отношениях, начиная с моральных, идеологических и кончая научными и хозяйственными, — использованием объектов, хранящих концентрированную информацию о биосфере и человеке в прошлом, мог бы осуществлять специальный Комитет по координации экономики и науки, подчиненный непосредственно Верховному Совету СССР как высшему органу государственной власти. Создание подобного авторитетного органа каждый раз при решении судьбы того или другого памятника — застройке территории тверского кремля, добыче глины на Сунгире, раскопках очередного фатьяновского могильника из немногих оставшихся, исследовании болотных поселений, использовании античных поселений на берегах Черного моря для создания музеев под открытым небом, — позволит предусмотреть действительно комплексное его изучение и контроль за судьбой полученных результатов, оценка которых должна происходить не по формальным признакам, как то практикуется сейчас, а с точки зрения действительного вклада в науку и народное хозяйство.

С другой стороны, непосредственная охрана и контроль за использованием охраняемой территории должны осуществляться исполнительными органами местных Советов, располагающих к тому же реальными возможностями...

Забота нашего государства об охране памятников истории и культуры отмечена статьей 27-й Конституции СССР, подтверждена специальным законом «Об охране и использовании памятников истории и культуры», многочисленными постановлениями, инструкциями и рекомендациями. Они хороши, своевременны, спору нет, и можно только пожелать, чтобы им возможно точнее следовали на местах.

Но не случайно весь этот разговор я начал со случайного спора и борисоглебской встречи, постоянно сворачивая с памятников на память человеческую, с общего на частное, личное, возвращаясь снова к общему, общечеловеческому, глобальному, потому что все большие проблемы, все общечеловеческие вопросы, наконец, вся жизнь наша складывается из «мелочей», из личного нашего к ним отношения — настроения, привычек, ежедневной суеты, забот, — среди которых, казалось бы, и места нет для помыслов высоких и общенародных.

Так, может быть, задача заключается в том, чтобы охрану памятников снять с воображаемого пьедестала, низвести ее до уровня каждодневного, будничного, но обязательного дела, как поддержание и сохранение памяти народа, чтобы каждый из нас, живущих, чувствовал себя обязанным к тому всем настроем жизни своей? Именно в этом видится мне смысл и общенародных наших юбилеев, и более скромных памятных дат, и надписей «...охраняется государством» — попыток привлечь наше внимание, остановить, напомнить о прошлом, о сопричастности каждого из нас тому общему делу, которое объединяет прошлое и будущее поколения людей в единое человечество.

В МИРЕ НАУКИ

КОНСТАНТИН ФЕОКТИСТОВ, ИГОРЬ БУБНОВ



ПЕРВЫЙ ПИЛОТИРУЕМЫЙ...

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, доктор технических наук, профессор Константин Петрович Феоктистов и историк техники, журналист, кандидат технических наук Игорь Николаевич Бубнов написали книгу «О космолетах» (она готовится к выпуску в издательстве «Молодая гвардия»). В этой книге, значительная часть которой написана в виде разговора между авторами, речь идет о предыстории и появлении первых космических кораблей, о путях и проблемах развития полетов в космос, о будущем освоения космического пространства. Мы публикуем ту часть размышлений К. Феоктистова и И. Бубнова, которая касается создания первого пилотируемого советского космического корабля и его полета.

ПРИСТУПАЕМ К «ВОСТОКУ»

В июне 1955 года в отчете о научной деятельности за 1954 год члена-корреспондента АН СССР С. П. Королева было написано:

«Принципиально возможно при посредстве ракетных летательных аппаратов осуществить полеты на неограниченные дальности, практически со сколь угодно большими скоростями движения, на беспредельно большие высоты. В настоящее время все более близким и реальным кажется создание искусственного спутника Земли и ракетного корабля для полетов человека на большие высоты и для исследования межпланетного пространства...».

— Меня, Константин Петрович, в этом документе поражает спокойный, деловой тон. Ни тени сомнения. Как будто речь идет о чем-то обычном, будничном, а не о реальной возможности того, что большинство людей планеты считало тогда едва ли не фантастикой.

— Уверенность в своих действиях вообще была свойственна Королеву. В начале пятьдесят шестого года было решено группу Михаила Клавдиевича Тихонравова (включая и меня) перевести из института в КБ Королева. Но потом почему-то решение видоизменилось, и к Королеву сначала перешел один Тихонравов. В декабре пятьдесят седьмого года и я оказался у Королева, в отделе, который возглавлял Тихонравов. Как раз в это время в КБ зарождалось два новых направления: автоматические аппараты для исследования планет и пилотируемые аппараты для полета человека (так тогда назывались космические корабли). Тихонравов предложил мне выбрать одно из них. Я с радостью взялся за второе и с тех пор области своей деятельности уже не менял.

Исследования возможности полета человека в космическое пространство на ракетном летательном аппарате начались в КБ, возглавляемом С. П. Королевым, несколько раньше. Сначала рассматривали вопрос не об орбитальном полете, а о баллистическом на большую высоту или на дальность.

Работы эти начались тоже не на пустом месте. Еще в первые послевоенные годы М. К. Тихонравовым и Н. Г. Чернышевым был разработан эскизный проект двухместного

аппарата «ВР-190», запускаемого с помощью одноступенчатой ракеты на высоту около 200 километров. Проект предусматривал наличие в аппарате системы обеспечения жизнедеятельности, управление в полете, торможение и спуск с помощью парашютов. Этот проект и послужил основой для новой разработки в отделе Тихонравова.

Чуть позже одна из групп у Королева начала изучать также возможность создания орбитального пилотируемого аппарата, причем крылатого. Выяснилось вскоре, что сложности тут, связанные с аэродинамикой и теплозащитой, огромные, в то время почти непреодолимые. Проработкой задачи о баллистическом полете занимался в отделе Тихонравова сектор, возглавляемый талантливым конструктором Николаем Потаповичем Беловым.

— К нему я и попал. Белов предложил мне сначала заняться вопросами устойчивости аппарата на участке спуска при полете по баллистической траектории, при входе в плотные слои атмосферы. Я с удовольствием принял за эту задачу, на решение которой ушла зима пятьдесят седьмого—пятьдесят восьмого года. И одновременно при поддержке Белова и Тихонравова я начал подбирать специалистов к себе в группу для проектирования орбитального аппарата.

(Мысль о работе над орбитальным космическим, а не баллистическим кораблем сидела в голове у многих. Думал о таком аппарате и Сергей Павлович. Ведь при одинаковой примерно сложности разработки орбитальный полет открывал сразу же большие возможности для дальнейшего движения вперед.)

— Пришло время заняться этим всерьез. И кому-то должно было быть поручено за это взяться. Поручили нам, и мне в частности.

— С каким энтузиазмом вы приступили к этому делу, я представляю — ведь вы мечтали о нем давно. Но было, наверное, немало скептиков, сомневавшихся в реальности поставленной перед вами задачи?

— Были не только скептики, но и противники, утверждавшие, что браться за пилотируемый спутник преждевременно и что надо идти по пути создания автоматов различного назначения и размера и набираться таким образом опыта. При этом имелись в виду не только объективные трудности, но и возможность реализовать замысел силами нашего КБ. Некоторые предлагали сначала создать крупный, на несколько тонн, автоматический спутник. Другие считали, что отработку возвращения на Землю нужно начинать с небольших автоматических аппаратов.

В те годы, о которых мы сейчас ведем речь, многие специалисты даже в авиации практически не представляли, как можно решить эту задачу: затормозить и спустить с орбиты аппарат, движущийся со скоростью 8 километров в секунду (29 тысяч километров в час, 25 скоростей звука!), чтобы он не сгорел при входе в плотные слои атмосферы. Из газовой динамики было очевидно, что у лобовой части аппарата должна возникнуть плазма с температурой 6—10 тысяч градусов. Как отвести тепло, чтобы космонавт не «изжарился», — вот был вопрос вопросов, и в реальность решения этой задачи в ближайшие годы кое-кто тогда просто не верил.

А между тем в это время (во второй половине 50-х годов) уже были найдены методы расчета теплозащиты возвращающихся с орбиты объектов и показано, что создание ее вполне реально с конструктивной точки зрения. Это был результат исследований, проведенных академиками М. В. Келдышем, Г. И. Петровым, В. С. Авдуевским (тогда молодым доктором наук) и другими учеными. Специалисты нашли также оптимальный материал для теплозащитного покрытия: им оказался тогда хорошо известный асботекстолит. Он обладает свойством, поглощая огромное количество тепла, не плавиться, а испаряться в поток набегающего воздуха. Не очень легкий материал, но достаточно эффективный. Однако создать конструкцию теплозащиты было только полдела. Нужно было найти такую компоновку аппарата, чтобы масса теплозащиты оказалась минимальной.

Но прежде всего нужно было решить другую принципиальную задачу — выбрать способ возвращения корабля. Вариантов было несколько. Можно было применить крыло. Был вариант торможения и посадки с помощью авторотирующих винтов, подобных вертолетным. Эта схема одно время очень нравилась Сергею Павловичу. Но расчеты показали, что эффективной работы от них добиться трудно.

В марте 1958 года был сделан окончательный выбор: спуск должен быть баллистическим, без подъемной силы, с парашютной системой посадки. Анализ и расчеты показали, что этот способ наиболее прост.

Следующий шаг — выбор формы корабля, вернее возвращаемой его части. Казалось бы,

естественно возвращать на Землю весь корабль. Однако логика вела к необходимости жертвовать хотя бы частью его конструкции: масса тепловой защиты и парашютной системы зависит от размеров (и массы) возвращаемого аппарата. Нельзя допустить, чтобы теплозащита съела все запасы массы, необходимые для различного оборудования, обеспечения жизнедеятельности, топлива для ориентации и посадки. Значит, размеры возвращаемой части нужно свести к минимуму.

Так возникло понятие спускаемого аппарата, он же блок для размещения космонавта. А что оставалось вне его? На долю отсека, названного приборно-агрегатным, приходилось все то, без чего мог жить космонавт и можно было обойтись в течение получаса спуска корабля с орбиты: тормозная двигательная установка с топливными баками, система управления, радиооборудование, блоки телеметрии и прочее.

Возникла задача выбора формы отсеков аппарата. Если грибовидный отсек мог иметь любую форму, которая вписывалась бы в габариты обтекателя ракеты, то спускаемый аппарат мог иметь конфигурацию только вполне определенную. Условия такие: достаточный объем, хорошая устойчивость на спуске и как можно меньший вес теплозащиты. Важно еще было учесть аэродинамику на гиперзвуковых, околожвуковых и дозвуковых скоростях, чтобы можно было рассчитать траекторию спуска, тепловые потоки, решить проблему устойчивости. Рассматривались различные конфигурации: конус с различными углами раскрытия, обратный конус, зонт, закругленные цилиндры, и прочее.

— Однажды стали анализировать полусферу, и вдруг пришла мысль: а почему, собственно, не взять сферу? И мы остановились на сфере.

— Это не было тривиальным?

— Теперь это вполне может показаться тривиальным, но тогда это здорово упрощало задачу. Дело не только в том, что сфера дает минимальную поверхность, а значит, близкий к минимуму вес теплозащиты при заданном объеме. Любая другая форма спускаемого аппарата потребовала бы проведения множества аэродинамических исследований, создания специальных методов расчета. Сфера была продута и просчитана, как говорится, вдоль и поперек. В апреле пятьдесят восьмого года мы нашли это решение, в мае провели все расчеты и проектную проработку основных проблем аппарата.

— Судя по всему, работы пока разворачивались лишь внутри вашей группы или, по крайней мере, отдела?

— До лета так оно и было. Ведь прежде чем представить Главному конструктору на рассмотрение какие-то проработки, проектанты должны все внимательно проверить, просчитать, и на этом этапе нам предоставляется определенная самостоятельность и свобода. Окончательное же решение принималось только Королевым после обсуждения. Однажды в начале июня приходит утром в отдел Тихонравов и говорит, что договорился с Сергеем Павловичем о нашем ему докладе. Я тут же собрал все наши наброски и расчеты, и мы отправились. Наш отдел размещался в большом зале здания, примыкающего вплотную к заводским цехам. В этом зале располагалась основная часть КБ Королева в первые годы своего существования. И здесь я когда-то работал на стажировке. Забавно было: мы понимали, что «география» ничего не определяет, но все же чувствовали себя в связи с этим прямыми продолжателями того дела, которое здесь когда-то зарождалось. А теперь основное здание КБ находилось в пяти минутах ходьбы от нас. Мы шли с Михаилом Клавдиевичем и пытались спрогнозировать реакцию Главного на наши эскизы.

— А почему прямо к Сергею Павловичу, разве у него не было заместителя?

— Был, конечно. Константин Давыдович Бушуев. Но он тогда был в отпуске, чему мы тихонечко радовались, поскольку он скептически относился к нашим расчетам теплозащиты и требовал этим вопросом заниматься еще (что в конечном счете нам и пришлось сделать). А тогда мы были уверены, что все здесь ясно и надо двигаться дальше.

— Факт того вашего доклада представляется очень интересным для историков. И потому хотелось бы представить себе обстановку, в которой он прошел.

— Помню приемную Сергея Павловича со старинными напольными часами. Качался маятник, и стрелки показывали около десяти часов. Вошли в кабинет. Это была по тем временам довольно просторная комната с тремя окнами. В дальнем углу стоял письменный стол Королева, тоже старинный, на лапах. Вещей и книг на столе, вообще в кабинете, было очень мало. Отдельно у стены напротив окна — длинный стол, покрытый зеленым сукном, во всю стену шкафы. Помню, что день был очень светлый. А может, так мне кажется теперь, поскольку потом в этом кабинете мне большей частью доводилось бывать вечерами

или по крайней мере в предвечерние сумерки. Сергей Павлович встал из-за стола, подошел к нам, пожал руки. Встали мы все трое возле стола, расстелил я свои листы ватмана и миллиметровки на сукне (грузов никаких не нашлось, и Сергей Павлович и Михаил Клавдиевич придерживали листы руками) и стал излагать.

— Раньше вам доводилось докладывать Королеву?

— Нет, это был мой первый доклад.

— Волновались?

— Сейчас уже забылось, но думаю, что волновался немного — было большое воодушевление.

— А что было на листах?

— Диаграммы с изменением различных параметров траектории спуска по времени — перегрузки, скоростной напор, тепловые потоки. Наброски компоновок корабля — два или три варианта, разрезы основных отсеков — где кресло, где приборная панель, основные блоки оборудования, люки и иллюминаторы. На других листах — варианты компоновки и результаты расчетов теплозащиты. Михаил Клавдиевич и Сергей Павлович стоя развернули листы, придерживают их руками, я излагаю, а Тихонравов реплики подает. Вот тут-то Королев и увидел главное в нашем проекте — сферу спускаемого аппарата. Неожиданно он с удовольствием стал потирать руки и приговаривать: «О, шар! Очень хорошо! Я уже думал о шаре, ведь это очень знакомое дело!» Насколько я понял, когда-то они исследовали шар как форму для головной части межконтинентальных ракет. Докладывал я около получаса, в конце представил наши выводы, но где-то в середине уже почувствовал: Сергей Павлович явно одобрял нашу работу. Потом уселись за стол и стали обмениваться мнениями по частным вопросам. Королев согласился с нашим главным выводом, что сделать пилотируемый спутник можно, но сразу же потребовал: все основные проблемы немедленно обсудить со специалистами — аэродинамиками, теплообменщиками, конструкторами, производственниками. И как можно скорее готовить отчет. Чувствовалось, что Королев поверил в нашу группу и нам будет зеленая улица. Отчет Сергей Павлович потребовал сделать за два месяца, и мы почти уложились в заданный срок, представив его в конце августа.

— Надо полагать, сомнения коллег теперь отпали?

— Не совсем. Некоторые думали, что нам не удастся уложиться в заданный вес, другие считали, что неправильно выбрана форма спускаемого аппарата, третьи сомневались в возможности обеспечить надежную теплозащиту.

— В любом рассказе о создании новых машин, тем более летающих, всегда отчетливо звучит тема веса. В космической технике она приобретает характер, очевидно, решающий. Ведь каждый килограмм на орбите — это десятки килограммов начального веса ракеты на старте. Какими возможностями по весу вы располагали?

— В пятьдесят девятом году на ракете, которая вывела на орбиту первые три спутника Земли, была установлена третья ступень с ЖРД, созданным нашим КБ совместно с коллективом, который возглавлял Косберг. Это позволило повысить вес полезного груза, выводимого на околоземную орбиту, с одной целой и трех десятых тонны до четырех с половиной тонн (эта же трехступенчатая ракета выводила на межпланетные траектории наши первые лунники весом до трехсот килограммов). Третья ступень представляла новый шаг в развитии нашей ракетной техники — двигатель ее запускался не на Земле, а в верхних слоях атмосферы. Работы над установкой третьей ступени были начаты еще в пятьдесят восьмом году. Потому мы, естественно, знали, что нам может дать новая трехступенчатая ракета-носитель, и с самого начала ориентировались на ее возможности.

— Четыре с половиной тонны — это может показаться очень много.

— Не так уж мало, но и не слишком много, если учесть, что мы работали над принципиально новой конструкцией. К тому же в то время радиоэлектронная промышленность да и другие отрасли еще не располагали специальным малогабаритным и легким оборудованием, на которое мы вправе рассчитывать сейчас. Чаще всего мы должны были брать те приборы и агрегаты, которые уже имелись в наличии, исходя более из их функций, параметров и надежности, чем из веса. Другого выхода не было — иначе создание корабля значительно усложнялось и затягивалось. Вот почему проблема веса была тогда очень острой.

— Не вот вы предложили варианты схем возвращения и компоновки. Вам возражали?

— Споров было очень много. Аэродинамики и теплообменщики подвергли наш шарик резкой критике. Раньше они доказывали, что это не самая оптимальная форма, и предлагали взять конус. Теперь стали доказывать также — и не без успеха у руководства, — что мы ошиблись в расчете толщины слоя теплозащитного материала. По нашим расчетам (а в груп-

пе этой задачей занимался Шустиков) толщина получалась пятьдесят миллиметров. Нам же доказывали, что ее надо увеличить в четыре раза против расчетных. На двойное увеличение мы шли сами, но вчетверо!

— Это было очень важно — отспорить свою толщину?

— Да, важно, потому что это опять же вес. И, следовательно, летят к черту наши расчеты по оборудованию. Сергей Павлович встал тогда на их сторону. И нам пришлось согласиться на увеличение толщины.

После многократных обсуждений в ноябре проект был представлен Королевым на совет главных. Совет должен был принять решение об основном направлении работ на ближайшие годы. Слушались три доклада: Е. Ф. Рязанова о проекте автоматического спутника, Н. П. Белова о проекте аппарата для полета человека по баллистической траектории и К. П. Фектистова о проекте пилотируемого орбитального аппарата. Сергей Павлович уже принял, конечно, решение, но в целях объективности представил на обсуждение все три варианта. Королев на этом заседании поначалу занимал внешне нейтральную позицию, но после обстоятельного обмена мнениями высказал свою точку зрения — надо создавать только орбитальный корабль. Совет главных принял решение о начале опытно-конструкторских работ по этому проекту.

— С этого момента Сергей Павлович еще внимательнее стал следить за нашей работой. Всюду и везде он уже твердо и энергично отстаивал ее. Это стало его делом. С этого же момента он начал подключать к ней разные другие подразделения КБ, привлекать сторонних специалистов и организации. И мы, проектанты, теперь выполняли его волю.

— Проектант... Это слово я впервые услышал от вас, Константин Петрович. Привычным было слово «проектировщик» или «конструктор». Мне когда-то доводилось работать над проектами машин, но назывался я конструктором.

— У нас деление на проектантов и конструкторов было, как говорится, с испокон веку.

Первые занимаются машиной в целом: формулируют задачу, уточняют условия работы и накладываемые этими условиями ограничения (по массе, габаритам, времени работы и т. д.), ищут принципиальные решения частных задач, выбирают оптимальные параметры машины, прорабатывают различные варианты компоновочной схемы и делают из них выбор, проводят основные расчеты (как правило, в первом приближении), намечают состав оборудования и подбирают его комплект из уже существующего (если того или иного оборудования в природе нет, формулируют к нему требования для заказа в промышленности), разрабатывают программы и логику функционирования машины в целом и основных ее систем. В итоге всех этих работ проект окончательно завязывается, и проектанты разрабатывают исходные данные для последующих работ КБ и производства.

Дальнейшая работа проектантов состоит в постоянном контроле и доработках, направленных на то, чтобы проект не развязался, что может произойти при различных вынужденных изменениях характеристик или состава оборудования, конструкторской разработке узлов, разработке технологии и в ходе экспериментальной обработки схемы и машины в целом.

Проектант должен следить, чтобы во всех этих случаях сохранились (не ухудшились) основные параметры машины и не нарушились ее габариты и балансы по массе, энергопитанию, расходам топлива и временным расписаниям. Приходится, разумеется, по ходу работ проектантам вносить немало изменений в детали первоначального замысла.

Конструкторы ведут согласно проекту детальную разработку конструкции машины — силового корпуса, агрегатов, механизмов, установки приборов и т. п. Они же разрабатывают чертежную и текстовую техническую документацию, по которой на заводе ведется изготовление узлов, сборка и испытание машины.

Кроме того, в создании машины принимают непосредственное участие другие группы специалистов: проектанты систем управления, двигательных установок и управляющих органов, обеспечения жизнедеятельности, терморегулирования, радиооборудования, энергопитания, телеметрии и другие. Важную роль в создании космического аппарата играют разработчики электрических схем, конструкторы приборов и агрегатов систем, а также создатели различного рода наземного оборудования, обеспечивающего полет.

Но вот конструкция машины вместе со всей своей начинкой и соответствующей технической документацией полностью готова. Теперь в дело вступают производственники (впрочем, это только говорится «теперь» — обычно они начинают работать по проекту намного раньше). Они тоже сначала ведут разработки и выпускают документацию на технологическую оснастку, необходимую для изготовления и сборки деталей, узлов и машины в целом, а затем осуществляют изготовление и сборку машины.

По мере готовности систем к работе подключаются испытатели. Это в их руках вся наземная отработка оборудования и агрегатов машины. Они первыми убеждаются в том, насколько добротны сработали проектанты, конструкторы и производственники. В их задачу входит разработка программы летных испытаний машины и подготовка ее к ним. Только испытатели и никто другой могут дать добро на отправку машины в космос.

Мы попытались кратко перечислить профессии участников создания космической машины и представили их работу в некоем регламентированном порядке. На самом деле все они работают, по сути, вместе, в тесном взаимодействии от начала до конца создания новой техники, и всех их в равной мере можно назвать ее творцами.

— И все-таки работа проектантов, которые задумывают новую, нередко не имеющую аналогов в технике машину, доказывают ее необходимость и реальность и совершают первые шаги к ее появлению, представляется в чем-то особой, даже исключительной.

— Думаю, вы преувеличиваете. Во всяком случае, для нас это была увлекательная и интересная, но самая что ни на есть обыкновенная инженерная работа со всеми сопутствующими ей атрибутами: планами и приказами, обсуждениями и спорами, непонладками и выговорами. Каждый день у проектантов и конструкторов возникают проблемы: кто-то предложил новую соблазнительную идею, что-то не получается, что-то отказывает, что-то нужно переделать. Каждый день сталкиваются десятки мнений, много разных споров, иногда чрезмерных эмоций, доходит порой дело до крика, не без этого. И я иногда кричу и спорю. Но все же считаю, что истину в споре найти, конечно, можно, но бесконечно спорить бессмысленно, нужно вовремя принимать решения.

— Я вообще мало верю в ту истину, что, она, истина, якобы рождается в спорах. Все-таки суровое у вас, специалистов ракетно-космической техники, дело. Продукция ваша—олицетворение эпохи, вершина научно-технического прогресса. Человечество в восторг приходит от ваших достижений, а знаем мы о большинстве творцов этой техники до обидного мало. Понятно, что в этом суровое требование времени. И все же хочется знать больше. Кто вместе с вами работал над проектом?

— Группа у меня была пятнадцать человек, но вскоре она стала расти, и в самом конце пятьдесят восьмого года мы стали самостоятельным сектором. Незадолго до того ко мне пришли из другого нашего подразделения два отличных молодых проектанта, с которыми мы вместе немало трудились над будущим «Востоком».

— Простите, но вы и сами были тогда вполне молоды.

— Мне было тридцать два, а им по двадцать три—двадцать пять, они только недавно окончили институты. Тогда же, в пятьдесят восьмом году, пришел к нам и Олег Макаров.

— Олег Григорьевич, летчик-космонавт СССР, который не так давно вернулся из своего третьего космического полета?

— Да, вообще-то в КБ он пришел еще до меня, в пятьдесят седьмом году, прямо из МВТУ. Когда я начал создавать свою группу, он выразил желание работать у нас, но его направили в другую группу. В конце пятьдесят восьмого года он пришел в наш сектор. Работать с Олегом Григорьевичем, обязательным, увлекающимся человеком, оказалось легко и интересно. Проектантом он был инициативным, энергичным, на все руки мастер. Занимался он компоновкой приборного отсека «Востока», разработкой принципиальной схемы сборки и испытаний корабля, составлением бортовых инструкций для первых космонавтов—Гагарина и Титова. Когда я готовился к полету на «Восходе», всей проектной подготовкой по этому кораблю руководил Макаров. Вскоре он стал у нас начальником группы, но потом ушел в отряд космонавтов.

— Известно, что в КБ Королева работало немало ветеранов ракетной техники, тех, что до войны были сотрудниками ГИРДа, ГДЛ, РНИИ. Кому-то из них довелось создавать первый пилотируемый космический корабль?

— Отдел наш возглавлял один из руководящих деятелей московской ГИРД—Михаил Клавдиевич Тихонравов. Были и другие ветераны. Например, Арвид Владимирович Палло, старый товарищ Сергея Павловича, они вместе работали еще в РНИИ. Вообще среди них много было людей интересных, даже удивительных. Вот колоритная фигура—Петр Васильевич Флеров.

Он учился с Королевым в МВТУ, а потом они вместе строили планеры и самолеты. Причем с самого начала Королев был у них лидером, а Флеров ему безотказным помощником. Нередко они в интересах дела пользовались разными розыгрышами. Когда был закончен самолет «К-3», выяснилось, что к нему нет винта. Флеров набирает номер какого-то ведомственного авиационного склада и заявляет: «Сейчас к вам подъедет сам Королев и подберет винт». Приезжают оба, Королев разыгрывает начальника (а было ему года два-

дцать два), выбирает винт и приказывает Флерову: «Бери этот, неси». Тот взваливает винт на плечо и идет. Королев важно удаляется следом. Выйдя за ворота, Флеров, конечно, сбрасывает винт: «Сам теперь неси!» — и Королев тащит.

Когда Сергей Павлович начал работать в ГИРДе, а потом в РНИИ, их пути разошлись. «Предал он нашу авиацию», — решил Флеров и остался работать в авиационных КБ, был известным конструктором по шасси самолетов, потом работал в ЦАГИ начальником отдела. А в 1958 году сам пришел к Королеву и попросился на «живое молодое дело».

Он сразу же оказался в группе проектантов пилотируемого аппарата. Всем он очень понравился — симпатичный, общительный, великолепный рассказчик. Было ему тогда лет пятьдесят пять. Он возглавил первую экспедицию по отработке системы приземления в Среднюю Азию. Дело было нелегкое, особенно в условиях суровой тогдашней зимы, а он летал на вертолетах, чтобы наблюдать спуск и приземление, организовывал испытания, подгонял. Очень много сил и нервов вложил тогда Флеров в отработку одного из важнейших узлов первых «Востоков». Он был великолепный практик.

Одним из заместителей Королева был член-корреспондент АН СССР Константин Давыдович Бушуев. Известен он больше как советский руководитель программы «Союз» — «Аполлон», осуществленной в 1975 году. Он был заместителем Королева по проектным работам, непосредственно участвовал в создании первых баллистических ракет Р-1, Р-2 и Р-5. Участвовал в проектировании других ракет большой дальности. Позже он вел проектные и конструкторские работы по космическим аппаратам, в том числе и по пилотируемым. При его активном участии родились первые наши спутники, все пилотируемые корабли и станции «Салют», спутники связи «Молния», первые межпланетные аппараты «Луна», «Марс», «Венера».

Внешне Константин Давыдович был неярок, говорил негромко, казался даже несколько медлительным и решения принимал вроде бы не торопясь. На самом деле он был полон творческой энергии, неутомим, и решения его были всегда по-королевски очень четкими.

Конечно, все основные вопросы по разработке, постройке и испытаниям космических аппаратов решал в КБ лично Королев. Но Главный конструктор был невероятно загружен и были десятки, сотни восторженных дел. И здесь Бушуев был незаменим.

Нетрудно объяснить, кстати, почему он иногда не торопился с решением (некоторых это даже раздражало). Каждая новая мысль проектантов и конструкторов — это не просто новые линии на чертежах, это порой целая цепочка изменений, которые должны быть согласованы с другими создателями новой техники, с другими предприятиями и заводами. Константин Давыдович умело поддерживал всю эту кооперацию.

Давалось все это Бушуеву нелегко, сил уходило много. Трудно ему было еще и потому, что он как руководитель был доступен — каждый мог войти к нему в кабинет в любое время, не договариваясь заранее. Вспыхивал он редко, но даже и в горячности разносов никому не делал и к взысканиям прибегал редко. Этим он отличался от Королева.

Бушуева не боялись, с ним можно было спорить, пытаться доказывать и раз, и два, и три. И он умел под натиском убедительных аргументов менять свое решение. В этом он, впрочем, походил на Королева. Но в сдержанности и даже мягкости своей скорее на Тихонравова.

— Еще немного — и возникнет образ идеального человека...

— Нет-нет, он не был идеальным. Но выдержке его и разумности в отношениях можно было позавидовать. Однажды мы с ним о чем-то крупно поспорили. С каким-то его решением я никак не мог согласиться, и разговор наш приобрел повышенный накал. Вдруг он резко сказал: «Все, хватит, до свидания». Я молча повернулся и вышел, громко хлопнув дверью. Было за это немножко стыдно. Но когда мы через пару дней с ним встретились, он... извинился первым.

Но чаще всего он был предельно сдержан и вежлив. Вообще ему было не жаль тратить нервы на поддержание или налаживание хороших отношений. Недаром его называли дипломатом. Но чего ему стоила эта дипломатичность, одному ему было известно. И умер он как от пули, сразу — сердечный спазм. Был он еще и скромным и добрым человеком, очень любил своих дочерей...

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, ИЛИ С. П.

Чем больше читаешь и слышишь о Сергее Павловиче Королеве, тем больше растет уважение и интерес к этой выдающейся личности середины XX века. Изучение этого феномена — интереснейшая тема для историков и специалистов по организации и психологии научно-го творчества.

В наше время новая техника создается огромными коллективами, большим числом специалистов в самых различных областях. В этих условиях возник новый тип создателя техники — организатор и руководитель крупных исследований и разработок. В своей основной деятельности он все дальше отходит от непосредственной практической работы.

Теперь можно встретить немало великолепных, выдающихся организаторов, которые никогда не были генераторами конкретных конструкторских идей, авторами изобретений или уникальных проектов. И, наоборот, немало талантливых изобретателей и конструкторов не встали во главе разработок в силу отсутствия способностей к управлению.

Поэтому особый интерес представляют люди, совмещающие в себе, хотя бы и в разное время, эти две ипостаси. Немало таких людей выдвинули 30-е и 40-е годы, то есть период, когда новая конструкторская идея для своего воплощения, как говорится, на пустом месте требовала немедленной организации исследований, разработок, испытаний и производства одновременно. Только такой подход в условиях большого количества конкурирующих идей вел к реализации замысла, к воплощению его в металле.

К людям этого плана в полной мере можно отнести многих известных авиаконструкторов, например Туполева, Поликарпова, Ильюшина, Яковлева. Был таким человеком и Сергей Павлович Королев. В молодости он был пилотом-планеристом и летчиком, сам конструировал и строил планеры и самолеты, разрабатывал крылатые ракеты и ракетопланы. На созданном им РП-318 в 1940 году был осуществлен первый в стране ракетный полет человека.

Однако Королев был не просто организатором создания новой техники, он стал зачинателем на практике принципиально нового научно-технического направления — ракетно-космической науки и техники.

— Вы, Константин Петрович, тесно сотрудничали с Сергеем Павловичем в самое слабое, последнее десятилетие его жизни...

— Впервые я увидел Королева в пятидесятом году, когда меня послали с предприятия, на котором я работал после института, на стажировку в его КБ. Тогда он мне не понравился — он был полным, а я толстых с детства не любил. Наверняка и я, молодой инженер, не произвел на него никакого впечатления. Кстати, тогда же я заработал первый приказ на стенку от его имени. Мне тогда хотелось заниматься баллистикой, но меня направили в группу двигательных установок рассчитывать топливные баки. Неинтересным мне это показалось, и я договорился с нашим старшим и ходить туда не стал, а начал заниматься другими делами, которые мне казались более интересными, — подбором и изучением специальной литературы и технологий, делал эскизы и чертежи. И вдруг читаю приказ: «К. П. Феоктистова от работы в группе отстранить. С. П. Королев» — со всеми по этому случаю выходными данными. Поскольку в КБ меня оставили, то это было то, что надо. Теперь я был формально свободен от баков и мог целый день просиживать в библиотеках и отделах — смотреть, кто и чем занимается, над чем работает. И сам кое в чем участвовал. Случилась необходимость, и я за один день сделал обмеры и чертежи — листов двадцать — какого-то приспособления.

— Выходит, началось ваше сотрудничество отнюдь не с горячего увлечения друг другом.

— Получается так. Вторично я столкнулся с ним, хотя тоже на коротке, уже через много лет, в пятьдесят седьмом году, незадолго до перехода к нему на предприятие. Дело было на испытательном полигоне, на пуске новой ракеты. Я отвечал за расчеты траекторий, поэтому в момент пуска сидел на наблюдательном пункте в полутора километрах от старта и смотрел, как поднимается красавица ракета. Зрелище было завораживающим. Оторвалась она от стола, пошла вверх, тут как-то вдруг дернулось пламя, но ракета продолжает идти и вот уже скрылась за горизонтом. Пошли мы с телеметристами посмотреть радио- и оптические данные по траектории. Мне интересно было изучить весь характер траектории полета. И я каждый день приходил к телеметристам, брал пленки и смотрел записи. А телеметрия тогда записывалась не на бумажной ленте, как сейчас, а на фотопленке, смотреть ее надо было на просвет за специальным столом. Требовало это значительного времени. Поэтому, естественно, за этими пленками охотились многие. И вот на одном из заседаний выступает Сергей Павлович, и вдруг слышу: «Феоктистов мешает нам работать — регулярно утаскивает пленки. Безобразие!» Я от огорчения не знал, куда деть себя — ведь не таскал я пленки, там же и работал с ними. Просто кто-то из телеметристов пожаловался ему. Настроение мое испортилось. И вдруг мне говорит один из его старых сотрудников: «Не горюй, все ерунда, если С. П. кого-то ругает, значит, все в порядке, значит, заметил человека, считается с ним и собирается с ним работать».

— А как же с вашей неприязнью к нему?

— От нее не осталось и следа. Я уже знал и ценил его как деятеля огромного мас-

штаба: создать первую межконтинентальную, организовать немислимую кооперацию (двигатели, система заправки, стартовое устройство, автоматика управления, слежение за ракетой в полете, производство, испытания) — и все в кратчайшие сроки! Это требовало, я уже понимал, уникального таланта и способностей. Но, если откровенно признаться, трепета, преклонения, что ли, особого перед ним не было. Я подобно многим почему-то полагал, что он только крупный организатор, а как инженер ничего особенного из себя не представляет. Но это было заблуждение: Королев умно, решительно и быстро, иногда еще до получения решающих доводов, принимал такие инженерные решения, которые другому гениальному конструктору и не снились.

— Вы, очевидно, были в плену уходящих взглядов, тех самых, которые процветали в тридцатые годы: мол, руководитель должен не иначе как сам «рисовать» на кульмане.

— Пожалуй, тогда действительно доживали свой век подобные представления.

А между тем Сергей Павлович обладал трезвым инженерным умом и понимал, что его главная обязанность — вникать в спорные технические проблемы или неудачи и принимать своевременные, не откладывая и не уклоняясь, технические решения.

Конечно, Главный конструктор и руководитель крупного предприятия не мог в каждый вопрос вникнуть сам и с ходу найти все за и против. Поэтому в спорных случаях Королев предлагал разработать несколько вариантов для обсуждения. Он умел провоцировать споры и дискуссии. При этом он легко схватывал суть дела и проникал в самые его глубины.

Любил он, например, такой метод поиска решения в спорной проблеме. Выступит на совещании с разгромной критикой одного из предложенных вариантов, потом слушает и смотрит: найдется ли кто такой отчаянный, чтобы возразить и опровергнуть доводы самого Королева? Если предположение было дельным, серьезным, защитник непременно обнаруживался. И тогда Королев вдруг сам становился на его сторону. Назывался этот метод «развалить избу». Если, мол, есть у нее, то бишь идеи, настоящий хозяин, то всегда отыщется, а если нет, то, значит, и идея ничего не стоит.

Решение принималось Королевым так, что всегда было ощущение, что оно коллективное. На самом деле весь груз ответственности он брал на себя сам, проявляя себя при этом как универсальный инженер, одновременно как проектант, конструктор, технолог, производственник, экономист и политик. Политик прежде всего в отношении путей развития техники. Но не только.

Мы уже говорили об огромной кооперации в космических разработках. Чтобы наладить ее в тех условиях, когда еще не было опыта в проведении и регламентации комплексных научно-технических программ, нужно было быть и стратегом, и тактиком, и дипломатом. Чтобы суметь найти смежников, уговорить их сотрудничать, добиться нужных показателей поставляемого оборудования и при этом уложиться в небывало жесткие сроки.

Он вообще умел добиваться от сотрудников выполнения своих планов в кратчайшие сроки. При этом нередко применял такой тактический ход: первоначальные сроки давал чрезвычайно сжатые. Конечно, частично они срывались, потом корректировались, но в целом работа выполнялась очень оперативно.

Деловые отношения он строил на личной ответственности. Он любил подчеркивать: дело не в том, что я приказал, а ты выполнил, а в том, что ты со мной согласился, значит, взялся сделать, и если ты порядочный человек, то сделаешь непременно. Обладая талантом соизмерять цели и наличные возможности, Сергей Павлович умел людям создавать благоприятные условия для работы.

— Когда вы окончательно перешли к Королеву, вам, думаю, было нелегко с ним работать.

— Легко с ним никому и никогда не было. Первые же контакты по совместному делу привели меня к такому суждению: контактов этих должно быть как можно меньше. Нелегко мне было первое время доказывать ему свою правоту и отстаивать свои решения. Не сразу я понял, что это его обычный и весьма надежный метод — он не любил гладить по головке новичков. И это при том, что было полное ощущение самостоятельности, иногда даже бесконтрольности. Но очень скоро мне стало ясно, что без него вообще трудно продвигаться вперед, а иногда невозможно и что эта бесконтрольность только кажущаяся — он знал все о работах, которые велись в КБ. Уже то, что он взял человека и дал ему сложное задание, означало, что он относится к нему с уважением. Но на сантименты времени у него не было. Поэтому среди людей малосведущих ходили и ходят разговоры о его жесткости и непокладистости. Действительно, если он сталкивался с ошибками и неточностями в работе, не говоря уж о невыполнении заданий и сроков или о нерадивости, воля и жесткий характер его проявлялись в полной мере: уверенные четкие указания всегда сочетались с резкими оценка-

ми. Если же все хорошо идет, без замечаний (правда, это не так часто было), то — тишина, даже как будто безразличие с его стороны. Если какую-то работу проектантов он подерживал, можно было быть спокойным — твердость его линии была неизменной. И это ощущали на себе не только сотрудники КБ и смежники, но и вышестоящее руководство.

— Такое обычно не всем нравится.

— Конечно, кое-кого это раздражало, настраивало против него. Иногда Сергей Павлович сам способствовал этому, проявляя вдруг, как мне кажется, качества, типичные для руководителя старых времен: желание вмешиваться во все и вся, труднодоступность и прочее. Но я считаю, что это все были издержки многотрудной, нервной работы. И когда его не стало, мы все поняли, насколько все это были мелочи и что в главном он был неподражаем. Это был могучий человек, он сотворил великое дело и средства для достижения своей цели, я считаю, применял оптимальные.

Он умел выделить главное именно на сегодняшний день и смело отложить то, что главным станет лишь завтра. Не замедлять движение вперед — это была его характерная черта. И это не противоречило его постоянным размышлениям о перспективе, нацеленности на будущее. Королев обладал редкой способностью собирать вокруг себя одаренных конструкторов и производственников, увлекать их за собой, организовывать их дружную работу, причем умел не давать разрастаться в конфликты всякого рода трениям, неизбежным в напряженной, динамичной работе.

Сложные проектно-конструкторские разработки требуют непрерывного наращивания производственных, конструкторских и научных мощностей. И Королев умел достигать этого не только благодаря предложению вышестоящим органам ценных народнохозяйственных и научных идей, но и за счет хороших деловых и дружеских отношений с главными конструкторами, которые вместе с ним участвовали в создании кораблей, космических автоматов, ракет. Здесь тоже в полной мере он проявлялся как политик, дипломат. У него были всегда хорошие деловые отношения в министерствах и в руководящих органах.

Очень важным он считал укрепление своего авторитета и своего единоначалия в КБ. Он никогда не оставлял безнаказанными покушения на его власть, на его распоряжения. Если кто-то из подчиненных не выполнял его задания, за этим шла неизбежная расплата в виде взысканий и угрозы увольнения. Впрочем, он редко осуществлял эти свои угрозы, вроде бы забывая о них. В этом сказывалась его любовь и бережливость к людям, хотя и не открытая, не показная. Королев как руководитель был осторожным и предусмотрительным человеком. В той, конечно, мере, в которой это необходимо инженеру, работающему в деле принципиально новом. Проявлялось это прежде всего в тщательном планировании, которое велось таким образом, чтобы в любой момент была возможность сманеврировать средствами, перераспределить силы. Не любил он поэтому связывать себе руки тем, чтобы каждому наперед предписывать все работы. Всегда оставлял за собой возможность в случае необходимости перебрасывать людей с одного участка на другой.

Его отличала неистощимая энергия. На работе он сразу включался в самое трудное, например начинал заниматься какими-то спорными и неприятными техническими вопросами. Скажем, создается какой-нибудь агрегат, ставят его на испытание, а он сгорает или ломается. И нужно принимать решение либо с его ремонте, либо о доработке конструкции, либо о срочном проведении новой разработки. Тогда с утра вызываются все участники события, заслушиваются их соображения и принимается решение.

Не нужно забывать, что он был руководителем крупного предприятия и у него еще были обязанности, связанные с работой партийной и профсоюзной организаций, со всякого рода конфликтами между сотрудниками и множество других вопросов. Рабочий день его заканчивался не раньше девяти вечера. И всем его сотрудникам казалось тогда, что это естественно.

— Помню, в семьдесят пятом году кто-то пожаловался мне на напряженную работу по программе «Союз»—«Аполлон». Я, смеясь, напомнил им то время, когда мы работали с Сергеем Павловичем. Каждый из ведущих разработчиков если и уходил тогда вовремя с работы, то непременно чувствовал себя чуть ли не моральным преступником, человеком, уклонившимся от служебных обязанностей.

— Сергей Павлович как-нибудь давал понять, что такой режим работы — это его требование?

— Нет, никогда. Все сами прониклись необходимостью столь напряженного ритма жизни. Никто, кстати, как и сам Королев, не пытался просто отсидеть часы на работе. Всегда и у всех было дело — срочное, трудное и увлекательное.

Вот на космодроме, казалось бы, ему можно было отдохнуть. Там Королев лишь, как говорится, держал руку на пульсе работ, за редкими исключениями ему не было необходимо-сти вмешиваться в ход испытаний и подготовки к старту (зная напряженный, очень нерв-ный характер монтажно-испытательной работы, он позволял испытателям при случае всплы-тить или огрызнуться даже в его адрес). Вопросы о не слишком серьезных неполадках ста-рались решать без него. Приходил Королев в монтажный корпус, выслушивал доклады и спокойно уходил к себе в домик работать. Привозил он с собой чемоданы с почтой и мате-риалами и все рабочее и нерабочее время использовал, чтобы разобраться в бумагах и про-ектах, которые ждут его решений.

Много времени на космодроме он уделял — вечерами, конечно, — беседам с людьми на самые разные темы, связанные с работой предприятия. И всякий раз получалось так, что и там его рабочий день заканчивался не раньше десяти—одиннадцати часов вечера. И каж-дый раз у всех вызвали удивление и восхищение запасы его деловой энергии. До позднего вечера он был способен размышлять, спорить, даже ругаться и принимать очень серьезные решения. А ведь каждый из нас к концу дня становится обычно спокойнее, мягче, покладист-ее. Но его деловая страсть, казалось, не знала смены времени дня.

Все его ближайшие помощники и наиболее ответственные работники КБ ходили в вы-говорах, «как в орденах». И привыкли рассматривать выговоры буквально как особого рода награды, зная его принцип, что дурака воспитывать и ругать бесполезно.

Он был человеком, которому были свойственны и слабости человеческие. Хотя слабос-ти его всегда были продолжением его же достоинств. Он, например, любил власть и умел быть властным. Власть у него, однако, была не целью, а средством незамедлительно, в ко-роткие сроки решать технические вопросы и обеспечивать производство, переключать про-ектные и производственные мощности, принимать решения по ходу дела, не затягивая вре-мени на обсуждения и согласования. Властью он пользовался, чтобы двигать дело вперед. Возможно, он совершал ошибки, принимал неудачные решения, но кид его деятельности, если можно так выразиться, был чрезвычайно высок.

— Он был честолюбивым человеком?

— Да, но это было совсем не то мелочное честолюбие, которое синоним желания любым способом выделиться, как можно скорее продвинуться, чтобы оказаться на виду, по-лучить какие-то звания, награды, привилегии. Его честолюбие заключалось в том, чтобы первому сделать какую-то уникальную машину, решить небывалую техническую задачу.

Он всегда хотел быть лидером, лидером хорошего, важного и трудного дела, осуще-ствление которого принесло бы славу его стране. Да, он сделал выдающуюся инженерно-ад-министративную карьеру, он не пренебрегал, как известно, званиями и наградами, всегда охотно общался с прессой. Но главное во всем этом для него было то, что он получил воз-можность ставить крупные научно-технические задачи и с блеском решать их.

— Однажды Сергею Павловичу представили график, на котором были изображены опти-мальные сроки стартов к Луне, Марсу, Венере и другим планетам. На графике эти даты выглядели некоторым планом возможных работ, распределенных во времени. Хорошо помню, как С. П. (так у нас его все за глаза называли) повел мягко рукой и заявил: «Хорошо бы нам пройти по всему этому переднему фронту и везде оказаться первыми».

— Стремление быть первооткрывателем, мне кажется, далеко не самое худшее из ка-честв. Тем более что все эти достижения принадлежали не ему лично и даже не вашему КБ, а всей нашей стране.

Многое в личности Королева еще кажется загадочным и не соответствует на первый взгляд одно другому. Иногда в этом сильном, с молодости крутом человеке проявлялась прямо-таки детскость.

Пропаганде он уделял большое внимание — первые сообщения ТАСС о космических запусках просматривались и даже правились им лично. И документы эти — мы хорошо помним — были всегда в меру деловыми и торжественными, всегда исторически точными.

Да, он страстно любил свое дело и очень хотел, чтобы результаты его звучали полно-весно и чтобы советский народ знал и чувствовал, что есть в стране люди, которые, не претендуя до поры на известность, творят великое для своей страны...

РАБОТАЮТ ПРОЕКТАНТЫ КОСМОГРАДА

— Еще лет десять назад можно было услышать такую версию о причинах наших ус-пехов в освоении космического пространства: дескать, располагаем мы каким-то сказочным топливом, которое и позволяет нам запускать тяжелые спутники и межпланетные аппараты. А между тем совсем не в топливе было дело. Оно и сейчас в основном самое обычное —

керосин и жидкий кислород. Ходила по кругу и такая версия: мол, заложен в наших «Востоках» некий таинственный принцип, который и стал решающим вкладом в успешные полеты первых советских космонавтов. Сейчас все это вызывает улыбки даже у школьников. И все же жаль, если никакого секретного принципа не было. Но в чем-то состоял, Константин Петрович, залог нашего успеха?

— Можно сказать, что особый принцип был. Только он совсем не секретный и не таинственный и относился не к сфере конструирования, а к идеологии проектирования. Принцип этот состоял в естественном стремлении к гарантированному обеспечению успеха полета на всех его этапах благодаря применению предельно надежных, по возможности простых решений, уже апробированных схем. Оборудование старались устанавливать в основном уже отлаженное. Скажем, элементы системы обеспечения жизнедеятельности, например, для очистки воздуха брали, исходя из опыта подводного флота. Конечно, все дорабатывалось для применения в условиях космического полета, но это требовало меньше усилий, чем разработка совершенно новых приборов и их отработка с нуля.

— Простые решения — ведь это далеко не всегда просто...

— В том-то и дело, что находить и применять простые решения иногда бывает очень сложно. Вот, например, какое решение системы посадки кажется вам, Игорь Николаевич, проще: катапультировать космонавта из спускаемого аппарата с отдельным приземлением того и другого на своих парашютах или приземлять космонавтов прямо в аппарате?

— Второе кажется проще: не нужно иметь катапультируемое кресло и отстреливаемый люк. Кроме того, космонавту в скафандре трудно управлять парашютом и он может неудачно приземлиться. Наконец, спускаемый аппарат с открытым люком может приземлиться далеко от космонавта, а это нежелательно.

— Примерно так рассуждали и мы. Но были и такие контраргументы: если спускаемый аппарат с космонавтом приземлять мягко, на парашютах, нужно намного увеличить вес парашютной системы.

— В авиации вес парашютов, как известно, составляет около двенадцати процентов от веса спускаемого груза, это не считая веса запасного парашюта.

— Нам, конечно, было тогда уже известно о существовании принципа парашютно-ракетной системы посадки, но получаемые скорости контакта с Землей нам не подходили — были слишком большими. Значит, нужно было разрабатывать систему мягкой посадки заново. На это нужно было время, до получения надежных экспериментальных результатов мы не могли устанавливать ее на аппарат — не было веры в надежность.

— Но был ведь еще один способ, который применяли в своей практике американцы, — сажать аппарат на воду. Хотя, конечно, доставка космонавтов и аппаратов из открытого океана в Хьюстон была сложной, дорогой и длительной процедурой — авианосцы, вертолеты, специальные самолеты...

— То-то и оно. Думаю, что этот путь американцы избрали как раз не от хорошей жизни. Чтобы сажать на грунт, им не хватало весов. И потом, при посадке на воду можно использовать только большие водные пространства, которые угрожают штормами и плохой видимостью. Мы считали, что такой метод посадки больше связан с риском.

— С одним из «Меркуриев» был случай, когда корабль просто-напросто пошел ко дну и космонавт еле успел из него выбраться.

— Это может показаться странным, но именно для полной надежности мы пошли тогда на решение сложное — с катапультированием и автономным парашютным спуском космонавта (спускаемый аппарат тоже приземлялся с парашютом). Этот же способ служил нам средством спасения космонавта в случае аварии на начальном этапе полета ракеты. За счет этого варианта мы, таким образом, одновременно решали двойную задачу.

— Однако, если забежать вперед, «Восход» в шестьдесят четвертом году был уже с мягкой посадкой корабля вместе с космонавтами.

— К этому времени отработали парашютно-ракетную систему и были созданы кресла с амортизацией, да еще с взведением амортизаторов перед посадкой — мы этой работой занимались параллельно с запусками «Востока».

— Таким образом, простой принцип действительно может повлечь за собой непростые конструктивные решения.

— Да. Простые решения — это необязательно просто.

Но прежде чем начинала функционировать система посадки, должна была сработать тормозная двигательная установка, импульс которой должен был перевести корабль с орбиты на траекторию спуска. Двигатель этот был создан на другом предприятии — под руководством А. М. Исаева.

А вот способ ориентации, с помощью которого корабль должен был быть выставлен так, чтобы импульс этого двигателя был направлен строго по горизонтали и против направления полета, предстояло определить. Задача сводилась, по существу, к отысканию в полете этой самой горизонтали. Оптические датчики горизонта, подобные тем, которые были применены на лунных аппаратах, здесь не годились: момент ориентации мог попасть на время прохождения тени. Поэтому решено было применить инфракрасный построитель вертикали, датчики которого фиксировали границу между холодным космосом и теплой Землей.

После определения вертикали, а следовательно, и плоскости горизонта с помощью гиросбитанта отыскивалось направление полета. Придумано, казалось бы, неплохо, хотя приборы были очень деликатными и к тому же им предстояло работать в вакууме,— одним словом, возникли сомнения в надежности системы. Поэтому для подстраховки решили добавить к ней очень простую, но надежную солнечную систему ориентации.

Идея ее была просчитана И. М. Яцуном: так подобрать время старта и орбиту, чтобы в момент торможения направление на Солнце хотя бы приблизительно совпадало с нужным направлением тормозного импульса, и тогда, поймав Солнце простейшим датчиком, смотрящим вдоль оси двигателя, можно было включать его.

— Какая система оказалась права?

— Первая отказала на первом же пуске беспилотного корабля-спутника. В инфракрасном построителе использовался сложный высокооборотный механизм, который в полете заклинило (так мы впервые столкнулись с проблемой трения в космическом вакууме). Зато солнечная система действовала безотказно.

— Но это все, так сказать, помощники в деле ориентации, а что вы придумали непосредственно для разворота корабля?

— Выбрать средство для создания управляющих моментов было нетрудно. Условия полета сами продиктовали нам путь, и мы применили реактивные сопла, работающие на сжатом азоте. Поначалу решили поставить еще реактивные микродвигатели для ориентации на участке спуска в атмосфере, но потом от них отказались.

— Как работает в космосе система ориентации, представить нетрудно. Но вот вопрос — как ее испытать на Земле? Пришлось создать специальный стенд?

— Когда мы поняли, что понадобится испытательная установка, проектировать и заказывать стенд было уже поздно, вернее было связано с существенной задержкой работ. И кто-то из нас придумал остроумный выход — подвесить корабль на тросе, качать в разные стороны и смотреть, как работают сопла. Управленцы нас сначала на смех подняли, но и сами ничего лучше предложить не смогли. Кстати, на этом «стенде» обнаружили однажды ошибку в установке блока датчиков угловых скоростей. Через некоторое время, впрочем, (для «Союзов») у нас появилась специальная испытательная платформа для проверки реакции системы управления на угловые перемещения корабля.

— Итак, вы, проектанты, закладываете в проект то, что конструкторы должны будут реализовать в металле. Естественно, что-то у них получается не так, как вам хотелось бы, или, наоборот, вы, по их мнению, что-то задумали неконструктивно. Были такие неувязки?

— Вообще говоря, наш первоначальный проект — это как бы исходная диспозиция для предстоящего наступления. Она включает в себя компоновку корабля, состав и размещение оборудования, основные характеристики и циклограмму — узванную предварительную программу работы машины: что, когда и после чего включается, работает и выключается. Потом, конечно, выясняется, что какая-то система действительно работает не так или вообще не годится. Особенно напряженная борьба шла всегда вокруг веса. Споры на эту тему у нас были постоянными. Иногда это походило на аттракцион. Мы им говорим: «Этот узел, который должен делать то-то и то-то и не дай бог не сделать того-то и того-то, должен весить тридцать килограммов». Хотя сами знаем, что это очень трудно, даже невозможно. Они, разумеется, говорят: «Ха-ха! Если хотите, чтобы все именно так работало, готовьтесь к ста пятидесяти килограммам». Мы: «Об этом и думать не думайте. Пятьдесят килограммов — это уж так, из-за хорошего к вам отношения». Приносят они нам узел — восемьдесят килограммов. И тут мы честно признаемся, что меньше ста от них не ждали. Однако чаще все-таки узел оказывался тяжелее, чем нам хотелось бы. Вообще-то проектант должен уметь отстаивать свои идеи и расчеты, но выстроены они должны быть на строгой теоретической основе и качественной компоновочной, временной, тепловой и прочей увязке. Бывало, конечно, что не правы оказывались мы, проектанты. Вот, например. К спускаемому аппарату крепился приборно-агрегатный отсек с тормозной двига-

тельной установкой и разным другим оборудованием. Мне казалось естественным сделать этот отсек негерметичным. Рассуждал я так: зачем нужна герметичность, если приборам для работы ни воздух, ни нормальное давление не нужно? Герметизация отсека приведет к немалым затратам веса. Так мы и нарисовали: рама с навешенными на ней двигателем и оборудованием. Первым высказался против этого решения Рязанов, заместитель Тихонравова. Он заявил мне, что таких приборов пока нет и добиться от смежников оборудования, которое сможет работать в вакууме, будет трудно, доводка этого оборудования потребует много времени, и вообще неизвестно, сможет ли аппаратура работать в открытом космосе. Суждения его мне показались неубедительными, выглядели они для меня как продолжение наших обычных частых споров. Каждый гнул свою линию, хотя, признаюсь, его отличал спокойный, сдержанный тон, а я шумел. Со всех точек зрения я считал его линию неправильной. К тому же меня отчасти поддержал Тихонравов. Но когда спор наш мы вынесли на Бушуева, тот сразу встал на точку зрения Рязанова. В конце концов я потерпел поражение, и мы стали проектировать приборно-агрегатный отсек герметичным. С досады я решил компоновку отсека не менять, а просто обвести ее контуром герметизации. Получилось, кстати, компактно, хотя по форме и странновато — два усеченных конуса, соединенных основаниями. Весом, конечно, пришлось пожертвовать. Занимался первыми набросками этого отсека, кстати, у нас Олег Макаров. Прошло немного времени, и я убедился в том, что был не прав. Если бы приняли мое предложение, это было бы серьезной ошибкой.

— Почему же проектанты не могут работать сразу вместе с конструкторами?

— Практически это невозможно — никогда не получится проекта. Хотя, разумеется, некоторые вопросы мы согласовываем заранее. Последовательность, поэтапная работа — единственно правильный подход. Хотя в работе над «Востоком» мы этот принцип нередко нарушали. Скажем, исходные данные для конструкторов на корпус корабля мы выпустили еще в марте пятьдесят девятого года, то есть до завершения общей компоновки. Конструкторы, естественно, роптали и с тревогой следили за нашей компоновочной работой. Ведь по их разработке завод сразу же приступил к производству заготовок для корпусов...

— В нашем рассказе о проектной и конструкторской работе выявляется любопытное обстоятельство. С одной стороны, это творческая работа, в которой поиск решений ведется в широком диапазоне вариантов и возможностей. А с другой — работа ведется в жестких рамках исходных требований и принятых решений. Нет ли здесь противоречия? Не сковывает ли это специалиста?

— Если и есть противоречие, оно неизбежно. Современная космическая техника вещь дорогостоящая, и создается она в рамках государственной программы, определяющей все задачи, ресурсы и сроки. В этих условиях любой поиск должен быть целенаправленным, и я не думаю, что это сколько-нибудь существенно ограничивает творческий характер нашей работы. Скорее наоборот, — придает уверенность и силы, поскольку нашу разработку ждут и она должна быть доведена до практического результата. В наших проектных коллективах каждый обладает правом на идею и достаточно свободен в пределах утвержденного задания. Я лично всегда стараюсь не зажимать инициативу своих молодых коллег, не навязывать им свою точку зрения. Хотя, конечно, всегда есть желающие быть еще более независимыми. Во всяком случае, у нас всегда много споров и дискуссий.

— Наверняка так и должно быть. Хотя, по-моему, в любом научном или конструкторском коллективе обнаруживаются своего рода штатные спорщики, оппоненты любой новой идеи, всегда готовые противопоставить ей свои веские возражения. У вас есть такие?

— Наверное, как и всюду. Чаще всего это люди малоталантливые, но не лишены эрудиции, за их оппозицией обычно ничего не стоит или нечто уже давно пройденное. В общении с ними чаще, чем хотелось бы, приходится быть категоричным и жестким.

— И все же сама область ваша — создание космической техники — порождает, наверное, особый энтузиазм и единодушие. Далеко ведь не каждому инженеру выпадает в жизни счастье попасть в коллектив, объединенный столь возвышенной целью, как создание средств для полета человека в космос.

— Так оно и есть на самом деле. Хотя со временем происходят какие-то едва видимые глазом изменения. В ту пору, когда я пришел на предприятие, каждый специалист здесь был буквально захвачен всеобщим воодушевлением, каждый был болен идеей скорейшего воплощения в жизнь новых машин. Все чувствовали на себе творческий заряд и волю Королева. Энтузиазм был не только у ветеранов, но и у специалистов нового поколения, пришедших сюда в конце сороковых — начале пятидесятых годов. Может быть, так было, а может быть, во мне говорит уже возраст и свойственное ему отношение к прошлому.

Во всяком случае, сейчас и у нас можно встретить инженера, просто отбывающего свой рабочий день, для которого нет разницы, над чем работать, лишь бы шли зарплата и премия и были хорошие условия. Нет-нет и увидишь такую хладность, отсутствие интереса к проблеме в целом. Дело свое, впрочем, они делают хорошо, знания у них отличные, только одержимости, настырности не хватает. Ценности, видимо, у них жизненные уже иные, больше направлены к личному. Но, повторяю, это так, отдельные наблюдения. У большинства прежний огонь в глазах: такие вещи делаем! Есть у молодых и очень яркие отличия в лучшую сторону. Например, заметно более высокое самосознание, самоуважение в лучшем смысле этого слова. Раньше, бывало, крик начальника на подчиненного был делом едва ли не естественным. Во всяком случае, никому в голову не приходило выражать по этому поводу недовольство. А вот как-то несколько лет назад я вдруг позволил себе сорваться, повысил голос на молодого инженера, так он мне тут же: «Простите, Константин Петрович, но кричать на товарищей нехорошо». Пришлось мне утихомириться и согласиться с тем, что был не прав. Инженер этот, кстати большой умница, вскоре после этого стал летчиком-космонавтом СССР, теперь его знает вся страна.

«ПОЕХАЛИ!..»

Теперь во всех справочниках можно прочесть, что испытательных полетов было всего пять, из которых только три были с удачным приземлением. Сейчас это кажется невероятно мало, чтобы решиться на первый запуск космонавта. Однако этому событию предшествовала большая опытная работа.

С конца 1959 до начала 1960 года проводилась стендовая и самолетная отработка отдельных систем и оборудования. Одновременно отработывалась в полетах ракета-носитель и доводились все наземные службы. Испытательная работа была проведена огромная.

Очень сложно было налаживать общую электрическую схему корабля. Когда был изготовлен макет корабля и в заводском цехе все оборудование и приборы, все кабели и жгуты были выложены на столы, у всех дух захватило — насколько сложна машина!

Теперь труднейшая работа выпала на долю разработчиков общей электрической схемы и бортовых систем, а также испытателей. Важно было наладить взаимодействие автоматики в общей схеме. Специалистов этих называли схемщиками, а еще карповцами — по фамилии их руководителя. Прошло полтора-два месяца — и бортовой комплекс начал работать.

К весне 1960 года космический корабль стал реальностью. Конечно, пока он был беспилотным, без системы обеспечения жизнедеятельности. Первый запуск состоялся 15 мая.

Сажать на Землю этот корабль задачей не ставилось, на нем и защиты тепловой не было. Но программу спуска предполагалось отработать вплоть до сгорания его в плотных слоях атмосферы. Вышел корабль на орбиту отлично и летал хорошо, передавая на Землю нужную телеметрию в течение четырех дней.

— Вернулись мы с космодрома в Москву, приехали в Центр управления (он тогда еще не был таким роскошным, как сейчас, да и располагался в другом месте) и вдруг получаем телеграмму из Байконура: в последние сутки отказал инфракрасный датчик системы ориентации (мы об этом с вами уже говорили) и спустить на нем корабль невозможно. Пошли мы смотреть телеметрию, но изменений в работе датчика не обнаружили. И послали ответ вроде того, что все в порядке, изменений никаких нет и можно спускать корабль с помощью инфракрасного датчика. Запустили по радио программу спуска, включился тормозной двигатель, но корабль, вместо того чтобы пойти на снижение, ушел на более высокую орбиту. Оказывается, телеметрия системы ориентации уже три дня действительно без изменений показывала... ее отказ. Но мы в этом не разобрались. А ведь у нас была в резерве, как я уже говорил, солнечная система. Воспользуемся мы ею — все было бы в порядке. Переживал я страшно.

— Писали, что Сергей Павлович почти не расстроился и даже обрадовался отчасти, увидев в этом случае доказательство будущих возможностей переводить корабли на другие орбиты, то есть маневрировать.

— Я лично этого от него не слышал, но вполне возможно, что так оно и было. Хотя, как мне кажется, скорее всего он хотел успокоить других.

— Уже следующий запуск корабля-спутника был по полной программе, да еще с пассажирами на борту. Рисковали вы потерять собачек?

— На корабль мы свой надеялись. Девятнадцатого августа шестидесятого года полет корабля-спутника нам полностью удался. Как выглядели Белка и Стрелка в полете и после полета, видела по телевидению и кино вся страна. Путь к запуску космического корабля с человеком можно было считать открытым.

— А кстати, как вообще возникли эти столь привычные теперь термины — корабль-спутник и космический корабль — в применении к «Востоку»?

— Еще в пятьдесят девятом, когда мы заканчивали наш первый отчет о возможности создания аппарата для полета человека на орбиту, мы начали мудрить над названием. До этого корабль именовался просто и длинно — космический аппарат для полета человека. Но недаром человек часто проявляет слабость в мудреном имени своего ребенка. Так и мы, видимо, проявили свое равнодушие к нашему дитя. Иногда вечерами, когда заканчивалась работа, мы собирались и выписывали на листе бумаги различные слова и термины. Затем голосовали, подсчитывали баллы. И так мы приняли термин... «космолет». И всюду в тексте его использовали. Когда докладывали Королеву, он поморщился и заявил, что это никуда не годится — слишком претенциозно. Мы и сами почувствовали в нем некоторую преждевременность, что ли. Все-таки нашему аппарату еще далеко было до возможностей самолета. И вот тут появился термин «космический корабль» — он, в общем-то, широко применялся в старой научной и художественной литературе. Не помню, кто именно его предложил у нас, но кажется мне, что Сергей Павлович.

— Убежден, что здесь сыграла роль скромность Королева. На мой взгляд, «космолет» — это прекрасно. И «самолет» тут ни при чем — тот сам летает, а этот в космосе. И потом, ведь все термины условны. Как жаль, что этот не остался и не привился!

— Термин «корабль-спутник» решили применить для беспилотных запусков корабля. Слово «спутник» было тогда, после пятьдесят седьмого года, очень популярным. Естественно, что с началом пилотируемых полетов приставка «спутник» сама собой отпала. Слово «космолет» нам долго пришлось вычеркивать из всех наших материалов, но вытравить совсем его так и не удалось. Нет-нет да и попадалось оно нам или кому-нибудь из начальства на страницах того отчета. Я помню, мы так быстро готовили нашу документацию, что, не смотря на вычитки текста, там оставались и всякие другие ляпы. В одном, например, месте, под формулой в расшифровке обозначений, была такая строчка: «М — число М» (вместо «М — отношение скорости полета к скорости звука»)!

— А название корабля «Восток» как возникло?

— Почти так же. Решено было придумать кораблю имя собственное. Выписали на листе несколько названий, проголосовали почти единогласно за «Восток».

Полет второго корабля-спутника можно считать этапным в развитии мировой космонавтики. В исторической литературе это, к сожалению, нашло слабое отражение. Видимо, потому, что уже через восемь месяцев полетел «Восток», и этот августовский полет стали рассматривать лишь как этап подготовки к нему. А между тем это был первый биоспутник с возвращением животных и вообще возвращаемый корабль.

Правда, в те же дни, точнее на несколько дней раньше, американцы впервые возвратили на Землю спутник «Дискаверер». Но едва ли правомочно отождествлять этот факт с полетом нашего корабля-спутника. Во-первых, американцы возвратили лишь небольшую, килограммов на 50, капсулу. Во-вторых, капсула приземлилась не сама, а с помощью вертолета, который подхватывал ее во время спуска на парашюте. И, в-третьих, это была капсула фоторазведывательного спутника явно военного назначения (сами американцы так и называли «Дискаверер» — спутник-шпион).

Советский же корабль-спутник был решающим шагом на пути к полету Гагарина. К тому же космическая медицина получила ценнейшие данные. И все тогда окончательно приобрели уверенность в реальности полета человека.

Сами создатели «Востока» тоже стали тогда намного увереннее. После первого полета предполагалось, что доработка конструкции корабля, особенно по системам управления и возвращения, к полету человека предстоит очень сложная и длительная.

Еще накануне второго полета на космодроме в монтажно-испытательном корпусе Королеву докладывались «Исходные данные по космическому кораблю для полета человека». Материалы доклада Сергей Павлович предварительно просмотрел у себя в кабинете, а затем пришел с ними в монтажно-испытательный корпус, сел за стол — кругом были люди, готовившие корабль к полету, — и приступил к обсуждению. Естественно, кто мог прислушивался к разговору. В результате близость первого пилотируемого полета стала для всех очевидной. Факт этот произвел на работников МИКа огромное впечатление и буквально вдохновил каждого.

Суть «Данных» составлял проект доработки корабля-спутника с учетом того, что на его борту уже будет человек. Предлагалось установить дополнительную систему управления на участке спуска, специальную систему аварийного спасения с катапультируемой до высоты

90 километров герметичной капсулой и много других доработок. Предложена была также дальнейшая программа испытательных пусков.

— Так в МИКе, как я понимаю, состоялся небольшой «спектакль», действующими лицами которого были Сергей Павлович и вы. А что получилось в результате этого разговора? Каково было, так сказать, резюме?

— С. П. получил на свои вопросы вполне уверенные, но, видимо, не убедившие его ответы. И предложил еще немного подумать. Должен признаться, что хотя все было решено неплохо, мне самому эта проработка не нравилась. Слишком сложно было, требовалось много новых разработок, а следовательно, значительно увеличивался объем экспериментальных работ. Сложность и новизна — это ведь всегда много новых испытаний, длительный процесс доводки оборудования. Хотелось же все побыстрее сделать. И вот числа двадцать пятого, после возвращения в Москву, собрал я вечером своих ребят, чтобы посоветоваться: как можно сделать, чтобы попроще получилось? Сидели мы в большой комнате, человек семь-восемь нас было. Часа через три решение нашли. Это был один из тех редких случаев, когда споров почти не было и по всем пунктам было единодушие. Шел уже десятый час, но я позвонил Сергею Павловичу и попросил срочно принять меня. Он коротко сказал: «Приезжайте». Я сел в машину и через пять минут был у него в кабинете.

— Но вы же не могли успеть что-то нарисовать и написать для показа.

— Да, но нетерпенье было столь сильным, а вопрос столь важным, что рискнул прийти к нему только с несколькими нашими черновыми набросками. Это меня смущало, но больше мешало то, что в кабинете у него сидел один из наших сотрудников и у них перед тем был, очевидно, длинный и утомительный разговор. В общем, не очень благоприятная обстановка и к тому же поздний вечер. Но я стал излагать наши соображения, десять—пятнадцать пунктов, естественно, «на пальцах».

— Сергей Павлович легко воспринимал на слух?

— Не очень любил, но понимал, когда не было другой возможности, и не заставлял обязательно написать бумагу. Это сэкономило уйму времени. Основная суть наших предложений состояла в отказе от дополнительной системы управления на участке спуска (вернулись мы к ней только на «Союзе») и в изменении схемы и оборудования аварийного спасения. В случае аварии носителя было решено до высоты четыре километра катапультировать космонавта из корабля, а выше спасение обеспечивать за счет отрыва спускаемого аппарата и приземления его по штатной схеме. Изложив все это, я сказал С. П., что, если предложения будут приняты, объем доработок получается минимальным.

— Такое заявление, очевидно, не могло не понравиться Сергею Павловичу и, следовательно, ваши предложения были тут же приняты?

— Наверное, так бы и случилось, если б в конце я не высказал давно мною подготовленное, а для него совершенно неожиданное предложение. Мол, учитывая определенный риск, первым испытателем корабля должен быть один из проектантов. И вполне прозрачно намекнул на себя. Тут он взорвался и, не став обсуждать эту новую идею, начал довольно шумно спорить по основным нашим предложениям. Разошлись мы в двенадцатом часу вроде бы ни с чем. Настроение у меня было скверное — спорил-спорил, а убедить в целесообразности наших доработок так и не смог. Наутро рассказал все Тихонравову, а он вдруг совершенно спокойно говорит: «Не волнуйтесь, все нормально. Поначалу он часто так реагирует на новые идеи, но только поначалу. Вы увидите — все будет хорошо». И действительно, проходит дня два или три — и С. П. в кабинете Бушуева созвал совещание по пилотируемому кораблю. Я не знал, придется ли мне выступать, но все же хорошо подготовился. Королев предоставил мне первому слово. И после моего краткого доклада с изложением тех же идей сразу поддержал их и тут же стал обсуждать с присутствующими специальные меры по повышению надежности всего комплекса. Резюмируя выступление, Сергей Павлович заявил, что новый проект предполагает использовать прежний металл с небольшими доработками, что позволит сократить программу испытаний и, следовательно, полет с человеком может состояться уже в начале шестидесяти первого года, о чем он в ближайшее время и доложит руководству. А сам дал месячный срок на новый проект по всем доработкам.

— Всего месяц?! Сейчас, мне кажется, такое было бы невозможно. Такой и меры-то — месяц — теперь нет в исследованиях и разработках. Разве что квартал...

— А тогда счет был иной, даже на дни шел. Итак, в сентябре проект был закончен, а в январе уже готовился к испытаниям новый корабль. Еще до этого, первого декабря, был запущен третий корабль-спутник прежней конструкции с собаками Пчелкой и Мушкой на борту. Но вернуть спускаемый аппарат не удалось. К этому времени мы окончательно отказались от инфракрасной ориентации в пользу солнечной, которая работала

отлично. Но на этот раз неудачно сработал тормозной двигатель — корабль пошел к Земле по нерасчетной траектории. Переживали мы очень — и за неудачное испытание и за собак. Зато испытание девятого марта шестьдесят первого года — четвертого корабля — прошло безупречно. И Чернушка и манекен чувствовали себя отлично. Корабль был полностью готов к полету человека, но, как и запланировано было раньше, двадцать пятого марта испытания были повторены — в компании с манекеном летала теперь Звездочка. Все сработало штатно.

— Итак, проблему веса вам удалось разрешить полностью?

— Да, но необходим был постоянный весовой контроль проектантов. Обороняться приходилось от многих специалистов. Стоило чуть зазеваться, как на корабль мог быть установлен какой-нибудь прибор с превышением веса или кто-нибудь решит вдруг что-нибудь добавить... Временами нам удавалось изыскивать резервы в самой конструкции. Еще до первых полетов мы убедили всех, что уменьшить толщину слоя теплозащиты все-таки можно. И на лбу спускаемого аппарата срезали около ста миллиметров. Теперь если вы на фотографии или где-нибудь в музее внимательно присмотритесь к спускаемому аппарату «Восток», то увидите, что он совсем даже не шар.

— Но ведь у вас по этому вопросу были очень сильные оппоненты!..

— Все, кто был причастен к работе над «Востоком», с большим пониманием относились к нашим трудностям и вместе с нами прорабатывали возможные варианты снижения веса конструкции, в том числе теплозащиты, и хотя «коэффициент незнания» был достаточно высоким, а речь шла о жизни человека, уточненные расчеты сблизили точки зрения оппонентов и нашу с учетом обеспечения необходимой надежности.

— Наверное, проблема снижения веса корабля волновала не только проектантов, но и, скажем, конструкторов?

— Естественно. Это было всеобщей заботой. Иногда, правда, доходило до курьезов. Перед очередным беспилотным пуском выяснилось, что на корабле образовалось лишних пятнадцать килограммов. Все мы ломаем голову: что бы такое снять? И вот захожу я как-то ночью в зал, где стоит готовый «Восток», и вижу: наверху в корабле лазают наш ведущий конструктор! А внизу стоит инженер-электрик и громко ему диктует какие-то цифры. Ведущий вдруг сбрасывает сверху... пучок кабеля. Меня ужас охватил. «Что, — кричу, — вы там делаете?» Оказывается, они решили снять часть электропроводки, которая после последних работок оказалась ненужной. Ох и скандал же был. Правда, в конце концов все обошлось.

— Удалось провести только три удачных летных испытания корабля. Не было ли этого мало для полной уверенности в успехе полета человека?

— Не стоит думать, что полеты, заканчивающиеся неудачей, не были успешными испытаниями. Успех любого испытания — это не только когда все работает безупречно, но и когда все ясно в отношении любого из отказов. Ясны причины, ясен путь к устранению дефектов. Так что в этом смысле все пять летных испытаний у нас были успешными. Но так, чтобы ничего не выявилось в ходе подготовки, не бывает, это было бы очень плохо. Перед полетом Гагарина при последней проверке на герметичность обнаружилась утечка. Помню, все кто мог искали — лазали, ползали, нюхали. Нашли, заменили один разъем. Тогда, кстати, я обратил внимание на то, что в гермокорпусе у нас постепенно накопилось огромное количество уплотняемых отверстий — несколько десятков...

Близился первый полет человека в космос, но мир об этом еще ничего не знал. Проектанты и конструкторы делали свое дело и тоже не знали, кто будет первым пилотом их детища. Решение о начале отбора и подготовки первой группы космонавтов, как известно, было принято в 1959 году, а весной 1960 года она была сформирована. Проектанты, конечно, за габариты будущих космонавтов немало волновались, но официальных заявлений, как говорится, не делали. Но те, кто отвечал за подготовку, очевидно, хорошо понимали, что с тяжелесами могут оказаться проблемы, и набрали ребят полегче.

Была составлена программа подготовки, в том числе по конструкции корабля и основным его пилотирования, и с будущими космонавтами начались занятия. Потом они сдавали экзамены. Уже тогда и на занятиях и на экзаменах чувствовалось, что среди отличных ребят есть свой лидер — молоденький старший лейтенант Юрий Гагарин. На всех экзаменах и зачетах набирал он лучшие баллы. Всем он очень нравился, особенно Королеву и Н. П. Каманину. Отряд космонавтов тоже воспринимал его как лидера и задолго до официального решения назначил быть первым. И на первом осмотре «Востока» он первым вызвался залезть в кабину. Выделялся Гагарин и своими чисто человеческими качествами — упорством, трудолюбием, лобознательностью, добродушием и обаянием.

— Ваше отношение к нему не отличалось от сложившегося у других?

— В целом нет. Скажу, однако, что не был он, как иногда о нем пишут, простодушным парнем, скорее даже был себе на уме. Как-то на лекции я вдруг выступил с такой речью, что, мол, учиться им всем надо серьезно, основательно — одним словом, необходимо им получить высшее инженерное образование. После лекции подходит ко мне Гагарин и начинает советоваться, куда лучше поступить. Я, конечно, за свое родное МВТУ стал горячо агитировать. Гагарин с серьезным видом согласился, но, видно, только из уважения к «педагогу», — все они уже тогда начали думать об Академии имени Жуковского. Все-таки они были летчики.

Где-то в конце 1960 года всем стало ясно, что первым полетит Гагарин. Хотя, конечно, окончательный выбор был сделан Государственной комиссией перед самым полетом.

«Восток» был полностью автоматизированным кораблем. Но пилот мог взять управление на себя, то есть ориентировать корабль для включения тормозного двигателя. Для этого было решено установить ручку управления наподобие той, с которой имеют дело летчики-истребители. Но если в самолете ручка непосредственно (или через усилители) воздействует на управляющие органы крыла и оперения, то в космическом корабле от ручки идут сигналы на датчики угловых скоростей, которые в свою очередь выдают команды на управляющие органы — включают реактивные сопла.

Но одной ручки для управления полетом, как известно, мало. Нужно еще иметь устройство, с помощью которого пилот может установить объект в нужное положение. На самолете для этого существует хороший внешний обзор, а также авигоризонт и гирокомпас. На космическом корабле для тех же целей появился «взор» — специальный иллюминатор с прибором для визуальной ориентации. При правильной ориентации корабля космонавт мог видеть через центральную часть прибора «бег Земли», то есть контролировать курс, а через кольцевое зеркало — горизонт, чтобы управлять по гангажу и крену.

— Этот иллюминатор, помню, как и два боковых окна диаметром по двести миллиметров, которые мы предусмотрели в проекте спускаемого аппарата, наши конструкторы встретили в штyki. Очень им не хотелось связываться со стеклом и его уплотнениями. Но все-таки сделали, и все хорошо работало.

— Для космонавта была разработана полетная инструкция. На мой взгляд, это истинно исторический документ, который наверняка с благоговением будут читать будущие поколения людей. Что она собой представляла?

— Составлял ее, как я говорил, Олег Макаров. Умещалась она на небольшом листке бумаги, не то что сейчас — несколько книг. Гагарин инструкцию, кажется, сразу наизусть выучил. В день перед полетом мы вместе с Раушенбахом провели с Гагариным последний инструктаж, проверяли его готовность по нашей части. Нам было важно, чтобы он в космосе что-нибудь случайно не так не нажал. Часа полтора мы демонстрировали ему свою эрудицию. Он сидел такой спокойный, уверенный в себе, слушал и улыбался — все это он уже знал прекрасно до деталей, ничего не забыл и не забудет.

— О старте и полете Гагарина написано уже немало. Интересно, однако, ваше личное восприятие этого великого события. А заодно — чем вы сами занимались в те дни?

— Как и все, кто находился тогда на космодроме, я участвовал в подготовке полета. Вообще-то на космодроме царили испытатели, на них все смотрели как на вершителей судьбы. У нас, проектантов, было ни меньше и ни больше забот, чем у всех остальных: составляли и визировали различную документацию, участвовали во взвешивании и проверке балансировки корабля, наблюдали за устранением наших замечаний, сборкой и разборкой чего-нибудь, составляли весовую сводку, уточняли центровку корабля, проверяли расчеты, дорабатывали программу полета. Программу подписывали несколько человек, включая председателя комиссии, Королева, Келдыша и Каманина. Я ее только визировал. Еще в наши обязанности входило выслушивать нарекания эксплуатационников и испытателей вроде «накрутили тут проектанты!». Вообще говоря, на космодроме в те дни уже никто не считался со своими должностными обязанностями и трудился для успеха полета от зари до зари. За два часа до старта проводили Гагарина в корабль, начались последние проверки. Я был в бункере, это совсем поблизости от ракеты, но ничего не видел — телевизора тогда в бункере не было. При последующих запусках я любил уходить на измерительный пункт, который был в полутора километрах от ракеты, оттуда она и весь старт как на ладони — красивое зрелище. Потом знаменитые «подъем!» и «поехали!». Пошла связь, все нормально, слышу из динамика голос телеметриста: «Пятерка... пятерка... пятерка...» Это значит — по системам все нормально. Вдруг — «двойка... двойка...» Врывается из соседней комнаты (пультавой) Королев: «Что случилось?!» Это был, кажется, еще только этап работы второй ступе-

ни носителя. Несколько секунд (казалось, минут!) напряженного ожидания и тишины. И вдруг спокойный голос того же телеметриста: «Пятерка... пятерка...» Все в порядке! Простой кратковременный сбой был в передаче данных. Надолго остались в памяти эти секунды.

— Мне не довелось быть очевидцем старта Гагарина. Но думая об этом событии, я всем своим телом ощущаю то великое напряжение, которое должно было владеть каждым из присутствовавших там.

— После команды «пуск» в бункере царило всеобщее напряжение. Особенно в первые двадцать пять — сорок секунд. После этого особых проблем со спасением космонавта в случае аварии не было: должен быть отделен спускаемый аппарат, отстрелен люк и катапультировано кресло. В первые же секунды полета, когда высота была еще мала, риск при катапультировании был существенным: в случае аварии ракета должна упасть поблизости.

Были сложности и в том случае, если бы аварийная ситуация возникла непосредственно на старте. Открывать люк и воспользоваться лифтом — это было слишком медленно. Поэтому и при такой ситуации было предусмотрено космонавта катапультировать. При этом пятоно приземления частично попадало на котлован (его называли стадионом за размеры и общую конфигурацию), над которым на специальном козырьке стояла ракета. Поэтому над частью котлована натянули металлическую сетку, на которую космонавт должен был опуститься с парашютом. В тот же миг из специального бункера поблизости должны были выскочить спасатели-пожарники, подхватить космонавта и снова спрятаться в бункер.

Сейчас эта программа кажется примитивной. Но в те годы ничего проще и надежнее придумать не сумели. Самым правильным методом (он и предусмотрен сейчас на «Союзах») был бы вывод спускаемого аппарата в сторону. Но это пришлось позже.

Кому-то может показаться, что процедура аварийного спасения была тогда ненадежной, на волоске, и головы всех присутствующих при старте мгновенно покрывались сединой. Все это было далеко не так. Вероятность отказа до старта и в первые секунды была очень небольшой. И если бы даже авария произошла, была уверенность, что космонавт будет спасен. Но напряжение, конечно, было, как и сейчас при каждом старте космического корабля, хотя система аварийного спасения у «Союза» намного надежнее.

— В случае аварии на старте что бы чувствовал проектант?

— Трудно сказать, наверное, такой же ужас и страх, как и все остальные.

— Ощущение личной вины могло быть?

— Оно возникает при любом большом и малом отказе любого агрегата или системы комплекса ракета — корабль. Хотя, может быть, никакой юридической ответственности за работу данной системы проектант не несет. После того как он предложил ее применить, над ней работали конструкторы, производственники, прибористы и испытатели. Но моральная ответственность всегда лежит на проектанте. Завязывает ведь машину он. К счастью, ни разу с «Востоком» у нас аварийных ситуаций не было...

— И вот «Восток» на орбите...

— ...и еще через несколько минут корабль вышел из зоны связи, пошел над Тихим океаном. Что тут началось! Все стали аплодировать, выскочили из бункера, обниматься стали. Даже Сергей Павлович (ракета сработала отлично, а он старый ракетчик) расчувствовался, подошел ко мне, расцеловались. «Что, брат Константин, досталось тебе от меня за эти годы?» Но мне, однако, торжествовать было рано, все самое трудное для корабля было впереди — ориентация, включение тормозной установки, спуск (тысячи градусов!), посадка...

Все расселись по машинам и поехали в барак, где началось заседание Госкомиссии. Туда должно было прийти сообщение с измерительного пункта на юге нашей страны, который захватывал корабль перед самым спуском на Землю. О том, насколько точно прошла ориентация корабля и включился тормозной двигатель, сообщений тогда не поступало (тормозной двигатель включался где-то над Гвинейским заливом), о прохождении спуска узнавали уже почти перед посадкой. В частности, по исчезновению радиосигнала, когда корабль входил в плотные слои атмосферы и вокруг него образовывалась радионепроницаемая плазма. Обрыв связи должен был произойти в определенный момент, высчитанный с точностью до секунды. Кроме того, по коротковолновому каналу передавалась сокращенная телеметрия о работе тормозного двигателя и разделении отсеков перед входом в атмосферу. Но распространение коротких волн, как известно, зависит от атмосферных условий, и, следовательно, этот канал получения информации не гарантировал.

И это был второй крайне напряженный момент всего полета. Но сигнал пропал точно в расчетный момент. Еще минут двадцать тяжелого молчаливого ожидания — и наконец, уже по телефону, пошли доклады из Саратовской области: «Видели парашют!» Наконец: «Объект на земле, космонавт в порядке!»

— Что вы почувствовали, когда «Восток» приземлился?

— Возникло вдруг странное ощущение: нечего делать, некуда спешить, не за что волноваться. Еще полтора часа назад весь день был заполнен невероятным количеством забот и вопросов, волнением и беспокойством. Было такое состояние, которое трудно с чем-либо сравнить: масса проблем и каждая обязательно должна быть решена, закрыта непременно и своевременно. За три года состояние это стало привычным и, казалось, вечным — и вдруг всего этого нет. День-то будний, только начался, и вроде бы я на работе, а делать нечего...

— Представляю, насколько ошарашивающее ощущение. Похоже, наверное, на то, когда человек, в спешке завершив дела и с трудом успев в аэропорт на свой самолет, обнаруживает наконец, что он в воздухе.

— Похоже. И, кстати, о самолетах. Ничего не сделанье продолжалось недолго. Неожиданно возникла новая и срочная забота. Руководство Госкомиссии приняло решение — срочно вылететь к месту посадки Гагарина, чтобы выслушать его доклад. Я узнал, что включен в список на самолет. Но на самолет этот нужно было еще суметь попасть. Аэродром находился километрах в пятидесяти, начальство умчалось на своих машинах. Ждать не будут, самолет улетит в назначенный час (это правило неукоснительно выполняется до сих пор). Итак, найти машину! Но этой же идеей, как вы понимаете, был одержим не я один. В результате возник прямо-таки ажиотаж: любой ценой раздобыть транспорт и тут же мчаться на аэродром. У подъезда гостиницы стояла «Волга» начальника экспедиции. В ней уже сидели водитель и еще один человек. Мы с Борисом Викторовичем Раушенбахом тут же заняли в ней места. Выходит сам хозяин и садится на переднее место. Все, комплект. И в этот момент на крыльцо гостиницы с чемоданчиком в руке быстро выходит Бушуев. Меня охватывает ужас — сажать моего начальника некуда, значит... Но Бушуев, мгновенно оценив обстановку, не моргнув глазом вдруг кричит: «Иван Иванович, вас срочно требуют к телефону!» Хозяин выскочил из машины и исчез в дверях. Бушуев быстро занял его место и скомандовал водителю: «Поехали». И мы помчались. Через некоторое время Борис Викторович как бы вдруг спрашивает Бушуева: «А кто это так удачно вызвал к телефону Ивана Ивановича?». По лицу Константина Давыдовича скользнула ухмылка, и он промычал что-то невразумительное, скосив глазами в сторону водителя (потом я узнал, что хозяину «Волги» ехать на аэродром было совсем необязательно). В этой истории я, признаюсь, забыл, пожалуй, только точное имя-отчество незадачливого начальника экспедиции. На самолет успели. Самолетом, а затем вертолетом прибыли на место посадки, но там Гагарина уже и след простыл. Шарик же наш лежал на месте, недалеко от края крутого обрыва над Волгой. Возле него охрана и наша группа встречи. Все вокруг пытались что-нибудь ухватить себе на память.

— А вы не прихватили себе тубу с соком, например?

— У меня и в голове этого не было. До сих пор такой страстью не одержим — оставлять себе сувениры и автографы...



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ГЕОРГИЙ МАРКОВ: ДОЛГ ЛИТЕРАТУРЫ — БЫТЬ ДОСТОЙНОЙ СОВРЕМЕННОСТИ

Г. МАРКОВ — В. ЛИТВИНОВ

Диалог

Публикуя запись беседы члена редколлегии «Нового мира» В. Литвинова с Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии Георгием Мокеевичем Марковым, редакция журнала пользуется случаем горячо поздравить замечательного писателя и видного общественного деятеля с исполняющимся в апреле семидесятилетием, пожелать ему крепкого здоровья, новых творческих успехов, новых книг.

I

Хочу начать с темы; неизменно актуальной в любых рассуждениях о литературе, — темы героя. Помнится, в одном из своих выступлений вы, Георгий Мокеевич, специально подчеркнули, что «по художественным типам, созданным советской многонациональной литературой, вполне можно воссоздать историю нашего общества, проследить основные линии его развития, представить нравы людей, проникнуть в их психологический мир».

Одно соображение, связанное конкретно с героем ваших, Георгий Мокеевич, романов и повестей.

Есть натуры изначально драматического склада, всю жизнь они мучительно ищут себя, на каждом крутом повороте судьбы словно бы отвергают себя вчерашнего, постоянно они томимы внутренними противоречиями, муками нравственного выбора. Проза всегда — а в наши дни особенно — интересуется этим человеческим типом, на какой-то момент он стал своеобразной литературной модой.

И вот на таком фоне главный герой «Строговых», «Соли земли», «Сибири» выглядит как бы даже наособицу — это личность уравновешенная, душевно здоровая в том смысле, в каком здоровы подвижники во все века: неколебимо шагают своей дорогой, а когда выпадут испытания, хоть на костер взойдут, не опуская глаз...

... Перебираю книгу за книгой и в центре любой и каждой нахожу именно такой харак-

тер. Строговы — труженики, партизаны в гражданскую, мудрый дед Фишка... Солдат Филипп Егоров в «Орлах над Хинганом»... В романе «Отец и сын» — оба Бастрыковы, давшие название произведению... И так до самых последних вещей: прочная и надежная натура Михаила Нестерова в «Завещании», старик Пахом Васильевич в «Тростинке на ветру» — словно само воплощение житейской мудрости...

Еще раз подчеркну, что речь идет о центральных, концептуальных персонажах, поскольку на периферии повествования можно отметить немало фигур, несущих, так сказать, совсем иной социально-психологический заряд, являющих иную душевную организацию. К примеру, Капитолина в «Строговых» — женщина мятежная, вольнолюбивая, дерзко бросившая вызов своему дворянскому прошлому, бунтарка даже в тюрьме. Такая, наверно, могла стать не только героиней одной драматичной сцены, но и самостоятельного романа. Однако вам, Георгий Мокеевич, она потребовалась все-таки для частной сцены... То же самое можно сказать о Лукерье из романа «Отец и сын» — вот уж действительно личность, раздираемая страстями и противоречиями, судьба поистине трагическая. Но опять-таки не она, не Лукерья, в центре произведения...

Откуда такое неизменное авторское благо-расположение к натурам одной психологической доминанты? И что это — сознательный, всесторонне обдуманный писательский

выбор или же нечто интуитивное, за которым обычно стоит бесконечное множество самых разных объективных слагаемых, в числе которых душевный склад самого автора, особенности его мировосприятия, личные симпатии и антипатии, вплоть до особенностей атмосферы тех давних лет, когда у человека только только возникают самые первые представления о мире человеческом?

— Наверно, как во всякой жизненной проблеме, здесь есть своя диалектика, односложного ответа не найдешь. Влияет на выбор героя и одно, и другое, и третье. Сознательный момент этого выбора? Конечно, как же без него. Атмосфера юности, в которой формировались твои первые представления о людях? В высшей степени существенно и это.

Посудите сами хотя бы на моем примере. Рос я в семье сибирского охотника-медвежатника. Родным домом для ребят, когда они чуть подрастали, становилась чащоба, охотничьи тропы по берегам рек и отрогам холмов. Можно себе представить, какие характеры главенствовали там, какие натуры чаще всего приходилось наблюдать. Охотник-промысловик — это, как правило, личность, уверенная в себе, кремневая, человек уверенно шагает своим путем...

— Тот самый сибирский характер, без упоминания о котором не обходится ни одна рецензия на ваши книги?

— Я остерегаюсь всяких дефиниций — если есть сибирский характер, то почему бы не быть характеру закавказскому или памирскому... Но если бы все-таки потребовалось сформулировать особенности этого самого сибирского характера, то для меня он не только в мужественном преодолении трудностей, суровой природы, он во многом зависит и от той нравственной атмосферы народной жизни, того воздуха, которым коренной сибиряк дышит с колыбели.

Я был тринадцатым у матери, помню, с какой гордостью она говорила: «Ни одного кривого или глухого душой, все уродились красивыми, хоть языком облизывай...» Это была высшая ее материнская гордость. Но уродиться уродились, а еще важнее — воспитались.

Отец был человеком большой физической силы, отменным стрелком, в детстве мне казалось — ничего на свете он не боится. Да, может, так оно и было. Идет в глухую пору через речку по узкому мостку, стоят двое явно с недобрыми намерениями. А он, не сбавив шагу, ни в чем страха не выказав, поравнявшись с ними: «А ну-ка, мужики, посторонитесь, дайте-ка пройти» — таким голосом, что те двое без звука и сторонятся... Бывало,

ходил отец черной ночью на озеро Чертаны, о котором рассказывали вещи престрашные. А он среди этих топей и зарослей в полный голос: «Ого-го! Черти, нечистая сила! Выходи кто есть, я жду, Мокей Марков пришел!..»

Можно сказать, сама жизнь таежная творила людей на свой манер, отбирала нужный ей материал. Ничего не скажешь, и крестьянину тяжело, а все-таки с таежником не сравнить. На охотничьей тропе будь готов к самым невероятным испытаниям, часто рассчитывать не на что, кроме своей хватки и умелости. По семье Марковых сужу — у нее один завет: как бы трудно ни приходилось, никогда не падай духом, бейся что есть силы, не сиди сложа руки. Иначе согнет в дугу и в доски уложит...

Впрочем, и тут не все однозначно. Вроде бы ты сам за себя, но когда каждый, большинство над собой такой нравственный закон ставят, то и рождается от этого общее благо, отсюда и свойство самой общественной атмосферы. Знаешь, что и сосед, ближний твой, в беде не станет сидеть сложа руки.

В последний раз я с отцом на шишкосборе был в 1926 году (вот как давно это было). Один из артели, Васья Беленин, заблудился в тайге, не пришел вечером на стан. Отец все другое велел немедленно бросить, всем идти искать человека, хоть дело пропадало, уходили последние погожие дни шишкособоя. Человек всего дороже...

Справедливость, правдолюбие — это словно цемент в натуре человека из народа. Было такое — двумя небольшими артелями промышляли мы рыбу из-под льда. Как положено, у каждой свой штабель наловленного. Утром отец выходит из землянки, глядь — Ефим, из другой артели, наш улов к себе перебрасывает, воровато озираясь... Нужно было слышать, какие слова сказал ему отец. Простые слова, но сколько вложено было в них: «Как же ты можешь, Ефим, позволить такое, вместе ведь в ледяной воде лиха хлебали...» Тот чуть ли не на колени. Стал рыбешку назад метать, но отец: «А вот этого тоже не надо, не хватай лишнего... Та рыба, верно, моя, а эта пусть вам останется...»

Как у всякого настоящего промысловика-таежника, у отца на всем, что он делал, была своя мета (та самая штука, которой порой не хватает нам, писателям). По чащобе идет — заметку ставит, жердей нарубит, на каждой обушком особый знак. Так и с рыбой: выловит, не терпит, чтобы лишние мучения, — обязательно прихлопнет о лед. По этой мете всегда свой улов признает. Вообще не любил, когда по его вине кто-то муку принимал, хоть и занятие у него такое суровое — охотник. Подранков видеть не мог. Да что

подранки — цветок, зря сорванный, жалел. Идем как-то вместе лугом, я в мальчишеском азарте лозинкой сшибаю цветам головки. Отец отнял лозинку, зашвырнул далеко: «Зачем калечишь? Они же живые...» До сих пор на сорванные цветы, на букеты, какие бы ни были красивые, не могу смотреть без внутреннего тревожного чувства...

Еще скажу о понятии справедливости — какой ее в народе, в нашей семье представляли: она не только в том, чтобы дать отпор лихоимцу, нечестного вовремя схватить за руку. Тот Ефим, который рыбу воровал, потом отца просил: не выдавай! Нет страшнее позора для промысловика — у такого же, как он, трудяги слихоимничать. Отец ему: «Не оступишься больше, так никто никогда не узнает...»

Это как бы родовая такая черта. Помню, мать с другими женщинами ходила из Ново-Кускова на богомолье, где-то там они заночевали. Одну женщину бес попутал вроде этого Ефима. Знала про то единственно моя матушка. В долгие зимние вечера, когда в семье у огня рассказывались самые разные разности из былого, не однажды вспоминала мать о том случае на богомолье — как женщина потихоньку вернула гайтан с деньгами на место, устыдясь содеянного. И вот что примечательно: сколько мы ни допытывались, кто же она, прогрешившая (очень нам по молодости интересно было), но мать так и не назвала имени до самой своей смерти. И она умерла, и та, что согрешила, но одумалась, умерла — никто больше никогда не узнает. «Зачем человека топить, — говорила мать, — если он сам на твердое стал выбираться...»

Четыре снохи было у матери, для всех она умела быть равной и справедливой, в каждой видела человека достойного. А уж как они ее любили... Когда померла, над ее могилой убивались, как не убиваются и над родной матерью...

Еще одна черта в народной нравственности мне исключительно дорога — серьезность отношения к миру. Глубокая, не побоюсь сказать, подлинно философская мысль простого человека о жизни и ее развитии (очень живо эту черту изобразил Сергей Залыгин в своей «Комиссии»).

Семнадцатилетним комсомольским работником, помню, был я командирован на крестьянский съезд в Анжерке Томской губернии. Виднейшие работники партии присутствовали на этом съезде (если память мне не изменяет, Емельян Ярославский там был, С. В. Косиор). И всех, а меня, молодого, естественно, особенно остро потрясла речь одного старика, человека из самой глухой глубинки.

Никогда ни раньше, ни потом я не слышал ничего более убедительного в пользу «общей жизни», как бы сегодня сказали, закономерности победы в трудовом обществе коллективистского сознания. А ведь происходило это в годы, когда еще о колхозах и речи не шло. Он же, деревенский философ-сибиряк, словно все далеко вперед увидев и взвесив на своей трудовой ладони, в своем понимании и людей и самого хода жизни вывел так мудро, спокойно, с потрясшей весь зал уверенностью: дескать, вторая половинка души крестьянской, та, которая к соседу обернута, победит непременно! Как ни собачимся, но придет день, сойдемся Иван да Федот, обнимемся крест-накрест: «Прости, Иван» — «Прости, Федот»... Только вместе, иначе никак нельзя...

Помню, меня тогда не только благородная суть его выступления потрясла, но и само явление вдруг открылось в каком-то новом свете: простой человек считает своей обязанностью печься о судьбе всего общества. И стал я перебирать в памяти разные характеры наших деревенских из Ново-Кускова. Сколько и среди них было таких же философов народных, болельщиков за общее дело. Тех, что не просто умны, хранят сокровища народного житейского опыта (отец, например, во времена, когда сибирская глубинка не знала ни врачей, ни аптек, весьма успешно врачевал односельчан травами, кореньями, полна изба ими была; уже в советское время к нему в село приезжал за советом видный ученый-биолог). В самых мудрых из них увиделось мне как бы хранилище нравственности, самого духа, исторического оптимизма народа. В облике таких — определяющие черты общественной психологии и больше того: облик самого времени. (В книгах своих я потом не однажды обращался к подобным типам народных философов — уже упоминавшийся дед Фишка в «Строговых», старый таежник Федот Безматерных в «Сибири».)

Вот такие слагаемые. И из них-то в конечном счете и выросло самое главное, все решающее убеждение: жизнь можно и необходимо сделать лучше, красивой. Счастливой для простого люда! Мысль, из которой произошла сама идея социалистической революции.

Потому эти простые труженники, которые, кажется, головы не поднимали от земли, вечно надрываясь в добыче куска хлеба, они-то и оказывались весьма близкими революционному делу. Взять тех же новокусковских Марковых, моих дядьев и братьев. Все охотники, трудяги, земледельцы и землепроходцы. Но отец Мокей Фролович о том, кто такие большевики, хорошо знал еще до Октябрьских дней, читал запрещенные книжки, водил знакомство с людьми, пришедшими «от самого

Ленина». В 1921 году стал одним из вожakov в коммуне (ее я описал в романе «Отец и сын»).

Еще в 1905—1906 годах в селах Иркутской губернии существовали тайные вооруженные дружины крестьян, руководимые рабочими-большевиками. Ефим Волков, тогурский крестьянин, в пореволюционную пору выводил десятки ссыльных-революционеров из Нарыма; потом мне очень пригодился из Царский рассказ о нем, когда я работал над «Сибирью» (там Волков выведен под именем Ефима Власова).

Возвращаясь к исходной точке нашего разговора, ответу на поставленный вопрос так: с малолетства жизнь меня приучила, что, как бы ни была действительность пестра, какие бы люди ни встречались в нашей необъятной Сибири (а ведь и в самом деле, в том сложном человеческом конгломерате, что составлял Сибирь, было предостаточно типов иного рода — это и люди с чисто авантюристическими наклонностями, и натуры сломленные, не устоявшие в суровой борьбе, это и такие, что метались в поисках истины среди неразрешимых противоречий, и такие, что до мозга костей были прожжены злобой на все человечество), в этом огромном людском море всегда есть и будут люди стрелецкие. За ними и другие идут к верной цели, на них безбоязненно можно опереться в самой трудной ситуации. Такие — соль земли, соль жизни.

Ничего удивительного, что к ним все мои писательские симпатии и любые жизненные коллизии видятся мне как бы сосредоточенными вокруг них, действительность мне хочется разглядеть именно их глазами.

А насчет того, есть ли в героях, созданных воображением писателя, некая частица и его человеческой самобытности, то на этот счет, как мне представляется, в теории литературы написано столько, что это, может, и есть та единственная теоретическая проблема, в которой все абсолютно ясно и все установлено окончательно.

Но даже если и не трогать теоретические сокровищницы, довериться чисто личному опыту, то скажу, что у многих интересных писателей, которых мне довелось знать лично, главные их герои непременно несли какие-то явные, ни на что другое не похожие авторские черты. И в книгах Константина Федина и у Твардовского.

В молодости это ощущение особенно остро. Вспоминаю, как беседовал с Антоном Семеновичем Макаренко, — это ведь только он, автор (и герой) «Педагогической поэмы» и «Флагов на башнях», мог сказать с такой строгостью и вместе с тем учительской доброжелательностью к молодому: не знаете об

особенностях режима Ангары, как же так, ведь вы же писатель, должны быть любознательным!..

Вспоминаю Петра Андреевича Павленко, перечитываю его письмецо, присланное в 1940 году в Иркутск в ответ на дарственный экземпляр «Строговых». Вот его текст (никогда я его раньше не публиковал):

«Сердечное спасибо за посылку книги с надписью. Вы с большим искусством преувеличиваете мою роль в процессе претворения рукописи Вашей в книгу, но тем не менее надпись я прочел не без удовольствия. Книга Ваша честная, способная — и если я заметил это раньше других, то да будет мне от этого весело и приятно.

Поступайте и Вы так.

Жму Вашу руку. Желаю хороших и серьезных успехов.

П. Павленко.

24/X-40».

В дальние довоенные годы, в самой ранней моей творческой молодости, жизнь свела меня однажды с одним из замечательных русских писателей — Исааком Бабелем. В своих заметках я уже имел возможность рассказать об этой встрече: как автор «Конармии» по просьбе Гослитиздата прочел рукопись романа «Строгов», принадлежащую перу никому не ведомого сибирского автора; как он пригласил этого молодого прозаика к себе домой и долго беседовал с ним о Сибири, о технике писания романов, о драгоценности простоты в искусстве и об опасности «книжности», о том, что напрасно иные редакторы каждому молодому прозаику уныло твердят одно и то же: начинать надо с рассказов, так и Горький начинал; твердят, нимало не задумываясь над тем, что именно Горький Алексей Максимович как никто другой старался поддержать как раз тех, кто начинал с романов; что есть прозаики, чей психологический склад тяготеет к новеллистике, а есть такие, у которых весь строй души — в романе, в романном мышлении.

«Усугубляйте свои достоинства и недостатки. Не думайте, что это звучит парадоксально. Творческая индивидуальность — это и достоинства и слабости, но такие, которые вытекают из присущего только вам склада души и другими неповторимы. Слушая других, не забывайте о своем внутреннем голосе. Сообразуйтесь с ним» — с тех пор как были сказаны мне на прощанье эти добрые слова Бабеля, много воды утекло, многое произошло в мире. Но словно живого вижу я его перед собой и сегодня. И что самое примечательное — его человеческие черты неизменно угадываю в его персонажах, сколько ни перечитываю бабелевский томик. Хотя внешне, кажет-

ся, ни один из героев ни в малейшей степени не похож на того тихого, съезло улыбающегося человека в очках, с внимательными глазами и врачующим негромким голосом...

Что касается меня лично, то эти все соображения я уточнил бы так: то лучшее человеческое, что есть в моих героях, это не столько от реально присущих мне душевных черт и качеств, сколько от желания иметь их в своем характере, это то, к чему всегда стремилось мое человеческое существо. А писательская тяга к лучшему тоже, знаете ли, не последнее дело в искусстве.

— Георгий Мокеевич, вот в связи с воспоминаниями о Бабеле вы упомянули об особом романном мышлении, а для автора эпических произведений это, наверно, и того более — эпическое мышление. Но позволительна ли для пишущего эпопею, реалистическое полотно, запечатлевающее историческую действительность во всей ее полноте и сложности, — позволительна ли для такого мышления эта избирательная пристрастность к одному, очень определенному психологическому типу? Не в том ли и задача эпики, чтобы весь мир во всех его человеческих проявлениях выслушать объективно, с внимательностью совершенной?

— Нет, думаю, что не в этом «доблесть» эпического писателя. И вообще беспристрастность пушкинского Пимена к событиям и людям не может составить силу писателя, в каком жанре он ни работает — пишет ли маленькие новеллы или многотомные романы. Только страстное, личное отношение к героям — особенностям их характеров, их роли в жизни общества, их способности отвечать на жгучие вопросы современности, — только такой подход во всех случаях жизни, нашей творческой жизни, составляет, как мне представляется, и достоинство и сам смысл существования литературы как искусства. Писатель, безразличный к людям, о которых пишет, на добро и зло глядящий равнодушными, сонными глазами, это неестественность, это заведомая ложь в литературе!

И

— Хочу направить нашу беседу в несколько иное русло, поговорить о героях иного рода — о тех, кто сознательно руководит жизненным процессом, людям социально активным. Поговорим об образах коммунистов. Их немало в ваших, Георгий Мокеевич, книгах. Большевики-ленинцы, организаторы партии, коммунисты наших дней — строители зрелого социалистического общества. Если, скажем, в «Строговых» прослежен сам корневой, «материковый» процесс большевиза-

ции сибирского крестьянина-бедняка, те объективные пути, которые приводили таких, как Матвей Строгов, в ряды борцов с ненавистным царизмом, то в романе «Соль земли» мы видим уже партийцев современных — высокообразованных, государственно мыслящих, во всеоружии идейности и профессиональной компетенции руководящих социалистическим строительством. Это кадровый партийный работник Максим Строгов, это в «Земле Ивана Егорыча» главный герой повести, секретарь райкома, в час ухода на пенсию оглядывающий все то огромное поле работ, которые им свершены с людьми и во имя людей...

Особо хочется выделить героев «Сибири» — большевиков Ивана Акимова, Катю Ксенофонтову, Федора Горбьякова. Они поистине герои своего времени, потому что отдавали весь жар сердец, все свое умение великой ленинской революционной идее, неукротимо шли к высокой цели, ни на день, ни на час не откладывая то, что возможно сделать сейчас, немедленно. Я бы сказал о таких: бойцы в любой ситуации, вопреки всем неимоверно сложным жизненным обстоятельствам! Вот что, оказывается, в реальности означало делать революцию практически, по-ленински! И это очень и очень многое говорит современному читателю, современному коммунисту...

Всего дороже в делах и днях этих большевиков. героев книг, то, что их революционность всегда позитивна, имеет своей целью не только борьбу с отживающим, но и активную помощь нарождающемуся, завтрашнему. Любое деяние — обязательно с мыслью умножить, прирастить, чем-то обогатить развитие народной жизни и всего революционного движения...

Конечно же, в высшей степени эта черта позитивной активности присуща была прежде всего самому Владимиру Ильичу Ленину. Кажется, все известно миру о каждом шаге в его жизни и деятельности, но вот мы побывали в Шушенском, прошли по тем дорогам и тропкам, по которым когда-то ходил он, прикоснулись к дорогим реликвиям, документальным материалам, теперь экспонатам Ленинского мемориала, — и словно поразило открытие: сколько же он, Владимир Ильич, успел сделать за три неполных года пребывания в сибирской ссылке! Надо же было: поднять к активной деятельности не только ближнюю политическую ссылку — Минусинск, Ермаковское, — но и оказывать самое действительное влияние на развитие революционно-марксистского дела в целой Сибири! Наладить политическую учебу молодых социал-демократов, организовать обмен книгами и газетами между политссыльными, регулярные их встречи под теми или иными благовидными предложениями, раз-

вернуть дискуссию с ссыльными-народниками, вести переписку с дальними и ближними российскими краями, с заграницей, создать боевой документ, разоблачающий ложь «экономизма» в революционном движении, — боевой «Протест российских социал-демократов». И все во имя одной всепоглощающей цели — создания марксистской партии российского пролетариата. И при этом, поразительное дело, Владимир Ильич в те же месяцы, при такой загруженности сумел создать столь фундаментальный труд, как «Развитие капитализма в России», не считая еще трех десятков других теоретических работ, статей, рецензий...

Мне кажется, что именно стремление хоть частичкой воплотить в героях «Сибири» эту жизнедеятельную черту ленинского характера, ленинской натуры и было важной идейно-художественной авторской задачей. Не удивительно, что на известной творческой конференции «С Лениным, по ленинскому пути», что два года назад была проведена в самом Шушенском писателями и критиками всех республик, роман «Сибирь» упоминался в ряду произведений художественной Ленинианы, хотя книга и не выводит фигуру Владимира Ильича непосредственно.

Когда мы говорим о необходимости все более и более широкого раздвижения границ художественной Ленинианы, изыскания ее новых идейно-творческих резервов, серьезное внимание и художников и теоретиков должна, по моему мнению, привлечь именно эта сторона дела: как ленинское раскрывается в характерах, в делах и помыслах людей партии — ленинцев навсегда, на все идущие века. Точно так же как эпоху мы познаем через Ленина, так и образ самого Ильича все полнее будет раскрываться для мира через другие личности, другие социально-психологические определенности. Не здесь ли новое широкое поле для завтрашней Ленинианы в искусстве и литературе, не сюда ли следует направлять ее творческий поток? Ведь говорилось же на упомянутой конференции в Шушенском: залог дальнейшего, завтрашнего расцвета художественной Ленинианы в том, чтобы видеть ее не просто некой особой темой, но самим стержнем всего современного искусства социалистического реализма, именно по Лениниане судить о состоянии и генеральном направлении литературного процесса в целом...

— Начну с того, что тема героя — человека из народа и, с другой стороны, тема воссоздания в литературе образа коммуниста вовсе не кажутся мне разными, по существу это все тот же разговор о личности героя, воплощающего в себе богатство народного сознания психологии, о характерах, наиболее вырази-

тельно концентрирующих в себе лучшее человеческое.

Если мы ценим в герое недожимную душевную силу, глубину гуманизма, смелость в достижении цели и широту мировосприятия, то в ком еще все это воплощается так закономерно и полно, как не в натурах коммунистов-ленинцев! По крайней мере свою писательскую задачу в отношении этих героев я понимаю именно таким образом.

Для меня прежде всего важно, что и подпольщик Акимов, и коммунар Бастрыков, и обкомовец наших дней Максим Строгов — это все выходцы из трудовых народных династий, плоть от их плоти.

Вот мы упомянули тот факт, что лучшие люди из народа закономерно приходили к революции, к познанию правды Ленина. А ведь можно взглянуть на тот же процесс по-другому — с точки зрения большевиков, профессиональных революционеров. Разве и для них не самым заветным и важным было понять этих лучших людей из народа, а через них и сам народ, его умонастроение, психологию, все то, что накопилось в толщах народных масс и настойчиво искало своего социального выхода? Для большевиков это означало понять, привести к активному действию все силы, способные работать на революцию.

Ведь можно сказать о ленинизме и так: это воплощенное познание народных чаяний, реальных сил и обстоятельств, коренных закономерностей социально-общественного процесса, его исторической конкретности. Партийность неотъемлема от умения слушать народ, понимать его творческие потенции и ценить его нравственный опыт. Видеть в простом труженике полноценную человеческую личность.

К сказанному о делах и днях В. И. Ленина в шушенской ссылке следовало бы добавить еще одно, быть может, самое существенное — особенно в эти годы Ильич всем своим существом стремился как можно глубже понять людей, составлявших окружающее общество, умонастроение сибирского крестьянства. Помните, как выразительно об этом написала Надежда Константиновна Крупская в своих воспоминаниях: «Он жадно ющими глазами вглядывался в жизнь, страстно любил он жизнь — с крестьянами толковал, дела их вел, наблюдал, деревню изучал».

Об этой ленинской черте в большевиках я много размышлял, когда писал в «Сибири» встречи Ивана Акимова и Кати Ксенофонтовой с сибиряками-земледельцами, таежными охотниками, солдатами, батраками... Этих посланцев партии вело в гущу народную ленинское понимание того, сколь дорог духовный опыт народа для возможности социалистического преобразования страны, сознания людей, задав-

ленных нуждой. В стремлении угадать в лицо подлинных носителей передовых идей крестьянской России Акимовыми и Ксенофоновыми руководили большая ответственность перед народом и историей, понимание решающей роли народа, трудовых масс в историческом процессе. Вот это мне и хотелось изобразить как самое главное в образах коммунистов-ленинцев.

Относительно же вопроса о том, в какой формулировке можно раскрыть понятие современной художественной Ленинианы, скажу, что, как мне кажется, решаться этот вопрос должен широко, вовсе не в плане возведения неких категорических постулатов. Думается, что для сегодняшнего этапа развития ленинской темы в литературе и искусстве как раз характерна именно широта, диалектическая полнокровность, многоплановость.

Художественная Лениниана для нас — это и каждое подлинное ценное произведение социалистического реализма, воплощающее ленинские идеи в эстетически ярких образах, в убедительных картинах социалистической нови. Тысячи незримых нитей связывают сердце каждого настоящего писателя с великим сердцем Ильича, с ленинским учением, ленинскими идеалами.

Вместе с тем нельзя не видеть, что определяющими для понятия писательской Ленинианы по-прежнему остаются книги, которые вдохновлены благородной целью запечатлеть непосредственно великий образ Владимира Ильича, жизнь и деяния замечательнейшего человека, вождя, гения. По-прежнему как насущнейшая остается задача создания вдохновенных, истинно талантливых произведений о Ленине — мыслителе, преобразователе мира, революционном деятеле нового типа. Особо важно — об этом говорилось уже не раз — раскрыть образ Ленина как главы Советского правительства, руководителя партии, организатора международного коммунистического движения.

III

— С идеей нынешней нашей беседы на страницах «Нового мира» мы впервые обратились к вам, Георгий Мокеевич, если помните, в кулуарах Пятого съезда российских писателей. Тогда вы и сказали свое добро на этот счет. Еще долго писательская общественность будет находиться под живым впечатлением от этого большого съезда, он стал подлинно событием минувшего литературного года. И по сегодня не остыл накал споров, разговоров, встреч, зажигательных речей с трибуны — помните, как говорил Юрий Бондарев о современном состоянии прозы или Евгений Носов о судьбе «деревенщиков», Генрих Боровик о перипети-

ях идеологической борьбы?.. Можно представить, с каким чувством следили за ходом съезда вы, Георгий Мокеевич: ведь не далее как в июне этого года вам, первому секретарю Правления СП СССР, предстоит доклад на Седьмом писательском съезде страны. А там все эти проблемы встанут с еще большей остротой, что называется, будучи помноженными на число союзных республик, других национальных литератур с их свершениями и заботами...

Особо сильное впечатление на съезде писателей России оставило выступление гостя съезда — видного партийного деятеля, кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, Председателя Совета Министров РСФСР М. С. Соломенцева: его слова о том, что главный ориентир для современного искусства — крупные общественные проблемы, утверждение активной жизненной позиции героя. Его убежденность, что всего важнее для писателя — чувство современности. И, наверно, по-особому милое сердцу вашему, Георгий Мокеевич, то место в выступлении товарища Соломенцева, где речь зашла о Сибири:

«Ныне могущество не одной только России, но и всей страны «прирастает Сибирью». Надо ли говорить, что в такой же мере должен прирастать и писательский интерес к эпопее небывалых в истории экономических и социальных преобразований, творимых советским народом. Здесь наиболее зримо проявляются возросшие материальные, научно-технические и духовные возможности общества развитого социализма. Здесь закаляются цельные и мужественные характеры, формируются яркие биографии.

Современная сибирская проблематика значительна и многообразна. Хотелось бы пожелать, чтобы писательские организации этого обширного, богатейшего и перспективного региона страны все более крепили, чтобы молодые писатели прикипали сердцем, всю творческую судьбой к сибирскому краю.

Конечно, для этого нужно прежде всего усилить внимание к жизни и труду писателей — сибиряков и дальневосточников со стороны Союза писателей, местных партийных и советских органов, соответствующих республиканских организаций».

Так говорил товарищ Соломенцев.

Прирастать писательским интересом к Сибири... Вот задача, вставшая перед всей писательской общественностью. Сколько здесь сложностей возникает, а то и противоречий, не просто разрешимых! Прирастать... Но ведь народное рождение новых писательских талантов — в Сибири ли, в любом другом крае — процесс сложный, исключительно тонкий и очень плохо поддающийся «оргмерам». И все

же, наверно, существуют, возможны в действительности некие такие организационные меры, от которых в какой-то мере да будет зависеть успех такого прирастания.

Какие же? Как это может выглядеть конкретно?

Помнится, какие большие надежды связывал Алексей Максимович Горький с коллективным (как тогда говорили, бригадным) методом творчества. Это как разведка нового в жизни, как средство открыть глаза, приохотить наших литераторов к большим темам (особенно молодых — ведь недаром товарищ Соломенцев о них в этом случае особо сказал: «Чтобы молодые писатели прикипали сердцем»). Верится, что традиция посылки в самые горячие места страны творческих писательских бригад — с конкретной задачей, с деловым прицелом — будет не только продолжена, но и укреплена на новой, очень современной основе...

Думается, что практическое осуществление лозунга «прирастать!» вообще потребует от писательской общности неких кардинальных поправок на современность для многих и многих известных форм связей литературы с жизнью общества. Предметно я имею в виду и практику литературных конкурсов, и характер творческих командировок, и облик публицистических отделов в писательских журналах и альманахах — сибирские журналы здесь подразумеваются в первую очередь.

Или о таком мечтается: учредили бы наши книгоиздательства для тех рукописей романов и повестей о современности, что они определят как особо интересные и нужные, эту самую издательскую зеленую улицу — от корректуры до ротационной машины. Чтобы шла такая рукопись, как по железной дороге идет, обгоняя остальные грузы, эшелоны повышенной срочности. Чтобы писатель, работающий над остросовременным произведением, мог быть заранее гарантирован: в случае удачи его книгу будут читать уже через полгода после написания.

И таких «оргмер» можно назвать немало, внимательно оглядев все пространство нашего большого литературного хозяйства. Скажем, работа с мемуарами бывалых людей, героев социалистического производства. Или место в общем писательском деле литературной самодеятельности, всех этих многочисленных творческих кружков и объединений, где чаще всего и работают люди с передовой социалистического строительства, где союз труда и искусства приобретает по-особому зримые черты. Между тем сегодня Союз писателей, как мне представляется, этой работой занимается от случая к случаю, как делом, прямо к нему отношения не имеющим...

Наверно, на новые рубежи должны передвигаться и наши писательские посты, учрежденные писательскими журналами на многих видных участках социалистического строительства. О них сказано немало добрых слов, в том числе говорилось и об авторах «Нового мира», десятый год шефствующих над КамАЗом и выпустивших уже три сборника очерков и статей, где прослеживается рост гиганта автомобилестроения буквально от первого колышка...

И тем не менее любые, самые замечательные формы журналистской подачи, как известно, имеют удивительную склонность остекленевать со временем — в них необходимо постоянно вливать свежую кровь, искать все новые и новые формы. Сегодня назрело большое и нацеленное обсуждение первых итогов этих журнальных постов — что они дали литературе и самой жизни, как их оживить, какие вообще возможны новые формы писательской деятельности в этой области.

— Не скрою, то место в речи товарища Соломенцева, где говорилось о Сибири, я слушал с нескрываемым волнением: это о моей отчей стороне шла речь, о ее большой судьбе, ее завтрашнем дне!

Да, перед писательской общественностью поставлена огромная задача. Предстоит сделать все возможное для того, чтобы писательский интерес к Сибири, ее социалистической нови и мужественным людям действительно прирастал, воплощаясь в новые книги, значительные художественные полотна. Чтобы сибирские писательские организации крепили, чтобы в них создавались условия наибольшего благоприятствования для новых талантливых произведений, для роста творческой молодежи. Чтобы писатели — сибиряки и дальневосточники, их труды и дни, их заботы и устремления постоянно находились бы в самом центре внимания и Союза писателей и местных организаций...

Это четкая и глубоко продуманная программа, указанная нам партией. Это серьезная практическая задача. Над решением ее мы работаем в эти дни с тем большей сосредоточенностью, что по времени она совпала с подготовкой всей писательской организации к своему Седьмому всесоюзному съезду. А это такая в нашей жизни пора, когда коллективная мысль работает особенно интенсивно и нацеленно, стремится ориентироваться на высокие критерии, выходить к самым широким обобщениям. Вместе с тем это и деловая пора, требующая конкретных решений и четких выводов. Внимательнейшим образом стараемся мы прислушиваться ко всем и любым маломальски ценным и свежим предложениям, критическим замечаниям, нозациям, к сооб-

ражениям как общетеоретического порядка, так и к предметным предложениям, подобным тем оргмерам, о которых только что говорилось.

Так повелось, что каждый очередной всесоюзный писательский съезд словно бы стягивает в тугой узел многие назревшие проблемы творческой жизни, к нему идут многочисленные силовые линии от недавних областных конференций, республиканских съездов.

— Замечено, что каждый из шести предыдущих всесоюзных писательских съездов имел свое неповторимое лицо, свои особенности. В чем, по вашему мнению, Георгий Мокеевич, может проявиться подобное своеобразие Седьмого съезда, отмечен ли он какими-либо особенными обстоятельствами?

— Несомненно. Их, этих обстоятельств, немало. Скажу о самом важном. Ныне в стране подводятся итоги выполнения не только экономических, социальных планов, намеченных партией, — со всей основательностью мы говорим об успешном выполнении предначертаний ЦК КПСС и в области идеологии и культуры, о воплощении в жизнь программы эстетической, художественной. Минувшие годы в жизни нашей писательской организации были ярко озарены мыслью, высказанной Леонидом Ильичом Брежневым о таланте как национальном достоянии, — мыслью, столь органично развивающей гениальное ленинское положение о литературе как важной части общепролетарского дела.

Именно с высоты всесоюзного писательского съезда может оказаться всего виднее, как щедро были оплодотворены мыслью о бережном отношении ко всему талантливому многие наши творческие свершения, книги и целые писательские судьбы, наши контакты с действительностью, творческие устремления и держания.

Общее желание литераторов — видеть свой Седьмой съезд серьезнейшим идейно-теоретическим форумом, обращенным к наиболее важным и насущным проблемам творческой жизни. У нас немало было (и еще будет) всякого рода совещаний, конференций, обсуждений, симпозиумов, где можно обстоятельно обсудить любые частные вопросы, скрупулезно разобраться в деталях. Всесоюзный же писательский съезд должен по-особому выделяться масштабностью разговора, философской глубиной и трезвой ясностью итоговых выводов, он должен смело и глубоко заглянуть в завтрашний день литературы социалистического реализма.

IV

— Георгий Мокеевич, еще один вопрос, связанный непосредственно с вашим творчест-

вом. От больших своих романов являясь от времени вы обращаетесь к жанру малой повести. Одну из них — «Тростинка на ветру» — мне довелось рецензировать в «Литературной газете». Был там, между прочим, некий скрытый вопрос к автору, по-настоящему ответить на который мне самому в рецензии было не под силу. Сейчас выдался случай (отнюдь не частый в практике литературного критика), когда свой вопрос можешь задать непосредственно автору, написавшему произведение.

Вот он: что, собственно, подвигло романиста, автора крупных исторических полотен, вдруг обратиться к материалу, который всегда представлялся прерогативой писателей молодых, только-только начинающих, — события жизни: современной девчонки, ее малые и милые заботы и тревожения, связанные с выбором дела, с любовными перипетиями, ее отношения с родителями, родным краем?.. Между тем нечто подобное происходило и в творческой практике других известных «эпопейных» авторов, будь то Константин Симонов или Александр Твардовский, которые тоже от больших материй вдруг переходили к тематике молодежной, юношеской. Почему и зачем? Может быть, в этом проглядывает своеобразная ностальгия по далекой юности? Или таким образом выражается желание «посоветоваться» с молодежью по каким-то остро волнующим проблемам современной жизни?

— Наверно, все дело в том, что проблема молодежи — это не только проблема социальная, демографическая или политическая, для советского писателя это еще и проблема эстетическая, по-своему мировоззренческая. В молодежи, в ее образах, поведении и помыслах, ищет художник ответы на коренные вопросы, связанные с возникновением нового, порой неожиданного в нашей жизни. Именно с нее, с молодежи, начинается то, чему потом, оглядываясь назад, дают название нового этапа — в общественной жизни, социальной психологии, трудовой практике. И, конечно же, в литературе, искусстве.

Если угодно, вопрошать молодое, нарождающееся я старался в своих книгах всегда, каким бы временам они ни посвящались. Когда с этой точки зрения взглянешь на написанное, то окажется, что молодое поколение было своего рода главным героем, скажем, и в большом романе «Отец и сын» (не говоря уж о «Строговых», где почти все герои молодцы), и в такой небольшой повести, как «Тростинка на ветру». Там у меня, если помните, есть сцена, где старик Пахом Васильевич у вечернего окна сумерничает с юной медсестричкой Варей, ведет беседу о жизни, о том, что ждет впереди, — вот ради этой сцены, можно сказать, и вся повесть была написана,

точнее с нее начиналась, тут зерно вещи.

Совсем недавно я закончил работу над первой частью нового своего романа — «Грядущему веку». Передал рукопись журналу «Знамя». Это повествование о наших днях, наших сегодняшних заботах и тревогах. Конечно, есть там ставшие для меня непреходящими картины сибирской действительности, хотя место действия и шире какого-либо одного географического региона. Так вот в центре и этого произведения у меня молодой человек, молодой секретарь обкома, партийный руководитель новой, современной формации. А принимает он «хозяйство» от знаменитого человека, истинного представителя старой гвардии большевиков. На плечи молодого все ложится — и не свершенное предшественниками, и выдвинутое новым временем, и традиции, и мечтания, и самые реальные земные трудности... Как молодым плечам выдержать подобный неимоверный груз — вот вопрос, который я сам себе задавал не однажды, работая над рукописью.

— Перед нашей беседой, Георгий Мокеевич, я специально просмотрел «Горизонты жизни и труд писателя» — книгу вашей литературной публицистики: выступления перед писателями, отъезды на книги, путевые очерки, воспоминания. В глаза бросилась именно эта сторона дела: едва ли не в каждом втором выступлении обязательно встречается свой, так сказать, молодежный момент: то ли речь идет о такой жизненной проблеме, как профессиональная ориентация юношества, воспитание думающих, талантливых рабочих наряду с талантливыми инженерами; то ли это соображения непосредственно о художественной, писательской молодежи — как научить ее органически сочетать в своем творчестве идейный пафос с подлинно художественным проникновением в современную действительность. Говорится о том, что приток свежих сил во все пласты нашей литературы — это есть убедительнейший признак ее идейного здоровья; что молодые сегодня чаще всего являются людьми высокой культуры — это и богатство и стимул дальнейшего расцвета любой нашей национальной литературы. Тем более ответственны задачи идейного воспитания нового поколения советских художников: забота об остроте его мировоззрения и общественно-политическом его темпераменте, о том, чтобы научить видеть молодыми глазами самое существенное и определяющее в современном развитии, затрагивать животрепещущие нравственные проблемы действительности, а главное — уметь во всей полноте и новизне воссоздавать образ своего сверстника. той самой молодежи, в которой, как вы только что заметили, Георгий

Мокеевич, дорогая отгадка новому, будущему. Кому как не молодым и рассказать всю правду о молодом герое в его всесторонних связях с развитием общества, с большой жизнью народа!

Жаль, что в книгу не вошли некоторые путешествия молодым, например предисловие к сборнику начинающих прозаиков «Трудовые меридианы». Там, в частности, есть очень важные для нашего сегодняшнего разговора строки: «Всегда было так: каждое поколение писателей несло в литературу приметы своего времени, страсти своих дней. Именно это делало и делает советскую литературу художественной летописью нашей советской эпохи».

И еще одно наблюдение. В том, что вы пишете о молодежи, довольно часто возникает мотив отчего гнезда, «малой родины», которая воспитала писателя и которую он до поры знает лучше всего другого на свете. Вот, например, говорится: «Иногда мы сами немало делали для того, чтобы преждевременно оторвать начинающего писателя от родного гнезда, толкали его на путь ничем не оправданной ранней профессионализации, приводящей нередко к творческой опустошенности».

Между тем какое это счастье для художника — на годы, а то и на всю творческую жизнь сохранить как основу это чувство своей малой родины! Литературная критика, изучающая творчество Фолкнера, не перестает поражаться тому обстоятельству, что все богатство «Шума и ярости», все замечательные творения художника, эти могучие образы, эти сложные системы человеческих отношений, оказывается, выросли из реальности одного-единственного «географического района» — фолкнеровской Йокнапатофы, где автор, кажется, знает любой изгиб мостовой, любой очаг, каждого жителя поименно... Думаешь с завистью: вот как повезло в искусстве людям этой самой Йокнапатофы!

Впрочем, разве не тем же счастливым везением отмечена и Вешенская округа на Дону, где происходят все героико-драматические события и «Донских рассказов», и «Тихого Дона», и «Поднятой целины»? А значение малой родины для творчества, скажем, Василия Шукшина или Виктора Астафьева... А в ваших книгах, Георгий Мокеевич, и Васюганье и Уллулье — разве они не оборачиваются узнаваемо одним и тем же краем, для всех героев — единой отчей землей?

И вот мысль, пришедшая опять-таки во время поездки в Шушенское. Вблизи исторического села на Енисее сейчас в полном разгаре величественная стройка Саяно-Шушенской ГЭС. Это не просто еще одно сооружение, а некая сенсация века: самая могучая гидростанция из всех, какие есть на планете. 245 метров плоти-

на 12 агрегатов, каждый (1) из которых равен по мощности Днепрогэсу. Почти 6,5 миллиона киловатт — когда гидростанция войдет в строй целиком...

Но и это только полдела — постройка ГЭС. Рядом с ней в довольно локально очерченной округе уже сегодня вырастает невиданно могучий промышленный комплекс, для которого, собственно, в основном и будет служить энергия Саяно-Шушенской, — заводы, целые комплексы взаимосвязанных предприятий таких различных и таких необходимых для современной нашей жизни профилей: вагоностроение, стальное литье, производство алюминия, переработка цветных металлов, электротехника, добыча мрамора, легкая и пищевая промышленность... Миллион рабочих будет трудиться на предприятиях этого комплекса, что раскинется вокруг Саяно-Шушенской ГЭС!.. Пытаешься вообразить себе: какое невероятное творческое счастье получил бы в руки тот художник, для которого та к а я округа стала бы на всю жизнь его художественной Йокнапатофой, Вешенской, Улуюлем... Прямо хоть крикни со страниц журнала им, только вступающим на творческую стезю, только выбирающим: оглянитесь на Саяно-Шушенскую, пока там все в самом начале, бурлит, как магма, устраивается, собирается на большую жизнь! Спешите, не провороните своей великой возможности!.. Вот где и характеры, и судьбы, и конфликты самой современной пробы — это ведь действительно передний край нашей жизни, нашего социализма! И приди сюда настоящий художник...

Но тут же и некоторое сомнение берет: а может, мы очень уж механически переносим вчерашнее на сегодняшнее? Одно дело малая родина, вплотнившаяся в маленькой деревеньке, в тихом счастливом житье подростка, а тут — миллиарды киловатт, миллион земляков... А что, если грандиозное и сложное современное развитие уже перешагнуло через ту грань, когда утрачивается самое значение для художника малой родины, ибо перу или кисти одного уже не под силу охватить все то громадное, перед чем теряются даже до зубов вооруженные статистика и кибернетика? Может, в век НТР все знакомые понятия в искусстве получают некий новый смысл и незачем смущать молодые умы призывами, из которых реально книгам не вырасти?..

Но так или иначе, а мне лично очень жаль, если творимая сегодня Саяно-Шушенская земля не останется в литературе как чье-то родное, сердцем выстраданное Улуюлье, не дождется своего Фолкнера, своего Шолохова или Астафьева...

— Как раз на этот вопрос я и хотел бы ответить своим новым романом, о котором гово-

рил, сказать о том, что выношено всей душой и в чем я убежден безмерно: как бы ни возрастала громада новых задач и проблем, молодым все равно придется и под них подставлять плечи. Даже самое невероятное, со вчерашней точки зрения невообразимое все равно брать на себя. Малая родина может быть действительно малой — полустанком, где рос писатель, деревенькой, аулом — а может быть местом гигантской новостройки, КамАЗом или Саяно-Шушенской, многомиллионной современной Москвой...

Укрупняется мир, жизнь на земле, укрупняются проблемы — и ответственность, идейно-художественная «грузоподъемность» молодого писателя должна возрастать синхронно, он обязан брать на себя то, чего и представить не мог его сверстник и собрат по писательству еще несколько десятилетий назад.

О роли гнезда, этой малой родины, для творчества писателя, особенно молодого, я уже говорил и сейчас не устаю говорить: здесь не просто место добычи жизненного материала, тем и коллизий, малая родина не просто определяет индивидуальность и творческие особенности писателя — здесь, у истока, на отчей земле, познает художник подлинное беспокойство совести, здесь в нем пробуждается страсть к созидательной деятельности, сознание своего высокого долга перед народом. Сердечная близость к родным местам и родным людям открывает ему пути к глубинам народной жизни. В этом главный нерв всей проблемы малой родины и никак не в том, чтобы с ее помощью как-то обособиться в огромном и сложном мире, вроде бы со стороны наблюдать происходящее, неспешно коллекционируя местнические словечки и своеобычные нравы. Потому и повгоряешь молодым: нельзя быть рабом своего гнездовья, из него надо видеть мир широко, до самых дальних горизонтов, в прогрессивном развитии, во всечеловеческих масштабах. Надо с этой платформы всесторонне развивать свое социально-историческое сознание, свою гражданственную, а следовательно, и творческую смелость.

— В этой связи мне вспомнилось, Георгий Мокеевич, то место из вашего доклада на Шестом всесоюзном съезде писателей пять лет назад, где вы, обращаясь к молодым литераторам, привели в пример юного Шолохова: как в грозные годы гражданской войны на Дону, среди огня и нужды, вдали от издательств и живого творческого общения он, двадцатилетний паренек, вынашивал в себе идею великого «Тихого Дона». Вы говорили: «Представьте на минуту: оробел бы молодой художник перед громадностью своего замысла, перед сложностью конфликтов и коллизий времени. Не по себе становится от одной

мысли, что бы мы потеряли, какого сокровища не получил бы наш народ. Смелость и дерзновение — это мускулы таланта, и, как живое, движущееся, они сотканы из плоти, нервов и крови».

— Да, творческий подвиг Михаила Александровича Шолохова (иначе его жизнь в литературе и не назовешь) всегда будет самым ярким примером для новых и новых поколений молодых писателей. Для всякого, кто встал на пороге храма искусства, кто только намеревается перешагнуть порог, должна быть непренной мысль: смогу ли я создать свой «Тихий Дон»? Если не чувствуешь для этого сил, нет сердечного накала, боишься огромности задачи, тогда лучше и не перешагивай. Писать вещи средненькие, тривиальные — для этого не нужно особого притока новых сил в литературу, можно сказать, на такое и сейчас перьев достаточно. Ничего нет позорней для молодой жизни, как намеренно множить ряд посредственностей, эпигонов, «маленьких литераторов».

Словом, как ни толкуй тему молодежи — в жизненно-социальном или в творческом плане, — а основная мысль все та же: не только художник, но каждый молодой — каждый! — обязан свершить в жизни то великое, доступное единственно ему, ради чего он и явился на эту землю.

Не забыть, как об этом говорил человечнейший из писателей — Константин Александрович Федин, эти его слова я недавно приводил в воспоминаниях «Сююва о Константине Федине», с удовольствием повторю еще раз. Он говорил: «Взыскательность не устрасит талант, зато посредственность остановит. И самое главное — пусть знают молодые товарищи, что играть с литературой нельзя, писательство — трудный путь в жизни... Писательство требует убежденности, упорства, работы собственной головы, не чужой, собственной! (Тут Константин Александрович, посмеиваясь, чуть озорничал.) И того места, на котором сидишь, тоже у дяди не займешь... Сидения требует писательство!»

V

— Георгий Мокеевич, в вашей книжке «Моя военная пора» (с подзаголовком «Повесть о минувшем») есть страницы, которые со всей очевидностью являют доподлинный дневник давних военных лет. И принадлежит этот дневник не какому-то собирателю марку лирическому герою, а конкретно Г. М. Маркову, военному журналисту, сотруднику газеты Забайкальского фронта, участнику героического Маньчжурского похода... В те времена молодой газетчик еще только вынашивал в своем сознании, в черновых записях и наметках общих

контур заключительных глав своего первого романа — «Строговы». Как говорится, все у него было еще впереди. Среди прочих дневниковых записей под датой 16 апреля 1943 года можно было прочесть такие строки: «Ночь. Редакция. В промежутках между чтением полос пытаюсь размышлять. Пройдет еще три дня, и мне исполнится тридцать два года. Прожито уже много, а сделано еще так мало. Укоры совести охватывают меня.

Многое не сделал не потому, что не сумел, не смог, не захотел, а больше потому, что жизнь устремилась в ином направлении.

Счастье жить в дни великих событий, но трудно это и для исполнения личных планов, жестоко трудно... Это раздумье о судьбе и будущем продолжали и другие страницы дневника: «Хочется прожить сто лет! Временами берусь подсчитывать: в 1951 — мне будет 40, в 61-м — 50, в 71-м — 60, в 81-м — 70...». Сегодня можно сказать: что ж, Георгий Мокеевич, вот он и 1981-й... Ваше семидесятилетие. Еще раз позвольте повторить наши сердечные новомирские пожелания здоровья и новых книг...

— Спасибо на добром слове.

— Записи в давнем дневнике со всей очевидностью доносят ту писательскую муку, с какой давалась каждая страница первого романа. И невольно хочется спросить: ну а вот теперь, когда за плечами столько книг, пьес, киносценариев, когда в руках такой многолетний опыт, — теперь писать легче? Впрочем, ответ предчувствуешь заранее: не легче...

— Тут предчувствие вас явно не обмануло. Если не сказать: еще труднее стало.

— Тому первому своему роману вы специально предпослали «Слово к моим читателям», где, между прочим, были такие строки: «...каждому советскому писателю понятно то чувство, с каким читатель берет книгу. Что он ждет от книги? Он хочет, чтобы книга взволновала душу, обогатила его, показала ему великое многообразие людских типов, открыла новые пласты жизни, помогала ему жить и трудиться. И вот когда мысленно представив себе эти большие и серьезные ожидания читателя, понимаешь, какую огромную ответственность принял ты на свои плечи как писатель». И в авторском предисловии к «Отцу и сыну» говорилось: «Книги подобны эху — как крикнется, так и аукнется. Каждому писателю хочется знать, удалось ли ему крикнуть так, чтобы отозвалось читательское эхо».

Уже хотя бы по одному этому сопоставлению цитат разных лет можно судить, как постоянно в вашей писательской судьбе, Георгий Мокеевич, это тревожное предчувствие читателя. Мысль о читательских ожиданиях и требованиях...

— Я часто думаю про себя: один лишь ты до конца знаешь, что это за штука — читательское воздействие на твои замыслы, жизненные представления. Общение с читателем не всегда одна радость, тут могут быть и драматические повороты и своя трагедия.

— Георгий Мокеевич, мне кажется, что и необязательно заглядывать в сокровенный мир, в тайны писательской переписки с читателем, — насчет того, что вы сказали, можно составить представление и по иным, косвенным приметам. Вот хотя бы это несколько своеобразное движение в р е м е н и в ваших произведениях. Казалось бы, если художник изображает исторический период, то идет, как положено, от эпох к эпохе, от десятилетия к десятилетию — в том порядке, в каком их расставила сама история. Но у вас это движение необычно — после того как вышел роман «Соль земли» о людях первых пяталетов, о социалистическом преображении сибирских просторов, только потом появился роман «Отец и сын» о самой заре советской власти, первых коммунарах. А уж вслед за ними «Сибирь» с ее дореволюционными событиями. Или еще: появилась повесть «Земля Ивана Егсрыча» (1974) — о нынешних днях, в которых так остро отзывалась боль давно прошедшей войны, а вслед за этим повесть «Завещание» (1975), где уже сами эти годы — военные, идущие вслед послевоенные... Такие возвраты, ретроспекции, создают весьма причудливый рисунок писательской стратегии. И, наверно, задают немало хлопот критикам, старающимся вывести последовательную прямую творчества писателя. Нет сомнения, что в этом случае свою решающую роль сыграл читательский подпор — ведь всегда по выходе книжки возникает масса замечаний, подсказок, даже требований, не так ли?

— Причины такого непоследовательного, как кажется на первый взгляд, движения писательского интереса к тем или иным моментам исторической действительности могут быть самыми разными. От многого зависит почему, бывает, ломаются творческие планы, почему одно требует к себе внимания немедленно, а другое отодвигается на года. Однако повторю: роль читательского воздействия на творческую судьбу автора исключительно велика. Это такой подпор, такое давление извне, которое ощущаешь неизменно — и с благодарностью и с тревогой. Каждое письмо распечатываешь не без опаски: что-то оно на этот раз таит?

— Как можно судить по событиям последних лет, этот самый подпор для вас, Георгий Мокеевич, приобрел не просто количественный, но принципиально новый качественный характер: наряду с читателем книг поя-

вился телезритель (тот самый, которого недаром упоминают с неизменным определением «многомиллионный»). Ведь почти все ваши основные произведения, Георгий Мокеевич, за минувшие годы получили вторую жизнь на экранах телевидения, в многосерийных фильмах. Это экранизация «Строговых» и «Соли земли», кинодилогия «Отец и сын», повесть «Завещание» (в кино она получила название «Вторая весна»). Промелькнуло сообщение, что экранизируются «Тростинка на ветру» и повесть о войне против японского милитаризма — «Орлы над Хинганом». В Малом с широким общественным резонансом идет «Вызов» — пьеса, написанная совместно с Эдуардом Шимом. Даже по редакционной почте одного журнала, «Нового мира», можно судить, какими порой разноречивыми могут быть зрительские отзывы: один требует от экранизации то, что другой начисто отрицает, этот не угадывает в актерских работах полюбившиеся книжные образы, а этот, напротив, только впервые для себя открыл автора Георгия Маркова, поскольку телевидение любит, а книги никогда не читает... В этом свете весьма интересно впечатление самого автора: а он-то узнает своих героев в экранном воплощении? И шире взять: как, по вашему мнению, Георгий Мокеевич, сохраняют ли фильмы и театральные инсценировки тот пафос, то самое главное, во имя чего задумывались и так трудно писались романы?

— Действительно, после появления телефильмов моя авторская почта увеличилась, прямо сказать, в размерах невероятных. Горы писем на столе. От них даже оторопь берет: «Как вы могли позволить так изуродовать книгу! Почему не защитили от них своих героев!» Знаю, что ничего подобного не произошло, но все равно невольно думается: мать родная, что же это я такое наделал!..

Как положено, письма бесконечно разные, а все вместе — убедительнейшее свидетельство, что телезритель у нас действительно многомиллионный. И это первое, что ощущаешь со всей остротой, о чем думаешь постоянно, вступив в этот совершенно новый, для твоей писательской психологии неведомый мир киноискусства, помноженного на массовость телепрограмм.

Как говорится, видит бог — я долго и упорно сопротивлялся самой идее экранизации своих книг. Есть такие прозаики, чьи книги «генетически» обладают качествами, родственными кинодраматургии. Мои же вещи — только проза и ничто другое. Когда они писались, не возникало даже отдаленной мысли о возможности какого-либо переложения их на язык другого искусства.

Долго шли переговоры. И если я сдался в

конце концов перед доводами кинодеятелей, замечательных мастеров своего дела и умелых агитаторов за свое искусство, так только по причине, которой сам же поначалу несканзано страшился: подумал о тысячах, миллионах изб, квартир в многоэтажных зданиях, молодежных общежитий, кишлаков, аулов, где люди каждый вечер включают телевизоры. Велик для всякого пишущего этот соблазн — обратиться к такой вот аудитории со своим словом, мыслями и наблюдениями, всем тем, что выношено целой жизнью.

Так мои герои заиграли в облике актеров, среди которых немало и тех, перед кем я благоговейно преклоняюсь в качестве рядового кинозрителя. Мои слова и фразы, которые я бормотал в ночи, шагая из угла в угол комнаты, теперь стали звучать в самых бесконечно далеких уголках страны, в тех самых избах и саклях...

Вы спрашиваете: похоже ли происходящее в рамке телевизора на то, что я задумывал, старался воплотить в слове и образе, портрете, особой речевой характеристике персонажа? Отвечу: не всегда. В этом надо честно признаться. Но я говорю себе: на то она и специфика киноискусства, на то истина, которая звучит проще простого: книга — это книга, а фильм — это фильм.

Я всегда был на стороне тех теоретиков искусства, которые считают, что книгу невозможно адекватно перевести на экран, эту задачу даже и ставить не следует. Другое дело — художник кино создает свою версию книги. Рождается другое, новое произведение, которое средствами другого искусства стремится воплотить идею и пафос, что некогда зажгли тебя как прозаика.

Наверно, потому среди романистов, которых сегодня экранизируют, я, как говорят, едва ли не самый покладистый, когда касается частностей. Но знаю, что вместе со своими корреспондентами возмущусь, если пойму, что авторы экранизации или инсценировки не поняли (или презрели) мой жанр, а вместе с ним и мои тревоги, надежды — то главное, что хотелось сказать людям своей книгой. Однако до такого дело ни разу не доходило.

Со страниц «Нового мира» я сейчас имею возможность еще и еще раз поблагодарить моих многочисленных читателей и зрителей за внимательную и нелицеприятную оценку работ, сделанных мной, моими соавторами и товарищами по кино и театру. Всем им — и самым благорасположенным из зрителей и самым сердитым — хочу сказать одно: сейчас я ни на миг не жалею, что некогда отважился постучаться со своим словом в избу и саклю, к нему, многомиллионному... Не просто отдельно взятая книга — сама моя творческая судьба

получила от этого как бы свое новое, второе дыхание.

VI

— Этот последний вопрос, если так можно сказать, резервный.

Сегодня вся страна живет в преддверии большого исторического события — XXVI съезда Коммунистической партии Советского Союза. Запомнилось сказанное вами, Георгий Мокеевич, на одном из последних пленумов Правления СП СССР: подготовка к партийному съезду стала насущной заботой всех наших писательских организаций в республиках и областях большой страны, всех журналов, издательств и творческих объединений.

Когда текст этой нашей беседы будет уже в наборе, станут известны итоги и подробности, конкретные материалы XXVI партийного съезда. Очень хотелось бы последнюю страницу нынешнего нашего диалога дописать уже тогда — дать, как говорят журналисты, досылком, чтобы по свежему следу вы могли сказать хотя бы несколько слов о самых непосредственных своих впечатлениях, касающихся работы съезда, о ваших мыслях в связи с этим замечательным событием в жизни народа, в судьбе целого человечества.

— До встречи в конце февраля...

— Москва в феврале восемьдесят первого... Город в знаменах, в праздничном кумаче. Город у тассовских фотовитрин, у киосков со свежими газетами, у репродукторов, экранов телевизоров... Идет прямой репортаж с заседаний Двадцать шестого съезда партии. Навсегда сохранится в душе ощущение приподнятости, ни с чем не сравнимая атмосфера, в которой жила эти дни столица, вся наша большая страна: февраль восемьдесят первого... Бывает час, когда ты буквально один в своих поступках и мыслях с миллионами других, — так было в то утро, когда все мы слушали доклад на съезде Леонида Ильича Брежнева: то, о чем он говорил, касалось дел, семьи, будущего, самой судьбы любого и каждого.

Чудо телевидения сделало тебя словно непосредственным участником съезда — я знакомых, которые не пропустили ни единого заседания в течение всех этих дней. В перерывах между заседаниями телекамера водила нас по бесконечным анфиладам залов и лестничных маршей Дворца съездов, знакомила с делегатами и гостями форума. Многих угадываешь в лицо раньше, чем называет диктор, ибо все это люди всепланетно знаменитые — космонавты, первоцелинники, руководители международного коммунистического движения, прославленные ученые и полководцы... И среди них — наши, писатели, избранные делегатами съезда в самых разных концах страны:

Чингиз Айтматов, Михаил Алексеев, Сергей Михалков, Максим Танк, Александр Чаковский... Мой давний друг из Якутии Софрон Данилов... Представители нашего литературно-критического цеха — Феликс Кузнецов, Борис Панкин... Если я верно представил себе, среди делегатов исторического Двадцать шестого съезда КПСС насчитывается сорок шесть советских писателей!

Ваше, Георгий Мокеевич, выступление с трибуны съезда было воспринято литературной общественностью как выражение общей писательской воли, всего того, что накопилось в личном опыте каждого из нас и искало выхода в точном и весомом слове. Потому и вызвало самый живой отклик многое в вашей речи. И мысль о том, что слившиеся в единый могучий поток разноязыкие национальные литературы страны явили собой ярчайший пример социалистического интернационализма, — невиданный в истории мировой культуры феномен; что сегодня умонастроение людей целой планеты зависит от гуманистической силы, от чистоты нравственных целей и правдивости нашего искусства; что художественное мышление советских писателей в наши дни исключительно плодотворно обогащается политической мыслью партии, поднимает литератора к современному уровню партийного понимания задач коммунистического строительства. Весьма справедливо было сказано о месте и роли художественной и детской книги в издательском потоке — о ней должна быть наша забота прежде всего! Волнующе прозвучали слова о достоинстве творчества: необходимо создавать «истинно народные произведения о советском человеке», необходимо целеустремленно «поднимать идейно-художественное достоинство всех видов творчества»...

— То, что мне представилась возможность сказать с высокой трибуны партийного съезда о наших литературных делах, писательских устремлениях, это и почетно и вместе с тем налагает исключительную ответственность. Мне и в самом деле пришлось говорить как бы от лица каждого из многотысячного писательского содружества. А ведь этот каждый, как мы знаем, — неповторимая индивидуальность, со своими мировидением, понятиями и планами, своей дорогой в искусстве... Как говорится, писателя, художника все в мире касается. Все, что присуще живой жизни. Нет буквально ни единого раздела или даже отдельного абзаца в Отчетном докладе товарища Брежнева, в выступлениях делегатов и гостей съезда, которые не затрагивали бы твоего сознания, так или иначе не трогали тебя — как гражданина, как литератора, призванного быть ле-

тописцем действительности, как, наконец, автора, на рабочем столе которого лежит начатая новая рукопись, рассказывающая о всей многосложности современной жизни... И тем не менее сердце по-особому вздрагивает, когда с трибуны съезда в том или ином выступлении вдруг звучат мотивы, касающиеся непосредственно нашей литературы, искусства, людей и фактов социалистической культуры.

Вот передо мной брошюра, розданная делегатам партийного съезда. В ней текст «Основных направлений экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года», текст, где особо выделены новые положения, дополнения и поправки, появившиеся в результате всенародного обсуждения и предложений, прозвучавших с трибуны съезда. Со вниманием прислушалась партия к каждому дельному предложению, к голосу народа, принявшего грандиозный план как свое родное дело. Думаю, что все наши писатели с чувством большого удовлетворения прочтут в разделе «Социальное развитие и повышение народного благосостояния» то место, которое касается любого из нас непосредственно и звучит в последней редакции так: «Развивать издательское дело. Полнее удовлетворять потребности в печатной продукции, особенно в изданиях детской и художественной литературы, повышать качество полиграфического исполнения их».

Не без гордости отметил я про себя тот факт, что в историческом докладе товарища Леонида Ильича Брежнева, этом выдающемся документе марксизма-ленинизма, так крупно и обстоятельно выглядит тема советской литературы и искусства. Здесь что ни положение, то поле для больших раздумий, далеко идущих идейно-творческих выводов. Взять хотя бы мысль о том, что лучшие из наших книг потому и дороги читателю, что он в них находит «созвучие собственным мыслям и переживаниям», что они его волнуют, вызывают споры, заставляют глубоко задуматься о настоящем и будущем.

А вот слова, которые не раз будут повторены в нашей повседневной творческой жизни, — они звучат поистине призывно: «Партия приветствует свойственные лучшим произведениям гражданский пафос, непримиримость к недостаткам, активное вмешательство искусства в решение проблем, которыми живет наше общество. Помните, как писал Маяковский: «Я хочу, чтоб в дебатах потел Госплан, мне давая задания на год». И нас радует, что в последние годы в литературе, кино и театре поднимались такие серьезные проблемы, над которыми действительно не мешало бы «потеть» Госплану. Да и не только ему».

Все обратили внимание на то, как Леонид Ильич особо подчеркнул значение моральной темы, темы личности и «ее места на нашей беспокойной планете», необходимость для писателя глубоко проникать в «сложный внутренний мир личности».

А как остро прозвучала критика в адрес книг серых и убогих, мелочных! С каким гневом были заклеены писания тех, кто грешит бездействием, мировоззренческой неразборчивостью, кто порочит нашу советскую действительность. «Здесь мы должны быть непримиримы», — сказал товарищ Брежнев.

Мне представляется, что нашей литературно-художественной критике сегодня в первую голову следует как можно конкретнее определить свою роль в деле повышения политической зрелости, творческой и общественной активности наших литераторов. Нельзя оставлять без внимания ни единого появившегося в печати сочинения, страдающего внеклассовым взглядом на историю, абстрактным толкованием добра и зла. Необходимо давать самый сокрушительный отпор всем и любым вылазкам наших идейных противников, ставящих целью поколебать морально-политическое единство советской художественной интеллигенции, противопоставить ее своему народу, оторвать от родной партии.

Скажу о самом главном и всеобъемлющем впечатлении, родившемся у меня в зале Двадцать шестого съезда КПСС. Как никогда высоко ценит партия усилия и успехи советских литераторов. Прозвучали далеко слышные

слова о том, что многообразие и богатство сегодняшней духовной жизни нашего общества немало обязаны усилиям литературы и искусства. Сказано о том, что ныне «в советском искусстве поднимается новая приливная волна».

И вместе с тем устами Леонида Ильича Брежнева выражены весьма определенные, очень серьезные требования партии ко всем литераторам, художникам социалистического реализма. Требования, обращенные к их гражданственности и политической мысли, к их эстетическому чувству, вкусу и ощущению подлинной красоты. Это речь о «великой ответственности художника перед своим народом». В четких и глубоких положениях Отчетного доклада эта высокая мысль сформулирована так: «Жить интересами народа, делить с ним радость и горе, утверждать правду жизни, наши гуманистические идеалы, быть активным участником коммунистического строительства — это и есть подлинная народность, подлинная партийность искусства».

Мы должны понять: говорилось на съезде не просто о новых книгах, новых произведениях искусства — партия призывала нас, как сказано в Отчетном докладе, к подлинно художественным открытиям в литературе и искусстве! И это не может не волновать до глубины души, не заражать твою мысль благородной тревогой. Волнует, тревожит — и окрыляет в то же время. Слово партии зовет писателей к новым дерзаниям, новым творческим усилиям ради нашей общей коммунистической цели, ради счастья человеческого.

М. ЭПШТЕЙН, Е. ЮКИНА



МИР И ЧЕЛОВЕК

*К вопросу о художественных возможностях
современной литературы*

Если в литературоведении существуют свои антиномии — пары несводимых друг к другу понятий, — то литература и мифология относятся к их числу. Проще всего было бы сказать: в сфере образного мышления все, что есть литература, не есть мифология, и наоборот. Можно долго перечислять самые характерные приметы литературного творчества: наличие индивидуального автора, осознанная условность образов по отношению к действительности, письменная фиксация, оригинальность как положительный эстетический критерий — и все это со знаком отрицания окажется точным определением мифотворчества: коллективизм, вера в безусловную истинность образов, упор на неизменном, повторяемом и т. д.

Далее мы рассмотрим один из самых глубоких парадоксов культуры XX века: соединение того, что по сути своей считалось несоединимым, формирование нового типа художественного образа, сплавливающего черты литературы и мифа. Этот процесс не ограничивается национальными рамками, он в равной степени характерен и для развитых, богатых традициями литератур Европы и Северной Америки, и для молодых, интенсивно развивающихся литератур Азии, Африки, Латинской Америки. Соединение двух полюсов образности происходит здесь по-разному: в одном случае литература с высот своего развития обращается к архаическим, давно пройденным стадиям мифотворчества; в другом случае, напротив, миф, рационализируясь и осмысляясь с позиций современной культуры, перерабатывается в литературное произведение. Но в той или иной форме соединение архаики и модерна, простоты мифологических схем с утонченностью эстетической рефлексии

является характернейшей приметой художественных исканий XX века. И советская литература, особенно в последнее десятилетие, активно включается в этот процесс. Будучи многонациональной по своему составу, она обнаруживает самые разные типы сочетания мифа и литературы: и условно-эстетические, характерные для европейских и американской литератур, и стихийно-органические, свойственные литературам развивающихся стран.

Пожалуй, впервые о литературном мифотворчестве наша критика заговорила в связи с появлением в 1970 году повести Ч. Айтматова «Белый пароход»; десятилетие спустя эта тема становится одной из ведущих в критических дискуссиях, поскольку и сама литература в лице таких ее талантливых представителей, как Г. Матвеев, О. Чиладзе, Ю. Марцинкявичюс, Т. Пулатов, А. Ким, Т. Зульфикаров и другие, дает для этого основание. Мифологическое направление у нас часто обвиняют в литературщине, в отрыве от действительности, в культе отвлеченной мудрости и безжизненной красоты.

Применительно к некоторым произведениям (о них дальше пойдет речь) этот упрек справедлив, и знаменательно, что в одном из своих не столь давних выступлений Л. Аннинский с раздражением говорит о «современном надсадном мифологизме», передавая этим выразительным эпитетом ощущение какой-то взвинченности, искусственной экзальтации, посредством которой писатель-«мифолог» пытается возвеличить и увековечить все, на что падает его взор: «Сухая точность зрения — своеобразный вызов той пышной, поэтичной, развесистой, насквозь метафоризированной, насквозь, так сказать, «духовной», насквозь

условной прозе, сочащейся безудержными эмоциями и мучающейся «неразрешимыми» всеобщими проблемами, той самой прозе, которую называют сейчас «мифологической»...»

Решительный поборник беллетристики, насыщенного фабульного повествования, Л. Аннинский прав, насмешливо перечисляя сложившиеся в нашем сознании черты мифологического штампа, который, впрочем, существует в текущей литературе наряду с прочими — производственными, бытописательными, беллетристическими — штампами и, пожалуй, не является пока еще самым распространенным. Более того, именно в мифологической словесности штамп скорее всего выдает себя: ведь он не замаскирован внешним жизнеподобием, он откровенно притязателен, лжив и вторичен, потому и разоблачить его не составляет особого труда.

Что же касается мифа как такового, то следует вспомнить, что по исконной своей сути он не только чужд какой-либо литературщины, но и гораздо теснее, чем литература, связан с действительностью, ибо предполагает нерасчлененную народную веру в то, что образ и есть прямая и достоверная истина, а не плод играющего воображения. «Пышный», «развесистый», «насквозь условный», «сочащийся безудержными эмоциями» — все эти приметы современного лирико-патетического, риторического стиля скорее характерны для эпитонов романтизма, чем для мифотворчества в собственном смысле слова или для его крупнейших представителей в литературе XX века, которые склоняются именно к сухой, бесстрастной, объективной манере повествования. Тяга современной литературы к мифу, возможно, тем и объясняется, что литература устала от литературщины, от лирического произвола и эмоционального надрыва, от тех вымышленных, «идеальных» образов, которыми писатель услаждает фантазию читателя.

Мифологическое направление породило уже достаточно художественных ценностей, чтобы стать предметом теоретических размышлений как одно из проявлений стилового богатства и многообразия современной советской литературы. Именно близость к действительности, раскрытие ее глубинных, основополагающих закономерностей придают этому направлению силу и эстетическую значимость. Цель нашей статьи — указать на реальное, жизненное содержание мифологических форм в современной советской прозе, их плодотворность в освоении сложных ситуаций человеческого бытия, их

соотношение с реалистической и гуманистической традициями классической литературы.

1

Старик знал, что все уходящее приходит куда-то. Вот в солнечный день люди идут толпами из города и собираются на берегу моря, а уходят с моря — возвращаются обратно в город.. Так и время — проходящее мимо и отлетающее прочь секунда за секундой, оно ведь тоже должно накапливаться где-то!

А. Ким, «Собиратели трав».

В последнее время героями нашей литературы все чаще становятся дети и старики. У Ч. Айтматова, например, в повестях 50—60-х годов («Джамбля», «Первый учитель») действовали люди молодого и среднего возраста, находящиеся в пике трудовой и общественной активности, а последние вещи («Белый пароход», «Пегий пес, бегущий краем моря») сосредоточены вокруг переживаний ребенка и раздумий старых людей.

Эта возрастная метаморфоза показательна. Мы привыкли к тому, что героем литературы является молодой человек — герой жизни, ссылаемся на литературу XIX века с ее Онегиным, Раскольниковым, Безуховым, Базаровым, на классические примеры Гамлета, Дон Жуана, Кандида... Но бывало и так, что в определенные эпохи литература меняла свою устремленность и обращалась к опыту людей, находящихся как бы на грани жизни — начальной или конечной. Так, в средневековой житийной литературе главное место принадлежит образу старца. Да и в XIX веке самые глубокие писатели подвергали проверке боевое мироощущение молодых и предприимчивых героев опытом малых да старых, близких к истоку и устью жизни, откуда яснее воспринимаются ее вечные ценности. У Достоевского, к примеру, трагические искания Ставрогина и братьев Карамазовых поверяются мудростью отца Тихона и старца Зосимы.

Видимо, теперь, в наши годы, настала пора выступить достойно и таким лицам, которые еще недавно оттеснялись на периферию повествования, играли хотя и важную, но все-таки подсобную роль. Так, все события, которые происходят в повести Ч. Айтматова «Белый пароход», даны через мировосприятие маленького мальчика, для него жизнь строится по законам доброй сказки и имеет тот же требовательно-поучительный смысл. Его духовная сила вы-

ступает единственной антитезой жестокой инициативности Орозула; в ранней же повести «Верблюжий глаз» столь же безнравственному Абакиру противостоит — гораздо более прямо, в упор — молодой и социально активный Кемель.

Если Ч. Айтматовым темы младенчества и старчества были обретенны в ходе творческой эволюции, сложившимся художником, то Т. Пулатов, вошедший в литературу на рубеже 60—70-х годов, начал прямо с этих тем в повестях «Второе путешествие Каипа», «Окликни меня в лесу», «Хор мальчиков». Даже неточно сказать, что дети и старики здесь фигурируют как темы, как герои — скорее это особые способы видения, которым доверено определять ход и смысл повествования. Каип свершил в своей жизни два путешествия: одно — с родного острова, прочь от старых законов и поверий, сковывающих его молодой дух, другое — уже стариком, почувствовавшим близость смерти, — обратно на остров, где умирала его предки и где по-прежнему живет возлюбленная его юности.

Миф — это накопление всего, что течет и утрачивается в нашей подвижной жизни; туда, в миф, приходит все то, что уходит из истории, что не может удержать человек, старея.

«Старик знал, что все уходящее приходит куда-то» — эта фраза из повести А. Кима «Собиратели трав» точнейшим образом выражает надежду человека на то, что, как ни велики утраты его жизни, есть какое-то хранилище, потустороннее «бюро находок» для всех здешних утрат, есть у подвижного времени некий вечный прообраз, соединяющий все, что разлучается годами и днями. Возлюбленные не стареют, мысли не обесцениваются, рукописи не горят. Надежду на это вечное в жизни дает миф.

Старики и дети оказываются не просто темой литературы — они определяют самый тип литературного творчества, которое приближается к мифическому. В детстве и старости нет такой резкой разницы и противостояния внешней действительности и собственного «я», как для зрелого, действующего человека, который, познавая мир как чуждый, хочет освоить его, переделать в согласии с собой. Старик и дитя более растворены в жизни всем своим душевным составом: один еще не выделился из нее, другой уже готовится быть поглощенным ею. Для ребенка мир невыводим за пределы фантазии, для старика почти весь введен в пределы памяти, и эти субъективные состояния вбирают в себя всю данную извне реальность, не отделяя ее в резком

свете заинтересованной и целеустремленной активности. Но ведь именно такова предпосылка мифотворчества у древних народов: неотделение фантазии от реальности, простой знак тождества между ними. Когда субъективное, выражаясь терминами Шеллинга, пребывает в абсолютном тождестве с объективным, тогда-то и рождается мифология.

Мифологическое мышление присуще не только детям и старикам, находящимся на возрастных границах жизни. Имя героя «Собирателей трав» так и остается неизвестным: в повествовании он фигурирует как незнакомец, пришелец. Он пришел на дальний мыс острова Сахалин, чтобы умереть: как врач он предрек себе скорую смерть от неизлечимой болезни. И вот он покидает свой город, дом, жену, работу — все, что рассчитано на долгую жизнь. Незнакомец раньше тоже был, как все, многое в своей жизни откладывал на будущее и едва успевал провозжать месяцы и годы. И только поняв неминуемость кончины, он бросает весь этот опустошенный бесконечным ожиданием быт и уезжает в такую глушь, где есть лишь природа и живущие в ней люди. Болезнь помогает ему понять то же, что старому корейцу До Хок-ро — его старости: что мир хорош и ценен сам по себе, потому что он есть, а не поскольку мы чего-то хотим от него. «Глядя на то, как ворона машет крыльями, мы должны бы плакать от счастья».

Сама по себе возможность видеть и осязать упругую вещьность мира — это уже большое счастье для того, кто впервые пришел в него, или для того, кто готовится его покинуть. Болезнь изображается Кимом не как аномалия, а как намек на утраченную норму жизни. Восприятие незнакомца, задающее ход и смысл повествованию, никак нельзя назвать ущербным — оно полно такой нежности и внимания, что оживают и обретают вечный смысл все те мимолетные подробности, к которым принято относиться пренебрежительно.

Вода и небо, трава и рыбы, волосы и кожа людей — все это в повести не средство для характеристики кого-то или чего-то, а как в мифе — самозначимая реальность, созданная для того, чтобы существовать. «Нет никакого особенного места на земле, — говорит незнакомец, вспоминая людей, стремящихся в столицу. — Вернее, таким местом, где сосредоточено все самое главное, может оказаться любой кусочек земли. Бугор, заросший лопухами, или что-нибудь подобное. Это — то самое место, где однажды откроется тебе нечто огромное »

Именно в силу значимости каждого малого места, каждого мига в повести нет сюжета в общепринятом смысле слова — действия, рвущегося вперед, где у персонажей есть стремления, требующие воплощения, и каждая причина вызывает определенное следствие. Миф вообще разрывает причинно-следственную связь, она для него не существенна, как и время. Для мифа существенна сопричастность всего одному целому, вечно пребывающему. Здесь действует логика партиципации — участия, а не детерминации — обусловленности.

Повествовательная техника Кима напоминает традиционный метод китайской живописи — следования за кистью. Чем случайнее мазок, тем он вернее, ибо в нем сказало не наше произвольное намерение, а правда самого предмета, пожелавшего быть увиденным именно так. Для Кима нет явлений, более или менее полно раскрывающих сущность, для него каждое явление само по себе есть сущность, и потому все случайное, явленное — существенно, подлечит художественному запечатлению. То, что в западной литературе показалось бы немотивированной случайностью, здесь поражает как естественность мгновенно угаданной правды.

Очевидно, что многое объединяет Кима с таким известным мастером японской литературы, как Я. Кавабата: читателям, знакомым со «Стеном горы», не покажется нарочитым и неоправданным рассеянное слежение за любимыми подробностями, попадающими в поле восприятия. Главный герой «Стена горы» — пожилой служащий Синго, мало-помалу отходящий от своих служебных забот и все более пристально вглядывающийся в тот мир, который ему вскоре предстоит покинуть, как хозяин перед уходом проверяет оставляемый дом. С умудренностью своего возраста он вникает в сложный семейный быт детей, в крутоворот природы, не ставя никакой преграды своим мыслям, давая им свободно растекаться по увядающему и расцветающему древу жизни. Старость становится для Синго как бы дисциплиной дзэновской медитации, отпущением вещей на волю их самостийного существования. Углубленность здесь не противоречит рассеянию, ибо глубока не изнанка, но именно поверхность вещей. Учителя дзэн считают, что остановка внимания пагубна для духа так же, как паралич для тела; нельзя фиксироваться на одной вещи, на одном персонаже, искусственно вычленять их из всех дересекающихся линий человеческих судеб и взаимоотношений.

Образ старика корейца До Хок-ро у Кима — один из самых запоминающихся. Вся жизнь этого человека протекает как будто в постоянном сновидении: у него не хватает самосознания и отчетливых представлений о внешнем мире, чтобы отделить его от себя. Убогое существование, почти слитое с молчанием и незрячестью камня, — нет никакой сознательной приподнятости над жизнью.

Некогда До Хок-ро копил деньги, складывал их в потайной от всех мешочек, и это было знаком его особого, отдельного от всех существования, но с тех пор как украла у него эти деньги, он безвозвратно слился со всем окружающим, не находя сил и сознания самостоять в нем. «В молодости я умел считать деньги, а потом разучился, потому что много раз на моем веку они менялись и я их терял, оказывается». Реальность утрачивает субстанцию, она произвольно меняется и не может восприниматься всерьез: старый До Хок-ро махнул на нее рукой, отчаявшись совладать с переменами жизни и отдавшись ее течению.

Все, что ни делает До Хок-ро, кажется ему безусловным проявлением самой действительности, — своеобразие мифического восприятия в том и состоит, что все субъективное, свое воспринимается как объективное, чужое: «Миф позволяет внутреннему происходить внешне» (С. Кьеркегор). Для До Хок-ро приобретает краску и подвижность все то, что замечается нами лишь в минуту особого успокоения и безмятежности. Пусть это убогое существование, но оно дает почувствовать полноту мира. Вот почему незнакомец, пришедший на остров умирать, но неожиданно для себя обретший новые силы жизни, говорит: «Я успокоился рядом с тобою, старик... Вы ближе других к печали праха и глины, и вы больше, чем другие, знаете цену жизни».

У Кима несомненный дар изображать духовность людей, погруженных в тяжкий труд существования. Чем-то эти люди напоминают персонажей Платонова, чей мир предельно оголен, сведен к самым насущным нуждам плоти, труда, любви, человечности. Платонов изображал вхождение в общественный процесс тех масс бедноты, уделом которых всегда было молчаливое исполнение вековечных законов человеческой нужды. Люди у Платонова живут как бы впервые на свете, не имея никакого предварительного опыта и накопленного имущества для правильного устройства, оттого в них так все коряво, все дано в состоянии попытки и усилия — первое рождение из немоты, из небытия.

У Кима вроде бы даны те же изначальные условия наивно-бессознательного бытия героев, но отличие его мира от платоновского состоит в том, что этот мир богат, можно даже сказать — чрезвычайно роскошен, изобилует красками, движениями, звуками, перехлестывающими через границы реально-трезвого восприятия. «До Хокро смотрел в костер и видел в его огненных струях какие-то красные, расцветающие и тут же опадающие цветы, всадника, вдруг переломившегося пополам вместе с конем, огнебородого мудреца, читающего книгу». Вряд ли Платонов позволил бы своему бедному герою такое буйное цветение фантазии. Суть в том, что у Кима персонаж не борется с бытием — он принимает все сущее, как оно есть, и открывает в нем богатство. У Платонова сильнее социально-исторический, а у Кима — мифологический компонент художественного мышления, и потому Платонов изображает первые усилия выбраться из бессловесного бытия, а Ким — вечною силу, заключенную именно в этом возобновляющемся, немеркнущем бытии. По оценкам времени такая жизнь убога, по оценкам вечности — богата.

Есть мнение, что миф отнимает у действительности ее многообразие и сводит все к отвлеченной идее, схеме. Думать так значит смешивать миф с романтической или утопической установкой, возникшей в литературе на довольно поздних этапах ее развития в связи с отделением субъективного идеала от объективной реальности. Но этому разделению, ведущему к критике действительности и апологии воображения, как раз чужд миф, суть которого состоит в их взаимопроникновении. Миф ничего не критикует, не подменяет настоящее будущим, сущее — должным, как требует романтико-утопическое направление. Миф не отрицает одно, чтобы утверждать другое, — он пытается понять единство всего сущего и в этом согласуется с подлинным реализмом, в сферу которого на равных правах входят понятия, настроения, предметы, поступки. Единственное, что миф подвергает сомнению, это однозначность утилитарно-эмпирического подхода к вещам, который иногда выдается за реализм. Можно ведь и так сказать: если изображается ружье, оно вовсе не обязательно должно выстрелить, — повествование может уйти вслед за взглядом или мыслью персонажа, снимающего со стены ружье, и уже больше не возвращаться к этому предмету.

У Кима нет последовательного рассказа об одном событии или судьбе, но постоль-

но имеется в виду множество пересекающихся судеб и событий, разнообразие и совместность которых составляют суть бытия. Раз или несколько раз герои встретились между собой, обменялись словом или взглядом — и этого уже достаточно, чтобы пойти по следу каждого из них. Повествование Кима может сбить с толку читателя, нацеленного на логику и последовательность сюжета, — тут нет одной дороги, по которой можно было бы идти, никуда не сворачивая; тут с одного места тропинки разбредаются в разные стороны, где-то пересекаясь, а где-то так и теряясь, зарастая травой или уходя в неизвестность, как в живом лесу.

Еще более резко подобная манера письма выражена у итальянского писателя Фердинандо Камона в его романах «Пятое сословие» и «Жизнь вечная». Тут даже утрирована внешняя бессвязность повествования, которое ведется от лица юноши — рядового представителя пятого, крестьянского сословия, обитающего в глухих деревенских уголках, на отшибе от мировой истории и цивилизации. Если у Кима авторский рассказ приемлет и поддерживает собой мифологическое восприятие мира у персонажа, то здесь само отсутствие авторского слова выражает некоторую экзотичность изображаемого мира, предоставленного самому себе и ищущего собственные сбивчивые слова.

В романах почти нет точек и совсем нет абзацев, фразы сливаются одна с другой, смысл тонет в смысле, образ наступает на образ, стираются все различия, создающие впечатление последовательности. Так, повествование о деревенской сплетнице, пришедшей в дом соседей, чтобы сообщить очередную новость, вдруг перебивается долгим отступлением о способах предсказания заморозков всего лишь потому, что взгляд героя останавливается в момент разговора на далеких огнях в поле, оберегающих растения от мороза. Не важно, что говорится, и не важно, кто говорит. Голос рассказчика без всякого перебива включает в себя мнения, слухи и сплетни односельчан — собственно, это не его личный голос, а глас целой деревни, ее всеобъемлющий, нескончаемый монолог. Тут действует только одна передача сведений — от поколения к поколению, от стариков, которые в старости знают примерно столько же, сколько дети, к детям, которые в детстве знают уже почти столько же, сколько старики. «В истории моей деревни главное — что она существует вне времени». Легенды об Аттиле здесь почти такая же новость, как приход немцев в деревню, — и образы

гнунов и фашистов сливаются: единство мифической ситуации преодолевает разницу исторических времен.

2

Возрождение мифа в литературе XX века, прошедшей перед тем долгий, многовековой путь обособления от всяких синкретических обрядовых форм творчества, не было неожиданностью. Шеллинг предсказал, что будущее искусства связано с возвратом к мифологическому мышлению, к синтезу поэзии с наукой, фантазии с логикой. Этим он охарактеризовал существенный процесс в современной культуре — попытку обогатить односторонне развившиеся формы эмоционального вымысла и рационального познания их взаимным сближением. В культуре всегда живет стремление обращаться к ранним своим фазам — в развитии восстанавливать свое древнее прошлое. Так, в русской литературе оживает эпос: в творчестве Толстого он становится актуальнейшим выражением нового исторического содержания — вхождения народных масс в процесс общественного развития. И в дальнейшем эпическое начало становится едва ли не преобладающим во всей русской советской литературе XX века — в произведениях М. Горького, М. Шолохова, В. Маяковского, А. Твардовского... В западной же литературе — в творчестве Джойса и Кафки, Т. Манна и Т. Элиота — оживает миф.

Почему же русская литература, обратившись к истокам народного творчества, выбрала и усвоила себе эпос, а не миф и какова между ними разница? Строго терминологически говорить о различии мифа и эпоса некорректно, ибо именно эпос как род (или эпопея как жанр) литературы искони, со времен Гомера, был вместилищем мифов как традиционных архетипов, сюжетных схем народного сознания. И, однако, очевидно, что к «Войне и миру» Толстого приложимо понятие национальной эпопеи, хотя там нет ничего мифического, и, напротив, «Улисс» Джойса несет в себе явные черты мифологизма при полном отсутствии характерных признаков народной эпопеи. Оба эти произведения всем своим художественным складом восходят к гомеровским поэмам «Илиада» и «Одиссея», но принадлежат как бы двум разным традициям, порознь вычлененным из одного наследия.

Эпопея предполагает экстенсивный охват национальной жизни, взгляд художника как бы разбегается вширь, захватывая быт раз-

ных социальных, этнических и профессиональных общностей, соединяя картины природы со сценами важнейших исторических событий. Миф, напротив, тяготеет к интенсивному обобщению: в отдельной вещи или поступке обнаруживаются некие постоянные ситуации человеческого и природного бытия; и чем короче, случайней происшествие обыденной жизни, тем напряженнее его значение и глубже тайна в ином, мифическом плане действительности, где рассчитаны все судьбы и предустановлены все законы. В мифе нет национально-исторической субстанции, там пространство и время существуют в архетипический образ чего-то внепространственного и вневременного. Показательно, что действие «Улисса» занимает в реальном, историческом времени всего один день, хотя мифологический подтекст этого дня вмещает скитания, встречи, разлуки всей человеческой жизни, да еще такой насыщенной, как Одиссея. Эпопею нужно широкое пространство, долгое время, ее герой обычно массов, коллективен, собирателен, и отдельные персонажи, подобно каплям, вливаются в разлившееся море всенародной жизни. Именно русская жизнь с ее неразложившимся общинным складом, обильными просторами и великими перемещениями народов порождала и продолжает рождать эпический тип художественного сознания. В мифе герой почти всегда выглядит одиноким, вычлененным из горизонтальных связей с обществом и историей, ибо он находится в напряженнейших вертикальных связях с архетипическим прообразом, задающим ему тип поведения.

Достаточно сравнить Пьера Безухова у Толстого и Стивена Дедалуса у Джойса — персонажей ищущих, сомневающих, тревожно блуждающих среди жизненной суеты в поисках своего неясного предназначения. У Пьера все основные духовные ориентиры, среди которых ему приходится выбирать, заданы современными ему обстоятельствами истории, культуры, общественной и семейной жизни. Нашествие французов, Бородинская битва, народный подъем — все это для него твердые и единственные реальности, не скрывающие за собой никакого второго смысла; и как бы ни был Пьер одинок в иные моменты своей биографии, но в художественной структуре самого романа-эпопеи он существует в плотно населенном мире и пребывает в единой плоскости со всеми другими людьми. Для Стивена же реальный смысл его исканий обретается по ту сторону всех преходящих контактов с современниками — в той мифо-

логической прасхеме, где он является Телемахом, сыном Улисса; поэтому в окружающей среде он кажется одиноким, погруженным в себя, вернее, в инобытие мифа, извлекающего его из текучего, непрочного земного бытия.

Таким образом, целостность древних мифо-эпических представлений о мире, проявлявшаяся двояко: в единстве героя с окружающей его национально-исторической средой и в его единстве с повторяющимися, сверхисторическими ситуациями,— эта целостность в новых литературах расчлняется на эпическую и мифологическую: в русской литературе преобладает тяга к эпической цельности, в западных — к мифологической. Так складывалось положение дел в мировой литературе второй половины XIX — первой половине XX века; особенность же последних десятилетий, ознаменованных быстрым литературным развитием недавно еще фольклорных регионов, состоит в том, что появляются тенденции к слиянию эпоса и мифа в синтетическом (уже не синкретическом) жанре мифологической эпопеи.

Наиболее значительным произведением этого жанра до сих пор остается, по-видимому, «Сто лет одиночества» Г. Маркеса, повествующее о роде Буэндиа и о селении Макондо, в образах которых представлены судьбы целого латиноамериканского континента. Родовое начало безусловно довлеет над каждым из Буэндиа, и маркесовский эпос питается этой слитностью и нерасчлененностью рода, представляющего собирательным героем всего повествования. Но знаменательно слово «одиночество», стоящее в заглавии и выражающее здесь такой дух эпопеи, какой обычно ей не свойствен. Одинокими члены рода Буэндиа, которым духовно трудно вместить себя в кровную общность, предлагаемую им родом,— они рвутся наружу, в большой мир, но роковым образом возвращаются обратно: власть рода уже не настолько сильна, чтобы подчинить себе личность всецело, но еще не настолько слаба, чтобы личность могла легко обособиться и уютно чувствовать себя вне рода. Одиночество личности здесь бесысходно вдвойне: и когда она пребывает в роде, томясь тяжестью своего кровного наследия и устремляясь в широкий мир, и вне рода, когда она чувствует шаткость и беспочвенность своего автономного положения и возвращается обратно, в теплоту кровного родства.

Но главное одиночество, изображаемое Маркесом,— это одиночество рода в целом. Кажется невероятным, чтобы эпопея, самим

жанром своим утверждающая коллективное начало, в то же время показывала недостаточность рода для самого себя, его беспокойствие на обжитом месте, которому даже не угрожают враги. Тоска по вселенской жизни и щемящее чувство отъединенности от человечества — этого просто не могло быть в прежних эпопеях, имеющих дело с замкнутым народным самосознанием, для которого все чужое выступало прежде всего как враждебное. Теснота наций, спорящих за место в мире,— вот что было предметом прежних эпопей, начиная от Гомера. Теперь же, когда мир стал неизмеримо более тесен, по какому-то странному парадоксу появилась обратная национальная мифологема одиночества. Современная национальная эпопея творится в условиях расширившегося общечеловеческого и вселенского сознания, поэтому волей-неволей в нее привходит мотив заброшенности, местнической малости — мотив, которого не избежать и всему человечеству в пору осознания себя окраиной во вселенной.

В романе Маркеса множество действующих лиц, но, несмотря на это, они несколько не общаются друг с другом, ибо разделены непреодолимой преградой одиночества. Они видят в другом только призрак, созданный их воображением, и поэтому с настоящими призраками им куда легче общаться, чем с живыми людьми. Отгороженный в своем сумасшествии от близких, Буэндиа-отец находит общий язык только со своим давним умершим врагом Пруденсио Агиляром. Да и вообще весь город Макондо чрезвычайно призрачен, населен отражениями живых людей. Существование человека одинокого в принципе ничем не отличается от сновидческого или посмертного существования души, вместилищем в себя весь мир и замкнувшейся на самой себе. Недаром чувство одиночества — главное в стране мертвых, его гнет не выдерживают Мелькиадес и Пруденсио Агиляр, который возлюбил злейшего врага своего. Таким образом, границы между миром живых и миром мертвых стираются одиночеством — и Макондо предстает перед нами своеобразным некрополисом. Недаром там долго не было кладбища и люди жили до глубокой старости, а первым похороненным был мертвец (Мелькиадес), умерший уже который раз внутри самой смерти.

К художественному миру Маркеса более всего подходят слова Достоевского о фантастической действительности. У колумбийского писателя, как и у русского, пер-

сонажи живут во власти причудливых идей, доходящих до маниакальной силы, с той существенной разницей, что у Достоевского главное содержание этих идей — нравственно-религиозное («я» и бог, попытка утвердить человекобожество), а у Маркеса — язычески-природническое (попытка овладеть силами природы, чудесно их расковать путем научного изобретения). Герои у Маркеса живут в расчете на чудо, в усилии его совершить; чудачество — самое общее их определение, выражающее одиночество и потусторонность ума по отношению к реальной действительности. Наконец, пройдя через множество социальных и психологических вариаций, миф об одиночестве находит завершение в мотиве инцеста: ведь кровосмесительная связь последних Буэндиа — Аурелиано и Амаранты — свидетельствует как раз о безысходной замкнутости рода на самом себе. После этого остается только осуществиться мифическим предсказаниям об исчезновении Макондо. Отрыв от действительности, разрыв с природой приводят к тому, что налетевшая буря срыывает город с лица земли.

Таким образом, мифологический стиль «Ста лет одиночества» обусловлен самим содержанием романа: жизненная ситуация одиночества — вездесущего, многоликого — погружает человека в самого себя, заставляя воспринимать свой внутренний мир как единственно реальный. Миф же — это и есть фантазия, отождествленная с действительностью, или, по словам Кьеркегора, «внутреннее, происходящее внешне».

Почему мифологический стиль порождается двумя прямо противоположными жизненными ситуациями — полным одиночества, отрешенности, как, например, в «Улиссе» Джойса, притчах Кафки, «Ста годах одиночества» Маркеса, или полной сплоченности людей, как в национальных эпохах «Махабхарате», «Илиаде» и прочих? В обоих случаях нет различия и противопоставления внутреннего состояния человека и внешних ему обстоятельств действительности. Одиночество, замыкая человека в себе, делает невозможной проверку его душевных движений внешними, объективными данными; напротив, сплоченный коллектив нации и рода извне определяет состояние каждого индивида, тут нет ничего внутреннего, отличного от законов и настроений среды. Литература же возникает как раз в точке расщепления этого тождества, когда индивид определяется как частное и самостоятельное лицо и вступает в конфликт с окружающим миром, который диктует ему свои объективные законы.

Признаки зрелой, далеко отошедшей от мифа литературы — психологизм и историзм; первый означает углубленность писателя во внутренний мир личности, второй — проникновение в дух времени, понимание условий общественного бытия. Психологизм и историзм предполагают друг друга, ибо исходят из различия внутреннего и внешнего, мира эмоций и мира фактов. Когда же личность безраздельно принадлежит только внешнему — всеобъемлющему единству рода, народа, или только внутреннему — своему душевному миру, когда она только разомкнута вовне или замкнута в себе, тогда-то и складываются предпосылки мифического сознания — коллективистического, как в национальных эпопеях, или индивидуалистического, как в современных притчах. Одиночество — столь же продуктивная жизненная ситуация для современного мифа, как общенациональная коллизия (чаще всего война) продуктивна для мифов древности. Старые мифы, получая интерпретацию в произведениях новейшей литературы, приобретают именно этот акцент: в «Мухах» Сартра Орест, выполняя долг мести за убийство отца, чувствует не столько согласие свое с требованиями рода, сколько одинокую ответственность перед своей совестью; Прометей в «Загадке Прометея» Мештерхази не гордый титан, похитивший огонь во имя людей и чувствующий свою солидарность с ними перед лицом карающего Зевса, но одиночка, который своим благородным поступком отрешил себя не только от мира богов, но и от мира почитающих их людей.

Мифологема одиночества чрезвычайно популярна в современной литературе. В романах Кобо Абэ она проявляется в многообразных вещественных символах: то это дом, построенный на дне песчаной ямы в глухой деревне, то непроницаемая маска, покрывающая искаленное лицо, то ящик, который постоянно носит на себе герой, создав подвижный вариант комнаты-конуры. У Макса Фриша в романе «Назову себя Гантейбайн» подобную же роль магического заслона играет мнимая слепота героя, его черные очки и желтая повязка, благодаря которым он оказывается непроницаемым одиночкой в проницаемом для него обществе.

Но японский и швейцарский писатели создают мифы об индивидуальном одиночестве, что, видимо, соответствует более атомизированному состоянию общества в их высокоразвитых странах. Собственно маркесовская тема — одиночество коллективное — лучше прослеживается у писате-

лей тех стран, где более живы традиции патриархальной старины (например, у Ф. Камона в его романах о жизни итальянской деревни). Однако здесь смена двух типов мифологической ситуации может происходить в обратном направлении — от одиночества к единству.

3

В повести Ч. Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» мы сталкиваемся с проблемой родовой жизни, решенной в форме притчи. Суть процесса, изображенного киргизским писателем, состоит в консолидации рода: тут ситуация выбора, в которой каждый оказывается наедине с собой, не разобщает, а сплачивает рыбаков — сплачивает в общей гибели, которую каждый из них принимает во имя спасения всего рода, продолженного в мальчике. Герои Айтматова одиноки в непроглядном морском тумане, но это братующее одиночество, которое заставляет крепче ощутить связующую всех кровь и ответственность. Повесть Айтматова — как бы краткий, но кульминационный момент в национальном эпосе нивхов, раскрывающий благодатную силу самоотверженности всех во имя одного, каждого во имя единого. Бросаясь в море, старейшина чувствует себя возвращенным в объятия Рыбы-женщины, священной прародительницы племени, и его добровольная смерть становится как бы актом зачатия новой жизни — второго, уже духовного рождения мальчика.

В произведениях Айтматова миф обычно фигурирует в своем фольклорном значении — как родовое предание, задающее тот нравственный образец, которому должна подчиняться личность. Современная жизнь с ее буднями и суетой подчас растрчивает это достояние предков, но само детство подхватывает, вернее, порождает из себя то миропредставление, которое уходит вместе с дедами. Старость у Айтматова непосредственно соприкасается с детством, содержание мифа, поддержанное авторитетом старины, переходит в детскую сказку. Такова тема повести «Белый пароход».

Отличие мифа от сказки в том, что в мифе речь идет всегда о высших силах и зависимости человека от них, а в сказке потусторонние силы служат или мешают человеку, оттягивая его удаль и храбрость, делая более значимым его торжество. Вот почему у Айтматова то, что для деда является мифом, для мальчика — сказка. Одно и то же предание о матери-оленихе выполняет две разные функции в сознании деда и внука. Для Момуна история оленихи — тотемиче-

ский миф, указывающий его место в природе; для мальчика это сказка, которая служит его взрослению как личности, пробуждает в нем доброту и любовь ко всему живому. И еще есть одно различие: в сказку не верят, относятся к ней как к выдумке — в миф верят свято.

У Айтматова же вся повесть построена на обратном их соответствии. Дед Момун в свой миф не верит, относится к нему как к сказке и этим совершает предательство по отношению к религии своего племени (убийство маралихи). Он отрицает веру предков и потому сам лишается потомков: его сын пропал неизвестно где, а единственный внук гибнет в реке. Мальчик же, испуская грех деда, верит в сказку, как в миф, абсолютно и убийство маралихи воспринимает как убийство собственной матери, надругательство над ней и потому, резко порывая с ее убийцами, уходит к единственному защитнику, который у него остался (уходит от дедовской сказки в свою собственную), к отцу — Белому пароходу, превращаясь в рыбу. Детство оказывается более действенной силой в сохранении нравственной истины, чем слабая и надорванная опытом старость. Так что время у Айтматова как бы обращается вспять, миф не разрушается, а обновляет силы в сознании ребенка, что еще раз подтверждает правду мифа, способную молодеть.

Вообще не случайно, что мифологические тенденции у нас всего яснее обнаруживаются в национальных литературах Востока, где традиционно почитаются старость и детство как два возраста, наиболее приближенные к вековой мудрости, прилегающие к границам рождения и смерти, где личность выходит из рода и уходит в род. Киргиз Ч. Айтматов, казах О. Сулейменов, кореец А. Ким, узбек Т. Пулатов, армянин Г. Матевосян, грузин О. Чиладзе и другие писатели советского Востока (независимо от того, пишут ли они на родном или на русском языке) — весьма активные приверженцы мифологического стиля в литературе.

Если Айтматова более всего интересует фольклорный миф и его соотношение с современностью, то Т. Пулатова — претворение самой действительности в литературный миф. В его повестях «Сторожевые башни», «Владения» нет ничего собственно фольклорного, никакого наследия общенародной памяти, но есть интенсивная кристаллизация в миф повседневного опыта, осмысление его в притче и поучении.

Одной своей стороной миф отворачивается от жизни, уходит в уединенную область

мечты и заброшенности, надменности и власти... Но другой своей стороной миф обращается к той таинственной сути жизни, которая объединяет разные времена и пространства, позволяет встретиться и узнать друг друга существам, жестко разделенным обыденным порядком вещей. Блистательное подтверждение тому — творчество Х. Кортасара, представляющего в латиноамериканской литературе антипод Г. Маркесу. Если для Маркеса важнейшее всего общественно-родовые связи людей — современников, сородичей, соотечественников — и весь фантастико-ирреальный элемент его произведений призван подчеркнуть нелепость и опустошенность действительной жизни его персонажей, то для Кортасара ирреальное наполнено положительным содержанием и приближает к той подлинной реальности, которая обычно заслоняется ложносоциальным, односторонне прагматическим опытом. Маркес изображает род, тоскующий от одиночества, отъединенный от человечества, Кортасар — одиночку, сумевшего сродниться с тем, что за пределами не только его личности, но и человечеству в целом.

Таков, например, рассказ «Аксолотль», герой которого, подолгу наблюдающий жизнь этих загадочных личинок в аквариуме, вдруг перешагивает тесные рамки своего «слишком человеческого» существования и превращается в аксолотля, наблюдающего за странным, бледным лицом пришедшего к аквариуму человека.

С удивительной, пугающей точностью Кортасар умеет передать совмещение двух чуждых реальностей, одна из которых по отношению к другой воспринимается как фантастика. Кортасар многим обязан Кафке, в частности строгой логикой и реализмом в описании сновидческих явлений, но современного писателя отличает то, что он редко позволяет себе откровенную фантазмагорию, предпочитая оставаться в рамках достоверности, при этом наполняя ее изнутри многими взаимоисключающими, но одинаково допустимыми возможностями.

Рассказ «Ночью на спине, лицом вверх» открывается вполне реалистической сценой уличной катастрофы, после которой раненый мотоциклист доставляется в больницу и погружается в легкий бред. Он снится себе древним индейским воином, участником священной войны племен; схваченный врагами, он обречен на кровавое жертвоприношение, и в миг перед кончиной вдруг понимает, что сном был тот удивительный город, в котором он мчался на огромном жужжащем металлическом насе-

комом и потерпел катастрофу. Смысл рассказа, построенного на взаимообращении реальностей, каждая из которых может служить точкой отсчета для другой, пришедшейся, заставляет вспомнить притчу знаменитого древнекитайского философа Чжуан-цзы, одного из основоположников диалектики: «Однажды Чжуан Чжоу приснилось, что он бабочка, счастливая бабочка, которая радуется, что достигла исполнения желаний, и которая не знает, что она Чжуан Чжоу. Внезапно он проснулся и тогда с испугом [увидел, что он] Чжуан Чжоу. Неизвестно, Чжуан Чжоу снилось, что он бабочка, или же бабочке снилось, что она Чжуан Чжоу. [А ведь между] Чжуан Чжоу и бабочкой, несомненно, существует различие. Это называется превращением вещей».

В изображении Кортасара реальность претерпевает постоянные метаморфозы, в ней уравниваются разные времена, пространства, как, например, в «Другом небе», где местом действия являются одновременно Париж и Буэнос-Айрес, а временем — конец XIX и середина XX века. Такие призрачные вещи, как память и воображение, оказываются прозрениями в действительность более подлинную, чем мельтешащий перед глазами сиюминутный мир. От собственно поэтических метафор кортасаровские мифологемы отличаются только развернутостью реалистических обоснований и мотивировок, но сходство, вскрываемое им между удаленными, отчужденными пластами действительности, возводит их к тому же корню, где «все во всем» и откуда произрастает поэзия.

В рассказе «Остров в полдень» парадоксальное отношение бытия и сознания (бабочка существует в сознании Чжуан Чжоу, но и сам Чжуан Чжоу существует в сознании бабочки) обнаруживается со всей наглядностью. Для стюарда Марини остров, мимо которого пролетает ровно в полдень его самолет, постепенно становится главным интересом жизни. В конце концов герой бросает свою летную службу, приезжает на Ксирос — и тут окружавшая его ранее действительность оказывается включенной в миф, порожденный его сознанием: Марини смотрит на часы, чтобы увидеть самолет, как раньше он смотрел в это же время из иллюминатора, чтобы увидеть белую кайму острова, — и в этот момент самолет терпит крушение и падает в море.

Тайна этого происшествия остается неразгаданной, но у него есть своя мифология. Остров превращается для Марини из мечты в явь, но то же самое происходит

и с самолетом: попав в область притяжения его мысли, самолет тонет невдалеке от берега, ибо сама мысль обладает реальностью. С точки зрения мифа падение самолета столь же малоудивительно, как и переселение Марини на остров: в обоих случаях мысленное представление подчиняет себе действительность. Разница только в том, что сначала субъект мысли притягивается к ее объекту (Марини к острову), а потом — объект к субъекту (самолет к Марини). Но эти субъективно-объективные отношения в мифе обратимы, как и причинно-следственные, временные...

В произведениях Кортасара ощутимо присутствие тайны, что опять-таки отличает его от Маркеса. Чудес у Маркеса больше, а тайн меньше, и это понятно: ведь таинственно только то, что лежит в пределах достоверного. Полет Ремедиос в простынях — чудо, легко объяснимое мифологическим сознанием персонажей Маркеса и художественными задачами автора. Падение самолета — тайна, остающаяся необъясненной: ведь это происшествие вполне вероятно само по себе, так же как и переселение Марини на остров, но связь этих событий не поддается реалистической трактовке, взывая к смутным догадкам и предчувствиям, ибо тайна всегда возникает на грани реального и фантастического, в неуловимости их взаимоперехода.

Подобного рода двойственные мифологические ситуации встречаются и в современной советской литературе, но главное здесь не прорыв в другую реальность, а оценка здешней реальности: мир чистых сущностей, абсолютных ценностей, воплощаемых с большей или меньшей степенью условности, служит проверкой и укоризной людям, непоколебимо уверенным в правоте своего эмпирического существования. И наоборот, жизнь, малая в эмпирическом плане, оказывается великой в сфере идей, и это ее укрупнение достигается под увеличительным стеклом мифа...

Интересно разработана поэтика современного мифа в рассказе молодого писателя А. Курчаткина «Сверчки» (из его книги «Переход в середине сезона»). Здесь рассказывается о молодом художнике, в квартире которого заводятся эти безобидные насекомые, вызывающие страх и отвращение у его семьи. Вообще насекомые — достаточно традиционный образ зла и нравственного распада: тут можно вспомнить и Достоевского (сон Ипполита о скорпионе в «Идиоте», свдригайловская «банька с пауками» в «Преступлении и наказании»), и Кафку («Превраще-

ние»), и Сартра («Мухи»). Насекомое — мельчайшая живая тварь, обладающая собственной волей и притязанием, но наиболее удаленная от человека и представляющаяся ему загадочной, внеразумной и вневременной, как стихия. Способность к быстрому размножению превращает его в символ незаметной опасности, которая может постепенно разрастись до непредотвратимого бедствия. Так и художник не заметил, когда сверчки превратились в хозяев его квартиры: уже не свиряющий звук, но плотная масса их стала ощущаться в доме.

Физически сверчков можно истребить — гораздо страшнее, что они занимают все большее место в его душе и творчестве. Художник изображает на полотне свою комнату, глобус, земной шар, покрытые коричневыми сверчками. Его мастерская сторает, и на месте пожара он находит только обгоревший кусок своего полотна: крепко вцепившись в глобус лапками, там сидит нарисованный сверчок. Так отрицательно, взаимоуничтожительно наложившись друг на друга, искусство и действительность оставили по себе минус, нецелое творение и неживую тварь. При всей очевидной замкнутости сюжетной конструкции рассказ многозначен: между реальностью картины, увековечившей сверчка, и реальностью внешнего мира, где истреблены сверчки и сгорели картины, происходит сложное взаимодействие. Может быть, главное здесь — неподобающее отношение искусства к жизни: душевная уязвимость и житейское всеприятие художника приводят его к капитуляции перед злом.

«Сверчки» кажутся неожиданностью на фоне замедленной, заземленной, добротной реалистической прозы А. Курчаткина. Но, повторяем, подлинный миф не чужд реалистическому воспроизведению жизни, он даже особенно расположен ко всякой обыденности: ведь все то, что бесконечно часто повторяется и составляет суть будничности как таковой, именно и несет в себе вечное. Мифологизм доводит до конца склонность реализма к воспроизведению типических ситуаций, усиливая их типичность до глобальной всеобщности. Путь к мифу от быта по-своему закономерен в сегодняшней прозе, которая ощутила, видимо, тягу к более глубоким обобщениям. Слишком резкий рывок в эту сторону может привести к романтической экзальтации, к «надсадному мифологизму», чего справедливо опасается Л. Аннинский.

Но миф и экзальтация — вещи не тож-

дественные, а скорее противоположные. Миф предполагает не отречение от быта, но обнаружение в нем бытия, вечных законов, определяющих ход человеческой повседневности. Человек в мифологической прозе предстает многомерным, мир вокруг него, не теряя внешней узнаваемости, приобретает дополнительную глубину. М. М. Бахтин писал о классическом литературном жанре — романе, что в нем «человек или больше своей судьбы, или меньше своей человечности». Миф, проникая в литературу, ставит судьбу человека вровень с его человечностью, открывает мир, где все исторически невоплотимое в человеке становится воплощено, где тайная суть человека обретает зримость судьбы. Миф служит реализму и гуманизму в том смысле, что он помогает человеку реализовать себя. В целом мифологическая тенденция в современной советской литературе служит углублению ее гуманистического пафоса и традиционного реализма, прочнее укореняет ее в мировом литературном процессе наших дней.

Поэтика мифа, вошедшая в арсенал художественных средств современной советской литературы, позволяет решить немало творческих задач, являясь вместе с тем наглядным подтверждением широты эстетических горизонтов нашего искусства.

4

В современной советской прозе перекрещивается много стилевых направлений, благодаря чему складывается ее художественная объемность. Литературоведы выделяют среди этих направлений такие общепризнанные, устойчивые, представленные крупнейшими писателями, как романтическое, лирическое, публицистическое, сказовое и др. Но время прибавляет к этому списку все новые категории и имена. Среди стилевых направлений, утвердившихся в последнее десятилетие, безусловно можно назвать и мифологическое. Оно вошло составной частью в открытую художественную систему отечественной литературы и, обогатив ее, само обогатилось влиянием других стилевых начал. Так, в самом мифологическом направлении можно выделить писателей, тяготеющих больше к лирике (А. Ким) или к эпосу (Ч. Айтматов), к быту (А. Курчаткин) или к метафоре (Т. Зулфикаров). Следует отметить мифологические образы тем убедительнее и художественно полноценнее, чем более они внедрены в толщу реалистически воспроизводимой действительности.

Примером органического вырастания мифа на почве реализма может служить по-

ведь В. Распутина «Прощание с Матёрой». Образ маленького зверька диковинной, несуществующей породы — хозяина острова, обреченного на затопление, внешне никак не мотивирован, возникает ниоткуда. Писатель выдерживает требование, предъявляемое мифом: зверек изображается существующим на самом деле, он не выводится из восприятия героев, не снабжается авторской оговоркой. Но отсутствие внешней прикрепленности к реалистическому повествованию делает особенно ощутимой связь внутреннюю: остров уходит в небытие, и в этой кризисной, пограничной ситуации дух острова, в разной степени присущий всем его обитателям, обретает зримое, воплощенное существование в своем хозяине. Миф рождается в недрах реальности, на грани ее исчезновения, как проявление ее духовной, неумирающей сущности. Именно та пристальность, обстоятельность, постепенность, с какой Распутин исследует плотную ткань реальной жизни, дает ему право и силу влести в эту ткань мифологический мотив, не боясь прорыва, разреживания.

Ошибочно полагать, что обращение к мифу само по себе обеспечивает художественные или интеллектуальные преимущества — напротив, оно часто грозит утратой стилевой естественности и однородности. Нужно выработать содержание, достойное вместиться в столь обязывающую и обобщающую форму, — иначе получится эклектическое соединение мифа и бытописательства. Ведь нелепо, к примеру, вводить в повествование семимильные сапоги-скороходы, чтобы герой мог в них сходить к табачному киоску. Такого рода несоразмерность проявляется в романе Норайра Адаляна «Мирные казармы», где, в частности, описано многозначительное театральное действо на тему Сизифа, обманувшего смерть. Эта абстрактная композиция с условными фигурами, выступающими под именами X, Y, N, требуется автору лишь для того, чтобы придать своему герою, размышляющему в антракте, качества интеллектуала, значительно и умудренно проводящего свой досуг. Миф употреблен здесь примерно так же, как иногда высокопарные слова привлекаются в речь для красоты: не важно значение слова, прельщает лишь престижно-помпезный ореол вокруг него.

В обращении с мифом рядом с помпезностью можно встретить и фамильярность. Это видно в интересной повести молодого литовского прозаика Саулюса Шальяниса «Дуокишки». Если Н. Адалян пытается как бы возвысить своего героя с помощью мифа,

то С. Шальтянис снижает миф, чтобы герою разоблачить. Доказывая нравственную несостоятельность Григалюнаса, писатель не только выводит его насильником и убийцей, но для чего-то привлекает еще и евангельский сюжет: герой, возомнивший себя мессией, кончает свою жизнь в яслях, тем самым как бы пародируя тот образец, которым всерьез хотел мерить себя. Но пародия, по сути, обращается не против героя, и без того развенчанного автором, а против того «мифа», который привлекается в качестве аналога образу убийцы. Доказательство «от Евангелия» оказывается чрезмерным для сюжета повести и, по сути, не подтверждает, а подавляет доказуемую мысль: автор невольно как бы разделяет точку зрения героя на его мессианское предназначение и, желая опорочить подражателя величием образа, порочит сам образец ничтожеством подражателя. Эту двусторонность взаимодействия мифа и реальности необходимо учитывать писателю, который вводит их в соприкосновение. Так же как миф переосмысляет реальность, так и реальность переосмысляет миф, и этот добавочный эффект, подчас весьма иронически искажающий первоначальный замысел, остается, к сожалению, неучтенным в талантливой повести С. Шальтяниса.

В заключение статьи есть смысл обратиться к творчеству писателя, ставшего невольным виновником и первой «жертвой» известной дискуссии о мифе в «Литературной газете». Речь идет о Тимуре Зульф리카рове, которому Л. Аннинский предъявил упрек в нарочитой мифологизации, призывке декоративных приемов повествования над фабулой и вообще художественной мыслью. Конечно, и в «Первой любви Ходжи Насреддина», и особенно в «Книге откровений Омара Хайяма» — самом зрелом и глубоко из опубликованных произведений Т. Зульф리카рова — резко ослаблена фабульная основа. Но в том-то и дело, что писателя занимает не событие, не разрыв в цепи бытия, а само бытие, в глубину которого он всматривается через мифо-поэтические образы, сочетая их не по закону исторического следования, а по закону символического соответствия.

Вот, например, одна из глав книги, в которой будто бы ничего не происходит, — «Ловец волны». Омар бежит по берегу реки вслед за уходящими волнами: «Я бегу вровень с волной, я слежу за ней: не уходи не уходи моя волна, моя, моя, ты хранишь еще мое тело, ты моя текущая колыбель гахвара люлька зыбка, ты теплая от

тела моего еще еще еще...» Самим построением фраз у Зульф리카рова выражена оставка времени, сосредоточенное усилие души остановить мгновение, закрепить в нем навсегда дорогую вещь или свойство. У Зульф리카рова не только образ возвращен в лоно мифа, но и слово — в лоно магии, речь звучит как страстное заклинание, призванное не огрызнуть что-то в действительности, но заморозить ее, покорить настойчиво повторяющемуся звуку. Русский язык пластически воплощает традиции речевого поведения древнеперсидских дервишей, магов, суфиев, в среде которых выросла героиня Зульф리카рова. «Но! куда ты уходишь блаженная мятная мякоть зеленые волны? хладный дурман воды?..» И дальше образ воды, претерпевая постоянные превращения, увлекает читателя своими тончайшими смысловыми вариациями (вода — слезы, вода — девственность), он преисполнен динамики, внутреннего развития, хотя и вне-сюжетного, бессобытийного.

К сожалению, в нашей литературной жизни довольно часто встречается несоответствие между тем законом, который признает над собой писатель, и тем, по которому его судит критик. Особенно тяжелой при таком столкновении оказывается участь мифологической прозы. Критика до сих пор неуклонно следует концепциям, которые полтора века назад выдвинул Белинский для развенчания романтической, «идеальной» литературы и для утверждения критического, реалистического, «натурального» направления. Но в наше время происходит обратный процесс. Литература, пристально и добросовестно исследовавшая жизненный материал, ищет и требует обобщений, для которых ей нужны и образы соответствующей степени условности. В этой ситуации полезно вспомнить другой период в истории русской литературы, когда ощущалась тоже потребность в обобщениях и символике, — период творчества Блока, Белого, Брюсова, Вяч. Иванова, Хлебникова, сделавших значительный вклад не только в поэтическую практику, но и в эстетическую теорию символа и мифа. Критика, ищущая в наши дни критерии подхода к мифологической прозе, должна творчески учитывать их наследие.

Полагаем, что критические дискуссии дают достаточный материал для суждения не только о мифе в современной литературе, но и о том, насколько готова к переменам в литературе сама критика, насколько она ведет литературу вперед и помогает ей установить прочный контакт с читателем.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

И. Питляр. Труд как основа жизни.—Владимир Бондаренко. «Так дано мне жить...». — Вл. Новиков. Слово и слава.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Владимир Буданин. Вступил в бой комиссаром.— Ю. Халфин. Творческая педагогика.

Литература и искусство

ТРУД КАК ОСНОВА ЖИЗНИ

Василий Афонин. Клюква ягода. Повести и рассказы. М. «Молодая гвардия». 1979. 336 стр.

Василий Афонин. Тетя Феня. Рассказ. «Дружба народов», 1979, № 12.
Юрий Стефанович. Все в этом мире. Рубежи зрелости. «Литературная газета», 1980, № 39.

Об этом писателе мне давно хотелось написать. И начинала уже и останавливалась. Дожидалась новой публикации, продолжала начатое и снова останавливалась. Почему? Видимо, потому, что самое трудное — писать о простом и жизненно правдивом, о том, что как бы равняется тому, о чем писатель пишет. Здесь нужен уже разговор о жизни, а не о писательском мастерстве только...

В качестве эпиграфа к первым произведениям Василия Афонина уместно было бы взять его высказывание из повести «Пойма» (1976): «...Исчезновение деревень — моя теперешняя боль».

«Почему народ уезжает, Пань?» — спрашивал рассказчик в повести «В том краю» (1972) у своего старого школьного товарища, управляющего фермой Пани Сопрыкина. «А кто их знает, разве поймешь? — отвечал ему Паня. — Ищут, где лучше. Неудобств много — вот что»...

Теперь-то «В том краю» можно было бы назвать «Прощанием с Юргой». Впрочем, в ту пору, о которой вел рассказ автор (примерно конец 60-х годов), в Юрге, небольшой западносибирской деревне, стоящей в верховьях таежной речки Шегарки, было еще 46 дворов (а до войны там два колхоза было, да ушли на войну 50 человек, а вернулись — 81).

Ровно через год, в 1973-м, в том же «Нашем современнике» появилась вторая повесть Афонина, тоже совсем небольшая, — «Письма из Юрги». В жизни героев прошло несколько лет: дворов в деревне стало еще меньше. По всему видать, Юрге приходит конец. Старики умирают (как умирает в повести отец рассказчика), а молодым родные места не нужны. В самом деле, зачем, например, Юрга шестнадцатилетнему Севке, который требует от старшего брата вразумительного ответа на вопрос, «что такое — экзистенциализм?». Это он в повести «В том краю» спрашивал, а в «Письмах из Юрги» его уже в деревне и в помине нет.

Потом, в 1976-м, был напечатан рассказ Афонина «Последняя осень». Он как бы завершал маленькую трилогию о деревне Юрга. В последний раз приезжает сюда рассказчик. Опять живет человек в своей избе, бродит по памятным с детства местам, рыбачит, собирает грибы и ягоды — и думает, думает, думает, и все о том же: почему оскудела и сошла на нет их деревня, почему заросли некошенные сенокосы, остались непаханными пашни, невытопанными пастбища, почему осыпается в лесу никем не собираемая ягода, почему, почему, почему?..

Проза Василия Афонина очень проста, точна, почти бессюжетна и этим сродни очерку. Это как раз тот самый случай, когда представляется необходимым постоянно цитировать разбираемый текст, чтобы продемонстрировать, что ли, слово писателя, его фактуру, чтобы показать, как он написал о своей Юрге.

Потому что совсем не трудно сказать, например, так: посмотрите, как поэтично, достоверно и точно рассказано в повести «В том краю» о том, как люди роют у себя во дворе колодец. В сущности, однако, этим решительно ничего не сказано, так как вся поэзия, достоверность и точность повествования именно и заключены в том, как одионый отец рассказчика (таким его сделала война) однажды утром «вычертил костью квадрат междулетней кухней и воротцами на огород», а рассказчик начал копать, и как сначала он смахнул верхний черноземный слой, а «потом пошла земля», в которой ему «то и дело попадались разные штуки: поржавевшая дужка от ведра, пузырьки какие-то, смятая алюминиевая тарелка», а потом пошла глина и так далее — до самой той минуты, когда тяжелый и громоздкий осиновый сруб («...у нас нужней березы не было, не загадывали мы с колодцем») ушел в яму... Но так, пожалуй, и всю повесть пересказать придется.

Чувствуется, что писатель настойчиво ищет свое слово, отдаляется от уже найденного и часто снова возвращается к обретенному первоначально. Видимо, он ищет опору в творчестве близких себе художников, не следуя, однако, с покорностью за ними, а строго блюдя собственное — увиденное, услышанное, передуманное.

Как попытка осмыслить характер своего слова и собственные творческие истоки posebno интересна повесть «Голубой период» (1979) — рассказ о молодости писателя, о многолетнем пребывании в Одессе, где он работал портовым грузчиком. По существу это типичная повесть воспитания — рассказ о становлении художника, о том, как из писавшего не шибко грамотные стихи деревенского книжника выработался, вернее начал выработываться, человек с твердыми литературными взглядами и привязанностями. «Голубой период» — название, конечно, полуироническое (в такой тональности оно прозвучало уже, например, у Слинджера в рассказе «Голубой период де Домье-Смита»).

Еланин (так зовут героя повести) общается в Одессе с множеством людей, с некоторыми из них дружит, другие как бы проходят стороной. Каждый имеет свою краткую историю, и каждая история могла бы быть развернута в отдельную повесть. Но писатель не захотел (может быть, пока не захотел) сделать это.

Видимо, потому, что каждый из заселивших повесть людей интересен и важен автору именно тем вкладом, который он внес в копилку его жизненного опыта или, что еще важнее, во внутреннее вызревание в нем художника.

В этой литературной судьбе героя немалую роль, к примеру, сыграл человек, названный Шамариным. Он мог бы быть признан учителем Еланина. Но это, кажется, не так. Человек культурный, начитанный, большой поклонник западной литературы и живописи, Шамарин действительно познакомил Еланина с шедеврами мировой и русской культуры. Но многое Еланин уже читал сам, многое уже передумал, и поэтому все, что рекомендовал ему прочесть Шамарин, попадало не на душевную целину, а на распаханную уже почву.

Четыре имени — Бабель, Хемингуэй, Бунин и Лермонтов — стали, как мне представляется, главными в его жизни. Что связывает между собой этих столь разных писателей? И что связывает их с афонинским творчеством, столь отличным от творчества каждого из них? Попробую, взяв самое основное, определяющее, назвать следующие общие для этих писателей черты: твердая жизненная основа творчества (автобиографическая или — шире — личная его основа); чрезвычайная трезвость взгляда на жизнь — трезвость и неподвластность каким бы то ни было обольщениям, несущие порой привкус горечи (опять-таки результат собственного нелегкого жизненного опыта); и наконец, крайняя строгость и взыскательность в обращении со словом как таковым.

Не о прямом воздействии крупных художников на их младшего собрата идет здесь речь, а скорее об определенной внутренней ориентации, о сознательном выборе близкой художественной традиции. Так что имя Бунина, например, вспоминается Афониним не случайно и не только в «Голубом периоде». Слово должно быть точным, должно быть равным тому, что оно обозначает. Оно должно быть зримым, осязаемым. И поэтичным, эмоционально заряженным, то есть содержащим в себе одновременно и обозначение предмета или явления и отношение к данному явлению или предмету. Это задача огромной трудности.

Афонин пользуется словесными красками очень экономно. Редко-редко встретишь у него метафорическое выражение («комар кипел» или «настаивался мороз»). Редко встретишь здесь и локальное словечко («тонколыдая» — скажет мать Егорыча о тонконогой, неуверенно стоящей на ногах горожанке). И именно потому, что писатель нечасто позволяет себе прибегать к подобным средствам выразительности, они и смотрятся у него такими неожиданно яркими и впечатляюще убедительными.

Своеобразна интонация Афонина-рассказчика, его эмоциональный настрой, внутреннее отношение к тому, о чем он пишет.

Есть в первой повести такой мимолетный эпизод. Рассказчик (кстати, в «Письмах из Юрги» писатель дал ему свое отчество—Егорыч) вспоминает о том, как прежде вдвоем со своим товарищем Колькой Зюзиным они заживали к одной славной девушке-бухгалтерше. Потом рассказчик как бы вышел из игры, перестал навещать соседку, уехал; когда же через некоторое время вернулся в Юргу, то узнал, что они с Колькой поженились. «Теперь,— продолжает он,— у них двое детей, но, странное дело, когда она идет из конторы мимо, мы, здраваясь, боимся встретиться глазами. А ведь ничего, совсем ничего и не было». Почему же они боятся встретиться глазами, если ничего и не было? Ответа здесь нет. Но мы догадываемся: наверное, рассказчик нравился девушке-бухгалтерше больше, чем рыжий Колька, и, наверное, если бы она теперь подняла глаза, рассказчик прочел бы в них некий укор, упрек: дескать, отступился, отошел в сторону, уехал, а меня оставил здесь... И кажется, будто ощущает он какую-то не вполне осознанную вину перед этой девушкой, с которой у него ничего и не было, но которую, выходит, он все-таки предал, оставил.

Вот эта-то интонация, самовопросающая («странное дело!») и немного виноватая, как мне представляется, преобладает в прозе Афонина и придает ей неподдельно искреннее, пронзительное, нравственно взыскующее звучание.

Подспудное, полусознанное, но постоянное ощущение вины да еще жалость, сочувствие, желание как-то помочь близким, своей деревне — вот какие чувства владеют Егорычем и движут пером Афонина в его юргинских да и более поздних повестях и рассказах.

С виноватой жалостью и любовью говорит он о матери, которая «все сама, все сама»: «Семь сыновей,— скажет иногда.— Хоть бы один девчонкой родился, все в помощь...» Подробно, с любовным вниманием к мелочам описывает он рабочий день этой старой уже женщины, до краев наполненный нескончаемой возней по дому, в огороде, у коровы; вспоминает, как красиво и споро трудилась она прежде — и как страшно, непосильно она трудилась!

С тем же чувством неизбывной сыновней вины рассказывает Егорыч и об отце своем, о его многотрудной и честной жизни.

Да что говорить, трудна, очень трудна повседневная жизнь юргинца. Не мудрено, что не задерживается молодежь в Юрге, уезжает, «ищет, где лучше»...

Кстати, в том же номере журнала, где бы-

ла напечатана повесть «В том краю», сразу же за нею, впритык была опубликована большая статья экономиста-социолога Виктора Переведенцева «Из деревни в город». Видимо, не случайно эти вещи, повесть и статья, появились рядом — толковали-то они об одном и том же, только по-разному.

Социолог тоже признавал очевидность оттока сельского населения в город. Более того, он справедливо считал, что процесс этот неизбежен и необходим — иначе как бы могли нормально развиваться города, их промышленные предприятия, требующие, поглощающие все больше и больше рабочей силы. Однако, как узнали мы из этой статьи, далеко не все сельскохозяйственные районы страны испытывали недостаток в рабочих руках и далеко не из всех деревень молодежь убегала в город. Оказывается, что районы эти можно разделить на трудоизбыточные, то есть такие, откуда никто никуда не бежит (Северный Кавказ, Таджикистан, Молдавия, Грузия), и труднедостаточные — такие, где ощущается страшная нехватка рабочей силы и откуда эта рабочая сила как раз и убывает в первую очередь. И здесь, среди труднедостаточных областей, первой автор назвал Западную Сибирь, ту самую Западную Сибирь, малой точкой на карте которой еще недавно была ныне исчезнувшая деревня Юрга.

Видите, как тесно переплелась судьба Егорыча и его односельчан с этими миграционными процессами.

Первые высказывания критики об Афонине были по преимуществу доброжелательными. Критики понимали и принимали написанное им, но, как водится, что-то и советовали, к чему-то подталкивали. Например, в «Юности» в рецензии В. Лакшина на первую повесть Афонина уже все верное было сказано и угадано в писателе: точность и конкретность его описаний, зрелость в обращении со словом, «серьезный юмор», трезвое понимание жизни (без «слащавого идеализма» и проповеди «возврата к истокам»), отчетливость автобиографических впечатлений, явно выраженный очеркизм. Были здесь и советы писателю, не очень, правда, оригинальные, к коим мы часто прибегаем, — советы расширить круг тем и впечатлений, научиться строить сюжет, перейти от статичности «лирического описания к движению, событиям, переменам, то есть к тому, что полнее освещает людские судьбы в их взаимных перекрестках, в лете времени и освещает характеры на глубине». И когда через несколько лет в той же «Юности» появилась повесть «Пойма», могло показаться, что это прямой ответ писателя на социальный заказ, напрямую сделанный ему критиком.

В новой повести писатель как бы действительно вышел за околицу Юрги. Причем очевидно, что это выход и для писателя (метафорически—расширение круга тем) и буквально жизненный выход: нужно осушить гиблую, болотистую, комариную пойму и на ее месте построить благоустроенный сельскохозяйственный поселок, заселив его самими же строителями и новоселами из других краев и мест. Кстати, реальная жизненная основа этого выхода подтвердилась и другим писательским опытом — опытом, скажем, Валентина Распутина, отраженным в его очерке «Вниз и вверх по течению» и в повести «Прощание с Матёрой».

«Пойма», однако, не стала новым достижением Афонина, хотя, казалось бы, все предпосылки для этого были. Критика тут же зафиксировала это. Заметив все доброе, что здесь безусловно имелось (верность быстро очерченных портретов строителей поселка, доброта сибирского фона и т. п.), А. Кондратович в «Литературном обозрении» сразу же услышал в повести несвойственную Афонину стертую, газетную речь, увидел большие куски «непереваренного» художнически, сырого материала, нашел здесь критик и «любовную историю невысокого вкуса». Все это он объяснил вроде бы правильно—«„неосвоенностью“ новой территории». За этим, впрочем, в конце большой рецензии довольно непоследовательно следовал стандартный совет писателю: «не задерживаться за возведенными фортификациями» и, преодолевая трудности, «идти дальше».

На сей раз Афонин совету критика не внял. Наоборот, он предпочел вернуться назад, к различным этапам им самим пережитого — в Юргу, Кавруши, в другие места, где ему довелось жить и работать, то есть предпочел осваивать не новые, а старые для себя территории.

В чем же все-таки истинные, глубинные причины того, что поселок Покровский Яр (место, где разворачивается действие «Поймы») остался для писателя внутренне неосвоенной территорией? Позволю себе высказать предположение: случилось это потому, что опыт, свидетелем которого писатель явился (опыт освоения пойменных земель и постройки на месте исчезнувших деревень новых поселков), ему, видимо, просто не показался, не пришелся по душе. Потому что как будто все здесь хорошо — и люди подобрались хорошие, и неустроенные судьбы у некоторых начинают поворачиваться в добрую сторону, — а все же надолго остаются в памяти читателя «Поймы» совсем другие картины. Например, такая редкая у этого писателя с и м в о л и ч е с к а я картина: когда тракторы выкорчевали березняк, чтобы освободить землю для посева, а по-

том перед вспашкой люди подожгли стерню и сухую траву, погибло гнездо Серой тетерки... «Огонь был в двух шагах,—читаем мы,—когда она поднялась и, протянув по краю оврага, ушла в дальний конец его. Улетая, она не видела, как в охваченном огнем гнезде ее треснула и потекли желтком насиженные яйца...» Этой картиной повесть начинается. А кончается она главой, которая называется «Плач о погибших березах». Не мудрено, что именно эти пронзительно звучащие ноты определяют тональность «Поймы».

Так что же, непременно спросят нас, выходит, что именно потому не мил автору будущий поселок, что пришлось ради него уничтожить прекрасный старый березняк и в нем гнездо заботливой Серой тетерки? Выходит, что его, автора, старое гнездо—его Юрга, его Кавруши — ему дороже и милей того нового, что с железной неизбежностью и необходимостью приходит им на смену? Думается, не надо спешить однозначно отвечать на эти вопросы или же, что еще хуже, записывать Афонина в число консерваторов и традиционалистов, в число тех мифических, в общем-то, писателей. «чистых деревенщиков», которые всеми силами, дескать, держатся за вековой крестьянский уклад, противятся нашествию техники на родные поля да беспрепятственно льют слезы над растоптанным малым цветком и согнанной с гнезда серой птахой. Все это, представляется мне, гораздо сложнее и гораздо горше.

Боль писателя (что Афонина, что Распутина, что Белова — все одно) о том, что действительно серьезно нарушились связи человека с землей, с природой, что изменилось, стало хищным, рваческим, неразумным отношение человека к земле и что это действительно плохо и для человека и для земли, на которой он живет и трудится.

Связь человека с землей имеет ведь не просто и не только хозяйственный смысл. Воплощаясь в труде, эта связь приобретает этический, нравственный характер.

Верно сказал Сергей Антонов в предисловии к книге «Клюква ягода»: «Во многих произведениях В. Афонина на правах полноценного персонажа присутствует труд. И главной характеристикой ценности действующих лиц является отношение к труду». В каждом почти произведении писателя, в рассказе ли, в повести, непременно присутствует этот «персонаж». Роят колодец, пасут скот, косят сено, ходит за конями скотник, кормит свиней свинарка, бесконечно топчется по двору и дому хозяйка. Труд этот обычен, привычен, однообразен и очень тяжел. Особенно женский труд. Большинство лучших произведений Афонина — о женщинах: повести «В том краю» и «Письма из Юрги», рассказы «Надя Курилка»

и «Тетья Феня», повести «Год сорок шестой» и «Путевка». Во многих из них труд человека, как уже говорилось, изображается впрямую, подробно, детально во всей его монотонной повторяемости (и как-то так получается у Афонина, что читать об этом не только не скучно, но, наоборот, едва ли не интересней всего). И во всех вещах Афонина труд присутствует в качестве точки отсчета, при которой отношение человека к его делу определяет истинную цену этого человека. Можно сказать это и по-другому: все, что происходит в произведениях Афонина, увидено глазами работающего человека и оценено по заслугам с его точки зрения.

Недолгое действие повести «Путевка», например, развивается в южном санатории, куда в первый и последний, видимо, раз в жизни попадает Анна Павловна, кладовщица ремонтных мастерских из далекого сибирского села. В санатории же какая работа? Лечись, отдыхай, развлекайся. И Анне Павловне, сроду никогда не отдыхавшей и никуда не ездившей, здесь, конечно, понравилось. У нее даже роман тут случился. На все, о чем рассказано в повести, автор смотрит глазами своей героини Анны Павловны, и он не скрывает при этом, что кое-что здесь ее удивляет и огорчает: то, например, как здесь кормят отдыхающих, или же поведение женщин на отдыхе (и притом замужних!), их взгляды на жизнь. Все это кажется ей очень и очень странным. Когда же, как уже упоминалось, перед самым отъездом у давно вдовеющей Анны Павловны случился ее нелепый кратковременный роман, она не сумела отнестись к нему легкомысленно, как то делали окружающие ее люди, а много думала над этим происшествием и по приезде домой спустя некоторое время написала герою этого романа Гришке Спецу большое и серьезное письмо, приглашая его приехать к ней и зажить по-человечески.

Письмо Гришке понравилось — польстило ему («Ну бабы, не успел привести к себе, в мужья приглашают!»), — однако ответить на него он не ответил и вообще от своей «легкой жизни» с ежедневной бутылкой красненького отказываться не пожелал. К Анне Павловне поедешь, там работать нужно, а зачем это ему, бывшему морячку, неплохо пристроившемуся к санаторной столовой (что принести или ведра с помоями вылить — обслужа при обслужа, так сказать)? И куда Гришка, конечно, не поехал.

Странное дело: прочитала я «Путевку» и в каждом почти произведении Афонина стала находить таких вот непутевых человечков, напроць отбившихся от настоящего дела. В повести «В том краю» это сосед рассказчика Дремов Иван, ни на одной работе долго не удерживавшийся — «терпенья не хватало!». И

его жена Софья (по-деревенски непочтительно — Сошка), женщина «на разных должностях» — то она «культурница», то посыльная при председателе, то еще кто. В «Пойме» — бывший уголовник Колька Лысый, трактористы Самохин и Юсупов, скандалист слесарь Стукачев (все пьянь, люди пропащие). В рассказе «Тетья Феня» — распрекрасный зятек тети Фени, никчemuшный, «блаженненский» Толик, как черт от ладана бегущий от любой работы, от любых усилий.

И еще одна категория людей страшит и возмущает Афонина своей гибельностью для общего трудового дела. Это страшные, темной души люди, у которых одна забота, одна сила — мясо. В повести «Год сорок шестой» в колхозе «Верный путь» (что в Каврушах) в войну и после нее бригадирствовал такой вот человек — Глухов. Ходил в тайгу, стрелял птицу и был с мясом. Сам ел, председателя и его семью подкармливал, и начальству, что повыше, видимо, перепало. Отсюда и шла его страшная власть над людьми. И тоже почти в каждой вещи Афонина есть такой человек — охотник-браконьер, жрущий мясо и мясом повелевающий. Таков в «Пойме» лесник Тимофей Еграшин, «злой и горячий», всем недовольный мужик, живущий лишь для себя, во имя своего преуспеяния и животного благополучия. Из этой же породы в «Пойме» и тракторист, «скрадывающий» тетеревов в зимнем березняке (одного за другим, одного за другим, благо шум мотора заглушает выстрелы и птицы не чувствуют опасности). Таков в «Клюкве ягоде» старший из братьев Игнатовых Семен — «зверь зверем», шастающий по тайге с ружьем за плечом. Любое зло, любое преступление способны совершить эти люди: из корысти и жадности убивает младшего брата Семен Игнатов; поджигает доски, предназначенные для строительства поселка, лесник Еграшин; бесчеловечно помыкает людьми бригадир Глухов...

Так всегда у Афонина: тем, кто самозабвенно трудится (в поле ли, в порту, дома ли по хозяйству), противостоят те, кто не желает работать или работает лишь для себя, — люди, развращенные бездельем и пьянством, или же рвачи, хищники, грабители лесов и рек, добытчики даровых плодов земных. И как же они опасны для общего дела, эти люди, как живучи!

Лучшая, может быть, в этом отношении — да и вообще одна из самых сильных у Афонина — повесть «Год сорок шестой», где в трудные для страны годы сытому зверю, этому Глухову, противостоит полуголодное население Каврушей, состоящее из солдатских вдов и пятка искалеченных мужиков. Здесь, в этой повести, и один из самых светлых и сильных женских афонинских образов — свинарка Ев-

докия Щербакова. Если к этой шатающейся от усталости и голода женщине все же можно применить эпитеты «светлая» и «сильная». При всей своей неяркости и неброскости так душевно прекрасна эта женщина в своей самоотверженной заботе о порученном ей деле, о детях своих и чужих.

Сейчас, когда прочитано все опубликованное В. Афониним за, в сущности, недолгий еще, менее чем десятилетний, срок его работы в литературе, вполне обнаруживается основной, так сказать, нерв его работы, его ставшая жила, главная его тема и боль. Человек труда и труд человека. Связь (или нарушение связи) между человеком и его трудом. Труд как нравственная, созидающая основа жизни и безделье как губительная, разрушительная — и для самого человека и для его дела — сила. Труд как судья и как оправдание судьбы каждого. Боль и сомнения оттого, что неясны и не вполне определились те новые формы, которые обретает труд человека на земле и его отношение к ней. Боль и страх за ее будущее и за будущее человека, разучившегося трудиться на земле по-старому и еще не научившегося как следует трудиться по-новому.

Высказав об Афонине то, что мне представлялось важным и нужным, я решила вновь прочитать статью Юрия Стефановича об этом писателе. Статья, помню, при первом чтении порадовала меня тем, что вот и «Литературная газета» наконец заметила Афонина (да еще под хорошей, правильной шапкой — «Ру-

бежи зрелости»). И тем, как точно здесь обозначены и вычленены основные показатели творчества Афонина («...пластика, прекрасный чистый язык, точность деталей, умение написать портрет и пейзаж сочно, зримо, экономно»). Но что-то вроде бы и зацепило, задело тогда, вызвало несогласие. Сейчас поняла, что именно. Законно похвалив действительно прекрасный рассказ «Тетя Феня», критик лишь в нем увидел нового Афонина — «явственно социального», «непримиримого к иждивенчеству», четко выразившего свою «позицию писателя-гражданина». Бог ты мой, да чем же он занимался до этого? Разве все творчество этого писателя, а не только «Тетя Феня», не вопиет именно против иждивенчества и тунеядства в самом прямом и точном значении этих слов? Вспомните, как прекрасно растолковано это у Даля: «Тунежительство, тунеядство, дармоедство или мироедство, бездельная жизнь, праздная, на чужой счет, чужегрудная». Наверное, именно это я и пыталась доказать в своем рассуждении об Афонине: активность и актуальность его гражданской позиции, выраженной в глубочайшем уважении к человеку труда и в глубочайших же ненависти, презрении, тревоге по отношению к тем, кто ведет жизнь чужетрудную и, следовательно, мироедскую. Активная борьба с этими силами — не знаю сейчас задачи и в жизни и в литературе более важной, более насыщенной с гражданской точки зрения!

И. ПИТЛЯР.



«ТАК ДАНО МНЕ ЖИТЬ...»

Лариса Васильева. Листва. Книга стихов. М. «Современник», 1980. 318 стр.
Лариса Васильева. Русские имена. М. «Молодая гвардия». 1980. 142 стр.

Для каждого поэта важно, чтобы правда, прочувствованная и пережитая им самим, становилась правдой художественной.

Зачем верна?
Кому покорна?
О ком тоскую тяжело?
Ужель бросает пахарь зерна,
чтоб ни травинки не взошло?

Чувство любви к одному человеку перерастает в чувство любви к миру, не теряя при этом своей изначальной конкретности и плоти. Пытаться увидеть мир в сложности, многозначности, суровости дано не каждому. Поэтому и пишут о гражданственности лирики Ларисы Васильевой, что с самой первой книги в ее стихах внутренний мир всегда соотносится с миром внешним, с миром действительной жизни, социальной реальности. Как пишет Лариса Васильева: «Чудо поэтического мира есть отражение живых реалий. И, как в

жизни, в поэзии наряду с ясными, неопровержимыми, установившимися и устоявшимися истинами есть зыбкие, сыпучие миры неясностей, тайн и сомнений». Или в стихах:

Сбежала с белого крыльца,
толкнула тяжкие ворота,
и даль ясна
до поворота,
а кажется, что до конца.

И ведь знакомо это чувство каждому из нас! С таким трудом открывая для себя мир, все углубляя видение его, легко ли понять относительность этого видения, легко ли увидеть поворот?

Есть особое обаяние у поэзии Ларисы Васильевой. И когда всадник в алом шлеме проступает на черном небе или тощая ворона приносит как символ кольцо с надписью, давно живущей в душе твоей, в этом нет стремления к загадочной мистике, но угадывается же-

вание осознать, вникнуть в таинственные сложности мира.

Радует, что поэт не замыкается в себе, что запись смутных, неразборчивых внутренних чувств, вслушивание в себя, столь модное сегодня и во многом определяющее современный поэтический фон, постоянно сочетается у нее с прислушиванием к миру, с интересом к жизни страны и народа. Иногда это чувство времени, чувство истории смело врывается в самую сокровенную лирику Ларисы Васильевой. Иногда, наоборот, в масштабных, социальных ее стихах звучит лирика, передающая субъективные, я бы сказал, женские чувства поэта. И поэзия оживает: в лирике звучит активное мироощущение гражданина, в поэтической публицистике видится личность поэта.

Не искать укрыться где бы,
а кого б укрыть,
и не вниз с откоса — в небо!
Так дано мне жить.

Лариса Васильева умеет сказать о важном как-то по-женски мягко, обогащая все своим настроением, своими ощущениями. Что ж, не случайно женщине дано такое умение. И это прекрасно, когда и в поэзии она может остаться женщиной. Правда, к своему женскому мироощущению Лариса Васильева не боится подключать радости и боли, тревоги и заботы огромной семьи — родины.

Я отворяю. Я горю.
Не повторяю, а творю
свой мир — четыре стороны
Мечты,
Любви,
Судьбы,
Войны.

В книге стихов «Листва» четыре раздела: о военном детстве; о жизни на земле, а значит о судьбе, о родине, времени; и как продолжение — об идеалах нашего времени, нашей родины и стихи любовной лирики, неотделимые от любви к природе, ко всему живому. Ларисе Васильевой присуще строгое чувство ответственности, чувство совестливости, она не боится перед читателем отвечать «за двадцатый рискованный вал» в этом бушующем море истории прежде всего потому, что чувствует себя неотъемлемой частью сего грандиозного вала столетия.

Конечно, поиски поэта, размышления о природе искусства, о предназначении человека, России, всей земли возникли не на пустом месте. Все это в ее стихах идет от признания уже сделанного предшественниками. Лариса Васильева вводит книжность в свои стихи, впускает цитаты из стихотворений других поэтов, то споря с ними, то развивая их мысли. Вот, скажем, одно из ее стихотворений:

«Растает Русь». За поворотом
возникла новая земля,
и непонятно стало, кто там
сидит у встречного руля.

Начало мысли, идея стиха идет из предположенной в эпиграфе цитаты: «Растает Русь, как сон в полях огромных». Да, соглашается поэт, «растает Русь» в ее старых традиционных формах. Что же придет на смену? И дальше начинается уже явная переключка с мандельштамовским: «Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля. Земля плывет».

Ощущение современной России, переданное словно бы в ответ на вопрос, кто стоит у встречного руля, — вторая часть стихотворения.

Кто русь? Народность или племя?
Скопленые разноликих масс,
принадлежащий главной теме
крестьянский сын, рабочий класс,
трудом согбенная Матрена,
Кремль — нашей славы цитадель,
иль возле синхрофазотрона
в шуршащей юбочке газель,
...не знаю. Думала. Не знаю.
Наверно, вместе все они.

Следует подчеркнуто лирическая концовка, в которой даны понимание своего места в этой жизни, тяга к утолению духовной жажды в самой действительности, в небе над плесом, в ветерке, листающем листву... И как итог: «И все на свете мне понятно — и не понять мне ничего».

Бывают у Ларисы Васильевой и не очень удачные переключки со стихами других поэтов, когда вдруг в явно васильевскую поэтическую интонацию лирической многозначности «объективного волшебства» врываются незваными строчки, напетые с другого голоса, не совпадающие и по эмоциональной емкости и по высоте взятого тона.

Есть среди имен одно такое,
что ни кола ему, ни двора.
Я выкликаю его с тоскою,
шепот ответный: — Еще не пора!

Это четверостишие характерно для устойчивой поэтической системы Васильевой с постоянными историко-культурными ассоциациями, с ощущением двоемирия — личного мира поэта и то символического, то реального мира большой жизни. Но насколько непапад с ним дальше следует: «Гордый хозяин его случайно прыгнул с подножки трамвая судьбы». Интонация Маяковского сразу сбивает с тона стихотворения, настроенного на патетический лад. И когда потом Лариса Васильева сообщает читателю: «Но не разбилась», то перед ним невольно возникает неуклюжий мальчик, который так неудачно на ходу прыгнул с трамвая где-нибудь в районе Сивцева-Вражка. Хотя ма-

лый и остался жив, но явно разбился художественный образ героя, задуманный поэтом.

К счастью, такое происходит в стихах Васильевой нечасто. Возможно, и не стоило бы столь пристально и пристрастно привлекать внимание к удачам и неудачам поэта, но кого постоянно читаешь, с того и спрос строже. А имя Ларисы Васильевой привлекло читателя уже давно, после первого же ее сборника «Льняная луна». Сегодня Лариса Васильева — автор 11 книжек стихов, ее имя то и дело встречается в критическом калейдоскопе мнений.

Знакомясь с ее поэзией, многое узнаешь и о судьбе поэта. Так, она постоянно включает в сборники стихи об отце Н. А. Кучеренко, одном из создателей легендарного танка «Т-34». Вместе с этими стихами вспоминается фронтовое детство. Детали, отдельные художественные образы помогают нам представить голодное и все же радостное детство; вместе с поэтом мы переживаем позднее понимание великой трагедии фронтовых лет. «И страшно подумать, что мама на волос от смерти была» — это сегодня поэт вспоминает о бомбежке их эшелона. Такая временная переключка тоже одна из особенностей поэзии Васильевой. В ее исторических сюжетах вдруг всплывает мотив современности, а в стихах сегодняшних дней нить произведения уводит временами куда-то вдале, в свое ли детство, в детство ли кого-то другого.

Наверное, и в этом можно угадать поэта «двадцатого рискованного вала», краешком судьбы столкнувшегося с войной. Не случайна связь, ведущая от фронтового детства поэтов Юрия Кузнецова, Валентина Устинова, Ларисы Васильевой к чувству историзма в их творчестве, к чувству восхищения яркими страницами истории России: к битве на поле Куликовом, походам новгородских ушкуйников, «Слову о полку Игореве».

Спаси тебя Время жестокое,
спаси от покоя, спаси!
Спаси тебя имя высокое,
великое имя Руси!

От дней минувших, от ощущения исторической полноты миропонимания приходят в стихи полнота гражданственности, эстетическая

полнокровность. Конечно, эта временная связь не выражена напрямую, деклараций в поэзии Ларисы Васильевой почти нет. Но сама поэтическая гармония у нее строится из органического сочетания больших и малых, масштабных и камерных человеческих страстей и чувств.

Ларису Васильеву привлекают разнообразные жанры. Уж не говоря о прозе ее, о встретивших благожелательный прием читателей английских заметках, в самих поэтических сборниках мы наталкиваемся, например, на роман в стихах «Игорь Зотов» (книга «Русские имена»). Да, сюжетно это интересно, да, множество проблем, диктуемых нашей эпохой, возникает в романе по ходу действия. И еще ощущается тяга к традиции, к стилю ретро, что ли. Впрочем, Васильева вся в традиции; традиций в русской поэзии достаточно много, чтобы не чувствовать себя поэтическим аскетом.

В романе «Игорь Зотов» сказывается традиция социального семейного романа, это литература о быте, близкая повестям Маканина и Курчаткина. Разве что хеппи энд, неудачно названный героям романа Игорю Зотову и Маше, выдает желание автора управлять своими персонажами, завершить сюжет привычной схемой.

Думаю, и слабости поэзии Ларисы Васильевой и победы — внутри нее самой. Достаточно четко очерчен круг ее пристрастий, явственно выражены принципы, определяющие творческий путь Л. Васильевой. В ее стихах жива душа, жива плоть, жива державность. Последние книги лирики еще раз обозначили ее поэтическое пространство. И выходя вместе с поэтом в широкий мир сегодняшней жизни, хочется еще раз прочитать:

Кто мы?
Вольные дети стихии,
голоса восходящей весны?
В неоглядных пределах России
на отчаянный риск рождены.

Эти постоянные поиски ответа на глубинные вопросы времени, органическое сочетание поэзии поэта и гражданина определяют главное в поэтическом творчестве Ларисы Васильевой.

Владимир БОНДАРЕНКО.



СЛОВО И СЛАВА

М. М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. М. «Искусство». 1979. 423 стр.

М. М. Бахтин. Конспекты лекций («Прометей», т. 12, стр. 257—268).

М. «Молодая гвардия». 1980.

Что такое слава как явление культуры? Способ информации о вершинных достижениях науки и искусства? Средство отбора и сопоставления ценностей? Подсказка чи-

тателю в его работе над произведением (что-то вроде ответа в конце задачника: это уже понято и принято многими)?..

Бахтин к славе не стремился. Она пришла

к нему сама, ничего, в общем, не изменив в жизни бескорыстного и мужественного ученого, продолжавшего спокойно и нацеленно доводить начатое до конца. Слава Бахтина служила не ему самому, а его читателям. Для академической науки книги Бахтина о Достоевском и Рабле приобрели широкую известность с опозданием. Для читателя же — как нельзя вовремя. Они оказались более чем созвучны звонким 60-м годам. С их поэзией, исполненной жажды диалога и всепонимания. С их прозой, предпочитавшей вопросы ответам. С их театром, стремившимся прочесть в слове далеких эпох обращение к современности. Бахтинская формула специфического катарсиса, завершающего романы Достоевского, значила гораздо больше, чем просто литературоведческое разъяснение: «...ничего окончательного в мире еще не произошло, последнее слово мира и о мире еще не сказано, мир открыт и свободен, еще все впереди и всегда будет впереди».

Слава Бахтина помогала разрушить перегородки, отделявшие литературоведение от литературы, с одной стороны, и от читателя — с другой. В этом ее серьезное и необратимое культурное значение. Но в более спокойные и сосредоточенные 70-е годы стало заметно и другое. Слава Бахтина, сделавшись всеобщим достоянием, начала развиваться порою вразрез с внутренней сутью его научно-художественного творчества, с его словом об искусстве, мире и человеке.

Часто говорится об ответственности ученого, писателя, но крайне редко ставится вопрос об ответственности читателя. Давно было сказано: *pro captu lectoris habent sua fata libelli* — книги имеют свою судьбу смотря по тому, как их принимает читатель (буквально: в зависимости от читательских голов, умов). Но зачем же слепо-фаталистически относиться к этому закону? Не стоит ли нам, читателям, навести необходимый порядок в своих головах, настроить свои умы таким образом, чтобы нынешняя судьба книг Бахтина больше соответствовала их внутреннему значению и содержанию?

Тревогу вызывает многое. Прежде всего бездумное цитирование. Велик соблазн уцепиться за частное суждение знаменитого ученого, не понимая его концепции в целом, и тем самым переложить на него ответственность за свое полупонимание. Хуже того: из Бахтина выдергивают — и довольно часто — цитаты «попроще», какие-то трюизмы, играющие в его текстах скромную роль связок, прослоек. Таким путем любого автора можно успешно превратить в лексикон прописных истин. Между тем заветные идеи Бахтина вы-

ражены в весьма специальных и достаточно сложных (с точки зрения читательского восприятия) суждениях.

Имя Бахтина вышло далеко за пределы профессионально-литературоведческого круга. Само по себе это прекрасно, но сколько издержек связано со столь широкой популярностью! Имя, которое должно звучать как решительная антитеза всяческой суеве и пошлости, вошло в потребительский «джентльменский набор»: кожаный пиджак, билет на Таганку, пара цитат из Бахтина... Пора подумать о нашей духовной экологии. Смысл бахтинской деятельности нуждается в защите от репетиловщины. И от безотчетных восторгов в том числе. Ибо за ними, к сожалению, чаще всего стоит непонимание (а то и простое незнание). Досадно слышать, как Бахтина похваливают «с ученым видом знатока» люди, имеющие более чем смутное представление о его концепциях. Здесь работает механизм, точно описанный Пушкиным: «...уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос» (сам же Бахтин был в этом вопросе ригористом: «Идея славы — паразитическое усвоение неавторитетного другого»).

Расхожая молва всегда выделяет в каждой сфере человеческой деятельности одного: лидера, чемпиона, кумира, так сказать, первого по профессии. Бахтина повезло: он сегодня представляет философское литературоведение в этой неписаной иерархии. Но если это в какой-то мере простительно для молвы, то для научного и культурного общественного мнения такая позиция неприемлема. Уже потому, что Бахтин по сути своего миропонимания не может находиться — даже в условной иерархии — один. Ибо ключевая бахтинская идея (и рецензируемая книга о том красноречиво свидетельствует) — это идея другого. Идея приобщения, понимания, диалога. Курсивное «я и другой» — наиболее зримое и отчетливое обобщение гуманистической эстетики Бахтина.

Что значит быть в науке (да и в искусстве) звездой первой величины? Это значит входить в созвездие из десяти или даже двадцати (не в цифрах дело) имен. Вне такой системы ученый не может быть ни понят, ни оценен. Претендентов же на единственную, исключительную роль всегда было гораздо больше, сотни или даже тысячи. Но не о них речь.

Как ни странно, о Бахтине написано слишком мало. Есть статьи С. Аверинцева, Вяч. Вс. Иванова, В. Кожина, рисующие образ Бахтина с разных сторон и с разных точек зрения. Но все они появились в стесненных по объему формах рецензий или предисловий. Теперь же ощущается настоячивая необходи-

мость в серьезной монографии, которая покажет Бахтина во всех его связях и отношениях с отечественной и мировой гуманитарной наукой.

Пока же порадуемся выходу еще одного сборника трудов ученого, с большой тщательностью и вкусом составленного С. Бочаровым и содержательно (хотя и по необходимости экономно) прокомментированного им совместно с С. Аверинцевым. Сборник этот, говоря языком, приближенным к авторскому, имеет характер объемлющий и завершающий. Он отвечает на многие вопросы, возникавшие при чтении предыдущих книг.

Самая главная из помещенных здесь работ — «Автор и герой в эстетической деятельности», поскольку она отвечает на самый главный вопрос: о способе соединения научности и художественности в созданной Бахтиным эстетической системе.

Каждый большой литературовед непременно художник. Причем это касается не слога, но самого духовного ядра теоретической концепции. В глубине самых рационалистических и понятийно изощренных эстетических доктрин лежат художественные допущения и метафоры.

Опубликованная шесть лет назад программная статья Бахтина «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве» (написана в 1924 году) многих покорила категорической отчетливостью мыслей и доказательств. Антитеза «содержание — форма» предстала здесь в более специфичном для искусства облике «эстетический объект — материальное целое». И все же вопрос об источнике эстетического, о природе содержания вновь поднимался над цепью логических построений. В работе об авторе и герое (написанной примерно в то же время) можно прочесть индивидуальное бахтинское решение этой извечной проблемы. Художественное творчество уподоблено им сотворению человека. Феномен человека во всей своей многогранности становится источником художественного смысла, а единство духовного и телесного в человеке делается своеобразным обоснованием нераздельности содержания и формы. Хотя эта работа выдержана в стиле научно-философском, изобилует громоздкими синтаксическими конструкциями, разветвленными абстрактно-логическими выкладками, в целом она создает эмоционально многозначный образ творчества. Передана и мучительность этого процесса и его феноменальная бескорытность. Через органичную связь автора и героя Бахтин дает свою разгадку тайны вдохновения: художник производит новое, другое сознание и постигает его, не растворяясь в нем.

Но и от читателя концепция Бахтина тре-

бует такого же недогматического, свободно-го и диалогического восприятия. Автор книги сам осознал художественную, неточность своего слова, он считал, что любой метаязык диалогичен по отношению к своему предмету. Было бы крайне наивно буквализировать бахтинские метафоры и символы и делать их отправными точками абстрактных рассуждений. Аналогия не есть тождество. Многие постулаты Бахтина недоказуемы — и неопровержимы вместе с тем — вследствие своего образного характера. «Творцом переживает себя единичный человек-субъект только в искусстве», — сказано в упоминавшейся методологической статье 1924 года. Думается, это все же не закон, а условное допущение. В бахтинской системе это один из краеугольных камней, обоснование специфики искусства, но как раз для того, чтобы глубоко постигнуть систему в целом, необходимо отдавать себе отчет в относительности ее исходного принципа. Бахтина привлекало все незавершенное, незастывшее, становящееся. И его собственные высказывания — это не надписи на бронзе или мраморе, а начальные реплики диалогов, рассчитанных на долгое время. Диалог же не может развиваться успешно, если одна из сторон только подкакивает.

Сказано было однажды, что путь науки не столбовая дорога, а каменистые тропы. Естественно при этом, что по каменистым тропам не ходят строевым маршем. В определенные моменты ученым целесообразно разделиться и выбрать каждому свою тропу, свой аспект единой проблемы. Вопрос о выборе здесь не имеет такого фатального оттенка, который этому слову нередко придается: ведь каждый выбор полезен и необходим науке, обобщающей и синтезирующей опыт разных исследователей.

Большой ученый в гуманитарной науке не просто разрабатывает свою тему, но как бы создает свою отрасль знания. И суверенность ее всегда покупается известной ограниченностью. Бахтинская область отечественной филологии одна из крупнейших, но и у нее есть свои границы. В поздних записях ученого читаем: «Смыслами я называю ответы на вопросы. То, что ни на какой вопрос не отвечает, лишено для нас смысла». Довольно определенно очерчена здесь сфера художественных смыслов, которые импонировали научному вдохновению Бахтина и которые ярко и убедительно раскрывались в его аналитической мастерской. Это сфера столкновения в слове разных идейных смыслов, их напряженного диалога. Меньше интересовали ученого художественные смыслы, не располагающие к рационалистическому осмыслению, монологичные в своей новизне.

Так или иначе, но до Бахтина никто столь

остро не ощущал и так зримо не выявлял наличие в слове второго голоса. «Внутренний диалог» — едва ли не самое крупное эстетическое открытие Бахтина. В этом смысле его прочтение романов Достоевского, замечания о «Евгении Онегине» еще долго будут школой понимания для историков литературы (вспоминаются бахтинские по духу работы С. Бочарова о Пушкине с тонкой трактовкой образов Гринёва и Белкина), для критиков современной литературы, которые нередко терпят, оказавшись на перекрестке разных точек зрения в поисках авторской позиции.

Зоркий глаз Бахтина четко выслеживал в любом произведении элементы стилизации, иронии, пародийности. Объединив все это понятием чужого слова, ученый завещал нам весьма важную проблему — опять-таки не только историко-литературную, но и критическую. Критика пока еще не знает, как ей относиться к «чужому слову» в произведениях новейшей литературы. Одни питают повышенную любовь к культурным реминисценциям, другие полны нетерпимости ко всяческой «вторичности». Бахтин не боялся фиксировать неожиданные переключки отдаленных литературных эпох: любая традиция для него существует постольку, поскольку она жива в настоящем или способна воскреснуть в будущем.

У каждого филолога есть духовная отчизна не только в пространстве, но и во времени. Г. Гуковский называл себя человеком эпохи сентиментализма. Бахтина можно назвать человеком XIX столетия. Его методологическое новаторство сочеталось со спокойным консерватизмом. Одно от другого неотделимо, но, участь у Бахтина, вовсе не обязательно перенимать и внутренние ограничения, свойственные его системе.

Нужно вновь вернуться к проблеме материала в искусстве. Эта категория отнюдь не является изобретением того круга ученых, с которым Бахтин полемизировал и который он определял понятием материальной эстетики (справедливость требует отметить, что в этой полемике автор книги бывал монологичен и даже категоричен). О материале первыми заговорили сами мастера искусства. Причем в их метафорическом употреблении материал — это не только сырье и технические средства искусства, но и определенные тематические элементы, используемые в искусстве факты, реалии и документы, готовые смыслы, интеллектуальные абстракции — словом, все, что подлежит творческому преобразованию. В общем, эта возникшая в лоне художественной практики категория еще нуждается в четком теоретическом контуре. Бахтин же в 20-е годы воспринимал понятие материала слишком буквально и склонен был слодить его

всецело к языку, а язык всецело к материалу. Впоследствии отношение ученого к этому вопросу изменилось. Во многих суждениях Бахтина язык уже предстал как кладезь новых смыслов, как материал особого рода, в словесном искусстве наиболее активный и организующий другие материалы. Стоит внимательнее присмотреться к этой подспудной тенденции в творчестве зрелого Бахтина.

При широком взгляде на проблему неизбежен вывод о том, что и эстетика Бахтина была во многом материальна. Его стремление включить в эстетический объект все смыслы, связанные с произведением, вело порой к утрате границ между текстом и контекстом, между житейской и художественной реальностью. Идея антропоморфизма искусства, обладая демократической теплотой и большой разъясняющей силой, все же остается лишь одним из подступов к специфике искусства, к его тайне. Понятие искусства шире понятия человека — точно так же как понятие человека шире понятия искусства. Впрочем, это как раз один из тех вопросов, по которым последнее слово еще не сказано.

Бахтин учил верить исследуемому художнику, каждое произведение воспринимать как уникальное и неповторимое событие — в общем, относиться к творению искусства как к человеку. Но эта просветленность эстетического взгляда сопрягалась с весьма индивидуальной застройкой своего научного мира. Для Бахтина не было градаций и степеней оценки. Чуждые ему внутренне художественные системы оказывались как бы внеположными его собственной системе. Они просто не поддаются адекватному описанию приемами Бахтина. Так произошло, например, с Л. Толстым (что показано, в частности, В. Камяновым в его книге «Поэтический мир эпоса»). Публикация лекций Бахтина о Толстом в «Прометее» служит еще одним подтверждением: автор честно популяризирует материал романа, сохраняя равнодушие к его поэтике.

Стоит ли говорить, что очерчивание границ бахтинского мира никоим образом не связано с темой «отдельных недостатков»? Чтобы лучше понять и оценить этот мир, надо уяснить и то, чего здесь искать не следует.

В безотчетных восторгах и похвалах таится угроза утраты и забвения. С Бахтиным уже начинают полемизировать — без чрезмерного пиетета, но и без ниспровергательского задора. М. Стеблин-Каменский в «Исторической поэтике» оспаривает идею амбивалентности архаического смеха. Думается, это не снижает ценности книги о Рабле: если даже Бахтин осовременил ренессансного писателя, то его трактовка значительна и сама по себе необходима. В. Ветловская отказывается видеть полифоничность в «Братьях Карамазо-

вых», но в этом случае, признаюсь, возникает желание защитить многозначно-образную формулу «полифония» от однозначной интерпретации. М. Гаспаров в сборнике «Вторичные моделирующие системы» говорит о том предпочтении, которое оказывал Бахтин прозе в ущерб поэзии... Очевидно, такова объективная закономерность нынешнего этапа в освоении бахтинского наследия.

Главное здесь то, что нам открываются новые ресурсы понимания и бахтинских текстов и проблем, волновавших ученого. Слово Бах-

тина, вовлекаемое в полемический диалог, начинает звучать в полный голос, в полную меру своего смыслового объема. Это слово о напряженной внутренней жизни произведения, о гуманистическом равенстве художественного творчества и постижения его результатов, о безграничности человека и его логоса. Это слово свободное и освобождающее.

Эстетическая идея жива до тех пор, пока с ней можно спорить.

Вл. НОВИКОВ.



Политика и наука

ВСТУПИЛ В БОЙ КОМИССАРОМ

Владимир Успенский. На большом пути. Повесть о Клименте Ворошилове. («Пламенные революционеры») М. Политиздат. 1981. 341 стр.

История свидетельствует, что всякий революционный взлет народа непременно выдвигает из его недр плеяды героических ярких личностей, вождей масс. Без этих людей, беззаветно преданных революционным идеалам, самоотверженных и бесстрашных, убежденных в правоте дела, которому они служат, социальное движение лишилось бы организующей и направляющей силы.

Подъем освободительной борьбы широких трудящихся масс в России на рубеже XIX и XX столетий дал человечеству целое созвездие замечательных людей, пламенных революционеров. Это они сумели возглавить и повести за собой стихийно негодующие угнетенные классы и придать всенародному восстанию осмысленный и целенаправленный характер. Их, самоотверженных и бескорыстных, мы уважительно называем большевистской ленинской гвардией.

Одним из наиболее заметных представителей ленинской гвардии был выходец из пролетарских слоев Донбасса, луганский рабочий Клим Ворошилов (так называли в народе героя гражданской войны большевика Климента Ефремовича Ворошилова). В феврале нынешнего года советский народ отметил столетие со дня его рождения.

Климент Ефремович Ворошилов прожил долгую и плодотворную жизнь. Более полувека он был постоянно на виду у всего народа. Занимал самые высокие посты в Красной Армии и Советском государстве, на протяжении десятилетий являлся членом высшего штаба коммунистической партии — ее Политбюро. Для тех, кто встретил Октябрьскую революцию детьми, для поколений, вступающих в жизнь в 20-е, 30-е, 40-е и 50-е годы, Ворошилов был одним из наиболее прославленных

современников. Имя его узнавали в раннем детстве, читали о нем книги, видели его в кинофильмах, пели о нем песни...

Перед Владимиром Успенским, автором повести о К. Е. Ворошилове, вышедшей в серии «Пламенные революционеры», встала сложная задача. Не имея возможности охватить всю жизнь героя, писатель должен был очень точно выбрать отрезок биографии, когда наиболее полно выразила себя его недожинная натура, его активная деятельность во благо революции и, что необычайно важно в художественно-документальном произведении, его человеческие качества.

Долгая жизнь Климента Ефремовича Ворошилова была богата многими важнейшими событиями. Более того, он не просто был участником этих событий, а влиял на их развитие, вел за собой массы. В начале своей революционной деятельности Ворошилов был одним из вожakov революционно настроенного донбасского пролетариата, организатором боевых дружин луганских рабочих во время революции 1905 года; еще до революции избирался делегатом партийных съездов. Случалось ему бывать и узником царских тюрем в качестве политического, и ссыльным, и эмигрантом... Любой из названных этапов жизни значителен для постижения революционной эпохи и для исследования личности героя и мог стать содержанием серьезной и глубокой художественно-документальной книги.

И все же, думается, автор в своем выборе прав: звездный час героя повести «На большом пути» — это гражданская война, вооруженная борьба с белогвардейской контрреволюцией и интервенцией армий капиталистических стран.

...1919 год. Молодая республика Советов,

находящаяся в огненном кольце, ведет тяжелейшую борьбу за свое существование. Чуждом кажется, что она все еще держится, что ни немцам, ни мятежным чехословакам, ни экспедиционным корпусам англичан, французов и американцев, ни дивизиям Корнилова, Алексея, Каледина, ни левоэсеровским мятежникам не удалось до сей поры расправиться с большевиками. Наступление адмирала Колчака с востока, удары войск Юденича на северо-западе и неостановимое, казалось бы, движение армии генерала Деникина с юга — такова историческая обстановка, на фоне которой развивается действие книги.

В эти критические для революции дни Центральный Комитет партии во главе с Владимиром Ильичем Лениным принимает решение о мобилизации всех сил для обороны республики Советов. Из Кремля звучит набатный призыв: «Все на борьбу с Деникиным!»

«У нас есть командиры, которых выдвигают из народа сами события. У нас есть военные специалисты. При этом нам очень важно иметь на фронте испытанных политических руководителей, способных усилить влияние партии. Эта задача поставлена перед нами Восьмым съездом. Важно иметь таких политических руководителей, которые способны направлять в нужное русло неорганизованные или слабо организованные массы, принимать на месте правильные партийные решения. И даже противостоят ошибочному давлению сверху, если подобное давление будет. Вот так, Климент Ефремович... Ваша кандидатура была бесспорной, поэтому и отозвали вас из Шестьдесят первой дивизии...»

Этот монолог Александра Ильича Егорова, командующего Южным фронтом, обращенный к Клименту Ефремовичу Ворошилову, направляемому на политработу членом реввоенсовета в только что созданную Первую Конную, можно считать сюжетной и идейной завязкой повести. Командующий Первой Конной Семен Михайлович Буденный, недавний вахмистр царской службы, как и многие другие выдвинутые стихией масс на высокие командные должности в революционной армии, недостаточно подготовленные политически и теоретически военачальники, вряд ли смог бы сыграть ту заметную роль в общей победе Красной Армии в гражданской войне, какая выпала на его долю, не будь постоянно с ним рядом стойкого и убежденного большевика-ленинца, каким был член реввоенсовета Первой Конной К. Е. Ворошилов.

Именно эти дни и месяцы были в жизни Климента Ефремовича отрезком биографии, когда особенно отчетливо выявились его человеческие и партийные качества, когда обнаружился незаурядный талант армейского по-

литического руководителя (проще говоря, комиссара) и военачальника. Личное мужество, абсолютное отсутствие честолюбивых амбиций, беззаветная преданность делу партии, сердечность в отношениях с бойцами и командирами — все эти качества подлинного комиссара-большевика в полной мере обнаружил на посту члена реввоенсовета Первой Конной Климент Ефремович Ворошилов.

Он был «в ответе за всю организационную, партийную и политическую работу. Создание армейского штаба, органов снабжения, госпиталей — этим и многим другим он занимается как член Реввоенсовета. Но еще важнее, что он фактически является комиссаром Первой Конной. Политический аппарат, рост партийных рядов, пропаганда и агитация, армейская печать, связь с населением — по его части. И нельзя, наверно, отделять обязанности члена Реввоенсовета от его комиссарских дел... "Мы, большевики, в ответе за все"».

В повести убедительно показаны взаимоотношения Ворошилова и Буденного. Под влиянием неколебимого комиссара, твердо знающего, во имя какой великой цели идет война и проливается кровь, значительно расширяется политический кругозор Буденного. Он становится подлинным командиром регулярной Красной Армии, борцом за революционные цели.

«С тех пор как приехал Климент Ефремович, вся жизнь понеслась вроде бы скорее, бурливей. Раньше какие заботы были? Людей накормить, вооружить, разместить. Коней обиходить. Ну и, конечно, врага в бою опрокинуть. А теперь сколько хлопот прибавилось! Не только воевать надо, а еще и людей воспитывать, обучать, на большевистскую правду им глаза открывать. О мирных жителях думать приходится. В освобожденных районах заводы-фабрики восстанавливать. И вот что удивительно: никто этих и других забот сверху не навязывает, никто приказов таких не дает, а Ворошилов и другие большевики сами берут груз на свои плечи. «Наша партия в ответе за все» — и точка... Семен Михайлович хоть и ворчит иной раз, хоть и недоволен бывает, а ведь и сам тянет в той же упряжке».

Вместе с Ворошиловым в Первую Конную для политической работы прибыли рабочие-большевики из Москвы и других промышленных центров страны. Они проделали большую работу по преодолению настроений казачьей вольницы в среде конармейцев.

Главное оружие в этой нелегкой борьбе — большевистское слово и пример собственного поведения. Характерны в этом плане отношения кавалерийского командира Миколы Башибузенко и комиссара большевика Романа

Леснова. У Башибузенко своеобразные представления о методах воспитания бойцов. Инструментом убеждения у него служит самогон, а для принуждения — розги. Комиссару Леснову приходится потратить немало усилий, чтобы лихой рубака Микола Башибузенко превратился в сознательного, дисциплинированного командира Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Повесть Владимира Успенского «На большом пути» воссоздает один из наиболее сложных этапов истории нашей страны, рисует яркую страницу необыкновенно богатой биографии большевика-ленинца Климента Ефремовича Ворошилова. Выход этой книги в серии «Пламенные революционеры» — дань памяти замечательного человека.

Владимир БУДАНИН.



ТВОРЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА

Ю. П. Азаров. Искусство воспитывать. М. «Просвещение». 1979. 255 стр.

«Душа в переплете». Так Юрий Азаров назвал одну из своих статей. Она началась словами Макаренко: «Книги — это переплетенные люди».

Прочитав «Искусство воспитывать», я вновь и вновь перелистываю страницы этой книги, переплетом своим напоминающей учебник педагогики... Стараюсь сквозь ученые термины, классифицированные темы («подсистема технологическая», «развитие внутриколлективных отношений», «либеральный авторитаризм» и пр.) постичь душу этого произведения, закованную в суровые педагогические латы.

Книга эта — своеобразная попытка, обобщив опыт советской педагогической науки от Крупской и Макаренко до Сухомлинского и учителей наших дней, дать читателю целостное представление о воспитательном процессе. Книга полна живых примеров из деятельности советских педагогов, из педагогической практики автора. Не в них ли трепещет живая душа, бьется пульс авторского поиска?

Вот сочинение маленькой девочки: «Жил-был мышонок Чув, и у него были друзья-мышата. И они очень боялись страха, который жил в пеньке. И вот однажды мышонок Чув вышел на улицу. Он так боялся страха и темноты. И вдруг засветились огоньки. Это светлячки шли. Когда светлячки подошли, он спросил их: «А есть на свете страх?» Светлячки задумались и сказали смело: «Нет!» «А который живет в пеньке?» Они тоже сказали: «Нет!» И сразу стало светло. И мышонок Чув пришел домой. Тогда он всем своим друзьям сказал, что в пеньке никакого страха нет и не будет. И все друзья не боялись больше страха, который живет в пеньке».

Прекрасная сказка. Прекрасен педагог, у которого дети создают такие сказки. Однако мне вдруг открылось, что примеры не иллюстрации, призванные дидактически и наглядно подкрепить авторскую мысль. Подкрепляющие примеры авторы сплошь и рядом изобретают на данный случай. Худосочные Маша и Петя вступают в плоский диалог, который те-

чет точно туда, куда указывает дидактический перст. Художник, говорим мы, мыслит образами. А педагог? Подлинный педагог мыслит образами живых ребят, непридуманными ситуациями. Примеры его — пульсирующие клеточки жизни. Они не укладываются в системы и подсистемы, даже и его собственные. Каждая такая клеточка связана с десятками сторон жизни и потому с разными гранями воспитательного процесса. Опытный педагог, талантливый психолог, Азаров вписывает пример в жизненный контекст. Как многопланово раскрывается перед нами эта простенькая сказка! Автор говорит: 1) о влиянии страха на детское самочувствие; 2) о перекрестках свободы и страха, где концентрируется конфликт добра и зла; 3) о важности этого излияния для крохотного человечка, что сумел преодолеть страх; 4) о воспитании гражданственности: преодолеть в человеке страх перед рутинной, косностью; 5) о культуре письма, которая достигается творчеством и не может быть достигнута никакими упражнениями по русскому языку; 6) о духовном формировании личности, которое происходит через собственное сочинительство; 7) о мысли Льва Толстого, кому у кого учиться писать — детям у нас или нам у детей; 8) о культуре педагога, порождающего детское творчество.

В книге много бесед педагога с учеником, директора с учителем, мамы с дочерью, образы детей, споры, собрания. Есть рассказы о том, как автор строил со своими учениками флотилию, как в бою его повалили и взяли в плен. Есть дневники воспитателей. Мысли о воспитании Ушинского, Калинина, Крупской, эпизоды из опыта Терского и Сухомлинского.

Однако сказка о страхе, что живет в пеньке, представляется нам существенной еще и потому, что в ней звучит некий лейтмотив книги, рвется сквозь переплет душа. Совсем в другом разделе Азаров пишет:

«Знакомься с историей практики воспитания, диву даешься тому, что почти у всех народов и во все времена люди только и думали

о том, чтобы укротить детскую волю, точно сговорившись, твердили на разные лады ветхозаветный домостроевский девиз: «Сокруши дитяти ребра сызмала, а не то...» Даже многие прогрессивные ученые-философы прошлого (например, Джон Локк и другие) не сомневались в том, что волю детей надо сначала укротить, сломать, вымуштровать дисциплиной, строгостью, а затем формировать социально пригодные качества. Может быть, так случилось потому, что именно такие качества, как послушание, покорность, безропотность, во все времена ценились в первую очередь, считались чуть ли не главными свойствами человека. Перед нами же стоят качественно новые задачи. Мы в первую очередь должны воспитывать у детей творческую общественную активность, пытливость».

Рассматривает ли автор роль игры, формы управления коллективом или технику опроса на уроке, он ни на минуту не упускает из виду этой главной цели воспитания. Очевидно, что личность творческую, граждански активную может породить лишь педагог-творец, чуждый засевавшего в пеньке страха перед мертвыми догмами. Дважды цитируется на страницах книги мысль Макаренко: «...не может быть установлено никаких абсолютно правильных педагогических мер или систем. Всякое догматическое положение, не исходящее из обстоятельств и требований данной минуты, данного этапа, всегда будет порочным».

Потому автор, рассматривая десятки различных методов и приемов воспитания, выступает против абсолютизации любого метода. «Когда мы говорим, что учитель должен быть личностью, мы подчеркиваем его нравственное право на выбор метода». В каждой ситуации воспитатель должен мыслить творчески, должен владеть диалектикой. Раскрывая это, автор дает образец такого мышления. Он не только исследует крайности каждого педагогического метода, но и умеет полифонически сопрягать, казалось бы, несовместимые истины. «Если бы у меня спросили, что самое главное в творчестве таких замечательных педагогов, как Корчак и Сухомлинский, я бы не задумываясь ответил: бережное отношение к ребенку». Автор видит основу воспитания в развитии инициативы. И рядом мысль Гегеля о том, что ученики в первые четыре года обязаны молчать, не высказывать и даже не иметь собственных мыслей. Отрицает ее автор? Нет, он утверждает, что философ «прав (разрядка моя.—Ю. Х.), ибо его замысел... избавить ребенка от своеволия, но воспитать волю, научить слушаться, чтобы развить способность самостоятельно мыслить и действовать на благо общества». Убедительно показана в книге необходимость защи-

щенности личности ребенка и вред перещипки.

С Макаренко, с Сухомлинским автор выдвигает принцип строгой требовательности к человеку и будет настаивать на примате доброты. Такой, казалось бы, простой призыв: «Всегда нужно быть на стороне добра» — будет рассмотрен Ю. Азаровым не в его плакатной однозначности, а в драматической, порой трагической жизненной ситуации. Например, одной из важнейших основ добра должно быть в ребенке почитание родителей. Культ матери, который создавал в стенах своей школы Сухомлинский, взят автором за нравственный образец. Не предавать своих родителей, любых: слабых, грубых, несправедливых.

А воспитание принципиальности? А если мать избивает сестренку? Мальчику, стоящему перед сложным нравственным выбором, педагог говорит:

— Если я ударю твоего товарища, неужели ты будешь на моей стороне?

Автор анализирует макаренковский «метод взрыва», когда на человека обрушивается лавина коллектива и личность поставлена «на самый край бездны». И рядом тезис Сухомлинского: «Настоящий друг избегает говорить о недостатках самого близкого человека перед лицом коллектива». Оказывается, что так же недопустимо делать предметом обсуждения проступок, вызванный ненормальностями в семье, проступок, причина которого — душевный надлом, проступок... и т. д. и т. п. «...У читателя может возникнуть вопрос, — пишет Сухомлинский, — а что же следует, что допустимо разбирать в коллективе? Ничего».

Автор умеет видеть здесь не взаимоисключающие друг друга мысли, а «взаимообогащающие друг друга грани».

Не случайно книгу Ю. Азарова венчает мысль: «Учитель — всегда исследователь». В авторе виден педагог, который все время в поиске. Он дает не инструктивные указания, а погружает мысль читателя в живой опыт — свой, своих коллег. Когда-то Шоу ядовито сказал, что кто умеет — делает, а кто не умеет — учит, как делать. Ю. Азаров не стоит над бушующей педагогической стихией с менторской указкой. Над читателем. Над детьми. Он спорит, сомневается, рассказывает о своих промахах. Как теоретик, он разрабатывает концепцию игры. Как практик, увлеченно играет. Ему известны не только методы и приемы, но и внутреннее ощущение музыкального строя детской души, настроя коллектива. «...самое важное — войти в детский коллектив... я вызываю в себе состояние детства. то есть вызываю в себе то ощущение детской легкости, которое свойственно ребенку, обра-

сываю с себя все взрослое, а главным образом то внешнее взрослое, что присуще моей административной роли». Педагог должен взять тон, который творит музыку. Знать не только сверхзадачу и лейтмотив. Потому нас не удивляет в контексте музыкальный термин. Приказы типа «вырой яму!» никак не инструментованы, пишет автор. «Чуткое детское ухо уже в самой лексике взрослого... мгновенно схватывает нечто такое мрачно-неодухотворенное, от чего надо бежать без оглядки». На наших глазах занудное мероприятие по окраске забора превращается в увлекательное игровое зрелище.

Педагог-практик Азаров руководит интереснейшим экспериментом в селе Прелестном, где юные художники расписали стены квартир, школу, гаражи, фермы и полевые станы. Этот опыт входит в книгу рядом с рассказом о том, как на уроке литературы ребятам может вдруг открыться многокрасочность мира. Пораженный, увидит ребенок, как отражается солнце в окошке родного дома. Тогда в старших классах войдут в него волшебные лунные ночи Пушкина и Толстого, а в сочинении девятиклассник напишет о страшной магии желтизны у Достоевского.

Хотелось бы, однако, сказать о следующем. Страх, который основательно «засел в пеньке», заставляет нас иногда раз следовать традиции, согласно которой новатора встречают в штаны. Затем портрет знаменитого педагога вывешивается в учительских, в залах Министерства просвещения, его поиск превращается в канон, а нового энтузиаста, в свою очередь, уличают в нарушениях канона. Похожи висящие на стенах портреты. Похожи на страницах учебников неповторимые человеческие судьбы, неповторимые педагогические поэмы и драмы.

«Когда благому просвещению отодвинем более границ», то, наверно, стиль каждого педагога, как стиль художника, будет рассматриваться в тонах его неповторимой палитры. Тогда мы не будем бояться отбрасывать не только его недостатки, но и многие положительные приемы, если они диссонируют с контекстом другого времени, других обстоятельств и прежде всего особенностями другой личности.

В статье, опубликованной в 1979 году в журнале «В мире книг», Ю. Азаров дал колоритные портреты Макаренко и Сухомлинского. Один резкий, стремительный, с нервами, как «тросы». Он ходил в длинной шинели, мог хохотать с ребятами до упаду и был беспощаден к близкому ему воспитаннику, совершившему недобрый поступок. Он любил эстетику военного строя, учился играть у актера, был непримирим к формализму и лжеучности. О другом Азаров писал: «Меня порази-

ло лицо Сухомлинского при первой встрече: совсем юное (а ему тогда было за сорок), глаза добрые, мягкие: что-то от Алеши Карамзина или князя Мышкина... и взгляд настороженный: «Почему вы непременно намерены меня обидеть?»

Один хохотом и издевками встречал окрики с педагогического олимпа, сражался за свою книгу и победил.

Другой, прочитав разносные отзывы о своих методах, написал: «Когда я прочел эти статьи, разволновался, осколок в груди зашевелился и горлом пошла кровь... Помогите, спасите...».

Однако в книге «Искусство воспитывать» автор, к сожалению, не нарушил ветхую традицию. Стиль двух различных манер сглажен. Возможно, потому, что книга вышла в издательстве «Просвещение», или потому, что Азарову, как и другим передовым педагогам и журналистам, приходилось не раз доказывать сходство Сухомлинского с Макаренко, чтобы отстоять его право на самобытность.

Кстати, взглядыываясь в эти два отрывка, обратим внимание на художественное мастерство в обрисовке портрета. Настоящего педагога почему-то всегда не удовлетворяет рассудочно-логическое мышление. Ушинский писал рассказы для детей. Януш Корчак сначала стал у нас известен как автор книги «Король Матиуш Первый». Вот строки из книги Сухомлинского: «Мы сидим на кургане, вокруг нас звучит стройный хор кузнециков, в воздухе аромат степных трав...» Кажется, что это строки из стихотворения в прозе, а не из педагогического трактата. Этот педагог сочинял с детьми сказки и стихи, учил их слушать «музыку весенних лугов», трогательно обращался к родителям, чтобы они разбудили дитя на рассвете, как ни прекрасен его сон, и пошли с ним смотреть восход. В духовном мире человека так много того, что не вычисляется, не раскрывается через логические структуры. «Юность — пора поэзии», — говорил Сухомлинский. Одно из любимых определений педагога-мастера у Азарова — поэт, художник... Книгу свою автор назвал не «Наука воспитания», а «Искусство воспитывать».

Автор владеет образным словом. Вот некоторые примеры: «Сила женской духовности совершенно особенная. Уже в девочке-подростке формируется такая природная красота, которая проявляется в движениях, поступках, во взгляде, в какой-то удивительно привлекательной настойчивости и непорочности, в какой-то мягкости, в какой-то совершенной цельности и противоречивости. Если у нее порыв чувств, то он настолько беззаветен, что трудно не откликнуться на него таким же чувством. Если она страдает, то так мужественно, что хочется возвыситься до такой спос

ности переносить горе... Если она смеется, то светлеет все вокруг». Так естественно перетекают эти строки из педагогики в поэзию и венчаются пушкинским: «чистейшей прелести чистейший образец».

О душевной щедрости педагога автор скажет: «Выстраданный всплеск сердца». О сдержанности: «Нельзя будоражить детей часто слепящим огнем своих страстей».

Есть в книге выразительный образ мальчишки-коновода, заводилы (лидера по современной научной терминологии); психологически тонки зарисовки типов руководителей-деспотов, у которых подавление личности ребенка далеко не всегда носит откровенный характер.

Но на одной странице сосуществует в книге и такое:

«Проблема экономии сил педагога, повышения коэффициента его полезной деятельности должна стать нашей рабочей проблемой... рациональное использование своей собственной энергии является и условием высокого КПД, и фактором овладения мастерством воздействия...»

...И вдруг пронзительный крик. Это завизжал воспитанник, который, казалось, так внимательно слушал учителя...»

Нам, однако, кажется, что к воспитаннику присоединился и молодой педагог, внимательно читавший эту умную и полезную книгу. Как отрадно рядом с научными конструкциями типа: «В ситуации же варианта II отражается глубокое понимание мастерства как

единства социально-психологических, социально-нравственных и «технологических» факторов» — прочесть: «Я замечал, как ребята расхватывали, а не распределяли роли»; или: «Поток мероприятий захлестывал меня... единственное, на что мне не хватало времени, — это на самих ребят... Я все время мучительно переживал эту раздвоенность...»

Разумеется, книга научная и автор не может только рисовать милые картинки и иллюстрировать мысль трогательными диалогами. Однако вряд ли что-либо улучшится, если об уроке, где напряженно течет мысль, сказать «повышение интенсификации труда», а веселый урок-игру занести в рубрику «технология» или «рационализация». А вот потеря от того, что живая душа педагога заплетена во все эти рубрики и конструкции, очень велика. Книга Ю. Азарова нужна сотням педагогов и студентов. Суровость технологически-рационализированного языка, названия глав с их системами и подсистемами, возможно, пригодятся авторам ученых диссертаций и работникам НИИ, но массового читателя могут отпугнуть.

Хотелось бы видеть эту книгу переизданной более широким тиражом, однако чтобы живая, смелая авторская мысль была выпущена из клетки систем и технологических пут. Чтобы господствующее место в ней заняло взволнованное слово педагога, мастера, исследователя. Слово, которым Ю. Азаров великолепно владеет.

Ю. ХАЛФИН.



КОРОТКО О КНИГАХ



В. В. ГОРБУНОВ. Развитие В. И. Лениным марксистской теории культуры (Доктябрьский период). М. «Искусство». 1980. 327 стр.

Рецензируемая книга ставит целью не только дать научный анализ высказываний В. И. Ленина в доктябрьский период по вопросам культуры в их временной последовательности и взаимосвязи, но и раскрыть значение ленинских выводов для теории культуры в целом.

Не повторяя прежних своих работ («Ленин и социалистическая культура», «В. И. Ленин и Пролеткульт» и др.), автор находит новые, не разработанные ранее пласты ленинского теоретического наследия по проблемам культуры. Он убедительно показывает, что ленинизм стал вершиной современного культурного развития человечества, неоценимым вкладом России в историю всей мировой культуры. Современную мировую культуру невозможно сколько-нибудь глубоко понять, не учитывая гигантского преобразующего влияния трудов В. И. Ленина на все стороны культурной жизни человечества. На всех этапах истории нашей партии В. И. Ленин непрерывно обращался к теоретическим и практическим проблемам культуры. Так, по подсчетам автора, только в «Правде» опубликовано более 60 ленинских статей, непосредственно затрагивающих проблемы культуры.

Исследуя ленинское наследие по проблемам культуры, наши ученые чаще всего оперируют сравнительно небольшим числом работ В. Горбунова впервые раскрыл значение для разработки теории культуры таких ленинских трудов, как «Развитие капитализма в России», «Что делать?», «Шаг вперед, два шага назад», «Две тактики социал-демократии в демократической революции», «Материализм и эмпириокритицизм», «Империализм, как высшая стадия капитализма», «Государство и революция», и ряда других.

Владимир Ильич Ленин всегда рассматривал культуру как важнейшую качественную характеристику человеческой деятельности во всех сферах социальной жизни. Как отметил А. В. Луначарский, для Ленина, как и для Маркса, «культура обнимает... в сущности, все формы общественной жизни». Вместе с тем, опираясь на материалистическое понимание культуры, В. И. Ленин сосредоточил главное внимание на анализе ее социальных функций. Рассматривая книгу «Что делать?» и примыкающие к ней ленинские работы, В. Горбунов показывает, что разработанный в них вопрос о соединении социализма с рабочим дви-

жением стал гигантской культурной проблемой всей новой исторической эпохи, исходным рубежом рождения пролетарской культуры в недрах старого общества. Ленин глубоко раскрыл роль марксистской партии рабочего класса как величайшей культурной силы современности. Именно партия является организатором процесса становления новой, пролетарской, а впоследствии социалистической культуры.

Через всю книгу как сквозная идея проходит анализ впервые сформулированного В. И. Лениным основополагающего принципа теории социалистической культуры — принципа ее партийности. Сформулированный еще в ранних работах основателя нашей партии, он получает свое всестороннее развитие и обоснование в замечательной ленинской статье «Партийная организация и партийная литература», а позже в работах предоктябрьского периода.

Характеризуя суть диалектики, Ленин говорил о раздвоении единого в познании противоречивых частей его. Это методологическое положение послужило основой одного из важнейших открытий в теории культуры — ленинского учения о существовании в каждой национальной культуре при капитализме двух антагонистических культур. Помимо «Критических заметок по национальному вопросу» автор привлекает ряд других ленинских трудов того же периода, что дает ему возможность раскрыть единичность, близость элементов демократической и социалистической культуры разных стран и наций. Как отмечает автор, В. И. Ленин смог «увидеть единую ткань культурной жизни мира, а не только отдельных стран и регионов. Эта ткань вся окрашена многоцветием национальных красок и «соткана» из культур разных народов, но в то же время имеет общую основу, так как ее национальные клеточки однотипны в своем классовом делении; к тому же внутри каждой нации, как показал Ленин, взрывают и вырастают могучие социальные силы интернационального единения культур».

Наконец, нельзя не отметить, что автор дал нам возможность еще раз почувствовать неизмерную высоту ленинской культуры, поистине необъятный диапазон ленинских культурных интересов. В книге не случайно приводятся слова Г. В. Чичерина, называвшего Владимира Ильича неподражаемым образцом представителя пролетарской культуры.

Книга В. Горбунова адресована не только специалистам по вопросам теории культуры. Ее с интересом прочтут самые широкие круги

читателей — пропагандисты, учителя, работники культуры, студенты.

Л. Коган,
доктор философских наук.

Свердловск.



В. Е. ИЛЛЕРИЦКИЙ. Сергей Михайлович Соловьев. М. «Наука». 1980. 192 стр.

Сергей Михайлович Соловьев... Имя этого выдающегося русского историка оведало легендой, а свершенное им с полным правом может быть названо подвигом — научным и национальным. «По многим причинам 29 томов его «Истории» не скоро последуют в могилу за своим автором. Даже при успешном ходе русской исторической критики в нашем учебном обороте надолго удержится значительный запас исторических фактов и положений в том самом виде, как их впервые обработал и высказал Соловьев: исследователи долго будут черпать их прямо из его книги, прежде чем успеют проверить их сами по первым источникам».

Слова В. О. Ключевского оказались вещими. Уже более ста лет соловьевская «История России с древнейших времен» находится в активе историографии; ею зачитываются многие поколения нашей интеллигенции. В 1959—1966 годах было выпущено в 15 книгах советское издание главного труда С. М. Соловьева. «История...» Соловьева продолжает жить, а между тем жизненная судьба самого автора, как ни странно, оставалась до сих пор практически неизвестной широкому да и не только широкому читателю.

И вот наконец — первая обобщающая книга о научном и жизненном пути С. М. Соловьева, принадлежащая перу доктора исторических наук, профессора В. Иллерицкого.

Пятьдесят девять лет жизни, две трети которой целиком, без остатка, с редкостью даже для истинного ученого самоотдачей были отданы науке. Говорят, что в Центральном государственном архиве древних актов хранится как реликвия стол из бывшего Московского главного архива министерства иностранных дел, за которым тридцать лет день за днем, изучая десятки тысяч документов, Сергей Михайлович Соловьев творил свою «Историю России...». Тридцать лет напряженной работы — 29 томов исследования, то есть в год по большой книге, каждая из которых сама по себе сделала бы честь ее автору. И все это при том, что С. М. Соловьев отнюдь не был ученым-затворником, далеким от проблем и забот текущего дня. Профессор Московского университета, воспитавший много учеников, среди которых гордость русской историографии блистательный В. О. Ключевский, декан историко-филологического факультета, ректор университета, академик Российской Академии наук, директор Оружейной палаты в Кремле, председатель Московского общества истории и древностей российских... — трудно перечислить все административные и общественные посты, занимавшиеся С. М. Соловьевым на протяжении его жизни. И все же главным делом этой жизни, ее смыслом, ее радостью и постоянной заботой была работа исследователя.

В. Иллерицкий прослеживает жизненный путь С. М. Соловьева, показывает процесс формирования его мировоззрения, вводит читателя в творческую лабораторию выдающегося ученого, анализирует и оценивает его основные труды. Центральное внимание, и это понятно, автор уделил характеристике исторической концепции С. М. Соловьева и историографическому разбору его работ, справедливо подчеркивая, что «в отличие от предшественников Соловьева его концепция уже представляла собой цельную и стройную систему взглядов, была высшим достижением буржуазной историографии в России».

Широкого читателя несомненно привлечет прежде всего первая глава, повествующая об основных вехах жизни историка. И здесь он может быть в прегензии к автору (или издательству?), поспекувавшему на внимание к биографии Соловьева, обстоятельствам его жизни, его удивительной личности. Право же, 27 страниц — слишком узкие рамки для описания жизненного пути крупнейшего историка.

Соловьев жил в эпоху, когда русская культура в полном смысле пожинала урожай. Какое созвездие имен! Какое созвучие талантов! Выяснение взаимоотношений С. М. Соловьева с деятелями науки, литературы и искусства, поиски отзывов о нем — все это могло бы стать темой специального исследования. До обидного мало сказано о семье Соловьева, а этот вопрос представляет не только биографический интерес. Два сына Сергея Михайловича — Всеволод и особенно Владимир — получили широкую известность в России конца XIX века: один как автор романов, другой как философ и поэт. Оба испытали глубокое влияние своего знаменитого отца, отразившееся в их творчестве. Здесь также есть поле для новых размышлений.

Масштаб личности С. М. Соловьева и его вклад в русскую и мировую науку несомненно будут притягивать к себе внимание новых исследователей. Хотя, собственно, почему только исследователей? Жизнь Сергея Михайловича Соловьева — благодарный материал и для писателя...

П. Черкасов,
кандидат исторических наук.



НА СУШЕ И НА МОРЕ. М. «Мысль». 1980. 477 стр.

...Бесшумно скользит бригантина. Она медленно приближается — ближе, ближе. Еще немного, лишь легкое усилие воображения, — и под ногами вздрагивает палуба, летят в лицо соленые брызги. Навстречу мчится удивительная страна юности.

Слышатся знакомые интонации, голос рассказывает о Гренландии. «По океану плывут целые материки голубого льда. Они шумят в океане. Резкий холод разливается вокруг них на десятки миль. Но кроме холода айсберги сопровождают особенный запах; если иметь хорошее обоняние, его можно почувствовать издалека. Я бы хотел передать вам этот запах, но боюсь, что ничего не получится. Ну, вроде запаха килек в гвоздике или фиалок с перцем, очень свежий запах, хорошо помогает при головной боли».

Кто это? Чей незабываемый ритм? Откуда

музыка и неповторимый аромат слова? Паустовский! Альманах «На суше и на море» в 1980 году открывает его забытая повесть «Теория капитана Гернета».

Равнение на повесть Константина Паустовского держит и каждый следующий рассказ, очерк, повесть. Они по-своему развивают тему многообразия и необычности окружающего нас мира.

О Норвегии написано немало. Но в своих путевых заметках В. Песков тонко подметил особое сдержанное своеобразие северной страны. В очерке одно маленькое открытие — и для автора и для читателя — словно идет на смену другому. «Вся Норвегия, когда ее вспоминаешь, — замечает автор, — представляется кружным камнем, источенным водами, пресными и солеными. Вода и камень с накидкой леса, три цвета — сиреневый, синий, зеленый — господствуют перед глазами».

Или очерк С. Шишова — здесь тоже на каждом шагу маленькие открытия. Он начинается... с бешено вращающейся стрелки компаса. Такое отклонение, оказывается, обычно в Курской и Белгородской областях. Автор рассказывает о знаменитой Курской аномалии, расположенной чуть ли не в центре старой России. Здесь постоянно можно слышать эпитеты: самый, самая, самое... Да, это прежде всего крупнейший железорудный бассейн мира и уже совсем скоро — один из самых мощных территориально-производственных комплексов страны. Рост его продолжается и в одиннадцатой пятилетке.

«Восточный причал России» Ю. Скворцова — о людях Приморья, о бамовцах, которые, однако, не ведут за собой железную магистраль. Они делают морские ворота для БАМа — новый порт Восточный...

Уже двадцатый год выходит художественно-географический сборник «На суше и на море». Выросло поколение читателей-приверженцев, поседело старое, первое. Успех альманаха, конечно, не случаен. Взяв в руки книгу, мы уверены — и в этом главная причина успеха, — что путешествия обязательно будут интересными, приключения невероятными, фантастика необычной, а факты, догадки, случаи — ранее нам неизвестными. Юбилейный сборник — лишь подтверждение этой уверенности.

У альманаха свой взгляд на многие устоявшиеся представления и понятия: он часто опровергает их. Думаете, на карте не осталось белых пятен? Нет, они есть! Читайте очерк Д. Клисурова «Остров без имени». В «Загадках древней Америки» В. Гуляева оригинальная гипотеза посягает на белое пятно на карте истории, объясняя причины упадка культуры майя. Историческая география и географическая история, тесно переплетаясь, создают свой — исторический — фон в альманахе. Португальский поэт XVI века Луис Камозэнс, чешский путешественник средневековья Одрико Матиуш, легендарный адмирал Джон Поль Джонс как бы рассказывают потомкам о своей жизни, о своем времени — при чтении ощущаешь удивительный эффект присутствия их на страницах.

Совершенно иная манера изложения у Р. Скрынникова. В «Сибирской одиссее» он скупыми штрихами, отбрасывая лишние подробности, рисует сборы Ермака в поход за Уральский камень. Но сохраняется достоверность изложения, потому что оно построено на

исторических документах: седые бумаги отобрастают ложь и мифы о «воровском и разбойничьем» прошлом казачьего атамана. По-новому взглянув на факты, автор строит свои доказательства предполагаемого маршрута Ермака, ведь путь его до сих пор неизвестен потомкам, мало знаем мы и о подробностях гибели славного предка.

И фантастика в сборнике не проигрывает рассказам о реальной жизни. В ней тоже проявляются чувства меры и вкус, присущие составителю и редактору альманаха.

М. Курячая.



АНАТОЛИЙ ЧЕРНОУСОВ. Чалдоны. Повесть. «Наш современник», 1980, №№ 5, 6.

Восемь лет назад «Новый мир» рассказал всеобщему читателю о повести молодого сибирского писателя Анатолия Черноусова «Практикант», напечатанной в журнале «Сибирские огни». Имя писателя вошло в ряд молодых, разрабатывающих производственную тему. Сама повесть была включена в сборник «Роман-газеты». Эти годы автор не молчал: он печатался в «Сибирских огнях», у него выходили книги. Все произведения были о проблемах сегодняшнего дня. А «Чалдоны» — автобиографическая повесть о детстве.

Если в прежних произведениях А. Черноусова наряду с умением нащупать острые проблемы современности замечался некоторый рационализм, некоторая заданность, то в новом произведении, в лучших его главах, автор прорвался в мир подлинных чувств: доброты, детского счастливого восприятия жизни вопреки тому, что военное детство было далеко не лучезарным.

Как самобытны и добры старик и старуха, у которых живет мальчик! С какой любовью описывает А. Черноусов и дом стариков, тоже старый, но такой еще крепкий и большой; и двор, так надежно, казалось бы, огороженный со всех сторон, чтобы защитить от напастей малолетних Подкорытовых; и поляну внутри этого двора с травкой-муравкой, «духмяно разопревшей от жаркого солнца»...

Казалось бы, буднично рассказано, как старик с Тимшей морозным коротким днем врубались в озерный лед, чтобы пробить новую прорубь подальше от берега: в старой не стало воды, промерзло здесь озеро до дна, а без проруби вся жизнь остановится. Непосильная работа для старика и малолетка, но когда, «запаленно, хрипло дыша, старик хлопает пешней уже в воде», весь этот день воспринимается как победа, как праздник. Нашлись слова, нашлись чувства, чтобы эту сцену вырвать у времени и оживить. Такова первая половина повести.

А затем словно остывает душевный запал и в художественную ткань проникает информация, описательность.

Если в начале повести отдельные эпизоды органично сливались в целое полотно, то затем появляется иллюстративность. Композиция такая: я охотился — вот как это было; я рыбачил — вот как это было; я учился — вот какие были военные времена школы и учителя. Ни образ матери, ни образы этих учителей не вырастают в равные со стариком и старухой характеры.

Язык и восприятие жизни здесь часто не

детские, а взрослого, сегодняшнего человека: «У танка была разворочена корма: не иначе как прямое попадание тяжелого снаряда в моторное отделение», «Я загнал в дальний угол двора хорошенккую умнеыккую девочку Тамару Шишкину», «И нам с матерью, можно сказать, крупно повезло, ибо эта женщина умела быть толковым, деловитым директором и отзывчивым, чутким человеком» и т. д. Появляются повторы: в главе «Учитель» объясняется, как старик учил Тимшу трудиться. Зачем объяснять? Мы уже это видели в ранних главах, написанных сильнее, ярче, убедительней.

И все-таки повесть «Чалдоны» открыла новые возможности автора. Теперь мы знаем, что он умеет писать эмоционально, умеет передать читателям свою ненависть (есть и такое в повести) и свою любовь. Мы почувствовали благодаря автору высокую горечь финала, в котором, собственно, и заключено прощание с детством.

Н. Макарова.



Э. РУСАКОВ. Конец сезона. Рассказы. Предисловие Н. Евдокимова. Красноярское книжное издательство. 1979. 151 стр.

«Я подошел... тронул ладонью — калитка не заперта — и зашел в чужое, казалось бы, но очень знакомое пространство».

«Зашел в пространство» — это движение и чувство автора, молодого писателя Э. Русакова, и движение героев его первой книги, которых посреди обыденной жизни постигает ощущение, что они обитают в огромном и не пустом мироздании, вдруг обнаружившим свою неизвестность.

В этом раздвинувшемся и заговорившем пространстве герои Э. Русакова перемещаются на ощупь и безоглядно, настороженно и слюмя голову, не отдавая себе отчета ни в страхе своем, ни в смелости, не определяя, не именуя своих ощущений. Уверовав в расчетливость, они вдруг обнаруживают несводимость свою к расчету, успокоившись в равновесии, они выскакивают из него, рискуя не обрести его вновь. Их перемещения могут показаться хаотичными, только если поверить в устойчивость их житейских представлений друг о друге и о себе. Но маршруты эти вполне естественны, их даже предугадать можно, если, не уступая соблазну чеканных диагнозов и стабильных представлений о каждом из нас, довериться способности человеческой души самой находить путь своего движения, отдавая дань той отгадке, с какой она устремляется в зигзаги блужданий.

Герои Э. Русакова скорее блуждают, чем странствуют, потому что странствование предполагает своей конечной целью возможное обретение некоей истины или заслуженное приобщение к ней. Герои Э. Русакова в этом смысле совершенно бескорыстны. Более того — беспечны. Да и сам автор как будто весьма опасается, как бы не приняли его герои за взыскующих града и первопроходцев. Вроде бы другими мерками меряет он их и о других масштабах речь ведет. «Таких глупых женщин он никогда еще не встречал», — сокрушенно сообщает Камилль, председатель узбекского колхоза, которому понравилась одинокая двадцатисемилетняя медсестра Леля,

приехавшая из сибирского города Кырска в Среднюю Азию по горячей путевке за тридцать рублей. И сам автор твердо предупреждает: «У Лели был детский ум, думать она почти не умела, и все ее редкие мысли возникали в форме картинок». Чувство пробуждает в Леле художника. То, что было знакомом убожества («...редкие мысли возникали в форме картинок»), дало жизнь вдохновению.

«Миф, пустая легенда, сентиментальная сплетня? — вопрошает автор. — Ну и пусть». К низменным житейским жанрам — к сплетне, слуху, к новости, подхваченной в очереди или во дворе, к былям и небылицам — он относится с полным вниманием, потому, что случилось или не случилось, так все было на деле или не совсем — не в этом конечная правда, к которой он пробивается. Правда для него — та духовная реальность ныне живущих людей, которая возникает из этих рассказней и толкований их, та живая материя поисков, мечтаний, стремлений, которыми живут обитатели Кырска и его окрестностей, то живое обновление координат, которое совершается в житейском круговороте.

А за что любили Левочкина, с невзрачной внешностью человека, который «ничего не понимал, потому что для понимания ему не хватало ума»? А «за некую даже крылатость», с тем же видом беззаботности определяет автор. «Левочкин любил свободу», — поясняет он спустя пять страниц, хотя тут же оговаривается: «Конечно, он был вялый и робкий».

Неожиданность этих амплитуд между вялостью и волюнолюбием, цинизмом и простодушием, между беспечностью и острой жалостью, из которой вдруг возникает решимость, превращает сюжеты Э. Русакова в приключенческие. Это не тот случай, когда «за внешне приключенческим сюжетом скрывается...», нет, здесь приключение — качество и следствие внутренней жизни, вдруг отворившей свою глубину.

Первым удивлением перед открывшимся пространством и рождена эта книга молодого прозаика.

И. Борисова.



Э. ПОЛОЦКАЯ. А. П. Чехов. Движение художественной мысли. М. «Советский писатель». 1979. 340 стр.

ЭММА ПОЛОЦКАЯ. По следам ранних сюжетов. «Советская литература», 1980, № 1 (на немецком языке).

У каждого великого писателя есть как бы ключ к его творчеству: афоризм, фраза, теоретическая формула. Считается хорошим тоном цитировать их. У Чехова таким ключом, кроме пресловутого ружья и краткости, что сестра таланта, может служить... пепельница. Источник — известный рассказ В. Г. Короленко о его разговоре с Антоном Павловичем осенью 1887 года в Москве. Помните? Желая показать Владимиру Галактионовичу, как он пишет свои маленькие рассказы, Чехов схватил со стола пепельницу и сказал: «Хотите — завтра будет рассказ... Заглавие "Пепельница". И глаза его, — пишет Короленко, — застygились весельем». С этого воспоминания и зажила в литературоведении чеховская пепельница.

Однако мы не спешим принимать этот ключ за подлинный, он скорее сувенир, что дарят почетным гостям. Тайны художника им не откроешь. Недаром глаза его засветились весельем. Но с другой-то стороны, в подобном рассказе есть и нестерпимый отблеск истины...

Э. Полоцкая, автор книги «А. П. Чехов. Движение художественной мысли», представляется мне тем серьезным исследователем и в то же время, естественно, доверчивым читателем, который взялся показать, что там, за афоризмом, а в данном случае почти за розыгрышем. А там сложнейшая, хитроумная, как кровеносная система, лаборатория одного из самых скрытных наших классиков, не только не любившего впускать кого бы то ни было в свои «внутренние покои», но и искренне не умевшего это делать.

В качестве эпиграфа, а здесь лучше сказать — лощманской карты, Э. Полоцкая берет слова самого Чехова: «...оригинальность автора сидит не только в стиле, но и в способе мышления, убеждениях и проч...». Книга ее — повесть о том, как выработывался во времени способ чеховского мышления. Это действительно путешествие за его художественной мыслью, а по увлекательности и разветвленности сюжета и образам своеобразных «персонажей» это литературоведческий роман, если угодно, «роман с продолжением» чеховской пепельницы! Умная ирония автора заключается, очевидно, и в том, что уже первая глава именуется «В мире вещей». Пожалуйста, как бы говорит автор, хотите с пепельницы — начнем с нее. И к ней в ряд пристраивается огромный мир предметов. Преобразование их в предметы искусства, их различное значение в художественной структуре Чехова, их сохранение в его поразительной художественной памяти от первых, еще «осколочных» лет до классических последних повестей и пьес — все это влечет к себе автора и подано им разнообразно, с творческой фантазией. Последняя же всегда опирается на реальность работы чеховской мысли. Причем Э. Полоцкая берет эту мысль в целом, в синтезе со всей жизнью писателя, со всеми его человеческими связями. И внутренне логично, что вторая, самая обширная глава книги — «От жизни к сюжетам» (наиболее существенная часть ее — «По следам ранних сюжетов» — напечатана в этом году в юбилейном чеховском номере журнала «Советская литература»). Э. Полоцкая предстает здесь исследователем разнообразнейших соотношений чеховской жизни и чеховского творчества. Эта непрерывная пульсация, эти непрерывные переливы, уловленные «неуловимые» переходы жизни в творчество составляют, пожалуй, главный интерес и главную притягательную силу книги.

В трех заключительных главах автор переходит от наблюдений и накоплений, так сказать, к их реализации, то есть к определению закономерностей чеховского мастерства, его эстетической системы. На новом витке спирали исследование как бы возвращается на круги своя, к «миру вещей». Но теперь мы относимся уже к нему иначе — мы вместе с автором прошли путями художественного мышления Чехова, «от зоркости взгляда художника, вдохновлявшегося предметными образами», до позиции писателя «высокой гражданской совестливости».

Внешне скромный труд Э. Полоцкой заметно обогащает нашу чеховедческую библиотеку. Книга ее лишена претенциозной усложненности, обладает спокойной простотой слога и тем внутренним демократизмом, что придает ей дополнительное обаяние и делает доступной и интересной для любого интеллигентного читателя.

А. Свободин.



АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛОБАНОВ. Документы, статьи, воспоминания. Составитель, редактор, автор вступительной статьи и примечаний Г. Зорина. М. «Искусство». 1980. 406 стр.

Андрей Михайлович Лобанов не имел диплома режиссера и, вероятно, вообще не имел диплома, поскольку на юридическом факультете МГУ только начал учиться в 1918 году, а затем переменял несколько театральных студий, в которых одновременно учился и учил. На репетициях поражал товарищей и преподавателей, на спектаклях же «стусывался», бормолал реплики, не глядя на партнера, словно желая спрятаться за ним. Лобанов принадлежал к числу тех людей, которых не знали до поры до времени зрители, но которые были так необходимы внутритеатральной жизни: Андрей Лобанов необходим был Завадскому, Рубену Симонову, актерам их театров-студий в качестве педагога и режиссера.

Именно репетиции, непосредственность общения с актерами, раскрывающимися в общении с режиссером, и составляли тайну, обаяние, неповторимый блеск режиссуры Лобанова.

Имя его стало значительным в жизни театра после премьеры «Талантов и поклонников» в студии Р. Симонова в 1931 году. Лобановские постановки классических пьес привлекали зрителей сочетанием остроты и изящества, новизны и большой культуры. Качества эти воплощались в актерских образах, в том замечательном ансамбле, который был характерен для трактовок Лобановым пьес Островского («Бешеные деньги» в Театре имени Ермоловой, «На всякого мудреца довольно простоты» в Театре сатиры), характерен для его спектаклей о современности.

В 1947 году А. М. Лобанов в том же Театре имени Ермоловой поставил «Спутников». Вагоны, клетушки-купе санитарного поезда. Белые халаты врачей, белые повязки раненых. Глаза старого врача Белова — С. Гушанского, рассказывающего о семье, погибшей в Ленинграде. Глаза медсестры Юлии — Э. Кирилловой, когда она смотрит на любимого человека, расклавывающего, делящего на двоих продовольственный паек: что побольше, посвежее — себе, похуже — ей... Смех, слезы в зрительном зале. Бесконечные вызовы после спектакля. Большой, хмурый Лобанов старается не выходить на авансцену, спрятаться за спинами актеров.

Он так много сделал для советского театра, и о нем так мало написано. Впрочем, сейчас можно сказать — было так мало написано. Г. Зорина (ныне, к прискорбию, покойная) подготовила сборник, посвященный творчеству А. М. Лобанова. Она же автор весьма выразительного вступления к сборнику. Обстоятельно и строго (в этой строгости живет страсть, обремененность личными воспоминаниями) проследила она достаточно трудный путь Андрея Михай-

ловича Лобанова от забытых спектаклей 20-х годов до «Мудреца» в Театре сатиры в 50-е годы, опубликовала немногие, иногда афористически краткие, иногда сохранившиеся лишь в стенограммах, выступления, беседы Лобанова. К счастью, на репетициях всегда были люди с блокнотами, с карандашами в руках — стирался один карандаш, его заменял другой. Майя Туровская и Борис Медведев, студенты-практиканты ГИТИСа, вели дневник репетиций спектакля «Люди с чистой совестью»; Г. и Л. Зорины привели строки из старых своих записных книжек. Впрочем, иногда запись меньше строки, например: «Мастерство актера — богатство состояний» — или «Мизансцена, не насыщенная эмоцией, — формализм». И воспоминания — развернутые и краткие, воспоминания сверстников ровесников, юность которых также пересеклась революцией, поисками 20-х годов, и учеников младших, покоренных прирожденным режиссером. Один из учеников, Г. Товстоногов, назвал свои воспоминания «Режиссер из будущего» и точно сказал о Лобанове: «Он принадлежит к тем фигурам в истории искусства, значение которых все возрастает, по мере того как время их уходит в прошлое. Таких в нашем театре немного».

Таких вообще в театре немного. Бывает, что популярность, обычно именуемая славой, кончается с жизнью, иногда даже и раньше. Завидна судьба того, кто навсегда остается необходимым самой культуре страны. Таким остается для нас режиссер Андрей Лобанов.

Е. Полякова.



М. ЖВАНЕЦКИЙ. Встречи на улицах. М. «Искусство». 1980. 143 стр.

Стоит открыть эту книгу — и начинают звучать голоса Аркадия Райкина и Сергея Юрского, Романа Карцева и Виктора Ильченко или быстрая скороговорка с неожиданными

паузами, произносимая совсем не поставленным голосом самого автора — Михаила Жванецкого, написавшего многочисленные номера для наших ведущих актеров, работающих в жанре сатиры.

Книга эта театральна. Не потому, что ее рассказы сделаны как монологи или скетчи, вернее не только потому. Проза Жванецкого — принадлежность того театра, который, по словам Маяковского, «...не зеркало, а — увеличивающее стекло». Автор берет самые простые житейские ситуации, знакомые каждому из нас, и гиперболизирует их, заставляя взглянуть, разглядеть — и задуматься. Задуматься вслед за автором над тем, что мешает нам в нас же самих. Жванецкий борется сочувствуя, смеется грустя, в самых жестоких и беспощадных его рассказах есть неперемнная любовь к человеку.

У автора множество достоинств: умение нащупать болевую точку нашего бытия и попасть не в бровь, а в глаз, бесстрашие пользоваться резкими и точными сатирическими красками, способность мгновенно налаживать контакт с залом или в данном случае с читателем.

Жванецкий, как и любой сатирик, — публицист. Это трудное дело — быть ненавязчивым публицистом. Он это дело знает. Автор владеет многими жанрами и главным из них — жанром общения. У него самобытный стиль письма: он строит произведения короткими репризными фразами. Так ударнее. И доходчивей. И коэффициент эмоциональной и интеллектуальной емкости высок. И просто он пишет так. Пишет о самых разных делах, и веселых и грустных, ему вообще свойственно смешивать грусть с весельем. Главный его дар — это чувство времени и понимание человека во времени.

Жванецкий говорит с нами о нас. Он хочет, чтобы мы были лучше, чтобы мы были счастливее. Говорит он это скупно, сжато, остроумно. И это главное достоинство его небольшой книги.

С. Александрова.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения. В 3-х тт. Т. I. 640 стр. Цена 1 р. 30 к.

Материалистическая диалектика. Краткий очерк теории. 287 стр. Цена 1 р. 20 к.
П. Машеров. Советская Белоруссия. 141 стр. Цена 20 к.

Е. Парнов. Боги лотоса. Критические заметки о мифах, верованиях и мистике Востока. 239 стр. Цена 1 р. 40 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

С. Баруздин. Само собой. Повести. 352 стр. Цена 1 р. 20 к.

М. Ганина. Созвездие Блинецов. Повести и рассказы. 367 стр. Цена 1 р. 60 к.

За и против человека. Идеино-эстетическая борьба в культуре Запада 70-х гг. Сборник статей. 375 стр. Цена 1 р. 50 к.

И. Мележ. Жизненные заботы. Статьи, этюды, интервью. Перевод с белорусского. 384 стр. Цена 90 к.

М. Юфит. Осенним днем в парке. Повести и рассказы. 576 стр. Цена 2 р.

А. Янубов. Совесть. Роман. Перевод с узбекского. 303 стр. Цена 1 р. 40 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Датские народные баллады. Переводы. 286 стр. Цена 70 к.

Жемчужное ожерелье. Из древнеиндийской антологии поэзии. Перевод с санскрита. 127 стр. Цена 45 к.

Корейские предания и легенды из средневековых книг. Перевод с ханмуна. 286 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Нефф. У королевы не бывает ног. Перевод с чешского. («Зарубежный роман XX в.») 446 стр. Цена 3 р.

Современная японская новелла, 1945—1978. Переводы 703 стр. Цена 4 р. 20 к.

«СОВРЕМЕННОК»

В. Горбунов. Вот придет генерал. Рассказы и повести. («Новинки «Современника») 367 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Емельянов. Год — тринадцать месяцев. Повести и рассказы. Перевод с чувашского. («Новинки «Современника») 478 стр. Цена 1 р. 90 к.

Н. Задонский. Денис Давыдов. Исторический роман. («Библиотека российского романа») 375 стр. Цена 2 р. 20 к.

В. Нечволода. Наследство. Стихи. Предисловие В. Цыбина. («Первая книга в столбе») 79 стр. Цена 40 к.

Н. Федоренко. Литературные записи. 350 стр. Цена 1 р. 10 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Блок. В огне и холоде тревог... Избранное. Составление и предисловие В. Орлова. 431 стр. 95 к.

Детская литература, 1980 г. Сборник статей. Авторы С. В. Михалков и др. 128 стр. Цена 45 к.

Железные цветы. Сборник стихотворений о труде. Составители Н. Арсеньев и Е. Винокуров. 174 стр. Цена 50 к.

Б. Заходер. Моя Вообразия. Стихи и сказки. 143 стр. Цена 2 р. 50 к.

Л. Симонова. Поворот судьбы. Исторические очерки. 95 стр. Цена 2 р. 50 к.

«ПРОГРЕСС»

С. Баднан. Кровоточащие маски. Роман современного малайского писателя. Перевод с французского. 271 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Ла Гума. Время сорокопута. Роман. Перевод с английского. 136 стр. Цена 70 к.

Ю. Озга-Михальский. Кого поразит гром. Роман. Перевод с польского. 311 стр. Цена 2 р.

Современная австралийская новелла. Сборник. Перевод с английского. 285 стр. Цена 1 р. 80 к.

Э. Тайлер. Блага земные. Роман. Перевод с английского. 191 стр. Цена 1 р.

«ИСКУССТВО»

Н. Исаева. Евгений Матвеев. («Мастера советского театра и кино»). 190 стр. Цена 85 к.

Е. Сергеев. Перевод с оригинала. Телеэкранизация русской литературной классики. 200 стр. Цена 90 к.

«НАУКА»

Африна. История, историография. Сборник статей. Ответственный редактор С. Ю. Абрамова. 240 стр. Цена 2 р. 50 к.

Е. Жунов. Очерки методологии истории. 247 стр. Цена 1 р. 10 к.

История литературы ФРГ. Коллектив авторов. 687 стр. Цена 4 р. 50 к.

В. Силунас. Испанская драма XX века. 279 стр. Цена 2 р. 20 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевкеляян**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Сдано в набор 26/1 1981 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 19/III 1981 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 27,13 уч.-изд. л., 8,5 бум. л. (23,8 усл. печ. л.)
А 10613. Тираж 350.000 экз. Заказ 328.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радничка Украина», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 0825

Цена 70 коп. 0 - 60

70636